Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России

Санкт-Петербург

2024

ББК 84-4 Т74-77

© Осянников В. А., 2024

МЕТАФИЗИКА ИСКУССТВА

Вячеслав Овсянников

Царапины на скалах

Зачем он шел долиной чудной слёз»
Константин Батюшков

Проснулся. Лариса уже собралась на работу. У меня выходной. Машу ей рукой из окна. Дождь, дождь. Пахнет сырой прохладой. Поехал к маме. Бедная мама, плакала. Зачем я так груб с ней. Ждал электричку. Самолет взлетел с аэродрома, рядом, за полем. Девушка на противоположной платформе вертит в руке цветной зонтик. Мужчина в щеголеватом костюме, грудь колесом, ходит туда-сюда. Опять дождь. Смертно и странно. Женские пятки в босоножках, красные, сплющенные. Я в зеркале, трагическая серьезность, глаза, брови. Если я умру от старости, то, может быть в 70 лет. Значит, осталось чуть больше половины. В сентябре свадьба. Соберем самых близких.

Лариса в больнице, на Петроградской стороне, уже неделю. Привез фруктов и овощей: яблоки, сливы, виноград, помидоры, огурцы. Сидели в коридоре за столом, рука в руке. Она в моем махровом халате, худенькая. Говорили о всяком, душевном, жизненном. Дождь, дождь.

Первый снег, так рано, еще сентябрь, деревья еще зеленые. В этой снежной чистоте все стало странно, неожиданно, неестественно. И этот новый звук: шелест падающего снега.

Страшное звездное небо, морозы, этому мраку, кажется, конца не будет. Приснилось: в теплом тумане зыбко зазеленели листочками весенние деревья. Я верил во сне, что это на самом деле, что это – явь. Проснулся: сердце колотится, горестное, ноющее. Тягостное пробуждение. Хочется куда-то уехать, бродить весь день, в городе ли, в лесу ли, сгинуть где-нибудь, растаять в воздухе. Грусть, грусть.

Васильевский остров, апрель, утро, яркая синева, покачиваются черные сучья в почках; пьянящий воздух. Дома и деревья сгущают вокруг себя синеву до мистически фиолетового. Гулкий бетонный короб. Встали в шеренгу, каждый стреляет в свою мишень. Стреляю и я. Рука дрожит, в глазах туман. Стрелок, где твоя цель? Моя цель – слово. О, Слово! У Слова есть сердце, оно – Центр мира, первоначальная творящая точка. Сердце и есть Слово. Слово сердца. Да будет моя рука тверда и взор ясен! Мастер – это точное попадание. В Публичку. Читал и переписывал себе в тетрадь «Крещеного китайца» Андрея Белого. Дежурство, Сенат, Нева уже свободная, волнистая, блестит, плывут льдины.

Одно мгновение моей жизни и вся мировая история – равноценны. Светится изнутри, это внутреннее солнце, беззакатное, бессонное, день души, сколько ему еще гореть? Исполни закон живого, смотри из центра. Смотри из огня, из воды, из ветра. Из мгновения, как из вечности. Весна света, случайные черты, нестертые, тяжесть эта, сила тяготения, тянет к земле, не дает взлететь.

Был у критика Македонова (его книга о Заболоцком). Он обо мне: «Интересный, самобытный поэт со своей интонацией». Пасха, береза в рогульках. В квартире шум, гам, застолье, день рождения Лидии Андреевны (теща).

На дежурстве, Сенат. Через Дворцовый мост – идут и идут, колышутся красными первомайскими знаменами в тусклом воздухе; пламя Ростральной колонны и огни факелов у Петропавловки, их свечение смешивается с шествием колеблемых знамен. С Дворцовой площади – крики лозунгов и взрывы «ура».

Стою под ясенем, прислонясь спиной к стволу, лицом в небо. Вечная весна, новые листочки на мировом Древе. «Что устоит перед дыханьем и первой встречею весны!» Вечные чистые сущности, их голоса звучат везде и всюду. «Вода течет» – вот чистое переживание. Тоска, раздор мечты и существенности, тревоги, страхи, предчувствия. Мне 38, у меня написана только одна эта маленькая книжка с полусотней стихов. Итог устремлений. Страх остаться одному, цепляюсь за этот утес.

Троица, свежая зелень берез. Часами смотреть и смотреть в чистое голубое небо. Мешают люди, спрашивают: что я там вижу? Ничего не вижу, мне бы только смотреть, просто смотреть. Вечерняя заря, над горизонтом полоса пронзительной бирюзы. Те, за стеклами... Они везде и всюду… страх и трепет неизвестных мне душ. Еще день, и что же я в нем нахожу, что успеваю заметить? Туманные видения, непонятные, ускользающие. Бодрствую – как будто я есть, усну – как будто меня нет. Здесь правит это «как будто».

Чистый стиль природы, как она делает свои снежинки, свои раковины, свои скалы и гроты. Фразы с могучим дыханием кита в океане, сами по себе, без меня, их автономное плавание. Весь пафос, весь полет – дерзай, резец! Самый короткий и прямой путь, возвращение к великому Огню – самосожженье. Сгореть в полете, чтобы не осталось мерзкого, вонючего трупа на горе родным, а только лишь вспышка, и конец. Бесследно, навсегда, как и не было.

Первый день января, с дежурства, сюда, на ранней электричке, родной дом в поселке. Шинель, сапоги, стою на крыльце, еще не рассвело, темно, десятый час, за окном, на кухне, вижу – Лариса и

мама, хлопочут у плиты. А кругом на дворе свежий пушистый новогодний снег, сыплется и сыплется, валит и валит, вьется искорками у горящего на улице фонаря. Тихо, только лай собак, глухой, издалека. Праздновали втроем, снег весь день, серебристые чешуйки нового года, солнце сквозь дымку, как сияние свечи.

То мороз, то слякоть. Скрытое жало тех наваждений, бессонный стук печатной машинки, проскользнуло и исчезло в темных ноченьках. В Эрмитаже – из Италии, Беллини, Тициан, Тинторетто, Веронезе. В Манеже: из частных собраний Ленинграда, Рокотов, Фальк, Коровин, Павел Кузнецов, «Мир искусства». Созерцание картин, погасшие фейерверки.

Июль. Лариса в белом бальном платье, собираемся в консерваторию, «Евгений Онегин». День облачный, дождик. Нехорошо, вчерашняя пьянка. Вернулись, французский фильм показывают, «Фанфан-тюльпан». Лариса спит, читаю «Айвенго». Ребекка, роза Шарона, лилия долин. Ночью гроза, ливень. Как быстро и нервно пролетают дни. Ничего не остается, ничего не запоминается. Ничего, ничего…

В Стрельну, залив, волны шумели, мы дурачились, сталкивали друг друга с бревна, обнимались, бродили босые по песочку. Лариса, голые ноги, родинки, синие жилки. Читаю книгу норвежца «Акулы».

Август, дожди, как осенью. Лень, нуль желаний, даже читать не хочется. Сорок лет, скоро старик, ну и ну. Конец. Все та же древняя игра. «Лицо истины скрыто сверкающим золотым щитом». Иша Упанишада.

Ноябрь, на платформе, разговорчивый старичок в тулупе, седая бороденка, железные зубы. Спросил: когда поезд на Ораниенбаум. Оказывается, он там начальник маяка. Предложил работать у него служителем.

Вот уже и конец ноября. Встал в восемь. Мрак, густой, беспросветный. Кажется, высунешь руку в окно – и рука станет черная, как сажа. Лариса спит. Пил чай на кухне у окна. Рассветает, черные сучья, карканье ворон. Читаю Веды, Упанишады, сидение ученика подле учителя. Гимны, заговоры, высшие духовные знания, брахман и атман, сансара, карма, дхарма. Откуда приходит и куда уходит. Имя и форма. Почему и зачем, хорошо или плохо – это уже забота других, не мудрецов. Искатели истины, ловцы душ, жемчужин со дна морей. Поток вне оценок, не нам судить. Высший Судия восседает на незримом престоле. А ты, точка в конце своей коротенькой строки-жизни, что ты видишь?.. Невероятные виденья… Нечто – ничто. Океан творящих форм, Солярис, вечно бурлит, что-то

производит, воспроизводит. Лоно рождений, вспышка, сверкнет ослепительный миг, и опять – мрак, тебя уже нет, нигде.

Все дороги ведут в Рим форм. Обновление Формы – ее обнуление. Преображение на горе Фавор, деформация. Сам дух преображения безотчетен. Отчета – никому. Что, если бы краски и линии взбунтовались против того, кто их сделал картиной помимо их воли, творение восстало бы против Творца?.. Отказ от Творца и Творенья. Слеза замученного ребенка. «Мы не лекари, мы – боль». Герцен. Творец не знает, что краски и линии не хотят быть прекрасной гармонией, которую он вздумал из них создать, насильно, мучая их. Резец Микеланджело не слышит этих воплей мрамора, он без конца крошит свой якобы бездушный материал, добиваясь совершенства. А если бы услышал? Отказался бы от своего дела? Неукротимая страсть так называемого творчества, мания. Эта страсть не даст покоя.

То темнее, то светлее, тьма и свет, всегда эти двое, ничего другого, из этих двоих всё. Был день и была ночь… Океан абсурда, островки логики в нем, осмысленного, ничтожные крапинки. Писать, добавлять абсурда. Девочка на шаре, алмазный октаэдр в руке, игра граней. На какую грань упадет луч – там Ты.

Лариса в Кисловодске, в санатории. Живу у мамы. Встал в семь, крепкий черный чай. Сижу на табурете у окна. Светает, снег, сучья. Мечты о каком-то небывалом творчестве. На лыжах, метель. Под горой деревня, сумерки. Черные в метели деревья, качаются, рыжая собака бежит по дороге, идут люди, темные, с лопатами на плече. Грузовик прошумел. Дым из труб вьется. А за деревней – мутный простор, ветер поет в полях. Странно, загадочно. Окошко светится, желтый глазок. Что там у них за жизнь?..

На снежной лужайке взрослые мужики с криком, матерясь, гоняют футбольный мяч. Мои ровесники. Они еще со школьных времен собираются здесь каждое воскресенье (некоторые приезжают сюда из Питера) играть в футбол. Так уже много лет. Ведь им всем, как и мне, сорок. Весело им. А я, как был в стороне, так и остался. И теперь смотрю на них, не участвуя в их забавах.

Я думал: вот я теперь взрослый. А оказалось, как был дитя малое, так и остался. Я только играл в куклы героев и гениев. Я мал, труслив, куда мне – в герои! Лучше спрятаться в своей раковине и проводить дни в бесплодных мечтаниях. Грустный итог. И куда мне теперь с этим самосознанием? Забываться в так называемом творчестве? Все тот же самообман, игра в прятки. Написать историю такого ничтожества? И что? Для чего?

Жажда познания. Но ведь поэт познает песенно; все, что ему надо познать, он познает звуком и ритмом. Сила сути крутит это колесо, все прочее – химера стиля. Поэт – участник мировой работы, на его пальцах пыльца с крыльев бабочки.

Метель. На лыжах с трамплина, едва не разбился насмерть, налетев на сосну у подножья холма. Фигуры на шахматной доске, рождаются и умирают, одиноки до ужаса. Любишь – твой звездный час; сгорело, погасло, уже не любишь. Зачем это? Очарование – разочарование. Мне 41. В парикмахерскую, постригся, ритуал каждый год в день рождения. Печатал на машинке мою первую повесть «Минотавр». Вечером пришла с работы Лариса, румяная, с холода, целовал ее в эти щеки. За столом, Лидия Андреевна, водка на калгане. Лариса: о том, что у нас с ней уже нет той любви. Грустно. Что рвать сердце? Надо на этом поставить крест.

Вот зима и позади, еще один май, полно света. По субботам в клуб «Водоканал», плата за вход один рубль. Что там творится! Толкучка страшная! Книги везде: на столах, на стульях, на полу, на лестницах, в коридорах. Продают, обменивают. Ищу Марселя Пруста «В сторону Германта». Купил за 6 рублей «Записки у изголовья» Сей-Сёнагон. Соснора говорит, что это одна из лучших книг в мире. Шел по Таврической улице вдоль ограды, теплое, голубое небо, яркая зелень тополей, цветущие клены. Нахлынуло, тоска, горько-сладкая безнадежность.

Мечты, порывы. Писать уже не хочется, только праздно бродить да читать прекрасные книги. Ни славы, ни любви. Аскетизм. Мановение волшебной палочки – и любовь превращается в ненависть, радость – в горе, добро – во зло, нежность – в жестокость. Забраться в башню из слоновой кости Флоберу в гости. Здесь же, на этой же улице – башня Вячеслава Иванова. О, если бы книга обжигала! Сжигала! Лететь, как мотылек, на огонь слова, сгореть…

Жара, стрижи, глубокое небо. Душно. Заснул на часик под утро. В автобусе, на пляже, тела, вздрагиваю от касаний, как от ожога. Утренний дождь дробью по веранде. Темно и сыро. Лукиан «Жизнеописание Демонакта». «Только свободный человек счастлив. Но свободным я считаю только того, кто ни на что не надеется и ничего не боится. Кто же может жить без надежды и страха? Ведь все мы рабы этих чувств».

Позвонила Лариса, из Крыма, из Феодосии: «Славик? Привет!» Голос торопливый, взволнованный, словно бы взъерошенный, как вся она тогда, в косметической поликлинике, как на той, подаренной мне фотокарточке для паспорта. Эта ее особенная интонация, милого

голоса звуки любимые. Еще вспомнилась она, куда-то спешащая, озабоченная, столкнулись на минутку на лестнице, а взгляд не со мной, сквозь меня, вне меня, взгляд о чем-то, о ком-то, не обо мне. И вся она такая задушевная, так связанная с моей судьбой, что сердце рвется. Но всё, всё – лишь состояния, лишь смена их, уносимых беспрерывным, беспощадным течением. Что же останется? Как до конца сохранить поэзию наших чувств? Может быть, после смерти есть иная, высшая жизнь, и в ней бессмертно сконцентрирована вся поэзия этой нашей с ней скоротечной жизни тут на земле, этой нашей щемящей нежности? Все-таки, может быть, есть такое, там, за последней чертой? О Боже, как жаль той первоначальной страсти и трепета, безрассудства, безоглядности. Осталось ли хоть эхо того трепета, того волнения, изумления, восторга?.. Эхо еще слышим, но оно всё дальше, дальше от нас и скоро совсем затихнет…

Вечер, холодно. Дома письмо от Ларисы. Ласка, нежность.

Встречал из Крыма в два ночи. Бросилась ко мне на перроне. Загорелая, коротко постриженная, необычная. Привезла груш, персиков, дыню. Легли спать в шестом часу. Последний день августа.

Тот, кто постиг Единое, всегда юн, вечнозеленый вьюн. Величайший покой и тишина миров. Капля не удержится на листке лотоса, мудрец не прилепится к тому, что видимо и слышимо. Ничто извне не радует и не огорчает меня. Колос синей ржи в руке Деметры, жрец древней мистерии, Гермес, узреть в зерне сияние силы. Пишется и тут же стирается. Стена в пустыне, бесшумно растущая вширь и ввысь, мучительные сны.

В Стрельну, сидим на бревне у залива, Кронштадт ясно виден. Вино из фляжки, сливы и груши. Бродили у воды. Спрашивает: «Ты бы хотел жениться на молодой женщине, завести семью, детей, обновить всю жизнь?» Четыре раза повторила этот вопрос.

Сентябрь. Звонила из Москвы, веселый голос: «Славик? Что ты, не ночуешь дома? Или телефон отключаешь? Прилечу в субботу в 21.15. Ты меня встретишь? Почему ты грустный? Соскучился по мне? А я была на выставке Шагала!» Я переспросил, когда она прилетает. Как я нелеп. Потребность любви и ласки. Противно смотреть на себя в зеркало. Вчера смотрел фильм о Пиросмани. Несчастный он человек.

Встречал Ларису в Пулково, с букетом красных гвоздик. Обрадовалась. Через два дня ей обратно. Дождь, шли под зонтом. Рассказывала о выставке Шагала. Читаю Плутарха, герои, подвиги. Лариса опять уехала, ночным поездом, провожал с Московского

вокзала, запах дыма. Говорю же – всего лишь разные состояния: вот она со мной, и это – одно; вот она уехала – и это иное. Но если не живешь и не действуешь, а только лелеешь бесплодные мечты и ловишь призрак Будды в дождевой луже?.. «Я покинул всё и обрел освобождение через разрушение желаний. Самостоятельно овладевший знанием, кого бы я мог назвать учителем своим? Нет у меня учителя. Нет равного мне ни в мире людей, ни в областях богов».

Огонь – духовная мощь, вода – очищение, елей – сохранение. Пророки, их проклятия, Гете, Книга народов, это он о Библии. Читал до полуночи Томаса Манна «Иосиф и его братья». Бедная египтянка Мут. Что им надо, этим неугомонным открывателям атома? Открытая ими сила испепелит своего открывателя. Этим и закончатся танцы кусающего свой хвост египетского Урея. Сокровенная мудрость змеистого пути, маковое зернышко большого крушения. Запоминаю лишь крохи с безбрежно-широкого стола Мнемозины.

Октябрь. Приехала Лариса, голос глухой, говорит как чужая. Я тоже нес какую-то ахинею. Какая уж там любовь, не знаю, не знаю. Не верю уже ничему. Грустно, грустно. Все-таки я никак не могу понять. Одиноко до ужаса. Любишь, не любишь. А почему это? Отчего? И вот вянет, уходит навсегда, и нет уже интереса, уже не любишь. Что же это за мираж такой, обман, изначально предначертанный?

Ночью был счастлив. Теперь редкость. Вырица, влажно, сырой снег, ели в тумане. Разлив реки, дома поселка, снежная даль. Стояли у нашей сосны, смотрели в это туманное, снежное. Мглистые зубцы елей. Волшебный вид.

Прочитал «Собачье сердце» Булгакова. Изобразительность, но слишком нарочито, до мелкости. И вообще, совсем не то, что Платонов, его «Котлован». Платонов – гений, гигант, жуть. Никаких блесток, изощрений стиля, витья, фантастики и сатиры, ему этого не надо, ему это мелко. Он сам дух, сам художник.

Люди низа. Смысл и сущность земляной жизни, мучительный и очарованный поиск истины, сострадание ко всему сиротскому, несчастному. Мужественное сострадание, без тени сентиментальности. Косноязычие мышления, ищущего найти и выразить в слове суть вещей, для чего и необходим взлом языка, закостеневшей речевой корки обманного обыденного сознания. Это высокое косноязычие – верное сверло для бурения, чтобы достигнуть глубинных пластов сути. Это мышление нового героя, нового хозяина мира, человека низов, от земли, призванное заменить все прежнее, всю прежнюю

культуру, переосмыслить всю историю человечества. Обнажить первобытную сущность мира, скрытую под коркой многовековых наслоений старой культуры. Чудовищная уродливость этого языка, «неправильность», нелитературность этой речи. Трагизм этого проникновения в первобытную суть, глубочайшая скорбь таких прозрений, мучительство мыслящего слова, режущего по живому. Многие не понимают и не принимают Платонова вот из-за этого мучительства им написанного. (В этом он схож с Достоевским и с Маяковским). Людям нравится гладенькое и сладенькое, изящная словесность. Платонов из низа низов и он хотел бы, чтобы этот низ низов, это земляное, сиротское, обездоленное, отверженное стало вершиной духа. Прежний верх кончен. Революция – перевернутый мир. Кто был ничем, тот станет всем. Верх стал низом, низ стал верхом. «Как великое странствие и осуществление сокровенной души в мире осталась у него революция». Ключевые слова у Платонова: жизнь, скука, тоска, скорбь, скудность.

Март, солнце, воздух, синицы, небо. Купил альбом Клода Лоррена на Невском. Как выдержать до старости. Даже страшно. Эта потребность в женщине – проклятие. Читаю книгу «Каббала. Тайное еврейское учение», Михаэль Лайтман». Все не о том прозрачная твердит. А как на самом деле? Есть много разных невероятных миров, они ничего не знают друг о друге, у каждого из них свой Творец, свои узоры и калейдоскопы, лавры и тернии, пытливые колбы и пыточные камеры. У каждой камбалы своя Каббала. Выставка в Эрмитаже. Сезанн, вулканический, буро-красная земля дыбится бугром-волной, дом в синеве проваливается. Пикассо, женщина с ребенком на берегу моря, монументальная, глаза закрыты, в руке красный цветок, одеяние волнистыми складками. Море сине-фиолетовое, в приливе, повтор к волне одежды. Шагал, «Белла и цветы», «Розовое кресло», «Зимний вечер в Витебске». Пейзажи его сказочного внутреннего мира. Подумал: если бы все были только художниками и существовали бы только в таких вот сказочных внутренних мирах, каждый в своем, замкнуто, изолированно от всего внешнего, то что бы была за жизнь, как бы жили все вместе? Не знаю. Мысль странная.

Лариса ночью, грустно: «Когда-то ты называл меня среброногой нимфой, а теперь я просто кляча». С утра взвинчен, настроение тяжелое, нервы, крепкий чай. Поссорился с Л.А. Носился по городу, продавал книги, пытался обменять, ничего не вышло. Снег с ветром. Плохо. Всегда один, никого не люблю, никто не любит. В букинистике на Литейном купил Френсиса Бекона. Тает, слякоть, снежная каша. В цветочном купил каллы, три цветка, белые лебеди,

Ларисе. Встретились в 4-м часу, Эрмитаж, французская живопись из Америки и Японии, импрессионисты, постимпрессионисты. Клод Моне: «Тополя», «Стога». Ренуар: «Девушка у моря», «Фрукты юга». Ван Гог: «Фрукты, виноград»; «Настурции».

Бахтин, об эстетической активности и форме. «Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного сочувствия». Постоянное обновление крови, обновление зоркости. Формообразующая сила, иерархия структур, концентрические круги, сферы, бесконечно малые, бесконечно большие. Клетка – микроорганизм, божья активность, творец жизни. Игра демонического воображения, россыпи невероятных фантастических миров. Душа, Урания. Узоры и угрозы стандартизации. «Мертвые души» Гоголя и «Мы» Замятина. Что-то в мире происходит. Куда катится это кровавое колесо?..

Апрель, снег, зима вернулась. Весь день читал Пруста. Звонила Лариса – о Бхагавадгите. Ей не выговорить, смешно, смеялись. Погулял, купил для нее полкило дорогих шоколадных конфет «Чародейка». В кинотеатр «Комсомольский», смотрели японский фильм «Семь самураев». Две серии, скучища, еле досидели, кончился в первом часу ночи.

Май, новая весна, все оттенки зеленого, розового, золотого. Березы мои любимые у нас в переулке преобразились, блеск и трепет юной листвы, еще такой чистой, в голубом воздухе. Смотрю, высунувшись из открытого окна на кухне, не налюбуюсь. И уже слышится тонкий лиственный шум. Вчера весь день дождь, запах берез, тополя, черемухи. Проснулся рано. Лариса еще спит. Наши кровати рядом. Приоткрыл окно – темно, холодно, дождик. Ах, какой запах от берез! Побрился, пил чай, смотрел картинки в недавно купленной книге «Наука о цвете и живопись». Книга веселая, цветная, глянцевая. На обложке море Ван Гога из бело-сине-сиреневых мазков. Собирался поехать к маме, уже половина 11-го. Стал будить Ларису. Она такая забавная, милая, взъерошенная со сна. Уговариваю ее поехать со мной, развеяться, подышать воздухом. Она: «Я бы очень хотела с тобой поехать, быть с тобой, но ведь надо готовить обед, стирать, идти в магазин за продуктами. Нет, не могу». Тут позвонила мама, чтобы не приезжал, дождь вовсю хлещет.

Читал Ларисе «Исэ-моногатари», 10 век, японская проза и стихи. Вздыхала: «О боже, как красиво!» Шум дождя. Сидела в кресле, я перед ней на коленях, целовал ей ноги. Она смеялась: «Ты опять совсем разомлел». Взял на руки, понес в спальню, споткнулся и чуть не упал. Она очень испугалась, что могла разбить голову. Никак было

не снять с нее рубашку. Ее насмешки: «Эх ты, мужчина – раздеть женщину не можешь!» Легли. «Опять у тебя руки как лед! Где ты их морозишь! Пока руки не будут теплые и не суйся!» Пришлось идти греть под краном в горячей воде. Говорит: «Ты все спешишь, у тебя все раз и на матрас. Никакой утонченности и умения наслаждаться». Увы, ведь, значит, так было все 10 лет нашей жизни. Но раньше она говорила: «Любимый, как мне с тобой хорошо, не передать, сплошной восторг!» Да, я думаю, нам нечего ждать, не на что надеяться. Но вчера, в этот особенный дождливый весенний день она мне опять так нравилась, казалась такой красивой, я любил ее как в лучшие наши времена, был нежен и ласков. Она – уже нет.

Куда нам поехать в сентябре в отпуск: на Байкал или на Черное море? И туда и туда хочется. Мучаемся, не решить.

Мою повесть в «Неве» не взяли. Не помогло и рекомендательное письмо Сосноры. Заведующий отделом прозы Самуил Лурье сказал: «Нас всех скорее удавят, чем напечатают такое. И один-то пьяный милиционер – чрезвычайность. А вы уж такое закрутили. Но я думаю, у нас с вами еще выйдет. У вас есть энергия, и для первого раза все это очень здорово, умело и сильно. Приносите еще что-нибудь. Дорогу вы теперь знаете». Я вышел на Невский воодушевленный: сейчас же написать что-то такое, что напечатают. И я выйду в свет, выйду в люди, меня заметят, мою прекрасную прозу, обо мне заговорят и меня сразу признают как писателя. Буду гордиться собой, раздарю журнал со своей надписью друзьям-приятелям. Вот счастье!

Мой максимализм. А мир не любит крайностей, предпочитает средненькое, тускленькое, потихоньку-помаленьку. Какая тоска – вернуться в темную, затхлую пещеру с тенями-призраками жизни на стенах. А там, снаружи, наверху – океаны света и блеска! Громы и молнии! Эта гордыня, одиночество, тяга к самоубийству.

Думаю о моей будущей книге. Приближался к цветущему каштану, он вырастал, поворачивался, шевелил всеми своими лапами и гроздьями, светотенью и солнцем в густой кроне. Так растет призрак ненаписанной книги, когда к ней приближается моя мечтающая мысль. Прекрасный жаркий июньский день. Лариса уехала в Вырицу. Мне на дежурство, сидеть в этом Сенате, сторожить медного Петра. Сейчас бы на лодочке, да купаться, любоваться небом, водой, серебристыми березами-титаншами на берегу. Томление послеполуденного фавна, влекущие тела загорающих наяд на траве. Падение в пропасть вместо полета. Цель книги – сотворить себя неслыханного, утолить жажду жизни, взойти на Вершину, преображение себя на горе Фавор.

В электричке читаю книгу неизвестного автора, оказывается, – про меня! Вся моя жизнь! Когда доеду до последней станции, дочитаю последнюю фразу. Книга кончится. Выйду на платформу – и это будет уже как тот свет. А эта жизнь – всё. Кончена, прочитана.

Встретил Ларису с работы, идем, идем, после дождя, тепло. Мойка, Юсуповский сад, Никольский собор. В этом районе она жила до 1967, до 21 года ее девического. Зашли в собор, полумрак, яркие свечечки трепещут. Священник в золотой рясе, молодой, усы, черная борода, басом поет молитвы, кадит ладаном и кланяется круглой головой иконам. Ходит, мелькает за узорно-сквозными царскими вратами, там, у алтаря. Этот полумрак, ладан, бас священника, Лариса в синем плаще, ее профиль, такая красивая прямая линия носа. Как она была хороша тогда, в начале, в первые наши встречи. Понятно, что я был влюблен по уши.

Пугающая власть этих чар, прирученное электричество. Люблю свою библиотеку, как султан любит свой гарем, ласкаю любимые имена.

Июль, жара, больше 30, как в тропиках. В Вырицу. Ночной разговор в постели. Говорила, что между нами, наверное, все уж кончено, что мне надо молодую женщину, а она состарилась, и ей страшно подумать, что останется одна. Утром я в унынии, а она веселая, обнимает, говорит: забудь; все, что болтала ночью – чушь. Катались на лодке, вверх по реке, забрались далеко, купались, попали под ливень, успели к берегу, под иву, сидим на корме в обнимку, пережидаем.

Что будет? Ловушка, крах. Уймитесь, волнения страсти. Уж не мечтать о нежности, о славе. В эту жару течение времени словно оборвалось, наступил другой образ времени, в другом мире, с другими чувствами и представлениями. Я глух и нем, слеп, ленив, мечтателен. Глуп, ничтожен. Мучают мысли. Надышаться перед смертью – тут-то и ловушка. Прощай, мечта о бессмертном творчестве. Лариса, светлорыжие кудряшки, платье бруснично-розовое в белых цветках, стоячий воротничок, короткие рукава. Посещают голоса. Влюблен в этих великих, бессмертных духов.

Дежурство на мосту Лейтенанта Шмидта. Дождь, дождь. Сижу в будке, Нева, корабли, краны, Гавань. В другую сторону – панорама до Зимнего дворца, Петропавловка.

У Ларисы ночью случился выкидыш. «Славик, мне очень плохо, я – в туалет, а ты последи». Зовет: «У меня родовые схватки». Сидит на стульчаке, голая, смотрит на меня снизу вверх, такая жалобная мордашка: «Ты не охладеешь ко мне, если я тебе покажу то, что из

меня вышло?» Показала на тряпочке в пятнах крови что-то мутно-воскового цвета, скорченное, слепое. «Вот», говорит, «наш ребеночек».

Дом Лаваля, два льва у входа, Нева, теплоходик проплывает в утренних бликах. На той стороне Академия художеств, сфинксы, как у Клода Лоррена. Воображение в книге живет ярче, чем в жизни. Сверхжизнь книги, магический круг. Купил билеты в Армавир, червонец сверху, окошечко, где бронь, девица, золото в ушах и на пальцах, мелкокудрявая. С Ларисой в Русский музей, Филонов, вторник, вход только для художников. Насмотрелся же я Филонова, третья выставка, а был для меня такая тайна, бог, скрытый во тьме, сколько я о нем говорил и как я его любил заочно. Лариса в синем плаще, мне нравится, рыжие кудряшки. Купил Менандра в «Старой книге» на Васильевском. Что у меня в голове? Пора освобождаться от мертвого хлама.

7 ноября, снег. Арка Главного штаба, громадный красный плакат с розовыми силуэтами рабочего, колхозника, интеллигента-ученого, солдата, поперек аршинными белыми буквами: «перестройка, демократизация, гласность». На Гостином дворе другой плакат: на красном с портретом Ленина в центре: «партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». И еще плакат с Лениным: «имя Ленина озаряет нам путь к коммунизму». Поэзия лозунгов.

Поехал на Петроградскую сторону. Метель, мокрый снег хлопьями в лицо, залепил пальто. Дворец молодежи, Песочная набережная, серые, старые домишки, окна горят в темноте. Вот он, облупленный особнячок буро-желтого цвета, трехэтажный, башенки: управление вневедомственной охраны. Нас четверо, пивной завод «Бавария». В Армении землетрясение, разрушен Ленинабад и другие города, погибли сотни тысяч. Дежурю в Сенате, красные флаги с черной каймой.

Проснулся в девятом, темно, декабрь, тускло отсвечивает шкаф, полки с книгами. Рядом со мной откинутое одеяло, смятая постель, Ларисы нет. Почему она вчера перед сном взяла 7-й том Пушкина? Чайник, лиловые лепестки газа. Пузатый утюг стальным носом вверх – тонущий крейсер. Пока пил чай, в окне прошли все градации рассвета. Вот и зимнее утро, вьются снежинки, качаются сучья. Здравствуй, грусть!

Дежурю в своем Сенате, сторожу медного Петра, один здесь. В одиночестве и встречу через четверть часа Новый год. За окном ледяная Нева, панорама зимнего Ленинграда. Всё! Двенадцатый удар! Граница пройдена.

Февраль, метель. Мне 42. С Ларисой на Литейный в центральный лекторий. Творческий вечер Айги. Наконец-то я его увидел. Маленький, хрупкий, худое лицо с бородкой, как у китайца, утонченное. Длинный бурый пиджак. Говорит невнятно, плохая дикция. О Малевиче, авангардизме, французской поэзии, Хлебникове. Одухотворенно читал свои стихи, размахивая рукой.

Прочитал 12 томов Мопассана, сказки Гауфа, Лесажа «Хромой бес», Камю «Посторонний» и «Калигула». Читаю Шадерло де Лакло «Опасные связи». Холод, ветер, март, тяжелые разговоры с Ларисой. Говорит, что теперь уж она во мне полностью разочарована – в моей силе, смелости, благородстве, уме; что я расписывал себя героем и задурил ей голову.

Встал в 9-м часу. Лариса еще спит, голова повязана шерстяным платком, от головной боли. Кошка наша Лоретка вопит, изгибается, первая течка. Вспоминаю, как было у прежней кошки, то же самое – также мучилась, орала, ползала, изгибалась. Та была белая с черными пятнами, и на морде, на носу большое черное пятно, звали Муля. А эта вся черная, симпатичная, глаза такие ярко карие.

Вышел, утро чудесное, солнце, воздух, грудь расширяется; в переулке моя любимая черемуха зазеленела гигантским шатром. Стою под ней, задрав голову, любуюсь. Ветерок покачивает зеленые перышки, прозрачную эту сеть в дымном, прохладном, весеннем свете. И тепло, и прохладца, и пахнет чем-то, свежестью какой-то, теплой, воздушной и терпковатой.

Лариса гладит на столе свой синий весенний плащ. Так хочется к ней приласкаться, и чтобы она мне улыбалась, меня любила и была со мной нежной, и желала моей любви. Но она совсем неласковая, всё болеет, усталая, сердитая. Радио говорило, что в Тбилиси жизнь налаживается, предприятия работают, военные задержали 318 человек и сдали в органы МВД. Лариса надела свой отглаженный плащ и ушла. У нее глубокие морщины прорезались от носа к подбородку. Мы не молоды. Смотрю в окно. Она все-таки обернулась, махнула мне рукой. Очень грустно. Вспоминаю времена нашей любви, наши вёсны, апрели, поездки в Ломоносов и ее тогда, в плаще, в другом, всю в солнечном свете, такую любимую, такую любящую, что сердце тогда щемило от счастья. И сейчас щемит – от горькой грусти. Чувство мелькнуло и нет его. Так и жизнь. И всё-то она, жизнь эта, ткется-ткется из наших чувств, а какие они хрупкие, пугливые, как мало надо, чтобы светлое превратить в темное, радость в горе. Так все и идет, и мелькает, и тянется, и летит. Может быть, я слишком избалован? Ну, куда это годится…

Прочитал Ивана Шмелева «Лето Господне». Ах, какая чудесная, и светлая, и грустная книга! Чистый родник русской речи.

Уже середина апреля. Опять холодно, ветер, тучи. А ночью был минус, ледок на лужах. Лариса простудилась, температура 37,3. Поехал в Вырицу один, копать огород. Печка топится, чай пью. Вот как напьюсь черного, крепчайшего чая – так еще тянет писать. Я все мечтаю написать книгу о моей жизни. Книгу жизни. Но как? Как мне писать? Думать-то легко, а писать трудно, возиться со словами, строить фразу. А пока это делаешь – где мысль, где легкость, где чувство – то, что хотел сказать. Ничего нет. А писать, как пишется, без разбора… это писать ни для кого, просто процесс письма, записи. А для осмысленного письма нужен отбор, система языка и речи. Как же это совместить?

А теперь я читаю Даниила Хармса, томик синенький с золотыми буквами: «Полет в небеса». Прыгает птичка, серенькая, с ярко желтой грудкой. Спокойная и чистая ясность ума и чувств – вот что мне надо для письма. Чтобы не было смятения и бурных страстей, а был бы горьковатый покой и ясность. Хотя это, конечно, частный случай. Пишут-то, может быть, чаще в бурных состояниях, в неистовстве, в страсти, а потом, уже в спокойствии, доводят написанное до искусства. Как же писать мне? Написать книгу, вспоминая всю жизнь моих чувств и мыслей, всю глупость, и всё, и вся? В каком же ключе? Какой выбрать тон? И чтобы я мог выдержать этот тон на протяжении всего письма. А ведь я одно из самых колеблющихся и несамостоятельных существ, раб настроений, внешних обстоятельств, раб всего, что вне меня и во мне самом. Как же быть? Написать короткую вещь, стихотвореньице, рассказик – это да, можно. Но написать книгу большой прозы… Вот я, кажется, хочу считать, что жизнь моя, собственно, закончена, самое интересное, лучшее – все уже было. Макаровка, море, Лариса, мечты о любви и гениальном творчестве, восторги Искусства, Соснора. Все было. Вершина пройдена. Дальше только повторения и снижения, спад, хуже и хуже. Так вышло у Пруста, когда он взялся писать. А разве так у меня? И потом – для чего я буду писать? Для своего удовольствия? Для того, чтобы пережить еще раз, по-иному? Для того, чтобы завершить судьбу и жизнь красиво, в форме искусства, как картину, чтобы можно было посмотреть, полюбоваться и бросить, успокоиться? Для того, чтобы написать иначе, не так, как писали другие? Или для того, чтобы что-то в себе для себя разъяснить, разглядеть, высветить? Я весь текучесть, колебание, раб всего. Так как же мне писать? Как начать? Что?..

Вовсю валит мокрый снег, лавиной, давно уж я не видал такого снегопадища. Вот так апрель. Зима да и только. Погода меняется через каждые три дня.

Вспомнилось, как мы с ней приезжали сюда зимой, топили печку. За окном снег, сумерки. Мы стоим голые, обнимаясь, перед тем, как лечь в постель. Лариса, повернув голову, посмотрела на наше отражение в темном зеркале шкафа, сказала как-то грустно: «Какие мы смешные».

Да, нежизненный я человек, тащусь еле-еле по этой избитой дорожке. Течение этой ткани, ниточки серенькие, изредка мелькнут цветные, яркие, узоры, фигуры. Ткется и развивается, расплывается, пропадает. Что остается? А как запечатлеть, претворить в книгу? Психопат с тоскливым, загнанным взглядом и опущенными руками. Вокруг любой, самой малюсенькой трудности накручиваю ком мучений, снежный ком. «Ложись и умирай» – как говорит мама. И действительно, куда мне деться от жизни – только смерть. Мучаюсь из-за всего: когда с людьми – от людей, когда один – от одиночества. Я только жалуюсь и плачу, как ребенок. И нет никаких сил и желания жизни. Будет все хуже и хуже. Пропасть бы куда-нибудь, чтобы они меня больше не видели и я их.

Сыро, туманно. В Эрмитаже старинная японская живопись, на Литейном – Анатолий Зверев. Сны, раздор мечты и действительности, бедняга Пискарев. Запастись впечатлениями. Я теперь понял себя и ничего уже не жду. Все в прошлом, все яркие минутки. Это уже непреложно. Прочитал Яна Парандовского об Уайльде «Король жизни». Переставлял книги в своей библиотеке. Древнекитайская философия, два желтеньких томика. Коран, недавно купил. Сегодня целый день один в квартире. Слабая психика, замкнутый мирок. Чахнуть в своей скорлупе. Темный поток, скучный шепот чтеца. Писать для славы? Жажда признания, гром рукоплесканий всего мира? Новое слово в литературе? Смешно, мышка в норке, тварь дрожащая. Взгляд из космоса: земля с горчичное зернышко, райский садик, Адам и Ева под мировым древом, червь точит яблочко познания, добро и зло. А древо жизни вечно зеленеет. И ель сквозь иней. Кораблик плывет, а кто-то каждые сто лет меняет на нем капитанов. Новый капитан рулит на новом пути, открывает новый Свет.

По всему городу искал Фета. Заходил во все книжные магазины, в Старую книгу, книгообмен, по договорным ценам. Нигде Фета нет, ни в центре, ни на Васильевском, ни у нас на окраине. А дело все в том, что в субботу утром после ночного дежурства поехал на Таврическую улицу в клуб книгообмена, там я увидел Фета, новое издание,

библиотека поэта, большая серия, темно-зеленый том с золотыми буквами. И почему-то не взял. А и стоил-то десятку. А ведь зимой мне так хотелось его достать. А тут – затмение какое-то. Безразличие. Как сомнамбула. Так и ушел. А на следующий день спохватился. А уже поздно. Очень страдал, ведь в руках, можно сказать, был. А книга редкая, первый раз ее видел, и вот… Черт затмил разум. Свалял грандиозного идиота. Обидно до слез. Ведь это самый любимый мой поэт. Как же так. Целый день носился по городу, искал, как ищут любимую женщину. Да что душу травить. Не видать мне эту книгу как своих ушей. Надо смириться. День пропал в бесплодных поисках. А день был чудо, солнечный, теплый, синий. Как мне утешиться! Ничего, все пройдет. Я совсем как ребенок.

Сегодня нашел Фета, в книгообмене, в клубе на Таврической, недалеко от собора Растрелли. Еще купил там Шекспира, двухтомник, за 38 рублей. Дороговато, конечно. Но что деньги? Мусор. А книга – такая радость! Может, завтра умру, хоть сегодня порадоваться. Цветет сирень. Читаю Джека Лондона «Морской волк». Мощно. Современность – выборы в депутаты, теледебаты, митинги, оппозиционные союзы и объединения, гласность. Как бы не дошло до гражданских смут. В Ленинграде депутатом в верховный совет выбрали Иванова, старший следователь, борец с мафией, говорит: нити ведут в правительство.

Июнь, жара. Проснулся в 10-м часу. Лариса уже давно встала, после ванны, в своем стареньком розовом халате, голова мокрая, в кудряшках. Пьем чай, индийский, горячий. Говорит мне: «Ты сейчас улыбаешься, как Пан у Врубеля. У тебя морщинки у глаз, не одна я старею, а глаза такие светлые, мудрые, добрые. Спрашивает: «Ну, ну, скажи, как ты меня любишь?» Отвечаю: «Постоянно хочу тебя обнимать». Смеется: «А я хочу, чтобы ты всегда хотел меня добывать». По радио передают: в Челябинске крушение двух пассажирских поездов, от взрыва газа, прорвался газовый трубопровод. Множество жертв. Трагедия. Объявлен траур. А у нас любовь, нежности. Выходим. Сколько воздуха, света, тепла, голубого неба! Ветерок, дрожат легкие тени ветвей. Облака тают в блеске неба. День ослепительный, счастье. В такие жаркие, полные света дни кажется, что жизнь бесконечна, словно залитый солнечным сиянием простор. Лариса в голубой кофточке с белыми ленточками на груди, в темной юбке. Я говорю ей: «Вот бы нам с тобой идти сейчас по длинной-длинной, бесконечной аллее кипарисов, огромных, огромных кипарисов». И мы стали вспоминать наше прошлогоднее путешествие на Черное море. Прощаемся, ей к метро. Как мне хочется написать книгу о нас, об этой нашей с ней жизни.

Пасмурно, прохладно, как перед дождем. Персидская сирень, уже осыпается, синички снуют в листве. Я все думаю о жизни и об искусстве. Все это, наверное, пустые мысли. Все хочется найти универсальный инструмент, творческий принцип, философский камень, формулу мира. Что неизменно, а что меняется. Круг и калейдоскоп. Смещается центр тяжести, акцент, доминанта. Хватаюсь за соломинку слова, соломки слов подстелить. Лесковский Левша, хочу подковать силлогизмами Пегаса-молнию. Гоголь – блеск, Лермонтов – демон, Блок – музыка, Эдгар По – ужас. Гении – вспышки на солнце сознательного человечества.

Полдень года. Сижу на кухне у раскрытого окна, чай. Вне пространств и вне времен. Синюю беспредельность перечеркнула молния стрижа. «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок. Предо мной ты чертила блестящий песок». Тополиный пух летит. Свобода от желаний. Вот всё – кончаются мои минутки вечности. Труд невозможен. Я не люблю труд, никакой, значит, ничего и не сделать, заметного. Мысли рвутся, одиночество сознания, замкнутого в скорлупке самодостаточности. Мечта о форме, Ом, первоначальный звук. В начале было слово… Всё Слово каждый раз сосредоточено в одном единственном стихотворении, даже в одной строке. «Открылась бездна звезд полна», «И ель сквозь иней зеленеет», «Роскошь крошеной ромашки в росе», «Лакеи качали в бокалы коньяк». «Не шуми ты мати зеленая дубравушка». Лучи духа сгущаются в слово. Эдгар По, главная тема – утрата прекрасного. Мифы, легенды, сказки о жизни. Удовлетворение формой, знаком качества.

В Эрмитаже Поль Гоген, из музеев мира. На улице в кассы очередь – миллион человек. Я через выход, как всегда делал, там тоже касса, кассирша билет не дает. Я ей: «Пожалуйста». Показал красную книжицу милиционера. Дала. В залы, с Полем Гогеном больше часа. «Королева», коричневая красавица, из Нью-Йорка. Потом на Балтийский вокзал, к маме, в Можайское. Дождь. Со мной книга «Античные гимны».

С утра и весь день дождь, дождь. Сказали: дождь в день свадьбы к счастью. Все-таки оформили наши десять лет в загсе. Не замечаю дат, чисел. Оказывается, 1 сентября. Лариса в свадебном платье, красивая. Собрались родственники, друзья, застолье, танцы. Лариса веселая, порывистая, зажигательная, много танцевала, старалась всех развлечь, чтобы не было скучно. Потом, когда все ушли, страдала, спрашивала: «Я себя нехорошо вела, вульгарно?» Успокаивал.

В Русском музее выставка Кандинского. Собираемся в санаторий. Поэзия – та же математика, правила игры заданы. Вагончик, сдал макулатуру в обмен на том Экзюпери. Октябрь, ветер, холод, дождь. До отпуска 4 дня. Улетаем в Анапу, Дом отдыха. А нас запугали: там в октябре штормовой ветер, холод, песок летит, никакой растительности, прескверный городишко. Думал о природе слова. Тройственность. У слова есть тело, душа и дух. Стих – ритм. Ритм – это уже чистый дух. Усложнение и упрощение – вечный маятник.

Еле проснулся, темно. Рассветет ли? Безразличие. В этом декабре. Сегодня особенно неприятно видеть и слышать людей. А уж их прикосновения – отвратительно. Поэтому и не хочется на улицу, в транспорт. Это все от крепкого чая, на меня так чай действует, так, что нервы мои возбуждаются до болезненной восприимчивости. Пошел в баню, в сауну, сидел в кабине с сухим паром, пот ручьем. Смыл грязь за весь год. Возвращался через парк, легкий, как перышко, летел. Вот и весь день. Опять темно.

Год начался с несчастья: сгорела наша дача. Это было заветное место – место спасения, место, где нам с Ларисой было лучше всего, куда мы сбегали. Вот уж удар, так удар. Лариса с Лидией Андреевной сегодня с утра поехали туда. Я не могу, мне на дежурство. Прощай, Вырица, сосны, ели, речка, лодка, березы-великанши на берегу, купанье летом, зимние радости вдвоем, у печки, в тишине, музыка, старенький проигрыватель, пластинки с романсами.

Февраль, темно, оттепель. Мне 43. Какие итоги, какие надежды? Неудовлетворенность, ничего не делаю, что надо делать. Были с Ларисой в Вырице, на пепелище нашей дачи. Разрывали кучу битого кирпича, углей, глины, досок, нашли ключик от времянки. Удача! Поужинали, бутерброды, чай в термосе. Уже и темно. Шли обратно на платформу, ели-великаны в снегу, звезды. В городе смутно, неформалы, депутаты, перестройка, митинги, дебаты. Достал Шарля Нодье «Читайте старые книги». Радость!

Семечко прорастает, пустота заполняется. Эта тема летит ножом к новому, еще неизвестному горлу, захватывает вокруг себя, как комета, все, что попадается на ее пути, и преобразует в форму своего стального тела, чтобы наиболее полно реализовать свой блистательно предначертанный путь. Имя этой темы знает тот язвительный призрак, рокочущий про то, про это.

Март, в Манеже выставка Михаила Кулакова, из Италии. Тот самый Кулаков, друг Сосноры. Ему 57. Моложавый, стройный, красивый, в черном артистическом балахоне, подпоясан, большие

белые манжеты, похоже на форму каратеиста. Он мастер карате. Волосы седым серебром, зачесаны назад, подстрижены скобкой. Лоб большой. Вокруг него молодые женщины. Говорит им о своем методе. Ясно, твердо, звучно, уверенно. «Малевич – физический геометризм. Я – психический экспрессионизм, мое открытие – спонтанность воли в мазке, в краске, сталкивающаяся с природной необходимостью, жесткостью природных форм». Говорил долго, целая лекция. Еще что-то об импровизации, вспышка интуиции, оформленность создается лишь вокруг пламенного ядра, там, где плазма остыла. Картины на стенах. Мотивы Данте, круги ада. Портрет Сосноры, копия того, что у Сосноры в квартире.

Ни дня без строчки. Приказ: «За стол!» Звезда падает, чертя уклонную черту. Больше ждать нечего. Никаких надежд на будущее, достижения, свершения. Книгу надо закончить. Исчерпать эту тему. Хочется написать нечто громокипящее до того, как сдохнешь. Как строить фразу, чего добиваться. Что тебе от нее надо? Приникнуть к центру силы. Мировой центр, пуп Земли, камень Алатырь, остров Буян. Там зарыта голова Орфея, от нее непрерывное излучение первичной поэтической силы. Глубинная Книга, голубиная, в форме гигантского граненого шара из горного хрусталя, этот шар крутится; луч внимания зажигает то одну, то другую грань. Все грани сразу не охватить, в целом, как Целое. Переплетения, вязь, вень, рост и крах структур. Это в потоке. Там просветы, вспышки прозрений. Ты – носитель активности, радий, хищный глазомер, блеск этой свободы новшеств. Магия гоголевской «искры, одетой холодом». «Чуден Днепр» и т.д. Мольба Тютчева: «О небо, если бы хоть раз сей пламень развился по воле…». Хлебников – Лобачевский взрывчатых кривых языка. Последняя ступень отброшенной лестницы, седьмая, мощь эго, полет голоса-сокола. Разрывы узора, шаманство. Дух новшеств бурлит в крови, в слухе, в глазе. Родник силы в народном слове. Голос орфической головы Вселенной звучит, не смолкая, в заговорах: «Кто из лугу всю траву выщиплет и выест, из моря всю воду выпьет и не взалкает, и тот бы мое слово не превозмог, мой заговор не расторг». Смыслы, вместо того, чтобы становиться в смиренный ряд, разят насмерть, рана еще дымится. «Глубокая в груди чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей». Речь течет в одну сторону, заклятая и проклятая. Разве повернуть эту реку обратно, детской скороговоркой, палиндромом рака и рока? Звуки перекликаются в темном лесу словаря, ищут родственные души созвучий.

В зеркале лицо еще молодое, губы свежие, глаза чистые. Только вот под веками голубые круги, лоб в морщинках, в волосах

серебряные нитки. Ну не старик же еще? Ведь не старик? На сорок три никак не выгляжу. Вспоминаю: вот также разглядывал себя в зеркале в 16 или в 18, в сумерках комнаты, лицо юное, несчастное, страдальческое. Что же они меня не любят? Скажи, что делать мне с тобой, недостижимой и единственной?.. Этот идеализм неизлечим. Молод – голод, неутолимый. Весной заметней уродство, понятно, ведь стало светлей, вот и видишь вокруг: рожи, морщины, синие носы, беззубые рты. Вчера мы с Ларисой опять побывали на пепелище нашей сгоревшей дачи, разгребали груды мусора, угли, горелые доски, кирпич. Нашли пластинку с романсами, обугленную, оплавленную, валяется в куче других погибших вещей. Приезжали зимой, топили печь. Перед тем, как лечь, слушали цыганские романсы. «Уйди, совсем уйди, я не хочу свиданий». А за окном темно, сосны в снегу. А в натопленной комнате под ватным одеялом так хорошо спится. И мы еще не старые, еще не совсем растратили нежность. И вот всё сгорело. Всё, всё.

Плакала, что не хочет стариться, что мне не нужна, что я ее не люблю. Оба мы беспомощны и беззащитны. Два сапога пара. Нервы-ниточки, чуть дунет жизнь, трепещут осинкой. Ночные разговоры, незаживающая рана. Почему она все видится мне в том зеленом плаще ранней весной, в Ломоносове, улыбающаяся, любимая мной тогда с пронзительной нежностью. Она ждала на ступенях, там, где подъем на горку. А я бежал к ней из магазина, через дорогу, с покупками, бутылкой вина, кульком конфет, булкой. Ах, как по-весеннему, по-апрельски шумела там бурно бегущая вода в канаве, пели птицы, сияли лучи, синело небо. И сам воздух пах таким невозможным счастьем. Мы пошли в парк, там художники в аллеях продавали свои акварели, разложив их на скамейках. Эти картинки казались нам такими ясными, чистыми, веселыми, как звонкая трель чижика над нами, на припухшей почками ветке клена. Мы были молоды, влюблены, счастливы. Еще помнится лето в Толмачево, под Лугой, дом отдыха, назывался «Живой ручей». Внезапная гроза средь бела дня. Ох, как мы вымокли тогда, пока бежали двадцать метров от столовой до жилого корпуса, вдвоем, под лоскутком зонта, на который обрушивался водопад июльского ливня! Только заскочили под навес на крыльцо, ливень перешел в град. Брызгали, расшибаясь и шипя, ледяные градины. Еле открыл лихорадочным, лязгающим ключом дверь в номер. С нас текли потоки. Смешно-то, смешно, только мокрую одежду никак было не стащить, прилипла к телу, скользкая, холодная, как резина.

И чем случайней… А я и сам не хотел… Нет, послушай, что получается. А ничего не получается. Зачем это? Ритмическая речь, танец слов. Зачем приподнимать над землей то, что прекрасно только на самой земле? Лучше сказать просто: «камень». Еще лучше ничего не сказать, а показать сам камень. Слово болтливо. Чума словесности. Мир зачумлен словесностью. И ты туда же. «Укажет будущий невежда /На мой прославленный портрет /И молвит: то-то был поэт!»

На улице уже светло, воздух свеж, и веточки берез отчетливым узором, с рожками. Что ж, вторая неделя марта. Ледок похрустывает, а местами асфальт и совершенно сух, бурый. Пока иду до метро и совсем рассветает. А ведь шесть месяцев, всю осень и зиму ходил утром в полной тьме. А теперь светло, март. И будет все светлей, с каждым днем. Вдоль дороги к метро выстроились киоски, появляются за стеклами первые торговцы-грузины и девицы с нарисованными щеками – продавщицы гвоздик.

Воскресенье. Встретились с Ларисой в два часа дня у райкома партии, она там дежурила. По всей стране проводится референдум, голосование: кто за Союз республик, а кто за отъединение. На здании белыми аршинными буквами по красному полотнищу: «Участок голосования. Все на референдум». Лариса предложила: «Давай погуляем. Только надо что-нибудь перекусить. Тут недалеко пирожковая». Спустились по ступеням в подвал с тусклым электричеством. Поблескивают пустые столы. За прилавком полная блондинка в фартуке. Пирожки с изюмом на блюдце и по стакану кофе. Стало повеселее.

Вышли на канал Грибоедова. С крыш капает, в небе проглядывает синева. Лариса показала дом, где жила, трехэтажный, желтенький. Вздохнула: «Ах, как давно все это было! Трамваи будили». Никольский собор сияет куполами, позолота чистая, только-только обновили. «Как я любила здесь гулять с бабушкой! Она всегда брала меня с собой в церковь» – говорит Лариса. Зашли и мы внутрь собора, полумрак, воском пахнет, свечки потрескивают. День преподобного Иоанна Лествичника.

Идем дальше, под сводами, стены обшарпаны, кирпич красный, оголился. Что тут было? Торговые ряды, как Апраксин двор? Девочка махала рукой, и черный пудель, радостно рявкнув, взлетал одним прыжком на кирпичный парапет и оттуда громко лаял, требуя новых приказаний. Лариса продолжала вспоминать свое детство-отрочество: «Я любила болеть. Поправлюсь, а в школу еще не надо. И идем с бабушкой гулять или в кино. Ох, мы с ней тогда все фильмы пересмотрели!» У Балтийского вокзала киоски кооперативов, товары

для женщин. Лариса смотрела зачарованная, не оттащить. Коробочка с акварельками, оказывается, импортная косметика. 300 рублей! Бедные женщины! В магазине купили две палки колбасного сыра, из Латвии, в плотной коричневой обертке, как поросята. Я их держал в руке за хвостики веревок.

Вспоминаю, видение детства: наш двор, снег сырой, мягкий, лепился. Улица безлюдна, голые деревья. Мама вышла из дома с помойным ведром, выплеснула у тополя. Сказала грустно: «Вот и вечер. Ах, я люблю такую погоду, когда сыро и туман!.. Ноги-то у тебя мокрые, шел бы домой…». Ушла в дом, скрипнув дверью. Тишина. Стою в начинающем темнеть, влажном тумане, смотрю в сумерки, думаю: «И как же это я умру? Ведь это же я…». Помню, страдал, что я в классе самый маленький. Мучил маму: «Неужели я таким и останусь?» Мама утешала: «Дурачок. Вчера ты спал на диване, а тетя Лида сказала: «Какой у тебя Славик красивый, брови как нарисованные». «Правда?» – обрадовался я и пошел смотреть в зеркало. В широком зеркальном прямоугольнике отражался двенадцатилетний мальчик с очень миловидным лицом. Он мне понравился. «Но почему же тогда девочки других любят, а не меня!» – горестно думалось, и душил мучительный комок в горле. Хотелось плакать. Еще помню: внесли сверток, положили на кровать. Мама отвернула кружевной уголок, сказала: «Теперь у тебя есть сестренка». Вижу: сморщенный красный комочек в смешном чепчике, спит. Отец щелкнул меня в затылок: «Смотри, смотри! Конфет-то тебе теперь меньше достанется!» Потом, когда сестра Леночка подросла (младше меня на четыре года), я придумал игру: сестра ходила по комнатам и собирала в корзинку спрятанные мной по углам, под стульями, под шкафом кусочки булки с вареньем. Варенье вишневое, в косточках, по три ягодки на кусок булки. Я говорил: «Это мы с тобой грибы в лесу ищем. Сироп от варенья растекался по полу липкими лужицами. Мама с ремнем бегала за мной вокруг стола. Было больно и обидно. Лепили у нас на огороде снежную крепость. «Ты мой гарнизон» сказал я сестренке моей Леночке. «Будем отбиваться». Соседские мальчишки, Мишка и Гошка, начали штурм. Снежок попал Леночке в глаз. Она заплакала. Глаз распух. Мама очень меня ругала, боялась, что Леночка ослепнет на этот глаз. Делала ей примочки. Обошлось. Еще помню, мы уже подросли, придумал приключение, поехали на лыжах в поле. А метель началась. Я говорю сестре: «Мы путешественники. Надо привал сделать, переночевать». Вырыл в сугробе нору, наломал торчащих из снега стеблей, постелил. Лежали, тепло, уютно. Хлеб с солью, припасенный мной, оказался очень вкусен. А наверху метель

шумит. Сестренка даже и уснула, не хотела вылезать. Вернулись домой в темноте. Мама опять меня ругала, очень была сердита.

Играли у забора. Соседка тетя Дуся воскликнула: «И чьи это такие хорошие!» Угостила нас с Леночкой по котлете. Мы пошли хвастаться матери. А котлеты-то зеленые! Тьфу! «Отравитесь! Бросьте эту гадость!» закричала мать. А Леночка расплакалась, не отдает: «Хочу котлетку».

От нашего дома дорога спускалась под горку. С краю столетние тополя. Тут мы катались на санках, до темноты и уже при зажженных фонарях. Падали, барахтались, визжали. Помню, сидим верхом на санках, собираясь в очередной раз скатиться. Мимо шли две девицы, для нас уже взрослые, наверное, лет восемнадцать, одна наклонилась к Борьке Крылову (мой ровесник, жил в соседнем доме), потрепала по щеке: «Красивый мальчик!» Другая схватила меня за уши: «А этот-то какой милашка! Так бы и расцеловала!» Загоготали и пошли дальше.

Весной на этой дороге бежали ручьи, мы пускали в них спички и бежали за ними – чья окажется впереди. А еще я собирал этикетки со спичечных коробков, искал их по всем канавам, при этом думалось, что, может быть, я там и золото могу найти. Почему бы и нет.

У нашей соседки тете Дусе жила ее племянница Вера. Было ей, наверное, лет 18 или 19. Она зазывала меня к себе в комнату. Говорила: «Я тебе шоколадку дам, только ты разденься, как прошлый раз». Помогала мне снять штаны и рубашку, сажала к себе на колени, расстегивала кофточку, обнажая пышные, тяжелые груди, прижимала меня к этой своей груди, как младенца, совала мне в рот набухший темно-вишневый сосок, солоноватый на вкус. Вздыхала: «Ах, как я хочу мальчика!» Я замирал, обхватив ее шею руками. Хотелось плакать. Я уже в школу ходил, в третий или в четвертый класс. Школа на пригорке, у подножия холма. Внизу, за школой, под холмом было загадочное краснокирпичное строение, в котором постоянно что-то стучало, а из трубы вился дымок. Предприятие называлось «Пластмасса» и было огорожено бетонной стеной. Там изготовляли линейки. Но нас интересовали не они, а те пластмассовые штучки, которые оставались после вырезки линеек на станке. Ведь не простые это были линейки, а для каких-то воинских дел, для офицеров. Например, из прозрачной пластмассы вырезались внутри различные цифирки и самолетики. Но больше всего ценились у нас штуки из цветной пластмассы – ромбовидные лопаточки на тонкой ножке. Лопаточки были самых разных цветов: розовые, красные, коричневые, зеленые, голубые и белые. Мы ходили за этими сокровищами,

вызывали из-за ограды отца Вовки Зуева (мой друг детства), и он выносил их нам целыми пачками. До сих пор помню, как тогда сердце замирало от восторга.

Сестра моя Лена заболела, на улицу ей нельзя, сидит взаперти, горюет. Вот я и решил ее развлечь, принес ей этих пластмассовых лопаточек, постучал в окно и протянул ей в форточку. Как она обрадовалась! Глазенки так и сияли! А через неделю заболел и я. Принес из школы табель об окончании учебного года, маме показать, похвастаться – без троек. А что-то нехорошо. Смотрю: табель-то желтый-прежелтый. Так я и заболел желтухой.

Еще у меня в детстве-отрочестве было сильное увлечение лепкой. Какая-то маниакальная страсть. От одного только запаха пластилина я трясся от счастья. Все свободное время проводил в этом уединенном, сокровенном занятии: лепил человечков и всевозможных зверушек. Но больше всего я воплощал в лепке свой воинственный дух – создавал из пластилина целые армии и разыгрывал сражения. Прочитав о подвигах Александра Невского, вылепил его на коне, и его дружину, и войско тевтонских рыцарей, и конницу, и пехоту. Латы и шлемы сделал из серебристой конфетной фольги. Разыграл на фанерной доске, как на Чудском озере, настоящее Ледовое побоище. Потом размахнулся на наполеоновские войны. Чуть ли не целый год, прячась то в сарае, то на чердаке (мама не одобряла эту мою всепоглощающую страсть), создавал из цветного пластилина армии всех стран, участников войн той эпохи, все рода войск: и кавалерию, и пехоту, и артиллерию, и флот. У каждой армии, у каждого рода войск своя форма. И все это вылеплено ювелирно, в миниатюрной величине. Сколько работы! Теперь меня на улицу невозможно было выгнать. Мама ругалась: весь дом испакостил. Увы, армия моя жила недолго. Лето было жаркое, в июле все мои солдатики расплавились, превратились в оплывшие цветные комочки. Наверное, во мне пропал дар какого-нибудь Челлини, скульптора-ювелира. К 17 годам эта страсть пропала.

Помню, мама говорит мне: «Поедем к дедушке». Дедушка жил на проспекте Обуховской обороны. Я взял с собой коробку с пластилином, чтобы лепить в пути, в электричке. Мама возмутилась: «Оставь эту дрянь! На один день расстаться не можешь!» Идем к вокзалу, под горку. Оттепель, начало марта. Держу за руку Леночку, сестренку, она еще маленькая. Когда мы спустились к вокзалу по старой деревянной лестнице, я посмотрел на снег и вдруг я его увидел словно впервые. Тающий, свинцовый, в следах ног. Чувство какого-то грустного холода и бесприютности, такое странное и

беспредельное. Потом не раз бывало у меня нечто подобное: вдруг просвет во что-то непонятное, необъяснимое, неуловимое, таинственное. Миг – и опять пелена заволокла тот удивительный пучок света из Несказанного. Мечтал о том, что мне обещала подарить мама ко дню рождения: длинная такая картонная коробка, на крышке нарисованы разные звери. Открываю крышку, снимаю прокладку из матовой, полупрозрачной бумаги. Плотно уложенные бруски пластилина, волнистые. Сколько брусков, столько цветов. Четырнадцать! Такая роскошная радуга в коробке веселит глаз. А если десять таких коробок? А если сто? Вот солдатиков налепил бы! В мундирах всех цветов! И кавалерию – белую, вороную, гнедую, каурую. Уланы, гусары, кирасиры, егеря. И гренадерские полки в мохнатых шапках!

Старая вишня у сарая еще обильно плодоносила, вся была усыпана кистями пурпурных ягод. Я забирался на крышу сарая, покрытую толью в блестках слюды, оттуда перебирался на вишню. Сидел, скрытый в густых ветвях, и лакомился спелыми, сочными ягодами, сплевывая косточки. Вишни темно-пурпурные, почти черные, по три ягоды в каждой кисти. А в теплой синеве воздуха блестели лодочки листьев. Я объедался, рот вязало, и я уже не чувствовал вкуса поглощаемых горстями плодов. Мама кричала снизу: «Эй, дрозд! Не наклевался еще? А ну, живо слезай!» Я показывался из ветвей, и она ахала: «Батюшки мои! На что ты похож! Все лицо перемазано, сам ты теперь, как вишня!»

Глухой непрерывный топот ног, вниз, по ступеням. Подземный зал, мраморные своды, свинцовые колонны. Вагон, освещенный тусклым электричеством, полный заспанных молчащих людей в скучных пальто. Монотонный гул поезда, несущегося в туннеле, постукивание колес, мелькание красного фонаря. Остановка. Автоматические двери раздвигаются. Толпа вываливается и несет меня с собой, вверх по ступеням. Глухой, непрерывный топот ног. Куда? Во мрак? В космический холод? Так каждый день.

Если бы я был только самопишущим пером и бумагой! Писал бы и писал без конца. А я зачем-то человек, все меня отвлекает, дела, заботы, писать некогда. Март, солнце, снег, как мыло. Иду, белизна берез ослепительна, даже больно смотреть, веточки сиреневые, покачиваются в голубом воздухе. У тополей рачьи клешни растопырены. Каштаны выставили черные, смоляные наконечники. Лужи, грязь, дождичек мочит асфальт. Улица Комсомольская, длинная, тихая; старые деревянные дома, ивы нависли, голые, мокрые. Двое

потасканных мужиков, из гастронома, проходят мимо меня, один говорит: «Я это могу только после большой балды».

Человек появляется ниоткуда и исчезает в никуда. Жизнь начинает течь отдельно, самостоятельно, струйкой, ручейком, рекой, потоком. Она, жизнь, несет одинокое сознание. Откуда? Куда? Кем брошенное в этот поток? Зачем? Сознание сироты в мире. Родители, родина, страна, друзья, жена, дети – что это все одинокому человеку? Одинокое, несомое потоком сознание, отмечает свой путь, свидетельствует себе – где оно проплывает, в каких местах, что притягивает, что отталкивает. Желания иллюзорны, привязанности рвутся, облики тают, видения в тумане. И опять ничего, абсолютно ничего, только поток в пустыне, несущий тебя – откуда, куда? В миражах истории, мифов, времен. Как бы горячо не желал, как бы крепко не любил – оканчивается путешествие сознания в этом мире. Свет гаснет. Угрюмый голос говорит: «Кина больше не будет».

Наука говорит, что мир как-то там устроен. Планеты, атомы, мозг, нервы. И что мне от этого? Лично мне? Кем устроено, зачем? Для меня это не существенно, мне абсолютно все равно, как устроен мир. Я всего лишь присутствую в нем на время путешествия моего сознания. Но мое присутствие равно отсутствию. И я сам не знаю: присутствую я здесь или отсутствую. Может быть, я больше отсутствую, чем присутствую. Вот почему мне решительно все равно, как устроен мир и что в нем делается. Сознание брошено в мир и оставлено само на себя, оно действительно сирота в этом мире. Его связи с миром – видимость. Нет ему мер и нет подобий, нет оценок. Оно – сияющий призрачной чернотой кружок зрачка. Убрать это одухотворенное сияние – остается зияние, дырка в черепе. Оно всего лишь перестает быть.

Боль в затылке, ничего не помню, кто я, откуда, как оказался здесь. Побрел, бурые комья глины. Река текла, черная, торфяная, медленно и неумолимо, пузырьки возникали, плыли, увлеченные течением. У берега они, как бисер, облепили омываемое потоком искривленное корневище старой ольхи. Ольха наклонилась, готовая рухнуть, дрожали сухие сережки. Мелкий дождик принялся клевать воду, пускать по ней круги. Так текли мои мысли, мутно и неумолимо, куда-то текли. Всплывали со дна сознания и вились пузырьки слов, лопались, не оставляя следа. Я шел и шел по рыхлому, непрочному берегу с чахлыми деревцами ольшаника и ракит. Босые ступни увязали и чавкали в бурой жиже. А в мозгу, ударяя мерным молотом в череп, стучался голос унылой крови: «Где твой дом, Адам? Где твой дом?..»

Я шел у самой воды по песчаной полоске. Торчали ракушки, словно бы что-то беззвучно говорящие полураскрытыми створками перламутра. И тут я услышал собаку. Вислоухая, заросшая черной, паршивой шерстью, псина, поскуливая, летела ко мне со всех своих четырех лап, ткнулась мордой мне в ноги. «Черныш!» обрадовался я. «Соскучился? Да откуда ты взялся?» Я гладил голову друга с преданно сияющими собачьими глазами из-под клочьев густой шерсти. Черныш, взглянув на меня, опять ткнулся мордой мне в ноги, посопел и затих. Только хвост продолжал мотаться туда-сюда. «Ах, Черныш, Черныш… Ты же голодный. А у меня сегодня ничего нет».

Черныш меня вел, и я заметил, как блеснул рельс. Железная дорога пересекала равнину. Вот и переезд, шлагбаум в полоску и дальше лента шоссе. Недалеко от переезда я увидел двухэтажный деревянный дом. Желтая краска поблекла и отставала, оголяя дерево. Забор, калитка открыта. Я прошел во двор, поднялся на крыльцо, дверь не заперта. Попал в коридорчик, там валялся всякий хлам: ржавые ведра, тазы с отбитой эмалью, соломенные корзины с проломленным днищем, кучи тряпья, мотки ржавой проволоки. В углу две мотыги и лопата с присохшей глиной. А на полках до самого потолка стояли батальоны пустых бутылок, одетых по горлышко в пыльные шинели. Обнаружив еще одну дверь, потянул за ручку. Дверь жалобно застонала и открылась. Переступив порог, я очутился в полутемной комнате. Там, спиной ко мне стояла у окна женщина. Она была в плаще, волосы подобраны под берет кофейного цвета, только у затылка над хрупкой обнаженной шеей золотилась на свету прядка. Женщина обернулась, ее бледное грустное лицо показалось мне почти знакомо… Допотопная радиола на тумбочке, хрипя, кружился диск пластинки и рыдал цыганский романс: «Уйди, совсем уйди, я не хочу свиданий, /свиданий без любви и ласковых речей». Иголка застряла, бесконечно повторяя одно и то же, мучительно растягивая слога: «ла-а-а-сков-ых ре-е-че-ей…».

Апрель нас радовал. Я просыпался, солнечный свет проникал сквозь шафранные шторы. Однотонно посвистывали синички. Вдруг раздавался крик чайки и ее быстрая тень проносилась вкось по экрану шторы. На кровати у противоположной стены спала Лариса, спиной ко мне, завернув голову одеялом, сладко посапывала. Я вставал со своей постели, подходил к окну, отдергивал штору. Солнечный свет затоплял комнату. Лариса издавала недовольный возглас, из-за одеяла показывалась ее взъерошенная голова и розовое от сна лицо. Я распахивал дребезжащую стеклом балконную дверь и выходил на площадку, огороженную перилами. С высоты пятого этажа

открывался вид: рыжие стволы сосен, освещенные солнцем, сквозь них призрачными бликами играло озеро. Весь день гулять по дорожкам в лесу и по берегу у сияющей воды, где с шумом взлетают утки и селезни. А вечером, когда темнело и сосны за широким окном становились совсем смутные и черные, мы зажигали лампу и читали в креслах, каждый свою книгу; или играли в дурачка в карты. Обычно дураком оказывался я и очень сокрушался: «Как мне не везет, ни в чем, ни в чем! Какой я несообразительный!» Так славно мы проводили отпуск в этом доме отдыха вдвоем в номере.

Но хорошая погода продолжалась только неделю. Сегодня я пробудился позже обычного, сонливый, и сразу почувствовал: что-то не так. В комнате тускло. Отдернул штору: да что же это там! Сосны в снегу, сумрачно. И хлопья падают, вьются. Вышел на балкон, пахнуло сырым холодом. Протянул ладонь: снежинки. Когда я возвращался с балкона, вступая внутрь комнаты через раскрытый проем, я еще раз увидел этот зимний пейзаж, такой сумрачный за моей спиной, отраженный в глубине широкого зеркала, и себя на фоне заснеженных сосен. Странный вид и ощущение смутного и незнакомого.

Весь день пасмурно. Гуляли. Бело как зимой. А ведь апрель, восемнадцатое. Туманное озеро внизу, над мглистой водой летят клочки пара. На заснеженной ветке звонко распевает чижик. Подождал, пока я пройду, опять надул горлышко и еще звонче пустил трель. Выглянуло солнце. Реют в воздухе и переливаются блеском тончайшие золотинки снега. Такое чистое чувство! И чижик…

Каждый день читаю вслух, по две-три главы взятую с собой книгу: «Жизнь Иисуса Христа». Автор – знаменитый английский богослов Ф.В. Фаррар. Лариса завороженно слушает. Книга в черной обложке с золотым тиснением, белизна листов идеальная, отливает голубым. Шрифт с ятями, Санкт-Петербург 1893 год. Новейшее переиздание, пахнет типографской краской. В руках чудесная тяжесть раскрытого тома. Звучание фраз торжественное, мелодичное и проникновенное. Даже глухота моего голоса тут кстати. Славное у нас получается чтение. «Ну, начинай!» – каждое утро, после чая, с нетерпением говорит Лариса. Жаль, что книга не вечна, хватит ли ее хотя бы еще на семь дней…

Ощущение светоносности! Апрель, облака и синева неба сквозь верхушки берез и сосен. Капли с крыш звучно стрекочут. Просохший асфальт дороги, движутся блики. Однообразие жизни в пансионате.

Вернули название «Санкт-Петербург». Странно уху, привыкшему 70 лет слышать «Ленинград».

Чай лучше пить из стакана, только не грубого, граненого. И чтобы стекло было тонким, безукоризненно прозрачным, без единого пятнышка. Тогда цвет чая весь виден, густо шафранный в тени, а на солнце играет чистым рубином. А вот фарфоровая чашка хороша сама по себе, но чай в ней глух, замкнут. Чай-пленник. И только когда его остается не более трети чашки, он начинает играть с белизной фарфора, качаясь, золотится, как морской отлив, и показывает уже близкое дно.

В поезде я читал книгу Ренана «Жизнь Иисуса Христа». Взглянув в траурный квадрат рядом со мной (окно!), я ничего там не увидел, кроме чужого напряженного лица с двумя резкими поперечными морщинами между бровей, и все-таки это, несомненно, был я собственной персоной. Поезд затормозил, двери с грохотом раздвинулись, в вагон ввалилась толпа ватников, рюкзаки, сапоги, ведра. Две цыганки, заняв скамью передо мной, громко затараторили, плюясь шелухой семечек и блистая золотыми зубами. С ними цыганенок; соскочив со скамьи, принялся плясать в проходе, вскидывая ноги во взрослых сапогах, издавая при каждом коленце пронзительный визг и барабаня ладошками по голенищам.

Пока пишу фразу, она обессмысливается, не нуждаясь в окончании, как хвост поезда, теряющийся в пурге. Написать бы одну страницу и плюнуть на это пустое занятие. Инерция начатого движения ведет руку слева направо, выводит буковку за буковкой, заполняет пустоты. Улитка ползет быстрее, чем кончик моего отточенного пера. Сейчас мне сорок четыре, если проживу еще тридцать, получится страница за жизнь.

Кленовый лист, слетев с сука, планирует к земле, прибавляет лоскут к роскошному октябрьскому ковру. Смотрю из раскрытого окна моего третьего этажа. В прозе, как и в поэзии, ценю прежде всего то, что можно бы назвать «музыкой». Но, конечно, не внешние ее признаки, не только ритм и не столько ритм, а нечто большее, саму душу музыки, нечто невыразимое. Жил как жил. Унылость, меланхолия. Надежды на счастье. Что же было на самом деле, было действительно? Что только и можно назвать жизнью? Всплески неожиданного? То, что ослепляло? Ослепительный миг? Сколько-то таких ослепительных мигов. А все, что потом – нежизнь. Отчаяние… Постоянное одиночество, безысходная внутренняя жизнь, трудность и иллюзорность любого общения, искушение самоубийства.

Отчего такая тоска к ночи? Страшно смотреть в окно. Что там увидишь, кроме мрачного автопортрета на черном фоне, в грубой деревянной раме, в ореоле торопящихся к гибели капель?.. Такое

пристальное вглядывание в свою внутреннюю жизнь, в этот прерывистый пульс, ритм взлетов-падений, радостей-горестей, замкнутость на себе, разве это не эгоизм? Эгоизм, эгоизм, матерый. Вернее, эгоцентризм. Тревога, растворенная в воздухе.

Встреча с Леной, сестрой, на Балтийском вокзале, у расписания поездов. Располнела, бледная, усталая, глаза блестят, накрашенные губы, разговор о суде. Петергоф, автобус 525, багровые клены, отражения в черной воде канавы, церковь, каменное узорочье, улочка, засыпанная листьями. Желтые дома, башенка с петушком, мглистый денек. Здание суда, сидим на скамье, ждем. В коридоре шныряют девицы с бланками, из двери в двери. Напротив нас на скамье еще двое посетителей: женщина с зонтиком на коленях и парень в кожаной куртке. Зал заседаний номер пять. Парень время от времени вскакивает и заглядывает в эту дверь. Появляется громоздкая старуха в плаще цвета асфальта, из-под черного гриба-берета торчат седые космы, под носом багровая бородавка. «Врагиня!» – хмуро говорит мне сестра. Возникает секретарша с папкой, развернув ее, называет фамилию сестры и приглашает войти. «Врагиня» (сестрина свекровь) уже там. Я порываюсь за сестрой, секретарша меня останавливает: «Свидетелей просим пока посидеть здесь». Я сижу. Один. Из коридора все исчезли. За дверью скрипучий голос врагини-свекрови – чернит сестру, не стесняясь в выражениях. Сестра – страстное возмущение, гнев. Холодные реплики судьи, вопросы. Сестра предъявляет какие-то документы. Долгая тишина, шорох бумаги. Сестра выходит, лицо в пунцовых пятнах, глаза мученические. Отложили на февраль.

Первая метель. Ветер задул жуткий, пронзительный. Кучи листьев с сухим шорохом, как волчки, крутятся на дороге. Небо такое, что и смотреть на него не хочется. Да еще и мокрый снег повалил. Как говорится – совсем мрак. На нашем тополе во дворе листья, наполовину зеленые, поникли, залепленные снегом. То один, то другой листок срывается и шуршащей лодочкой скользит вниз. Холмов не видно, тонут в пелене ненастья. Этот пустой шум опять спугнет что-то чуждающееся слов, невыразимое. В кухонном окне сквозь мутную испарину вижу соседний дом с шиферной крышей, густо засыпанной листьями с облетающих тополей. Протираю ладонью, яснее, яснее. Тополя не шелохнутся. Вот один лист срывается, наконец, словно не выдержав затяжного молчания, и плавно описывает задумчивый знак для каких-то меланхоличных глухонемых.

Мама возится у котелка, уголь не разгорается. День был и померк. Снегу навалило, двор чистить. Сорока, пролетая, задела ветку. Сон оборвался, словно негатив. И правда, что это я? Разве я могу просто смотреть на вещи? Сухие стебельки засыпаны снегом. Телефонная будка у вокзала. Да что же это такое! У меня какой-то удивительный талант: из всего могу сделать трагедию, из любой мелочи. Как говорится в книгах: «Он воспринимал жизнь трагически». Как я сам себе надоел!

Буран утих. Школа, бывшая финская кирха с ржавой башней, флюгер поскрипывает. Стаи ворон, каркая, мечутся над соснами. На лыжах. Здесь тишина и мое одиночество. Смотрю с вершины холма на далекую, затуманенную идущим снегом равнину. Неудержимое искушение ринуться вниз. Почему-то верится, что сразу же за спиной вырастут крылья и понесут, понесут в туманных, мутных высотах над зимними полями.

Выйдя из книжного магазина, озираюсь как в пустыне. Город, ветреный вечер, проспект, транспорт, гудки. Деревья-скелеты, сквозные, без единого листика, на зловещей заре. Фонари зажглись. Толпы спешащих куда-то людей. Никому из них до меня нет дела, как и мне ни до кого. Меня волнует сиреневая судьба заката в провале между двух высотных домов.

Каждый раз боюсь выходить из дома. Дверь с пружинной силой грохает за спиной. Жуткая рань, зимний мрак. Идут, идут, угрюмые тени, как всегда. Что им думается в этом мраке? Сам иду, бездумно. Из метро. Это место затвержено наизусть, Витебский, бледный циферблат на башне показывает вечность. Бедный Батюшков. Через сад, утопающие огоньки, сизый рассвет между громадами. Три ярких окна, люциферических, в решетках; бессонные цеха неутомимого первопечатника Ивана Федорова. Справа Обводный. Поворачиваю на Тюшина. Не здесь ли Достоевский прятал топор? Нет, у другого канала. В мутных фонарях улочка – вдаль. Иду, там небо светлеет.

Цемент с Мойки на улицу Белинского, двадцать мешков, потом загород, дачу отстраивать. За окном кабины метель, метель, мокрые хлопья, канала не видно. Ну, погодка! Сгружал мешки рыжебородый гигант Саша. «Не горюй. Дворец будет». Дал ему бутылку водки. Он доволен.

Эти постоянные мысли о том, как писать. Быть свободным. Свобода от чего? От логики, от зачарованности форм? Свобода – хаос души, безумие? «Я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных, чудных грез… Посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут…». Свирепость воинствующих

новаторов. Жестокость сочетается брачными узами с утонченностью, грубость с нежностью. Ласкать и корябать. «Розу белую с черною жабой я хотел на земле повенчать». Гений – парадоксальное сочетание хаоса и гармонии, активности и пассивности, силы и бессилия. Все высшие гении – меланхолики. Гоголь. В нем есть всё. То новаторство и та дерзость, что сразу не видны, не бросаются в глаза, неявные. По Гераклиту: «Скрытая гармония сильнее явной». То же – японское югэн (сокровенная красота). Точно также есть и сокровенное новаторство, сокровенная дерзость.

Сегодня мне не надо на службу. Слышал сквозь сон стук каблучков. Спешила, дверью хлопнула, значит, половина восьмого. И я опять заснул. Что-то ведь снилось. В первые секунды пробуждения, кажется, так ясно все помню, а потом кто-то стирает. Напился чая, зимнее окно. Переулок пересекает черная, тощая кошка. Узнаю: это же наша Лоретка. Не в сладость ей, видно, вольная жизнь. Шерсть и не сказать, чтобы черная, словно бы подпаленная, с рыжиной; глаза тусклые, затуманенные, без блеска. В марте она тут, под окном, проходила, разбухшая, беременная, вялая. Я позвал: «Лоретта, Лоретта!» Может, она меня и узнала. Остановилась, взглянула, жалобно мяукнула. Стал кидать с третьего этажа в раскрытое окно куски котлеты, она их проглатывала с жадностью и опять мяукала, подняв голову, глядя на меня голодными глазами. А когда жила с нами в квартире, даже мясо не ела, питалась исключительно рыбкой. Лидия Андреевна, ее приучила. Вот Лоретка и будила ее утром, громко мяукала за дверью, скребла лапами, требуя свою законную пищу. Как я ее проклинал, просыпаясь от ее резкого, наглого голоса. Теперь у нее вольная жизнь, в голоде, холоде, в подвалах.

Купили путевку в Дом отдыха в Зеленогорске, на двенадцать дней. В день заезда оттепель, слякоть и гололедица. А мы-то мечтали на лыжах покататься. Корпус называется «Буревестник». Ночью разбушевался ветер, сосны шумели, раскачиваясь. Ураган да и только. Хорошо еще по два одеяла дали. Окно в номере высокое, черное, огоньки мигали, как будто буря дула на них и никак не могла задуть. Утром гуляли у залива. Вода открылась, прибой нагромоздил у берега бурелом льдин. Ледяное поле наползало, взбираясь на вал обломков, оглушительно трескалось и гудело. Вода выплескивалась, зеленая, яркая, заливала поверхность льда. Лариса была в восторге: «Грандиозно! Никогда такого не видела!» Ночью тоже ходили к морю. Похолодало, снегу насыпало. Маяки, далеко, на той стороне. Луна плыла в пепельных облаках, бледная маска с колдовской

полуулыбкой. Лариса восхищенно: «Тихо-то как! Ты послушай: вода подо льдом плещет!»

Один в доме, затопил печь, дрова трещат. Гулял, месяц, березы в темноте, ветер шумит. Тучки пробегают по ледяному лицу месяца. Отдаленный лай собак. Отдохнуть от людей – вот что мне надо.

Возился с повестью, опять переписал начало, теперь кажется безукоризненно. Я бы назвал ее последней фразой: «Если смотришь в огонь». Собрание необычностей и парадоксов. Катался на лыжах, по берегу Оредежа. Ветер. Сходил за хлебом. Письмо Олегу Воропаеву. Печку так натопил, что тошно. Плохо мне что-то, под лопаткой печет. Слишком крепкий чай? Ночь светлая, месяц, звезды. Буду читать красный том «Корабль дураков», Кэтрин Портер.

Солнце, голубое небо, снег блестит. Большая прогулка на лыжах. Сосна-башня, в чешуйках, ели, шишки. Утром чистка двух рассказов: «Поиски», «Человекопад». Теперь безукоризненно. Жаль, что уже напечатано. Ночь, половина двенадцатого, в окне сосна, месяц, звезды. Еще чуть-чуть почитаю и спать.

Опять солнце. На завтрак вермишель. Чай, чашка с голубыми цветами. Снес на почту письмо Олегу Воропаеву. Купил килограмм гречи. Ураганный ветер. Лыжня в рыжих иголках. Не вспомнить сюжет сна. Небо стало мутно, и лес померк. С каждым днем удлиняю прогулку вдоль Оредежа. Добрался до мрачного ельника, жду – вот выскочат волки. Последний день февраля, конец зимы. Год високосный, с сердцем плохо, не сдохнуть бы.

Март. Выпал свежий снежок. Лыжи шелестят, как по шелку. Белое безмолвие, былинки колышутся, лапы елей. Солнце, тишина, снег в искорках, лиловые тени. С сосулек льется, скрежет лопаты, счищают с крыш. Морозная ночь, полнолуние, яркий диск над сосной, завороженность.

День тихий, бессолнечный, сосна, щеточки, рыжие зигзаги. Уехал далеко, думал о «Падающих домах». Хмурое небо, простор, снежок, как дождик. Какое счастье быть одному! Лечусь тишиной. В доме ни телевизора, ни радио, ни телефонных звонков, ни стуков, ни резкого звука, ни голоса. Просыпаюсь в тишине и долго не хочется вставать. Блаженство, лень, дрема. А за окном свежий снежок.

Скинул снег с крыши. Долгая прогулка, шелест лыж. Думал: искусство – экспресс. Надо развить такую скорость, чтобы его догнать и перегнать, хоть немножко пробежать впереди. Новые повороты, открытие новых далей. Просто так ничего не выдумаешь и не найдешь. Мечты и звуки того пылкого восхода в глухом лесу литератур, чтобы в полдень вышел дозором Мороз красный нос. Тот

рассказ девушки – о зеленом горошке, который вытек из холодильника зелено пятнистыми змеями. Свобода от зеркальных копий, босой стол сюрреалиста.

Два солнечных дня. В пятницу приехала Лариса, вечером, в девятом часу, в темноте. Я уже и не ждал, калитку закрыл на замок. Истерика, рыдала. Наша жизнь, радости-горести. Странно и непонятно. Днем гуляли по улицам, в конец поселка, вышли к Оредежу. Солнце, синева, капли с крыш. Уехала. Вот я опять один.

Еще одна долгая прогулка по Оредежу. Ослеп от блестящего снега, от солнца. Уже сильно греет. Берег обнажился, на лыжах идти трудно, лыжня заледенела. Сосна красная в закатных лучах. Вечер, звезда, Венера.

Во сне я скатывался по крутой желтой дороге. Отдернул занавеску: небо мутное, в пелене, разочарование, жаль лыжного дня. Поехал в Вырицу, в баню, заново родился. В книжном у вокзала купил книгу Пьера Лотти. Печь топится. Читаю Теккерея, «Ярмарка тщеславия». Узоры звезд.

На лыжах теперь трудно, снег сырой. Устал от солнца, прогулка пять часов. Ночью снилось мягкое, женское, ведь не бронзовый, не железный. Не из тех, кто разворачивает рулоны неотвратимо подробных описаний. Только показывать – вот древний тотем племени пишущих. Избегать глаголов.

Дом в пустыне. Афганистан. Майор контужен. Его приносят в дом, в квартиру этой женщины. Она за ним ухаживает, их отношения. Майору оставляют бомбу, чтобы, если придут моджахеды, взорвать дом. Бомба сама взорвется, если придут. В доме живут – генерал Гусев с семьей и другие. Старухи. В подвалах прячется штаб. Киргизов, контрразведка. Майор пытается избавиться от бомбы, ему мешают. Его схватили моджахеды и держат в плену. Он бежит в пустыню. Дом взрывается на его глазах. И тогда – Петербург. Взрыв дома на Галерной. Пожарные машины, милиция, толпа, разговоры. Майор в ужасе бежит по набережной, что-то крича. Его нагоняет ярко-красный пикап.

Совсем весенний день, ветрено, капель, сосульки плачут. Берега обнажились, бурые, земляные. Высокая сосна на обрыве, хвоя развевается в синеве, ствол шелушится. Шум вершин, музыка ветра. Стою, закрыв глаза, слушаю; солнце печет лицо. Небо вечером в красивых розовых росчерках. В доме ожили оса и комар. Утром чрезмерно крепкий чай, много писал. Боюсь расплаты бессонницей.

Дюрренматт, детективы. Проснувшись, вижу с постели золотой солнечный луч из-за занавески на белоэмалевой электрической плите,

на фанере стены. Ночью мороз, ведро с водой замерзло в коридоре. Голубизна неба, напоенная влагой. Воздухом не надышаться. Солнце клубится, ослепительное в этом марте. Обработал написанный вчера кусок. Безумие мира, наплывы наваждений. Изнутри, из мозга. Борется с собой, с этой нечистью, которая везде, всюду, в каждом. Что вовне, то и внутри, неотделимы, неразличимы, слиты. Поглощен этой борьбой, что вокруг – неинтересно, люди, реальность, внешняя жизнь. Выпьют ликер. Опять мало. Какая-то полуночная компания, приключения, по крышам.

Плохо спал, расплата за писанину и крепкий чай. Мой майор сомнителен, все-таки не получается. Ерунда какая-то, фальшиво, надумано, вымучено. В печке гудит огонь. Солнце рисует на золотистой фанерной стене косую оконную раму. Кончается месяц моего отшельничества. Жаль. Я, кажется, мог бы так жить годами, всегда, без людей, один, на необитаемом острове.

Молоденькая девушка парикмахерша, красный передничек, красивая, тонкая, белоснежные ручки. Долго и тщательно обрабатывала мою голову, легкие, ласковые касания ее пальцев волновали чрезмерно, особенно, когда стала приглаживать мне волосы теплыми ладошками. Играло радио, эстрадная певица голосила о любви, об ураганах страстей, о капитане в белой морской фуражке. Пол передо мной был залит солнечным светом.

Опять все зимнее, мокрая метель, сад, Петр, Нева. Убитый после вчерашнего разговора, писать ничего не хочется. Зачем, если бескрылый? В Литературу есть две двери. Одна: широкие ворота, никем не охраняемые, – впускают всех, кто умеет грамотно писать. Громадная, бесконечная толпа валит и валит в этот благосклонный, безотказный вход. Это парадный вход для всех званых и незваных, проходной двор всех пишущих. Но во дворец Литературы есть еще и другой вход, потайной, в него могут попасть только немногие, отмеченные. Строгий страж стоит у порога, пропускает только тех, у кого горит на лбу отметина, сжигающая мозг звезда – знак божества. Бог в лоб поцеловал. Только они проходят через эту дверь.

Подсознание, интуиция, таинственный организм, эта тайна глухонема. Аполлон ни разу не потребовал жертвы. Один и тот же, общий для всех язык – мутный, замусоренный поток. И чудо! В этом грязном потоке вдруг сверкнет чистейшее золото. Как, почему? Непонятно, необъяснимо. Красота, общая для всех, можно взять, пощупать, техника, поэтика, приемы. Но есть другая красота, другое золото – оно сокровенно, величайшая тайна, божественный незримый огонь, не дающийся в руки жрецов-алгебраистов.

Гоголь, метель, Невский, мокрые хлопья, кони, буйногривые, рвут узду. Ледок хрустит, веточки, птички, луна, заря, девочка. Солнце встает над садом в голубой дымке, влажное золото шпиля и ангел. Отражения ярких луж, поток машин, блеск железных жуков. Эта апрельская дымка, напоенная солнцем; летят, блестя, капли. Десять лет назад в такой же день шли мне навстречу, улыбаясь, три девушки; та, что в центре, была так молода, свежа, красива, так чудесно сияли ее черные глаза. Я был влюблен, и это было начало безнадежного чувства.

Лужи, влажный блеск, тополя в утреннем мареве, почки, волшебный лиловый воздух, испарения, опять этот пряный дух.

Утро в снегу, буран. Лариса, спрятав под берет завитые кудряшки, отправилась ко врачу на другой край города, на Петроградскую. Я смотрел в кухонное окно, как она удалялась, нагнув голову под снежной бурей, и исчезла.

То, что еще не любят, но оно уже родилось и растет, и этим будут восхищаться все. Новая любовь всех. Или оно угрожает всем, новый враг всем, то, что все возненавидят лютой ненавистью, а ты это-то и любишь, этим-то и восторгаешься, это-то для тебя и прекрасно, родилось в тебе и растет, твой полет. Росток новых живых форм. Царапать когтем знаки на скалах.

Проснулся и сразу же понял, что выспался. На паркете солнечное пятно. Отдернул занавеску: май, зеленые клены, чижик. Грозди цветущей сирени в садах и парках, по всему городу, радость предвкушения, что я их встречу везде, куда бы я сегодня не пошел, куда бы не поехал. Читаю прекрасный японский роман, написанный тысячу лет назад придворной дамой Мурасаки Сикибу, «Повесть о принце Гэндзи». Книга в тонкой бумажной обложке желтого цвета, словно бабочка. Залитая солнцем страница.

Я давно живу без улыбки, бессмысленно и ненужно. Лежать на вершине холма, небо, солнце, летнее тепло, полдень мира, полный покой, не шевелиться; долго-долго лежать вот так без движения. Но не смерть, нет! Полнота жизни, и ничего не надо, ни любви, ни счастья, ни доблести, ни подвигов.

Невский, толпа, жара. Аничков мост, конноборческий, обновленный. Решетка из мускулистых лошадок. Баба в оранжевом рабочем жилете красит их кисточкой в оливковый цвет.

Умрешь, начнешь сначала. Явишься в мир опять, плоть от плоти его и кость от кости, и мир, весь, тут же опять к тебе навяжется, и все, что в нем есть, было и будет, желаешь ты или не желаешь, твою волю никто не спрашивает. И что же? Не спи, не спи, художник! Делай с

ним, с этим миром, что хочешь, творческая свобода, крути-верти по-своему. Чеши против шерсти, плыви против течения, говори поперек. Скучно ведь делать, как все, писать слева направо, начинать фразу с заглавной буквы, кончать точкой. А, может, – вычеркнуться из зеркал?..

Скучный, обыденный строй жизни, пресловутая реальность. Нарушение, искажение, сдвиг в этом строе открывает просвет. «Туманный ход миров иных». Мечтательный самообман, будто мне показывают фильм, и вдруг экран разрывается и в дыру высовывается железный ствол пушки, настоящей, реальной пушки, жерлом направленной на меня.

Встречаемся в пять. Мойка ремонтируется, нагромождены глыбы гранита. Лариса в красном платье, загорелые руки, цок-цок каблучки. Тепло, облака. Мрачно-кирпичные стены Новой Голландии, тополя у мутной воды, мальчики раскачиваются на канате, привязанном к суку. Набережная Крузенштерна, Пряжка. От Нарвских ворот в переполненном троллейбусе. Темно-то уже как! Август, город во мраке, в таком странном, теплом, фантастическом мраке! Троллейбус разогнался, несется, ветер овевает нас через открытое окно. «Тебе бы вон ту женщину» – говорит Лариса. Смотрю: грациозная, гордая, белокурая. Такая молодая. Вышла на остановке, тянет за руку белобрысого малыша, у того в руке игрушечное ружье.

Говорит: «Тебе все равно, как явиться ко мне на свидание. Хоть бы как-нибудь красиво оделся. Да к тому же еще и небрит». От ее слов я совсем приуныл, повесил нос, иду, молчу, так тяжело, хоть плачь. Ведь она права, разве я пришел бы таким на свидание десять лет назад. Медный Петр на скале, две мраморные чаши, пристань, прогулочный теплоходик, вверх по Неве, до Смольного. Сидим на крыше, там скамьи, ветер холодит. Нева широка, царственные виды, летнее солнце.

Дух пишет, где хочет, книгу за книгой, языком четырех стихий и пяти чувств. Четыре евангелиста: огонь, вода, земля, воздух. Пять пророков: зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Бесконечное множество равноправных миров, они и не знают о существовании друг друга, а при встрече взаимно уничтожаются. Петербург, город химер, поток скучных слов, Ниагара. Бездна бездну призывает. Водопады духа. О, нашей мысли водомет!.. Вот я и не пишу, а только мучаю себя неотвязной мыслью, что – не пишу. Потребность писать пропала. И это тогда, когда я, кажется, подступил к чему-то настоящему. Значит, не судьба. Нет сил. Поэзия – электричество, брачный союз плюса и минуса, инь и ян. Платон, священное безумие.

Космизм шумит, кидается в глаза – черная кошка – устрашить, поразить, громогласно и высокопарно. Гром гипербол. Мир огромив мощью голоса. Мастер вывернутого нутра на исповеди потрохов. Плюшкин пыльных подробностей.

Мальчики играют с револьверами, ухаживают, умасливают, лелеют в мечтах. Мальчики добиваются своего и женятся на восьмизарядных девушках и в первую же брачную ночь они получают уверение в вечной любви – пулю в сердце. И тогда выскакивает на арену клоун в газетном колпаке и начинает на потеху публики жонглировать черепами этих рабов любви. Публика ревет в восторге, воет, свистит, рукоплещет… Боже мой, да перестаньте так кричать! Это невыносимо! Открываю дверь с табличкой: «Оружейная комната». Надо почистить и смазать пистолет. Прижимаю пистолет к груди, подношу к губам, целую дуло, это и есть моя жена, с ней я буду спать неразлучно в одной постели. Слезы текут по моим щекам, свирепые, злые слезы. Жена моя Серафима спит в пистолете, она скоро проснется и поцелует меня в висок. У меня восемь жен. Целый гарем! Чем я не шах! И шах и мат.

Увидел из-под арки ее, проходящую на бульвар, махнул рукой, крикнул. Она не увидела и не услышала из-за шума машин. Стоял, смотрел вслед, пока не скрылась. Мое потрясение, мое событие, которое никто в мире не заметил и никто никогда не узнает: что произошло со мной. А для меня это космическая катастрофа, гибель вселенной. Единственное, что имеет смысл, что мне ценно – вот это мучительное волнение сердца.

Язык рождает на бумаге магию письма, и опять чары Орфея воскрешают мертвецов в гробах, и в распахнутую дверь страницы врывается ветер невероятных открытий.

Две бабочки лимонницы и лето у дверей в сад, краснокирпичная стена веранды. Набоков, «Бледное пламя», стол и стиль, та особая складка, усталость звезд, те расплывчатые знаки на пожелтелой бумаге, что я не мог прочитать. Verba volat, scripta manent. Слова улетают, письмена незыблемы. Май, Вермеер, я один в квартире. Черемуха вот-вот зацветет. Плеск дождя, из горла водосточной трубы бурлит поток. Сад, фонтан, Гоголь. Умытые липы, сырые дорожки, взъерошенный голубь полощет клюв в луже. Солнечные пятна, тени на сочной траве. После ночной грозы легко дышится. Еще жив, чижик. Ноги девушек на Невском, шелками схвачены. Серая в полоску кошка, жмурясь, грызет травянистый стебель. Смутные ощущения, предчувствия, жар, при котором начинает расти речь, уклончивость этих призраков письма. Кинокамера повествователя, от

третьего лица, отстраняется, не называет имен, говорит загадками, иносказаниями, притчами, сверху, снизу, внутри, вовне, все перепутано, его не поймешь, границы смыты.

У железной дороги, сейчас поверну в переулок. Солнце, садясь за озером, кидало последние лучи. И вдруг этот куст! Он казался расплывчатым и черным, над ним в розовом тумане плясала, как пьяная, толпа мошек.

В вагоне электрички, тоненькая, в коричневом пальто, каштановые волосы, профиль, римский нос. Заметила, что смотрю, покосилась в мою сторону. Я достал листок и ручку, и стал писать своё. Ее заинтересовало, может быть, подумала, что я рисую ее портрет или записываю впечатление от ее внешности. Обожгла взглядом. Очи черные, очи страстные. И когда я встал, чтобы выйти на моей остановке, посмотрела на меня снизу вверх, с сиденья, слегка наклонив голову, с немым вопросом, с сожалением. Одно мгновенье. Выйдя на платформу, провожал мелькающие окна.

Начинался дождь. Поставил чемодан на тротуар и махал рукой. Такси окрысилось, наскочив на меня из-за угла. Черно-смертное, с шахматной доской-гребнем. Шофер моргнул усами-дворниками, разгоняя дождинки, посмотрел вопросительно. Я назвал свою улицу. Сунулся с чемоданом в разверстую дверцу, но встретил свирепый отпор. Для этого есть багажник. Плавно отчалили в туманную даль.

Мглисто, Коломенский мост, мяч в канале. Издательство, книжка моя вышла, раздарил сотрудникам. Говорят: талантливая, оригинальная проза. Пообещали дать рекомендацию в Союз писателей.

Слышу рост волос на спящей голове. Кафка с остроконечными ушами монстра. Отнес 12 экземпляров своего «Человекопада» в Публичку, девять отправят в американские университеты. Подумать только, моя книжонка будет храниться в Америке. Ничего не получается, опять замахнулся на роман, а дальше трех страниц не пишется, мотор романа не заводится, машина не идет. Да и непонятно, куда, собственно, я хочу ехать. Луна, изгиб замерзшего канала, три тополя.

Огромный золотой месяц в сумерках, среди сосен. Вороны взлетали, каркая и осыпая снег. Лариса разбилась, упала с лестницы, все ноги в синяках, едва ходит. Звонил Костя Крикунов, о моем «Человекопаде»: «Теперь у тебя почти нет искусственных красот, а только повествование, только рассказываешь. Эта книга легче «Одной ночи». Вот поэтому и легче, что – естественней. Много ярких мест». Письмо от Олега Воропаева, 29 ноября. Пишет: «В Ставропольском

крае у тебя успех. Культ твоей литературной личности. Твои «человекопадные» рассказы». Остаюсь неизвестен. Это не назовешь известностью. Но еще и рано, еще не заработал. Звонок Скокова: приглашает в Союз писателей на секцию прозы, будет читать какой-то прозаик. Два моих рассказика послал в какую-то железнодорожную газету.

Только тогда и осмысливаешь жизнь, когда начинаешь работать со словом. И чем больше работаешь, тем глубже осмысляешь. Большинство, почти все, живут неосмысленно, в рассеянных мыслях, скользя по поверхности всю свою жизнь, так из нее и уходят, ничего в ней, собственно говоря, не поняв, не продумав ее и не сказав своей мысли о ней. То, что они думают – все не то, не мысли, а туман, который то сгущается, то рассеивается. Только тот, кто работает с мыслью, выраженной в каком-то конкретном материале (звуки, краски, глина, бронза, числа, слова), достигает осмысления.

Страдание людей и вещей. Мир – зло, и любая жизнь – зло. Взорвать весь мир, потому что такой, как он есть, он существовать не должен. Изменить же его нельзя. Человеконенавистник. Зароет мину в могиле своего отца, на временное хранение. Признается в этом в пьяном разговоре с кем-то. Пришел монтер и отключил энергию. Всё перестало двигаться, мертвые куклы в театре марионеток. За ширмой-морем притаилось чудовище. Поразить Мысль. Музей литературы, залы для осмотра, письмена под стеклом, с древнейших времен до новейших. Знаменитые, прославленные, классики, светочи человечества. Хожу, смотрю. Рылом не вышел – лежать здесь.

Купил елку. Погулял, любовался соснами в снегу. Потом в баню на ул. Корзуна, два часа в парилке, семь потов, отмыл годовую грязь. Полумрак, скамьи, запах березовых веников, голые мужики, разговоры о зарплате, пенсии, ценах, житье-бытье. Возвращался через парк, во мраке, туманный месяц. Шел отрешенно, бездумно, легкость тела. Лариса вернулась с работы поздно, в двенадцатом часу, у них там была гульба. Привела с собой механика из их отделения, бровастый.

Все равно сдохну, так чего я ерепенюсь. Зачем мне эта слава писательства? Напишу что-нибудь стоящее, не напишу. И кто будет оценивать, и когда? Мечты и звуки. Сорок восемь лет и две тощие книжонки, которые никто не заметил. Ничего в мире не произошло при их появлении. Ну и что ты хочешь дальше? Что бы я ни написал и не напечатал – будет то же самое.

Верить в бога творчества, поэзии, искусства, красоты. Только это и есть моя вера, и никакой другой. Может, еще что-то стоящее и

получится, если я буду горячо предан этой вере и не изменю ей, не отступлюсь, не струшу, не расслаблюсь. Поэтому обращаюсь с молитвой к богу Творчества: укрепи и дай силы и мужества подняться еще вверх по этой крутой горе!

Что-то брезжит. Борьба живой души с машиной. О чем писать – не знаю, сюжета нет, материала тоже. Надо, чтобы захватило и понесло. Наваждение, никак не настигнуть «тех», кто только что, минуту назад, были тут. Речь, что ты от меня хочешь? Узор зимних веток в темнеющем воздухе. Вчера вдруг позвонил Павел Волгин. Вспомнился Псков, горячие споры об искусстве, философии, о духовном. У него растут две девочки-двойняшки. Сколько им уже? Лет десять? Стихотворение Есенина «Я по первому снегу бреду». Мое любимое у него. Может быть, оттого, что прекрасные стихи звучат во мне наизусть, я и сам становлюсь ими, этой красотой, пока они во мне? Ничего мне больше не хочется, честное слово. Ну, любить природу, мечты, грезы. Так называемого творчества не получается.

Читал русские сказки Афанасьева, трехтомник, старое, пожелтелое издание. «Царевна-змея», «Скорый гонец», «Золотая гора», «Клад» – какие всё страшные сказки! В моих рассказах я сочетаю космос и самую низкую, «грязную» земную жизнь. В этих писаниях я пытаюсь удовлетворить какие-то свои загадочные, мистические чувства. Пожалуй, это главное, зачем я пишу. А иначе мне неинтересно писать, иначе – не увлекает. Гротескная смесь космоса и «грязи» – эта веселая жуть очень увлекательна и соблазнительна. Это за пределами ума, это – особое чувство.

Все тот же январь, числа летят, только что было 13-е, не успел моргнуть, а вот уже 17. Город, сыро, промозгло, груды грязного снега. Лейтенант гаишник, рыжий, в шубе, с бляхой на груди. Мысли о романе, оттепель, опрокинутая лодка. С Ларисой живем вместе уже более десяти лет, спальня общая, но спим на отдельных кроватях, впритык, руку протянуть.

В библиотеке Блока, Невский 20, сборище писак. Скоков о моей книжке «Человекопад»: «Ну, зачем вам эта грязь? Мы же талантливые люди. Это мальчишество – ругаться нецензурной бранью. У Пушкина это было за гранью серьезной литературы. Гоголь и Достоевский себе это не позволяли. В литературе есть незыблемые запреты, предел, который нельзя переступать. Это на вас так плохо повлиял Соснора. Вот он снял с себя все запреты, не устанавливает себе ни одного закона, считает себя свободным от всех святынь и моральных правил, и что же в итоге – распад и растление. Ищите правед-ников, как сознательно искал их Лесков. Прорубайте окна, давайте свет. Гоголь в

«Мертвых душах» дал «Тройку». А без скачущей, могучей Руси-тройки эта книга была бы только скопище чудовищ. А так, что ж, – книга ваша безукоризненна, и стиль, и всё есть. Вы же двумя-тремя словами умеете дать ярчайший образ, характер. И характеры у вас могучие. Эта книга сильнее первой, (моя книга «Одна ночь») и все у вас есть, только уберите мусор».

Вывод из разговора, как я понял: в Союз писателей меня, разумеется, не примут. Но зачем мне это? Писательской пользы никакой. Известность сомнительна. Зато – явная несвобода. Зачем мне это мелкое тщеславие? А вот как же! Можно будет говорить знакомым: я – член Союза писателей! Какая чушь.

Что же это означает? «Как некий серафим, он несколько занес к нам песен райских…». Словно тебя принудили прилететь на Землю с какой-то твоей единоличной звезды и жить на Земле не «как один», а «как в сообществах», надеть на себя формы человека, расы, племени, страны, религии, народа, языка. Но это всего лишь условные формы, одетые на тебя, необязательные, относительные. В конечном итоге – фальшь. Внутри же себя, в глубине глубин – только один ты и твоя свобода. Ты есть ты. Больше ничего. Ты свободно используешь надетые на себя земные формы только для того, чтобы выразить себя и свою свободу, свои мысли об этих формах. «Исполнен думами златыми… с толпой не делишь ты ни гнева, ни нужд, ни хохота, ни рева, идешь, куда тебя влекут мечтанья тайные, твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе рабыне суеты». Тебя не прикрепить ни к какой форме, ни к какому ярлыку. Ты ускользаешь от всех ловцов, от всех суждений и определений. Загадочен, парадоксален, непредсказуем. В тебе играет жизнь, и ты играешь жизнью. «Так улетай же, чем скорей, тем лучше…».

Мне 49. Через год будет 50. Ужас! Хотя мне все еще дают на вид на десять лет меньше. Солнечный морозный день. Писал немного, до часу. Читал Гюисманса «Наоборот». Гулял в парке, до сумерек, до луны, читая про себя Блока «О подвигах, о доблести, о славе…». Купил батон, горячий, только что испеченный, из рук девушки. В окне первая звезда – в чернеющей синеве, Венера. Я не въедлив, не зорок, не ядовит, не обладаю редкостными знаниями, почти ничего не умею. Выпустил в свет две тощих книжонки. Свет не заметил. Но некоторые говорят: книжки неплохие, виден талант. Небо чернеет, звезда блещет ярче. Одиночество. Болтовня телевизора у соседей сверху. Утрачено слишком много иллюзий. Неужели еще что-то осталось – насчет себя, своей жизни?

Дневники Гонкуров, писательская жизнь, Флобер, Золя, смерть Жюля, осада Парижа, пейзажи, описание квартиры. Последняя страница. Всё. Грустно. Ночует машина. Набережную лижет дождик, блестят мокрые булыжные плитки. Под фонарями зябко дрожит Нева. Светофор – красная полоса на асфальте. «Серафита» Бальзака, несколько вдохновенных страниц, пейзажи Норвегии, прощание Серафиты с Землей. Но – слова, слова, потоки рассуждений. Смесь песни с трактатом. Зачем-то ему нужно было. Опять темно, опять фонари, Нева. И эта мрачная фигура, на спине светится ГАИ. Непрерывный шум машин, город, и я тут, за стеной, за столом, у лампы, пишу.

Нашел карту Риги, долго восторгался. Даугава, улица Барона, ресторан Сауле, кинотеатр Дайна, Межапарк, Пурвциемс. Гуляю по странно звучащим названиям. Моя «Рига в шляпе». Сегодня еще десять фраз. В таком темпе я далеко убегу. Но куда мне спешить. Выдумываю и развлекаюсь, хоть повеселей жить.

Три дня в Вырице на даче. Пошли к Оредежу, когда уже темнело. Ель-великанша, звезды сквозь хвою, складки набегающей воды, камень, черные берега. Лариса прислонилась к стволу ели, измазала смолой берет. «Понюхай, как пахнет!» – с восторгом. За нами долго плелась старая рыжая собака, колли. Небо – чудо! Млечный путь, звезды – сколько их! Мельчайшие, все видны, светящаяся пыль. Свернули в темную улицу – впереди взметнулось пламя гигантского костра, рой золотых пчел улетал, крутясь, в темноту, к звездам. Трещала наваленная куча толстых веток. У человека, жгущего этот костер, было красное фантастическое лицо.

У всех женщин красные губы, поздравляют с праздником. У Ларисы счастливый голос по телефону, признается, что пережила вчера космическую минутку. Купил хризантемы, громадные, курчавые. 17 лет уже прошло. Какой ужас. Они в вазе на столе. Рано утром пью чай, любуюсь. Книги. Лариса спит, ей – в половине седьмого. Допью и уйду. «Наяву ли все, время ли разгуливать…». Гельвеций, парики и кисти, как строить корабли, словарь ветров. Клубок путешествий, лучшая шерсть, все перепуталось.

Метро «Ладожская», в «Самоцветах» толпа, новооткрытый памятник Фаберже, серебряные колечки, с аметистом нет. Я совершаю постоянные глупости и никто меня не останавливает. Купил елку за 30 тысяч у кондитерской, принес домой. Ах, как пахнет Новым годом! Лариса не звонила. Весь день один, я и пишущая машинка. Последний день года. Снежок сыплется. Дай мне, Господи, написать мою повесть, чтобы она была удивительная и великолепная,

большая, не менее ста страниц. Чтобы ею восхищались. Чтобы Соснора дал ей высокую оценку. Чтобы осуществились мои мечты, сбылись мои надежды.

Итак – пятьдесят. Белая лилия – подарок Ларисы. День яркий, пушкинский, мороз и солнце.

Громыхание и звон, покрывают крышу новым блестящим железом. Поленница и собака. Синяя, забрызганная грязью машина. Желтенькие цветки у канавы. Весь день отрешенность, безразличие, громкий щебет и писк в парке. Начало мая, мне пятьдесят. Слушал мою любимую серенаду Шуберта по магнитофону. Мама стала приоткрывать дверь, я на нее зашикал, чтобы не мешала. А, оказалось, она тоже хотела послушать, сидя со мной на диване. Я еще сказал потом, что предпочитаю слушать музыку один, она тоже может и одна, без меня, сколько ей хочется. Теперь думаю, зачем я так груб и жесток с ней. Грустно и горько.

День Победы, парад. Лариса гладит утюгом простыни и смотрит на экран телевизора, где маршируют фуражки и береты. Она в красивом шелковом халате с цветами, губы ярко накрашены. Лицо то бледное, то багровое, приливы, приступы головной боли, давление. Плакала, глядя на солдат, слушая военные песни. Написал 13 страницу моей маленькой повести «Рига в шляпе». За восемь месяцев! Гулял один в парке, думал: вот проживу еще 20 лет, а то и 30, буду писать хотя бы по 20 страничек в год такой превосходной на мой взгляд прозы. Наберется страниц 400-500. Ого! Целый том такой прозы выведет мое имя из мрака неизвестности. Глупые иллюзии и пустые мечты. Энергии нет, а что же сделать без энергии, хоть и раскрылись какие-то горизонты, какая-то свобода. Потом гуляли вдвоем, Лариса в белом плаще, в шляпке с бантом. Ее великолепный нос, который она так не любит, а у меня наоборот вызывает наибольшее восхищение. Ночью не давали спать соседи из нижней квартиры под нами, музыка на всю громкость, сатанинский вой и рев. Вызвали милицию. Приехал «газик», вывели подонка в наручниках, увезли. Заснул под утро, а Лариса разбудила: «Славик, вставай! Пора!»

Обводный канал из окна электрички. Грязно-бурые коробки, желтый кран с поднятой стрелой. Закоптело-кирпичные строения завода, между ними сверху ржавая железная лестница. Две исполинских толстых трубы. Автозапчасти. Бензин. Автогаз. Гора лесных орехов в твоих руках. Надо бы записывать виды и вывески.

«Рига в шляпе». Ведет подсознание, образы неосознанного. Собственно, это и не то, и не другое, и не третье, а только как бы. Это

надо назвать музыкой, звучащей в миражах слова. Кратчайший путь, штрих. Разрастание пустяшной детали в чудовищного исполина. Этот разросшийся пустяк вытеснит и заместит сюжет, историю, героя, персонажей, повествование, абсолютно всё.

Май, на Мшинской, один. В его куртке и сапогах копаю для него огород. Думаю: вот это ведь все равно, как если бы я, одев куртку и сапоги Шекспира (или Пушкина), копал землю у него и жил в его доме. Холод, ужасный северный ветер. Завтра уеду.

Дождливо, Петр, чайка. Плавучий ресторан «Сварог». Трепещут гирлянды флажков. Золотые штандарты с орлами. Стекла троллейбуса в испарине, в каплях, проплывает зеленое, желтое, кирпично-красное. Ресторан «Афродита», кинотеатр «Титан». Контролерша, сумка на животе, билетный рулончик. Нелепое появление на Суворовском проспекте. Заячий переулок, кафе «Грета», зонты, бледно-голубое видение Смольного собора. «Нет, он на Охту… Номер семь». Площадь Александра Невского, брызги из-под колес. Пунцовый трамвай по дуге моста. Деньги, деньги везде, как смерть. Развороченная набережная, горы песка, стрела подъемного крана. Парк машин «Пятое колесо». Русский характер. Рожден в России. Трио черных марсианских труб. Раздавленный зеленый лист на тротуаре. Начерченные школьным мелом звезды – на железной двери высокого напряжения, там, где – берцовые кости и череп. Зигзаг убийственной молнии. Синопская набережная, Бакунина. Впереди ржавый арочный мост.

Июнь, день рождения Лены, сестры, праздничный стол, пять женщин. Ушел в другую комнату побыть одному. За окном зеленеющий склон холма. Сидел бы вот так всю жизнь на этом диване и смотрел на этот склон, и весной, и летом, и осенью, и зимой, круглый год. Тихий такой бессолнечный и теплый день. Небо в неподвижных облаках.

Вавилонская башня культуры, каждое новое поколение возводит свой этаж; башня еще строится, выше и выше, по проекту неизвестного зодчего. Отказ быть человеком, частицей рода и племени. Быть природной силой, самой по себе. И что бы ты создавал, первый? Опять себе подобного, чтобы потом размножился до неисчислимых множеств, как песок морской? Какая скука.

Живу двойной жизнью: внешней, которую видят, и внутренней, духовной, о которой не подозревают. Фрейд «Художник и фантазирование». Цель искусства и назначение художника – доставлять удовольствие публике. Но – «Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум,

усовершенствуя плоды любимых дум…». Фрейда я читал на скамейке в саду, под сливой, после купанья. Мама отдыхала в доме, ей тяжело в такую жару.

Колокольчики у озера, у железнодорожной насыпи. Шел в плавках, волны тепла, горячий песок под ступнями. Кому я нужен? Маме, сестре, Ларисе. Больше никому.

Гулял в парке, солнечные пятна, шелест, зеленое поле за гущей ветвей. Высокая трава, переливы света, розовый цветок Иван-чая, сияющий на солнце. Долго смотрел на него, зачарованный, как будто ничего в мире больше нет. Нежные облака сливаются с голубым небом. Склон холма в клевере, медовый запах.

Красная машина у платформы, девушка, ее голые ноги и вислые груди, ее расспросы. Полная отрешенность от стада и всех его дел. Ставлю себя за скобки рода. Вот к чему я пришел в результате моих попыток определиться в жизни. Вот все мое отношение с миром, мое самосознание, мое ощущение. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал… Еще грущу, но слез уж нет… Ульянов, актер, прислонясь спиной к оконной раме, читал «Евгения Онегина».

Блеск воды и девушка, сфинксы, краны и эта баржа. Сидят на стриженой траве с бутылками пива, непринужденные позы. Лежат с руками под головой.

Колебание волн в сияющей пустоте, ветер на ночной дороге, луна над мостом, тень человека на стене, шевелюра, вытянутая рука, пальцы – как на экране. Шуршит дождь, быстрые шаги, дуновение сырости, бесшумная, лилово-огнистая, изломанная ветка молнии – за высотными домами. Блеск мокрого камня, навес автобусной остановки, рыбьи силуэты машин. Острое и напряженное чувство современной жизни, куда-то несущейся, брызжущей влагой из-под колес.

Купание в озере. Фрейд – об отцеубийстве. Мелькание загорелых тел, брызги хрустально-зеленой воды, палящие лучи солнца, жар. В моей комнате на столе раскрытый альбом, прерафаэлиты. Лежащая с открытыми глазами на львиной шкуре красивая черноволосая девушка в оранжевом платье.

Сад, скамейка. Я думал, он гладит кошку у себя на коленях, а он гладил лежащую женскую голову, и тут же, продолжением – длинное, расслабленное лаской туловище в полосатых, обтягивающих бедра и ляжки, штанах.

Синий «Рим» Гоголя, помнится, я с таким наслаждением читал, лежа в постели, перед сном, в первые годы нашей совместной жизни с Ларисой, когда наши кровати стояли рядом, и она тоже что-то читала,

держа перед лицом книгу, в комнате с розовыми обоями, с уютными шторами, в пору нашего бурного, безоблачного счастья.

Гуляли с ней в жаркий июльский день, первый день ее отпуска. Она в шелковом платьице с голубыми цветками, которому уже лет двадцать. Она в нем была со мной в первое наше лето. Вышел из бани, постриженный, – машет мне с той стороны улицы. На рынке купили огурцов, помидор, кукурузное масло, какао в банке и сгущенное молоко. Асфальт размяк от жары, липнет к подошвам.

Лиловые колокольчики на моем столе. Собака не давала спать, лаяла в переулке. Тучи, тополя, жасмин. Гоббс, энциклопедия мистики. Мучаюсь, что ничего не пишется, что ничтожен и неизвестен, что ничего не сделано, что имя мое пропадет во мраке. Пытка неудовлетворенности, северо-восточный ветер, рынок, ларьки, бульдозер, субботний день, горы вырытой земли, оранжевая куртка режет струей огня трубу. Метро, бродяги собирают бутылки, старики бегут по ступеням, на согнутых спинах брякают тяжелые рюкзаки. Заспанные девушки с длинными утиными носами и плоской грудью.

Толстые девки с воплями ныряют с обрыва, шлепаются брюхом об воду. Их «заколебал», «в натуре», «клёво», «прикольно». Кашель, плеск весел. Сизый дым костра поднимается между сосен. Лариса с бидоном пошла за черникой. Сижу в лодке, жду. Собака дышит в затылок.

Пыль на Гороховой. Амазонка на гнедом жеребце и два пони. Кафе-бар Юнион. А ваша рубашка выглядит так после сорока стирок. Меланхолическая флейта в Александровском саду, у Геракла. Уже не молодая, полная, в легком цветном платье. Жестяная консервная банка для подаяний.

Я пишу и поэтому у меня на одно жизненное измерение больше, чем у непишущих. Экстаз письменного стола. Это никто никогда не прочтет. Безразлично. Автор пропал. Зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я… Летние травы… И я отмахиваюсь от всего. Колючки на высоких стеблях, багровые и лиловые, сильный ветер. Никак не доехать до Стрельны, трамваи не идут, застряли в Автово. Поглядеть бы на залив, побродить по дорожкам вдоль каналов, заросших кувшинками, перед разрушающимся дворцом. Там три великолепных серебристолистых старых ивы.

Лариса с Нельдой (наша собака, ротвейлер) у калитки. Вилкообразные хвосты ласточек. Сколько слов проносится в мозгу и исчезает безвозвратно. И мы исчезнем, и я и она. Через каких-нибудь 30-40 лет ничего уже не будет. Никто уже не будет знать о моем, таком нежном и самоотверженном, чистом и светлом чувстве. Таком

сильном и искреннем. Равнодушие всех, равнодушие мира, природы. Никаких откликов, ни в одном сердце. Скоро, скоро моя минуточка кончится. Отволнуется, отлюбится. А эта река будет течь и течь, и нести новые волны, новые блеск и тень. Волны, бесконечно повторяющие сами себя. А нас уж нет давно. Да и разве мы были? Когда я гремел калиткой, торопясь на поезд, Лариса отодвигала занавеску. Я так и не помахал ей рукой, не успел.

Август, шелест, сад заглохших тропинок, жар, нагретые розовые заросли иван-чая, медовый запах. Хочется далеко-далеко, куда-нибудь к скалам, кипарисам, теплому морю. Полный вагон, девушка на скамье напротив, рыжеволосая, зеленоглазая, с изогнутыми алыми губами, немного надменная, дама червей. Еду на свидание с яркой озерной водой. «Я – нечто совсем другое, совсем другое нечто, бессловесное нечто в пустоте… Я заговорю о себе, когда перестану говорить». Беккет.

Озеро, чайки. Женщина загорает в мечтательной позе, сидя на коврике, подперев щеку ладонью. Мелодраматические фильмы вызывали в ней приступы влюбленности в мужа. Также – ночи полнолуния. Ласточки на проводах – гимнастки в черно-белом трико.

Купался на закате, вода блестела, свет ходил по берегу, по зеленой листве. Мое загорелое тело и внимательные женские взгляды, короткие, скользящие. Бодрость, свежесть, мокрые волосы, музыка из дома, поющий женский голос, красивый, щемящий, печальный. Всю ночь не давал спать собачий лай. Встал в половине пятого, торопливо побрился, макароны с тушенкой, чай в чашке с нарисованной сосновой веткой. Дрема в электричке, мелькающий лес, розовые заросли иван-чая, туман в лугах, солнце встает, пышное, багровое, груды золотистых облаков.

Как прекрасен лаконизм пушкинской прозы, эта алмазная графика. «Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты…».

Один оставшийся в живых на планете. Брожу в громадном пустом городе и не встречаю никого из себе подобных, никого не встречаю, ни одно живое существо мне не попадается. Бреду за город. В поселках, в деревнях – никого. Я действительно – один, абсолютно один. Кругом меня мертвая пустыня. «Когда пишешь книгу такого размаха». Л.Стерн. Чувство исключительности, духовного превосходства, отвращение к пестроте, аристократизм. Тема Гюисманса: отгородился от людей и живет один в своем искусственном особом мире. Позвонила Лариса: слезы, прерывистый,

взволнованный голос, слушает Баха, вспоминает мое лицо, ее «люблю». Ночь, листья сирени. Бесшумная белая машина по дороге. Лежал на спине, слушал до рассвета резкий стук будильника. Включался и гудел холодильник. Мои бесчисленные бессонницы. Мама в ночной сорочке. Провожала, лицо пожелтелое, в морщинах, в тенях. Бедная моя мамочка. Рукой махала с крыльца. Солнце вставало за окном электрички, малиновое. Озеро в молоке тумана. Как написать книгу? Какая она должна быть? О чем? Жить и писать – одно и то же. Писать это и означает – жить. Не получается. Ничего у меня пока не получается.

Две девушки в голубом и черном купальниках, красивые юные фигуры, маленькие груди. Одна, вылезая из воды, посмотрела на меня. Мое еще стройное, еще молодое тело, мой цыганский загар. В конце концов пропадают все желания, которыми так долго томился.

Дождь, Гороховая, грохочущий поток омерзительных механизмов. Изгибы и складки женского сердца. Тщетное ожидание. Не пишется, не живется. Манера одеваться, ходить, говорить, выражение лица, улыбка, блеск глаз. Мыльные пузыри, миражи, воздушные замки. Дно обнажит свои суровые, жестокие камни. Эта тема – очерченный вокруг себя круг одиночества. И нет ничего, кроме этого круга. Есть только мое воображение. Раб, прикованный к галере языка. Я сам писатель и сам единственный читатель себя. Взыскательный художник. Я внутри, навсегда. Умрешь, начнешь опять сначала, – все будет так, исхода нет. Продолжай, пиши, живи в себе. Один и невидим. Тебя они не видят и не увидят. Твоя жизнь вне их досягаемости. Хорошо, хорошо. Стол, тетрадь…

Ветер слов из прочитанных книг. Шум ветра, гул водопада. Тайный смысл едва слышно звенит серебряным колокольчиком – младенческий лепет первых лет на этой земле. Часы на Думской башне. Как резко она повернулась, вскинув надменную голову, плеснув рыжей волной… Встреча с Андреем Филипповым. (художник из Митьков) в десять у техноложки. Делает мою книжку «Дни с Л. Опаздывает как всегда. Институт интенсивных языковых методик. Я должен отчеркнуть чуть ли не душу. Девочки подростки, лет 13, молодые груди, сумки на ремнях, на спине. Не допишется, не напишется, мелькнет, вернется, может быть, или уже – бесследно… Уйду в тень, грусть возраста. Буквы-муравьи разбегаются на странице. Песчаная площадка, сверкают крупинки кварца, шелест темной листвы, солнце печет. Через каких-нибудь двадцать лет я весь умру – вот сознание. Зонт Робинзона. Это назойливое золотое кольцо, черные с синим отливом волосы, испанский язык. Вышел на Сенной.

Две собаки лают на старика с палкой. Мускулистые икры на роликах. Шестой час. Волею судеб притиснутая ко мне в троллейбусе, могучее бедро, крепкая, горячая нога, пять остановок, пока не соблаговолила выйти у Гостиного двора. Высокая, в черном, плащ перекинут через руку.

Стрельна, полуразрушенный дворец, запах вянущей пушистой травы, напоминает лаванду. Тишина. Залива не видно в голубом мареве зноя. Стою, облокотясь на серый гранит балюстрады, и пишу. Три ивы, ни ветерка, ни звука, только пискнет иногда какая-то пташка. Пыльное солнце, плеск у камней. Белеет парус одинокий.

Загадки языка, ихтиозавры, допотопные чудища, подводные гады, реликтовый рак с железной клешней. Медные, слабые шеи с трудом сгибаются, поворачиваются в своих неудобных и ненадежных панцирях. Новый крестовый поход рахитичных детей, громадные костяные пузыри-головы и тоненькие ножки-тростинки; с тихих пристаней Европы отплывали в туманное плавание. Сигары-маяки. Цыганка гадала, глядя в черную, переливчатую, как юбка в фонарях, воду. Она не из Красного креста. Водоросли и креветки, зарос по глаза, морской черт. Какие-то порывы, страхи, тревоги, предчувствия, неутолимая устремленность куда-то, вечная очарованность, неудовлетворенность, замкнутость моей никому неведомой, скрытой, одинокой жизни. Это текучее, мгновенное, ускользающее. Запах жареной рыбы в переулке. Летняя жара, раскрыты все поры души. Как все это описать? Где найти слова для этой повести в лучистом блеске июльского дня? Покачивание молодой белой женской ноги в босоножке с плетением, на скамейке. Это голое колено, блестящая кожа, вздутые жилки у ступни, большой палец с выступающем ногтем в розовом педикюре. Вопрошающе-сердитое лицо ее кавалера, черноволосого юноши.

Рослый, румяный, таскал девок в парк; встречая меня, удивлялся, что я там брожу один. Ликовал, гордился своим успехом, жизнерадостно смеялся: «Что ты тут один, мрачный, как сыч? Разве тебе не скучно? Делай, как я…». Не помню его имя. Потом его посадили за развращение малолетней.

Скульптуры на кровле в раскаленном голубом воздухе. Черные, противосолнечные очки на темени. Девушек много в этот час, они спешат, не глядят по сторонам. Герой Гамсуна, Глан, статный, большой, бородатый, с ласковым спокойным взглядом, нравится женщинам. Темная, теплая августовская ночь, кинотеатр, шарканье подошв, резкий смех, музыка с дискотеки, машины, девки. Лариса,

быстро идущая от кондитерской, ее яркие губы, янтарные бусы, ее «Славик!» Брызжут фары, поздно, пора домой.

Утро знойное, высокие, пожухлые тополя, багряные ягоды боярышника. Выхожу на проспект, и опять этот рев и лязг.

Подальше от машин. Приезжать сюда ради этой желтой стены, солнца, тишины, пушистых зарослей, вида на залив, безлюдья. Места, где я бываю один, места моих одиноких прогулок, мечтаний, разговоров с собой, с любимыми тенями в себе, с сияющими ликами моих снов наяву. Начало сентября, холодок, ясное, голубое небо, желтые пряди берез, гигантские лопухи у ограды. Теплое дерево перил, солнце греет затылок. Дворец сквозь прищуренные ресницы – пыльно-черный.

Телефонный звонок: «Пьяница ты мой!» (Три вчерашних рюмки рябины на коньяке). Плясала, такая веселая, с огоньком, гранатовые бусы, Саломея. «Я вульгарно себя вела? Да?»

Учтивые японцы весь день. Любовь-победительница. «Многие, даже друзья, считали его внешность чуть ли не отталкивающей, но в верхней половине его лица всегда сквозили и ум, и благородство». Об Уайльде. Пасмурный сентябрьский денек, канал, зонты, Итальянский мостик, плетеные золотом корзинки, кружение красных трамваев, Спас на крови, не спутала бы. Касса, музейные сувениры. Купим билеты, посмотрим мозаику.

Понедельник, звезды, тени. А луны нет. Торопливый стук каблучков за спиной. Орион! Такой яркий! Салон причесок, продукты, светофоры, такси, дома, резкий ветер. Запах осенних листьев, волнующий неизменно. У метро кошка, разрытая земля, мельканье темных фигур. Следы ночных побоев на подобиях божьих. Толстые, в шелковых чулках, ноги девок. Пишу в спешке, на скамье в саду перед медным Петром. Прерывистый плеск дождя.

Напряженная душевная жизнь. Отражение желтых ламп в Неве с Васильевского острова. Карповка, мглисто. Рисунки на старых стенах в парадной, душные лестничные площадки, левый звонок. Дом двенадцати месяцев, метро Петроградская. Лариса в больнице, сердце, мой ужас, мои слезы, сразу все стало бессмысленно. Этот октябрь, эти катастрофы. «Вы теперь лермонтовед». Его телефонный звонок вечером. Ненависть, которой дышит эта история. Мементо мори.

Блеск желтых сидений в вагоне, мрак, огни, косые лучи. И потом запах осенних листьев на прогулке, неожиданный, мгновенный. Один лист, сорванный ветром, прилип к ее щеке, как медаль. Наши пятьдесят, мои и ее. Не верится, но факт. Оредеж, волнистая чернь, засыпанная желтым листом лодка. Обнял нашу ель, смолой пахнет.

Павел подал через забор мешок с рыбой, еще живая, шевелится, серебристая чешуя, малиновые плавники. Почему я вдруг обессилел? Убрал в дом шланг и насос, сумка с яблоками и помидорами, кабачок, рыба. В электричке плохое освещение, читал в очках свои «Дни с Л». Опять уже 15 ошибок. Этому конца не будет. Каждый раз, с каждой корректурой – новые. Огни во мраке, Павловск.

Написать книгу, которая бы дрожала и переливалась, как гроздь капель, взволнованных, озаренных огнями семафоров, солнцем, луной, настольной лампой бессонниц. Нервные, порывистые, ранимые, беспощадные к себе, больная чуткость. Пытка прозябания. Давно уже не мальчик. Кровь светофора на мокром асфальте, губы вампира. Погляди: выползает какая-то рогатая тварь! За Финляндским вокзалом мрак сгущается, бюст Кирова, Арсенальная, трамвай, фуражки охраны, ворота, магазин «Парнас», мясо, колбасы, ветеринарная аптека. Львовская улица, гостиница «Карелия» – о, это далеко!.. И все-таки светает, грязь, асфальт. Где-то тут войсковой тир…

Ореолы книг, созданных моим восторгом, гаснут. Мир, накатываясь на мой мозг, мгновенно превращается в слова, фразы, абзацы, повесть, без начала и конца. Безымянно, анонимно, автора нет. Листья на снегу, бульканье, хлюпанье, шорох. Корзинка с головками чеснока на Сенной. Толпа валит на рельсы. Боже, я-то куда! Этот мрак, эти мокрые решетки, этот канал, огненные столбы в нем. Летящий сырой снег на Гороховой, каша под ногами, ужасный грохот и лязг машин.

Доски ярко горят в железной печке на снегу, и рыжее пламя пляшет, пляшет. На привокзальном дворе, у ларьков, в сумерках. Аметистовые огоньки вспыхивали на замерзшей дверце троллейбуса. Ворс на шапке, ондатра с блестящим мехом. Роб-Грие «Дом свиданий». Девушка спала в вагоне метро, такое чистое отрешенное лицо, гипсовые веки, губы. Выскочил из подворотни, из трактира лакей в золотых эполетах и пробежал мимо меня, косо улыбаясь, запахнувшись в черный сюртук. На этих брусках голову сломаешь. Реставрированная Даная в Эрмитаже. Вышли, уже темнело. Розовохвостый самолет низвергался в вечереющем небе, над Невой. На 31-м трамвае до Садовой, к Екатерине Васильевне, заклеивать ей на зиму рамы. Лариса сидела в ванной, грея ноги в тазу с солью. Устали ее ноженьки, столько они ходили.

Проснулся, девять уже, а темно. Темно и снежно. Две высоких свечи в малахитовом подсвечнике на столе. Вечером опять – пламя, золотисто-оранжевое, синий низ, стекают горячие струи воска, застывая бороздками. И опять она войдет в комнату с веселыми

обоями и объявит, улыбаясь глазами, чуть потешно: «Час любви настал! Отложите, сэр, ваши мудрые книги!» Постель, вино и две груши на блюде на столике. И последний звук музыки замолкает, как стон, как жалоба пастушеского рожка в серенаде Шуберта, как беспощадно нежная нота. Статуя Психеи в нише, сад снежной ночью в не задернутом окне…

Путь к себе, реальность рубцов. Грустно, больно, тревожно. И страшно смотреть в будущее. Растерянный и ни на что не годный. И так – всю мою жизнь. Мы с ней – два сапога пара. Ее черная каракулевая шуба и шапка-кубанка, медленно, нетвердо удалялась по Невскому в сторону Гостиного двора. Этот ночной Невский, это мы с ней. Издательство, бронза ручек, матрос, троллейбус, витрина, целлулоидные ноги. Яркий, мертвый мир. Идем, идем. Тех платьев, которые специально для нее кроит модельер-мечта, кроит и шьет из блестящих эфемерных материй и дарит ей, только ей одной, здесь не найдешь.

Январь, буран, седая высота, бесы сознания, рой за роем, купол Исаакия, почти неразличимый, черным пятном. Неравная это борьба. Астория, лампочки, елки, за стеклами, в мигающих огоньках. Жизнь, ее простуженный хрип, кашель, на каждом углу, что она бормочет, страшная, вьюжная… И ты здесь, друг единственный, переживающий себя как первоначальное жизненное ощущение.

Шаткий трехногий столик, покрытый розовой скатеркой, пью чай и читаю Гаршина. Эта тишина в доме и зимний день в окне, заснеженные деревья, дорога, крыши. И медленно-медленно, плавно падает снежок. Новый, свежий. Между рамами вата и кисти черной рябины. На кухне шумит, закипая, чайник; мама, ее шаги, бренчание, ложка скребет о дно кастрюли.

Я приезжаю сюда за тишиной, только тишина мне нужна. Здесь воскресает потребность писать. В глубокой душевной тишине копится электричество и рождается молния, бесшумная, чернильная, ударяющая в белое поле бумаги. Сам я – эта молния, непредсказуемая молния письма.

Мутно, оттепель, апатия. Желтая дорожка через двор детского сада, истоптанная тысячью ног. Прутья кустов с сухими, скорченными листочками, шевелятся, пока я иду, и также будут шевелиться, когда я пройду. Черные сучья деревьев, их переплетения в холодном утреннем свете неба. Это зимнее, тусклое. Чего я хочу? Не знаю. Всего.

Отражения фонарей в черной воде – дрожащие золотые веретена, извилистые, вытянутые, как пламя свечей. Снег, грязь, грохочут

фургоны, движутся двуногие фигуры, достигая гигантских размеров. Гирлянды лампочек во мраке по всей закопченной улице до самого Адмиралтейства, раскачиваются, бьются о балконы. Троллейбус вырос внезапно, дрогнули рога. Кто-то кричал, как увидевший страшный сон. Снег в промежутках между брусчаткой и на ступенях, и на двух каменных пеньках по сторонам подворотни.

Черные сучья-змеи замерзшего сада, луна, звезды, горящие окна зданий, фары машин, ромбы фонарей, Исаакий, Орион над ним. Мне 51. «Откровение Иоанна». Эту космическую поэму написал Дух. Все высшее и настоящее написано Духом. Современный дух впал в подробности, раздроблен.

Оттепель, ночь, плеск капель во дворе банка. В будке, бронежилет, автомат, за столом с лампой. Какая долгая зима! Когда она кончится? Под аркой Главного штаба остановила женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой: «У меня к вам большая просьба. Не знаю, как и сказать», – говорила, запинаясь. – «Мне нужно на жетоны, три тысячи». «Нет, не обладаю» – отказал я ей резко и пошел дальше. Всем, всем я всегда отказываю, кто бы ко мне не подходил и не просил на улице, да и где-либо. Кто бы ни просил у меня денег, или даже пытался бы заговорить со мной. Серый, безумный, тающий день. До чего я дошел. Моя нервозность, почти истерика, бормотание, проклятия, чуть ли не слезы бешенства. Снег на гранитных подоконниках у окон с решетками, процарапан пальцами, тает с краю. Чугунная дверь с мордами львов. На Дворцовой площади снежный вал, лязг уборочной машины.

Март. Мама, жалуется, что ей совсем плохо и жить невозможно – такие боли, и голова, и сердце, и суставы. Плакала. А я не мог ее ничем утешить. Тягостно и очень жаль ее. Тоска. Ей 74. Все быстрее скользим к бездне. Наколол дров. Катался на лыжах.

Пришла поздно, в 12-м часу, в сильном подпитии. Упреки, истерика: она хочет, чтобы я ушел, чтобы мы расстались, что ей это уже окончательно надоело, с нее хватит, терпение ее лопнуло. Я не обращаю на нее внимания, я ей больше не нужен. Сидела в туалете на стульчаке, полураздетая, и рыдала. Не хочет стареть, не может смириться со старением, болезни, ишемия, отложения в костях. Что она стара и уродлива и будет все старей и уродливей. Это ужасно, она не может с этим смириться, это конец. Лучше – яд. Не хочет никого видеть, все ее раздражает, особенно я со своей писаниной. Хочет быть одна и чтобы я оставил ее в покое.

Этот март, эта весна. Глупые надежды, мечты о счастье, мыльные пузыри, миражи, фразы из какого-то пошлого романа: «Я к вам очень

хорошо расположена, но вы не должны питать никаких иллюзий. Никаких, никаких. Как к мужчине я к вам ничего не испытываю». Пустота растет. Пустота и скука. Казалось бы… И вот: это тепло, тающий зернистый снег, пьяный весенний воздух, мягкий, ласкающий свет сквозь пелену, пушинки вербы на красноватых прутиках, нежные барашки облаков. Блеск обновленного солнца. Так вольно дышится, так светло. И опять хочется жить.

Серенько, первый весенний дождик, капли клюют окно. Сижу за пишущей машинкой, но не работается, смотрю на забрызганное стекло, смотрю бездумно, рассеянно. Остатки грязного снега в переулке, мокрый асфальт, карканье ворон, покачиваются черные, еще безлистые сучья. Тусклый соседний дом напротив и этот унылый перестук дождевых капель по карнизу занимают меня и волнуют. Я всегда один и буду всегда один. Горькое, но правдивое открытие. Да будет так.

Бесконечность каналов, сырой снегопад, Гоголь сегодня хмурый, в шапочке, а Лермонтов залеплен. И весь сад в талом снегу, весь сад. Скрипит последний апрельский снежок. Прощай, прощай, до новой зимы! Матисс из Копенгагена в Эрмитаже. По Малой Конюшенной, Шведскому переулку, через двор – к Капелле. Спешим. Оперный певец в тулупе, на стуле, под аркой Главного штаба. Карета, две рыжие лошадки, девчонка дергает за узду, удила, зубы. Певческий мост, Зимний. Идем, идем. Матисс и крыса. Ярко, весело, апрельский звонкий денек. Верба в руках старух. Скоро Пасха.

На Сенную, починить пишущую машинку. Слякоть, толпа, торговки. Скупщики золота и часов, могучие, мордатые, встали в плотный ряд перед выходом из метро. Переполненный трамвай сошел с рельс, рискованно накренился. Приемщик за окошком взял мою машинку со сломанной буквой «А» и неработающим валиком. Мастер позвонит после семи.

Сосульки, сверкающие, длинные, толстые, кольчатые, некоторые причудливой формы, наподобие звериных клыков, корней дерева, оттопыренных пальцев, вилок. Безостановочно слезятся. Шофер во дворе моет машину горячей водой из ведра, трет щеткой. Яркий апрельский день. За воротами – набережная Мойки, капель, проходят женщины, щурясь, золотые шары мостика блестят на солнце. За изгибом Мойки проплывают красно-белые вагоны трамвая.

Проза – это роза, распустившаяся из плотно сжатого бутона стиха. «Снежная страна» чудесного японца Ясунари Кавабаты. От Нарвских ворот пешком, проспект Газа разрыт, трамваи не ходят. Лариса в шляпке с бантом, веселая. Рассказывал ей о чудачествах Эдварда

Мунка. Не доходя кинотеатра «Москва», через дворы, к этому мрачному двухэтажному флигелю.

Еще один май, любимый месяц года. Пью чай у раскрытого окна. Воробьи чирикают, свежая майская зелень берез в сережках, колеблется в голубом воздухе. Ах, хорошо! Даже запах жареной рыбы, принесенный ветерком откуда-то из переулка, кажется чем-то поэтичным. Острота реальности в этот летучий миг.

В такую погоду, в проливной дождь помчаться куда-то любоваться цветущими кленами, как японец. Еще способен на безумные поступки. Дудергоф, холмы, весенний пейзаж в завесе дождя, призрачная зелень, размытое, расплывчатое. Сырые дорожки, птичьи трели, букетик фиалок. Одинокая и грустная прогулка, тяжело на душе, горькие мысли. Пропало желание жить –вот что со мной этой весной. Миллионы погибших солдат, грохот салюта, содрогаются стекла окон. Мой отец, мой дед – где они? Оттуда нет ответа. Песни войны по радио. Салют отгремит, толпа разойдется. Старики-ветераны в орденах, их все меньше с каждым годом.

Древняя память, бессонное солнце в мозгу, бубен шамана, дурман черемух. Тут нет мистики, это смешно. Туман растет, я в нем растворяюсь. Неизменно один. Гряда облаков, влюбленные соловьи, цветущие шапки душистой «кашки» у платформы. Шли под проливным дождем по Старо-Петергофскому проспекту. Зонт не спасал, ботинки промокли, брюки. У нее – чулки, рукав плаща. Пережидали в парадной, обсуждая наши проблемы, мечтая о поездке на юг.

Все-таки что-то записываю, еще не иссяк. Перст божий мной водит. Едва не попал под машину. Смерть промчалась на волосок от меня, черная, с акульим плавником смотрового зеркальца. Я теряю осторожность. Это может плохо кончиться, как они говорят. Казанский собор, высокое небо в проеме граненых колонн, облако, стрижи, персидская сирень, ее запах, струи фонтана, Дом книги, купол в строительных лесах. Девушки в летних платьях.

Своё под старость, внезапное пробуждение, был Савл, стал Павл. Страшная страна слов. Написанное в старости пахнет старостью. Единое, Идеальное. Опорные пункты мировой мысли, Пасха, красные яйца. Луис Бунуэль и его «Андалузский пес». Лотреамон: «Прекрасно, как встреча зонтика с швейной машинкой на операционном столе». У Платона в «Филебе» – «небольшая чистая белая вещь». Чаще смотрю на небо, чем на землю. Геленджик, Лермонтовский бульвар. Лермонтов, похожий на пастушка, зачем-то наряженного в армейский

мундир. Это возвращение на юг, к морю, через десять лет. Все мои воспоминания смутны.

Собирал на берегу камешки с рисунками. Есть интересные, высоко художественные, рисовали море и время. Фигура собаки на розовом камне, омываемом волной, в блеске солнца.

Лермонтов с высоты своего пьедестала, сложив руки в позе скорбной думы, печально глядит на это никак не предвиденное им поколение потомков, новых обезьян.

Я то бежал по волнам перед катером, то летел над морем, то нырял в морские глубины, я свободно реял в двух стихиях и на их границе. Я удивлял людей на катере своими сверх- естественными способностями. Меня снимали фото и киноаппаратами.

Марсель Пруст в переводе бедняги Франковского. «Движения сердца», ловцы жемчуга душевной глуби. Душа бессловесна. То, что мы называем словами – это на самом деле не слова. Мы не видим в словах – слова. Настоящие слова – музыка, сгустки тумана, жалобы ветра, голоса миров иных. Настоящее слово бессловесно. Оставить лист бумаги чистым – проявить великую доблесть. Любовь Свана, любовь-болезнь. Спокойствие и душевное равновесие после бурь. Рабочий стол, келья ученого, чистое однообразие любимого занятия, которое дарит привычное и неизменное удовольствие. Слова лучистые, насыщенные, смолистые, янтарные, полные света и музыки. Пение птиц, шум рощ, шорох стекающих по стеклу капель. Пожар кленовых листов, уже предвкушаемый, предвосхищенный. Мечта о книге, об известности, о солнце, которое озарит долину мрака. «Озарися, дол туманный, расступися мрак густой». Жуковский, милый, где мои светлые вдохновения? Вернутся ли те волны? Время собирать камни. И шум, и плеск, и шорох волн…

О чем рассказывает Пруст? Это такие тонкие, сложные чувствования, они мне понятны, но сам я так чувствовать неспособен. У меня чувствования примитивны, вспышка молнии – озарит, представит глазам неизвестный пейзаж. Погасло – и опять мрак, остается в памяти только какой-то смутный очерк. Гениальная красноречивость прустовских описаний. Чародей слова и т.д. Энтузиазм художника, влекущий его к описаниям своей душевной жизни и явлений внешнего мира, с которым он входит в контакт. Видит словом до мельчайших подробностей, не желает упускать ни черточки, исчерпывает до последней крупинки. Эта чудесная одухотворенность, растущие за спиной крылья, широкие и могучие. Страсть воплотить в слове жизнь во всей ее многомерности. Изящество, обаяние, сила.

Писать, ставя образы, как камешки в мозаике, класть рядом мазки, без частиц «как, будто, словно, подобно, точно», без связок и мостиков. Образы будут кидать друг на друга многоцветные тени смыслов, создавая чистый Смысл неделимого целого. Так я писал «Ригу в шляпе» и «Дни с Л.».

Надо, чтобы не было похоже ни на какую литературу, отказаться от всех книг, ни одна не нужна, не прикасаться, выбросить из ума и сердца всю эту всемирную библиотеку. Начать с нуля, как первый человек на Земле. Освободиться от плена культуры, от груза всего написанного за тысячелетия. Быть поглощенным шумом чужих слов, вот несчастье. Вернулись с юга, и я вернулся к этой тетради. Устал от людей, от пошлости во всех ее видах. Ничего не хочется, кроме тишины и уединения.

Вермеер Дельфтский, раскрытые окна, музыкальный инструменты, залитые солнцем комнаты, фрукты, парусники, письма, географические карты, широкополые шляпы, украшенные перьями экзотических птиц, живописные складки драгоценных материй, ярко желтые платья и песок берега, влажный блеск губ и глаз, лучи улыбок, большей частью недоверчивых и хрупких, как видения фантастических образов в светлой тишине полдня.

Воображение рисует незримую грань между прошлым и настоящим. Туман, утро, пурпур рябиновой кисти, мокрая скамейка в саду. Вечером прогулка, прояснилось. Красивое облако – гигантская золотая лапа. Лариса в восторге: «Погляди! Потрясающе!» И повторила: «Потрясающе!» Лесная тишина, черная вода ручья и стебли травы, такие зеленые, такие яркие. Пятна солнца, блики, ах, как тихо! Целебная тишина.

Лежал, слушал лютневую музыку. Пожар рябины в окне. Я окружен красотой. Весь день провел в одиночестве, в тишине. Поработал за машинкой, кажется, успешно. Прогулялся, купил полюбившийся мне чай «Липтон», листовой, 7 пачек. Радуюсь. Как ребенок, честное слово. Сейчас придет Лариса, и я перестану быть один, сам с собой. Я был почти счастлив, без всех, без кого-либо. Пятница, мрачно, Пруст, грушевый вкус счастья. Она ему казалась существом иного порядка, с психикой из трепетных эмоций, как пугливые тени листьев на ночной стене дома, не с психикой из горбатых ножей, как он сам и все его знакомые, нет… Окно, как паутинка, у Вермеера Дельфтского, контрабас на полу играет в шахматы с тяжелой парчой, алебастровый кувшин беседует с белоснежными манжетами и кружевным брабантским воротником, но трезубец Психеи повернулся спиной к зрителю, грустный это поворот,

волны клавикордов и неумолимое зеркало, которое не скроет выражение лица.

Присутствие красного весь день. Я один, как слон в клетке. Павсаний «Описание Эллады». Шепот крови, трепет крыльев. Шел в задумчивости и, наверное, что-то бормотал, не замечая этого; на меня взглядывали внимательно. Жизнь – пламя с его ожогами. Искусство – безболезненный свет, если не бессмертный, то во всяком случае долговечный. Пламя жизни, быстро погасающее, переведено и превращено в долговечный свет искусства. Вот и всё.

Можно ли словами исчерпать душу до дна? Этот путь бесконечен – о мире и о себе. Не лучше ли покончить одним махом, взмахом гениальной молнии, одной чертой. Молчальник – только поэт. Или молчание, или – молния. Близок к полному безразличию. Пора прощаний. Это ночь стучится в мое окно, космическая непроглядная ночь. Еще один спокойный, твердый, сознательный шаг – и все будет кончено, как для пьяного пловца в Малой Невке в гибельную роковую ночь.

Брезжит нечто, чарующее, колдовское свечение. Равен ли язык этой тайнописи чувства? Дорожки волшебных садов, череда внушений. От книги до книги. Писатели без конца переписывают друг друга. Но был же Первый?.. Адам – Земля. В начале был Дух, и Дух произнес первое Слово. И Слово само написалось в пустоте.

Лицо Ларисы в метро, это горестное выражение, эта грусть, эти ее слова: «На что истрачена жизнь? На чувства?» Ее напутствие при прощании: «Береги себя!» Утро и опять готовый политься дождь. «Шагреневая кожа», ярость желаний, Полина, Рафаэль, призрачные порождения бальзаковского мозга, он сам, его пыл, безмерность его жизненной жажды, тщета и бессилие, и падение. Жизненный порыв и смерть с ее с безжалостными ножницами. Я читаю, и часы бегут, старюсь за книгой, за пустыми мечтаниями, в мире призраков и иллюзий. Они утрачены, всё, всё.

Форма, пока она живая, не хочет ничего оформлять, боится завершенности, закругленности, замкнутости, боится, как огня, как тюрьмы, как смерти, бежит от равновесия и гармонии, чурается резкой очерченности, ни на миг не желает остановки, определения себя, окончательного обобщения, синтеза, точки равноденствия, все время порывается куда-то, к каким-то неясным целям, хочет быть свободной, стряхивает с себя путы, рвет цепи, стремится к беспредельному, бесформенному, к изначальному хаосу. Снегопад – наглядный образ этой природной устремленности. Вольный полет

множества хлопьев. Живая форма не хочет быть совершенной. Совершенство – смерть.

Необыкновенность обыкновенного – вот чудо из чудес. Самое интимное, мучительное, эти смерчи и вихри, путешествие внутри неизвестных стран самого себя, своих пустынь, гор и морей. Некий бесконечный роман о себе, об интимной душевной жизни. Туманно. «Все любимое навсегда остается с нами». Новалис. Злоба ходит по городу, глаза-дыры, флаг на здании мэрии. Исаакиевская площадь, бегу, маленький, как клоп, под пальцем Неба, готовым меня раздавить. Страшные сентябрьские сны. Ужас дней и ночей. Моя проза, бьюсь над ней, бьюсь. Надо развивать каждый абзац в главу, а я тороплюсь, у меня нет терпения, или вдохновения, или дара, чтобы раскрыть, развернуть и исчерпать тему. Это же проза, а не стихи. Не знаю. «Вокруг лыжных холмов» – хорошее название. Буду биться, пока не сверну шею на этих склонах. Удивительно, как это я еще что-то сумел из себя сделать, из такого никуда не годного, дерьмового материала. Посмотрели все-таки «Обнаженную маху» в Эрмитаже. Дождь. В закусочной за столиком, пирожки, кофе. Невский, зонты, ноги, слякоть.

Листья летят, печаль. Золото шпиля. Провести жизнь в чтении. Страх жизни, я ее боюсь, смертельный страх и отвращение. Сырой запах опавших листьев – ночью. Встречал Ларису у кинотеатра, машины, толпа подростков, ждущих впуска на дискотеку.

Повара из ресторана выходят ночью во двор покурить, в белом, как привидения. Совокупление кошки с котом. Другой, рыжий, рядом, ждет своей очереди. Черная волна в сердце. Готовый в любую минуту отступить, сбежать, сдаться. Мрак окон, ни числа, ни дна, ходи, заглядывай, в то, в это. Ресторан «Адамант». Лязг железных ворот, во двор въехала машина с мусорной цистерной. Коты и кошка разбегаются. Облупленный кирпич, в бессонных моих глазах ночное бдение. Скорей бы все это кончилось. Не думать ни о чем, писать книгу. Слишком поздно для великих свершений. И все-таки лет десять можно было бы. Ирония судьбы, почти 52. «Вещи, достигнув своего предела, претерпевают превращения». Древняя китайская мудрость.

Нервы напряжены, страх растет. Раньше ничего подобного не было. Величие и благородство животных. Душа книги, ее тон, ее аромат, внутреннее свечение. Лампа отражается в стекле книжной полки. Бездны зеркал. Оттуда на меня всегда смотрит чье-то лицо, скрытое под черной маской. Мистер Икс. Проспект Чернышевского, египтяне, скрестив каменные руки, сторожат вход. Зачем я здесь? Вся

жизнь – какой-то бесконечный ужас. Машины, толпы. Я на скамейке у метро, пишу наспех, в этот пасмурный октябрьский день.

В городе митинги, протесты, на Дворцовой площади толпа, лозунги. Ничего не понимаю: как жить? Последний день в этой шкуре. Самоустранение, изоляция. К червям, в пыль. И пыли не останется, ничего. Сатурн спахнет крылами с тленна мира. Я один, я думаю, чувствую, пишу. Вот всё. Этот момент, порыв, это и есть – подлинное. Ловить тени прошлого? Сомнительное занятие. С автобиографией пока ничего не выходит. Найти угол зрения. Надо, чтобы ожили звуки, запахи, лучи, речи. В этом все дело. Метафора, символ, свечение глубины, мистическая свеча, радужные тени смыслов. Звериные маски, ряженые, – вот твоя хваленая реальность, играет с тобой в прятки на шахматном поле, в жизнь и смерть. Читаю Селина – голый поток страсти, словесной энергии, яростный натиск, вихрь ненависти. Очертить магический круг одиночества, заклясть напор этой нечисти, Хома Брут, стиль изнутри, ритм крови и дыхания. Все хотят быть сам с усам, глыбой самобытности. Большие стили в литературе – раз-два и обчелся. Бесконечно читать одну и ту же великую Книгу, Голубиную (глубинную), спрятанную в пещере Мировой горы, Меру, в Индии. Оглянись! Живут для пуза, дела, деньги, власть, возня-грызня. Вошь победила, струны молчат. А ты говоришь: дух, совершенствоваться, выше и выше!.. Ты царь, живи один… Не найти слов для моей, лично моей, подлинной интимной жизни. Все слова слишком общие, для общего пользования. А дни улетают, крутясь проклятым роем, все ближе к концу, все меньше сил, все равнодушнее, все холоднее.

Теперь я вполне созрел, чтобы уединиться в четырех стенах с листом бумаги и биться на этом чистом поле с духами зла. Знание жизни, как кровь на лезвии топора у Раскольникова. Последняя ночь на службе государства, лоб под кокардой. Прощай, оружие.

Вот уже третий день свободен, не хожу на работу. И не совсем стар, не совсем. Но нет свежести чувств, чего нет, того нет. Какая-то вялость, остроты нет. Ножичек притупился, розовый конь проскакал. Писанина – хороший способ забыться, лучше, чем водка. Селина не смог прочитать и до середины, эту его гоньбу «Из замка в замок». Бесконечная болтовня озлобленного старика, вопли ненависти и нервов. Чтение – чума, зараза, наркотик. Без этого жить никак. Раб Эпиктет, хромой и бедный, как Ир, друг бессмертных. Лукан «Фарсалия», 25 ему было, только 25, когда он резал себе вены. Листья почти облетели, деревья оголились, жуткие скелеты. Полночь, бессонница, нижний подонок, опять включил музыку на всю

громкость. Афанасий Никитин: «А все черные люди, а все злодеи, а жонки все бляди да веди, да тати, да ложь, да зелие… Есть в том Алянде птица гукук, летает ночи, а кличет: «кук-кук», а на которой хоромине седит, то тут человек умрет».

Сегодня сидел за машинкой четыре часа, сделал две страницы. Все это очень сомнительно – что я делаю. Но – делаю. Бред души. Для меня всегда было главным чувство поэзии. Поэт ли я сам? Сомневаюсь. Я только очень хотел им быть. Во всяком случае я смотрю на мир только глазами поэзии и ценю в мире только то, в чем есть поэзия. По другому, по старинному – красота.

Юсуповский дворец, Моцарт, мраморный пол, стареющие женщины в надвинутых на брови черных беретах, невзрачные, низкорослые мужчины, брюки гармошкой, войлочные тапки на резинках поверх обуви. Белый зал, дирижер во фраке, фрагменты из «Дон Жуана». В спину дуло. Эти попытки что-то написать, бесплодные попытки. Союз писателей, русский дух, трескотня, патриотизм. Никого не слушать. Я полностью состоялся, внутри, я сам в себе созрел. Говорят: Ты не простой, крученый, не знаешь меры, нет ясности, сложен, нечитабелен. А такая простая внешность, простецкая. Не сходится, не соответствует лицу. Надо писать ясно, просто.

Какая пропасть между чистым языком, которым говорят зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и языком слов, этим болтуном, пустомелей! «Людские так грубы слова… О, если б без слова сказаться душой было можно…». Танец, музыка.

В баню на ул. Корзуна. Сидел в сауне, затем в парилке. Пот потоками. Вышел в моечную, шатаясь, слабый, худущий, как скелет. Одет – бомж бомжом, старое пальто, старая зимняя шапка. Еле-еле добрел до дома.

Тихо, все спят. Я один за письменным столом. Зажгу свечу и буду смотреть на пламя. Успокаивает. Писать свою жизнь невозможно. О чем писать? Чем мучился, чему радовался? Ломбард на Мойке, блеск ночной воды под фонарями. Боюсь будущего, боюсь жизни, всего боюсь. Подумать только: уже 23 октября, течет, течет год, и я тупо смотрю, как течение уносит день за днем… Без божества, без вдохновенья. Все еще жду высокую волну, звон струны в тумане. Назойливое желание знать и объяснить. Удержать себя от этого соблазна – немалое мужество. Дать говорить голосам, не тронутым вымыслом. Шепот крови и трепет крыльев. Мист – закрытый рот. Грезы сердца – не дозовешься. Жизнь, что так больно жгла, теперь пепел. Теперь спокойно колдуй над музыкой фраз. Речь течет, дай ей

течь, тащить силой течения все, что в нее попало, груз былого и дум. Мой письменный вьючный мул.

Большой зал Филармонии, «Орфей» Глюка и Фомина. Мы с Ларисой по приглашению. Синее вечернее небо в куполе, в открытых окнах. Музыку не удержать в ушах, не удержать ни звука. Вышли на Невский – золотые рожки месяца между Гостиным двором и Думской башней. Лариса захотела пирожных. Сидела за столиком, я стоял. За окном вечерний Невский в огнях, Казанский собор. Говорит: «Ты как пришибленный, у тебя комплексы». Смотрю на себя в зеркало: тоже мне фон барон, в длинном, до щиколоток зеленом пальто, голова брита.

Последний раз был в том месте. Галерная, Петр, Росси. Дождь, дождь. Пахнуло на меня давно уже забытой молодостью, резко, свежо. Жизнь чувств. Яркий луч пробежал по сердцу, и опять – темно.

Гулял с собакой. Бег облаков. Я слышу как все это звучит – цвет, движение, молчание. Всё полно музыки, пения муз. Знание вне слов. Слова – преграда между мной и миром. Шел по дороге в темноте, сосны с обеих сторон, карканье ворон; впереди, над дорогой, месяц в тучах. Так я шел, шел и смотрел на этот месяц, шел бездумно, только глаза мои были устремлены к месяцу. Прочитал «Турецкие гаремы» Пьера Лоти. Какая грустная история. Дженан, черкешенка, гордая, чистая душа, пленная птичка, глаза цвета бронзы, брови, рыжеватые, высокими дугами, юная, влюбленная. Аравийский яд. В половине первого часа ночи лег спать, печальный. Свеча на столе.

Прожитое ложится на дно души и хранится там слой под слоем. Душа – феникс, ей надо сгореть, сжечь себя со всем своим прошлым, чтобы родиться заново, новой душой. Мы на даче, не спится, так и не сомкнул глаз всю ночь. Затопил печь. Лариса проснулась, ее голая ступня из-под одеяла. «Ну, улыбнись же!» – говорит, – «Надо улыбаться, чтобы настроение было». Пишу слишком скупо, слишком сжато. Не развернуться. Отчего это? Убожество, отсутствие широты, силы, дара? Кафка был ростом 1,82, худущий, неуклюжий, стыдился своего уродства. Ларисе плохо, головные спазмы. Контролер в электричке. У нее нет билета. Говорю ему: Простите уж ее, это моя жена». – «Жена»? – спросил он с улыбкой, недоверчиво. Огоньки бегут, дрожа, в темном окне. Жизнь непонятна. Ничего непонятно, загадки, тайны, сплошь и рядом. Каждый резкий звук или пошлая речь вонзаются в мозг, как гвоздь. Ежедневная Голгофа, в половине восьмого, шорох снимаемого с вешалки пальто, лязг запираемой двери, провожаю слухом ее уход. Снова засыпаю. Будит собака в квартире ниже этажом.

Лариса нервная, усталая. Попросила отрезать голову рыбе. Почему меня надо просить, почему я сам не вижу, почему я бесчеловечен и т.д. У нее климакс, гормональное расстройство, невроз. Кафка: «Это определяет форму моего настроения». Так же мглисто, та же грязь. Вялая гимнастика, обливаюсь холодной водой. Снились черные женские сапожки и незначительный, казалось бы, разговор, которому я придавал какой-то глубокий, теперь непонятный мне смысл. Я – рана и не хочу заживать, каждый новый день срываю корку, чтобы опять полилась кровь. Гной и кровь. Ничего не написал, ни слова.

Телефонный разговор, голос, интонация, замирание, шепот, паузы. Сберечь это обаяние, эту нежность, носить с собой. Главное событие дня.

Первый снег. Забрал тираж «Стокрылой стаи», сто экземпляров, издательство, где работает Лариса. Столько лет жил стихами… Везем на тележке. У Казанского – Костя Крикунов, лысый, в кожаном пальто. Вот встреча! Подарил, надписав. Он куда-то спешил.

Машина-уборщик ревет, крутя ершистую щетку и вращая желтым свирепым глазом на кабине. Я бегу, бегу от нее, задыхаясь, спотыкаясь, падая. Машина-чудище вот-вот настигнет, собьет, раздавит. Наконец, взлетаю, выше, выше, над коробками жилья, в мутно-серое ноябрьское небо. Меховая шапка свалилась с головы, пальто тяжелое, тянет вниз, ветер свистит в ушах. Холодно, пронзительно-пусто.

На столе четыре тоненьких книжечки, все мои великие, грандиозные произведения, собрание шедевров. Томов премногих тяжелей. Есть, чем гордиться. Самоутешение танцора, которому не танцуется.

С собакой к метро, хризантемы, этот запах, свежесть, холод лепестков. Слушаем Баха, кассета. Многословие убийственно. Слабое перо не выдержит нажима на такие слова. Отказаться от счастья писать. Бессонница, читал Библию, главу о Ное и Потопе. «И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни». Днем солнце, голубое небо, мороз. Раскрытая тетрадь, не пишется, мозг пуст. Недовольство собой – хроническая болезнь, или вредная привычка.

Проснулся, мрак, в соседних домах кое-где горят окна. В это время я бы уже шел на службу. Теперь не надо. Не хочется начинать день в темноте, в такую рань, включать электричество. Нет, полежу еще, на спине, вытянув руки вдоль тела, дожидаясь серого ноябрьского рассвета. Думал о разном, о том, что меня покинули радости жизни, что пропало желание что-нибудь делать, предпринимать. Даже мечты

противны. Какие мечты могут быть, скоро 52. Нет надежд. Заставлять себя вставать, двигаться, усилие жить. Осточертело. Не просыпаться бы… Новый день начался. Лариса уже моется в ванной. Потом делает гимнастику по Нарбекову под магнитофонную запись. Одеваюсь, гулять с собакой. Потом вдвоем с Ларисой пьем чай, молчаливо, отчужденно. Призналась, что чувствует себя беззащитной, ей кажется, что я неспособен ее защитить. Горько такое слышать. Час от часу не легче. Становлюсь занудным типом, как она говорит. Разговор оборван, как крылья бабочки.

Звонок Ларисы, ее хрупкий голос, желание быть нежной. Дует из прошлого, холодит вьюга, слетая с темных холмов, призраки, тени, хор полузабытых голосов. Хожу тут один и всматриваюсь во мрак, оттуда на меня смотрят лучисто-добрые глаза фонарей. Что-то такое поет во мне, такое, что хочется произносить стихи, в которых живет и говорит Божество, Красота, Вечность, Дух. В такие минуты я думаю: зачем мне пытаться писать самому. Может быть, я напрасно себя мучаю, во мне ничего нет, я только заражаюсь от других, только беспокойство подражания, обезьянничанье «само-выражения» и «самоутверждения». А если что и есть во мне, моя жизнь, мой внутренний мир – так мне это не выразить, мне не найти этому слова. Это что-то летучее, неуловимое, какой-то чувственный пар, аромат, вне мыслей, вне сознания, вне слов. Некий звук души, тон голоса. Пока ищешь этому слова, этого уже и нет, всё исчезло, развеялось. Изнурительная и бесплодная борьба, хитрости, уловки, чтобы хоть как-то приблизиться, хоть что-то поймать, тени, намеки, пыльцу с крыльев бабочки. Нет, надо эту ерунду бросить. Жить как жить. Пусть все пропадает. Я тут один, и так бы один и жил до конца дней моих. Только бы меня никто не беспокоил.

Отблески событий. Удалась еще одна страничка. Что-то плету из себя, из тонкой материи слов, из звучащего воздуха, струн внутри. Желток дня, черные стаи ворон с криком носятся над соснами. Ау, ау, жизнь! Где ты? Глухо в лесу. В этом лесу – глухо, безответно. Услышу ли я нежную нотку в любимом голосе? Сны отоснятся, духи выдохнутся, крылья отшумят за спиной. Девочка лет четырнадцати в вагоне электрички, играет на скрипке «Аве Мария» Шуберта, идет, протянув озябшую от холода, розовую лодочку ладони в надежде на подаяние.

У Казанского с Ларисой, милое ее лицо, меховая шапка. Садовая, 14-й трамвай, к тетке. Мойка во льду под талой водой, зеленый купол церкви, огни, фары машин. В квартире у тетки полумрак, настольная лампа, высокие окна с видом на вечернюю набережную. Заклеивали

рамы, я стоял на подоконнике, Лариса подавала мне снизу полоски бумаги. Потом сидели за столом на шатких ножках, пили чай со сгущенным молоком. За шторой черно, лед, огни.

Жизнь страшна, весь я пронизан страхами. Этот декабрьский денек, мои мечтания о том, о сем, все еще кружат голову. В моем возрасте это смешно. Что я в этом мире – дымок дыхания, пар, вот и нет меня. Те мои томления весной, в апреле, в начале мая, тот кусок сухого уже, солнечного асфальта у магазина на проспекте, тоска желаний, неизмеримого, невозможного. Лететь куда-то на крыльях, быть счастливым. Я рвался из дома, в леса, к заливу, куда-нибудь из душной комнаты, где меня все мучило – пыль, стулья, книги. Мечтал о ярких встречах, о чуде, о приключениях и прочей чепухе. Сердце ныло, тоска ужасная, до слез, я чувствовал себя несчастным, терзал вид старух, уродства, грязь, грохот города. Боже, боже, почему я так несчастлив! Вернуть тот, другой апрель, наши поездки в Ломоносов, улыбаться глупой, дурацкой улыбкой, влюбленный, околдованный. «Ну, что ты все улыбаешься?» опять бы спрашивала она. Ничего не происходило, весна летела мимо меня, обдувая пьянящим воздухом, никого я не встречал, шатался один, и жизнь моя пропадала в этой пустой тоске, в сознании бесплодия, ничтожности каждой безвозвратной, драгоценной минутки жизни. Что-то, жаждущее ярко, пышно цвести, бесценное и неповторимое погибало во мне, погибало даром. И это удручало страшно, доводило до горьких спазмов в горле, до рыданий по ночам в подушку. Мальчишка. Сколько таких дней, таких мест. Мы с Ларисой, ее милое лицо, ее близость, ее нежность.

Встал, за шторой мрак, фары машин на снегу, люди бегут. Делал зарядку по пояс голый, отражаясь в темном стекле окна. Тело кажется совсем молодым, юношеским. Ну и худущий же я стал. К Ларисе в ее издательство. Казанский. Лариса уже ждала меня там. Коробка с курами, перевязали веревкой, и я понес. Тяжеленько, 9 кг. На Невском толпа, каша под ногами, месиво. Канал Грибоедова, втиснулись в метро. Лицо Ларисы, милое, усталое, постаревшее, в морщинках. Грусть.

Я всегда боялся жизни, только мечтал о действиях, а сами действия меня пугали. Прятался в норе. И всегда мне хотелось, чтобы жизнь сама ко мне шла и приносила мне свои непредсказуемые дары, чтобы являлось ко мне то одно, то другое чудо. Так я понимал счастье. А реальная жизнь – это ушибы и раны. Передо мной стоят на полках любимые мной книги, которые меня восхищают, магия, в плену которой я нахожусь. Великие божественные образцы. Вот также я и хотел бы писать, но и по-другому. Чтобы плеснула свежая

волна, моя волна, моё. Чтобы кровь кричала, а не выдумки. «Но сердца бедного кончается полет одной бессильною истомой». Жить воображением, его аравийскими ураганами, пиром во время чумы. Вьюжный вечер, шапка-боярышня, тени ветвей на стене.

Лариса пришла с работы, хмурая, у нее все болит. Принесла с Сенной кусок тыквы и свиной жир, нутряной. Растопив, переливали в банку. Говорят, целебный. Будем на нем картошку жарить. Еще будем выращивать ростки пшеницы, омолаживает организм и продлевает жизнь. Сколько мне осталось? Лет двадцать? Писать до последнего вздоха. Что я пишу, зачем? Я обречен на старение, смерть, безвестность. Борьба бесполезна. Изменить ничего нельзя. Возраст ужаса. Как это могло случиться со мною? Каждый день ведет к яме. Соблазны черного и розового.

Январь, на Садовую, везем настольную лампу тетке, Екатерине Васильевне. Садовая темная, тротуар в рытвинах, во льду. Морозный ветер, фонари в ореолах. Зеленая шапка церкви на Мойке. Обратно в трамвае №54 до Сенной. У Ларисы ноги замерзли. Бедная, морщины, ее каракулевая шуба. Я молчал, тоска, отупение, ничего не хочется, мелькал в темных стеклах город.

Пишу «Якорь в Риге». Время писать и время сжигать написанное. В 52 мне не дают сорока. Моложавый. В этом феврале я умирал, умирал и умер. Сердце умерло, оно на дне океана. Надежд разбитых груз. Лариса спит. Читаю «Манон Леско». «Манон страстно любила наряды и развлечения». Память сердца, тончайшие дуновения чувства.

Келья моя озарена солнцем, март, капли льются, стучат по карнизу. Читаю Шопенгауэра «Метафизика половой любви», бессмертная родовая воля. Гофман «Серапионовы братья», и у него о том же. О музыке, о пении, разрывающем сердце певицы. Великая и страшная сила, повелевающая петь и погибать в песне. Жар-птица в клетке. Здравствуй и прощай – вот жизнь. Стол пиршеств, одним гостям слуги подносят и то, и се, а другим ничего не досталось, по усам текло, да в рот не попало. Раб отпущен на свободу. Вирджиния Вулф, картины внутреннего мира. Наступает бесчувствие, Лариса больна, хрипит, горло.

Сумрачный теплый апрельский день. Каждый раз с молодыми зелеными листьями радость возвращается. Переулок, дождик побрызгивает. Лоб, щеки, ему – на, возьми! Все лицо – чудесным иголкам влаги, нежные уколы, поцелуи неба. Еще живу. Спасибо, спасибо! Еще май будет, и лето. Вечером к Ане. От Нарвских ворот,

за Обводный. Сырой ветер, луна, половинкой, над крышей. Лариса, ее упреки: почему я не умею веселиться. Для компании я человек пропащий. Это, в конце концов даже неприлично. Сидел за столом рядом с виновницей торжества и хоть бы словечко вымолвил за весь вечер. Хорош гость, нечего сказать. Что обо мне подумать могут. Решено: больше никуда с собой не возьмет.

Весь день думаю о том, как бы я стал жить один, совсем один. Смог бы я так жить? Одичаю, свихнусь. Нет, страшно. Отголоски, обнимать, целовать. Где он, тот мальчик, сочиняющий стихи, тот влюбленный, одинокий, страдающий? Кончено, кончено. Там человек сгорел. Эта моя бестолковая, бессмысленная поездка в Автово, в пятницу, в холодный майский день. Трамвай, проспект Стачек, опять этот странный кирпичный домик слева, желтые цветочки, веер рельсов, мост, внизу канал с мутной, блестящей водой, молодая зелень тополька вдоль него, какая-то бедная, в холодном воздухе, и перспектива убегающих рельсовых путей, коробки товарных вагонов – цепочкой. На остановке изжеванное морщинами, загорелое мужское лицо, лоб и клочки волос, их рвал ветер. Никак я не мог вспомнить название той улицы, пока не увидел на доме: улица Зенитчиков. Надо же! Сколько лет я сюда ездил, в тот магазинчик Старой книги к открытию! И вот – забыл! Ах, сколько радостей мне доставляли тогда книги! Мчался сюда в любую погоду. Почему-то вспомнилась поздняя осень, октябрь, ноябрь. Еще – ранняя весна, март, ветер, пыль, обрывки синевы, капли. Тут, у трамваев, у разрытой земли, у заводских, изрыгающих дым, труб, оказывается, на серой, пыльной, хмурой стене – музей Ахматовой, и ее фигурка в профиль, как японская. Что за музей? Не замечал раньше. И зачем же я сюда явился, что меня сюда принесло?

Перед Павловском загорелась наша электричка. В вагоне закричали: «Пожар! Крыша горит!» И правда: дым наполнил вагон, стали открывать окна, паника, народ побежал в другие вагоны. Поезд встал. Мы видели тень дыма, летящую по траве, потом тень человека с огнетушителем. Она, тень, заливала водой огонь на крыше. Ничего страшного. Загасили, поехали. Окно в пенных полосах. Закатное солнце у Витебского вокзала, черная игла в небе. Лариса еле идет, ревматизм, поясница, бледная, в зеленом плаще, черная шляпка с бантом.

Утро, облака, радость листьев. Стрижи! Прилетели – гонщики неба, артисты полета! Как я люблю этих стремительных птиц! Тепло этих майских дней, зеленые каскады берез, каждый листик блестит

отдельно и все сливаются в одно сверканье, в один блеск. Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Раньше я ждал с каждым новым утром новых чудес. А теперь? Радость от повторения уже привычных удовольствий, от чая, от чтения, от свежего лиственного шума и трепета, от неба прежде всего, от запаха молодых березовых листочков, от порывов чистого ветра. Счастье, что есть еще уголки тишины и безлюдья. Главное – не видеть и не слышать людей, не ощущать их присутствия, знать, что их нет хотя бы на сто метров вокруг. Вот раскрою окно, воздух еще чист, глотнем этого бальзама, этого целебного луча, этого счастья. Еще день будет, целый день одиночества. Ах, какое мощное крыло цветущей черемухи нависает у нас в переулке! Вчера долго стоял под ним, вдыхал, не мог надышаться благоуханием.

Как встал с постели, так вот и брожу из комнаты в комнату, бесцельно, и все уговариваю себя поставить точку, все думаю, думаю, все прощаюсь. Может, это я с жизнью прощаюсь, с ее яркостью, ее заревом, с ее девятым валом? Да, этот вал прокатился, он уже далеко, едва слышен, затихает у меня за спиной. Прощай, музыка, боль, крылья! Майский дождь шумит в молодой листве за окном. Ничего, ничего, как-нибудь еще поживем.

Дождь иссяк; Падала, сверкая на солнце, толстенькая, гибкая, блестящая змейка, свисая с желоба, ритмично дрыгала у его края..., плескалась внизу, в лужице, посреди ярко-розовых, влажных осколков кирпича.

Дневник Олеши, воспоминания о Маяковском, перед ним (Олешей) великий человек. Глаза Маяковского, черные, въедливые. Рогатые глаза. Голос его, громовый. Владим Владимыч. Маяковский на них действовал ошеломительно, внушал или восторг или раздражение, злобу. Говорил всегда напрямик, правду, не стесняясь. Ругал или хвалил. Разница в возрасте между Олешей и Маяковским – 10 лет. Почти как у нас. У нас – 11. В прошлую встречу он мне сказал: «Жить – что за удовольствие? Ничего в этом приятного, но раз еще могу работать, значит, и жить еще можно».

Резкая зеленая звезда сквозь ветви ночного сада. Венера. Услышать сердце вселенной, душу мира. Истина – пестрая змея, ускользающая, мгновенно меняет свой узор. Ум, влюбленный в безумие.

Проснулся посреди ночи и долго лежал без сна, прислушивался к дыханию Ларисы. Мысли о том, что мне уже никогда не почувствовать себя бодрым, сильным, здоровым, радостным, переполненным через край жизнью. Мысли, мысли, грустные,

темные. Олеша, его писания, как льется, без старания мастерства, без попыток обработки. Годится ли так? Если обработка происходит бессознательно, интуитивно, сразу, уже под пером, в процессе письма. Разве такое бывает? Изредка, у гениев. Из области чудес. Нет сил, ужасно устал, весь организм устал, сердце устало. А мне ведь только 52. Нет подъема, блеска, упругости. Могучая, сверкающая волна из сердца не встает. Не живу – прозябаю. Зачем-то. Воспоминания о море, о моих плаваниях. Ранняя весна, март, должно быть. Таллинский порт. Светло, свежо, возня на палубе, блеск белой корабельной надстройки. Отчаливали, в Бремен. Короткий рейс, на неделю. Сверкание капель, простор Балтики. Давно это, лет 30 тому назад, там где-то, брезжит, было, не было.

У меня нет писательского темперамента. Я пишу мало, капает по капельке, цедится. Не очень-то я люблю писать, а теперь и совсем разлюбил. Нет этого желания. И все-таки постоянно себя мучаю: что, вот, – не пишу. Устал, смертельно устал я от себя. Вот что, в этом все дело.

Жар письма. Все, что я написал, я написал чаем. Крепким, черным, чифирным. Тот пейзаж в конце поселка, за разливом (конечный пункт нашей прогулки), снег на черных елях вдали, на молодой, восковой, замерзшей зелени берез; матовые отражения этой зелени в воде. Этот резкий северный ветер, этот повторяющийся из года в год холод в начале мая.

Импульсивное письмо. Писать, только когда пишется само собой, бессознательно, непроизвольно, свободно. Слова и фразы, как искры, высекаемые при столкновении с жизнью. Возгласы радости или боли. Это не дневник, это искорки жизни, гаснущие на странице. «Наедине с тетрадью» – так я назову этот дневник. Нет, не то. Никак не назову. И не дневник это, вовсе и не дневник. Собрание лучей жизни в одной жгучей точке. Прожжет бумагу. Любить, на разрыв аорты. Все это отсияло, отмучило. Этот золотистый пушок над ее губой.

Снилось что-то об Олеше, какие-то мои мысли по поводу его книги, которые казались мне интересны, и я думал: надо бы записать, забуду; но тогда мне будет уже не заснуть опять. И от этого беспокойства проснулся, а то, что хотелось записать, стерлось. Зеленые ветви черемухи, горошинки цветов уже забелели. За хлебом, в магазин у платформы. Ах, как пахнет свежей, горячей корочкой. Ко мне кинулись две собаки, рыжая и черная. Тетка кричит: «Осторожней! Эта черная очень опасная, цыганская!» Смотрю: собака как собака, лохматая дворняга, бездомная, голодная. Провожает меня робкими и печальными глазами.

Какие великолепные куски у Олеши в дневнике. Как он пьянствовал, опустился, просил денег. Ему бы написать такую книгу о своем пьянстве, как бродил по городу, по забегаловкам, попрошайничал, опускался ниже и ниже. Написал бы как Гамсун – «Голод». А у него – «Пьянство». Как человек пропадает, гибнет. Жаль, что он не написал такой книги, был бы еще один мировой шедевр. Один этот образ чего стоит: «Он шел, унося длинную под волнами коричневого сукна спину».

Спал на веранде, под двумя одеялами да еще ватник сверху. Телу тяжело, как под каменными плитами, придавлен, кости болят. Устал от этой тяжести. Дождь клюет кровельное железо над моей головой, дробный перестук. Встал, гимнастика, бритье, омылся по пояс холодной водой на дворе. Небо в тучах, сизое, мутное; нежная зелень деревьев. Какой холодный май. Лариса плохо спала, вялая, спина болит. Затопил печь, чай пьем. Какие у нас планы? Поехать в Вырицу, в церковь, погулять, купить творога. Поджаренные на масле ломтики хлеба, золотистые, вкусные, хрустят. Вечером в карты резались, в дурачка.

Ночью во сне опять разговаривал с Олешей. Что-то я говорил ему важное, и он со мной соглашался. Что? Стерлось влажной дождливой тряпкой утра. Он поляк, Олеша, у него такая замечательная шевелюра и глаза, яркие, должно быть, карие, бычьи, мягкие, добрые. Он пил, опускался, клянчил деньги у театральных королей, у столбов в шубах; он – нищий, штаны с бахромой. Ненавидел беллетристику, писал дневник. Теперь он, писавший свой дневник, попал в дневник мой и в мои сны, в бред, в бормотание сонного мозга, в разговоры вперемежку с дождливым стуком по ночной крыше.

Списал показания электросчетчика, встав на скамью и светя тонкой красной свечой с розовым острым язычком пламени; цифры в желтых ячейках, как в орбитах бесстрастных глаз. Лариса пошла платить на почту. Слушаю по радиоприемнику новости о Сербии. Бомбы, бомбы. Разгромили железнодорожный мост в каком-то местечке и электрическую подстанцию.

Никогда у меня не будет литературного имени. Почему я так спокоен? Это же беда, катастрофа, крушение жизни. Я ничего не достиг, не хватило таланта, дара, духа. Чего еще? Всего не хватило на имя. Талантик со спичечную головку, пых – и ничего нет. Пришло вдруг на ум. Я и забыл об этом. Ничуть меня уже не беспокоит. Безразличие. Смирился. Все равно – есть имя, нет имени. Что с этим делать? Что-то от меня зависит? Что? Чепуха. Лучше выкинуть все это из головы.

Холодная ночь, тучи. Бледно-зеленая полоса под тучами, на западе, за крышами поселка, за деревьями, этот таинственный просвет чистого ночного неба, собачий лай. В зеркале умывальника на дворе отражение моего лица, шерстяная шапка, блестит белок глаза. Это темное ночное отражение моего лица, мужчина, далеко не мальчик, но и не старый же, так, мужчина каких-то лет.

Ночью заморозок, земля твердая, гудит, трава посолена. Лариса уехала в Вырицу за продуктами. Практическая сторона жизни со мной не дружит. Я в мистической стороне, в этих мерцаниях, предчувствиях, голосах, шорохах, музыке слов, знании на кончиках нервов. Зачем это всё? Для кого это ценно? Надо кончать с этой затянувшейся глупостью. Солнце, облака, березы. Как листочки выдерживают такой холод? Бедные, не померзли бы. Сижу, пишу. Так, привычка, бег пера по бумаге, чтобы хоть что-то писать, какой-то писательский долг перед собой, самоутешение, удовлетворение своего самоедства. Пишу, значит, – живу. Что-то делается пером, фразу тяну до точки. Великий писательский подвиг! Молодец! Можешь теперь отдыхать от чернильного труда до следующего утра. Почивай на лаврах, герой своего бормотанья, монологов в гулкую пустоту собственного черепа. Там море шумит, море мне откликается, ходит прекрасными голубыми ногами волн-нимф по неизвестному мореплавателям золотому побережью. Лень лютая. Силком заставляю себя взять стило. Вывожу слово за словом, как будто камни передвигаю, потом понемногу разгораюсь, разгонюсь, вес испарился, слова легки, фразы вьются, воспаряют на крыльях неожиданного порыва…

Олеша пишет: «Коричневые, как груши, икры рыбаков».

Парикмахерская на вокзале у нас в поселке, парикмахерша тетя Груня, полнотелая, всегда веселая, говорливая. Стригла меня все мое детство, отрочество и юность. Давно уже на свете нет, ни ее, ни той парикмахерской. Вдруг вспомнил. Дом деда на проспекте Обуховской обороны, где я так любил бывать. Посмотреть бы на него еще разок.

Я первоклассник, проучился зиму, целую долгую зиму. Школа деревянная, двухэтажная, на горке. После уроков, иду, один. Тепло, щебет птиц, весенняя трава, деревья. В левой руке школьный портфель, волочится по земле, в правой – прутик, этим прутиком-саблей сшибаю цветы, их белые, желтые и голубые головки. Это я воюю с вражьими полчищами. Шмель, толстый, черный, с алым брюшком; гоняюсь за ним по лужайке. Ярко, зелено, лучи, май.

Мое «я живу», душа грезит туманными образами памяти, Психея, ее злополучный факел, череда наваждений, желаний, очарований,

музыка мечты; корень, вросший глубоко в сердце, как его вырвать? Сердце засохнет. А сердцу, чтобы жить, надо кого-то любить. День Победы, песни о войне. Тело и волна, берег и поток. Свобода канатоходца: идет по тонкой проволоке над пропастью, танцуя и распевая, даже не замечает этого, лунатик, гений. Танец над бездной. Метод мастера неощутимых опор. Властная потребность обновления, без остановок, без повторов, без конца. Вперед, вперед. Погоня за призраком новизны. Другое, всегда другое, не то, что прежде. Световой поток, многоглазие, чаща глаз, слова текут тем же многоглазым потоком в моем мозгу, я сам и есть этот поток. Сложная структура этих многослойных струй-струн. Мастер-великан играет на органе полноводных труб, люди-мошки мельтешат внутри этого гигантского органа, слышат раскаты громовой игры и называют это грозой.

Сидели на берегу, блеск реки за темными соснами. Небо в перьях. Уехала, остался один. Ночь, холодный ветер. Зеркало над умывальником во дворе, мое лицо, какое-то мальчишеское. Разве этому лицу за пятьдесят? Тридцать, не больше. Прочитал прелестную книгу итальянца «Девственная жизнь в пампасах Парагвая». «Видалита, прощай навсегда!» Забыться бы. Как вяло я теперь чувствую.

Последний день мая, понедельник. Спал на веранде, проснулся под утро, железный гром крыши, как будто по ней кто-то ходит, грохоча сапогами. Северный ветер. Холод. Брился на дворе, у зеркала над умывальником, лицо замерзло. Тучи, тучи. Вишенка зацвела, ветер треплет это чудо, пытаясь сорвать. Слова слепнут, тщетные порывы письма, жду, жажду, пусто; пустой череп, продувной, раскрыт на все четыре стороны. Это нельзя назвать дневником, эти царапины от когтей на диких скалах, попытка удержаться, задержать падение. Вернулись в город, Витебский, перрон, поезд дальнего следования Петербург-Киев, дымок вьется под темно-ребристым куполом вокзала. Лотки, носильщики, пахнуло корюшкой. Стекло на задней площадке троллейбуса, Невский в каплях.

Июнь, сны, прогулки в залах Эрмитажа, музыка голоса, скупее стал в желаньях. Пишу повесть, что-то такое, перегонка жизни на бумагу. Живу короткими взмахами, вздохами, потеря чувствительности, не мечтается, не плачется. Отупел. Отказываюсь от встреч. Сердце черствеет. Лариса, ее упреки: что я живу в прострации, возвышенный отшельник в горном ущелье. Нищета, не хватает на корм.

Увиденное из бесконечно удаленной точки, всегда вдали. 200 лет со дня рождения Пушкина, наше всё, гений чистой красоты. Оредеж, туман. Брожу, бормочу. Никто за мной не следит, меня не слышит. Делаю много лишних движений, много неточного, неопределенного, спотыкания, шатания, колебания, неуверенность, растерянность, ошибки, ляпсусы, промахи, нелепости и чепуха. Тот яркий день, ограда Таврического сада, золото цветущих кленов в сияющем майском небе, шел такой несчастный, мимо башни Вячеслава Иванова; то страстное, мучительное желание счастья, томительный блеск и тщета, сознание невозможности. Самое чувствительное, больное место души.

Мама слабеет. Сирень и ландыши. Мое детство у этого старого пруда и этого одинокого дуба на берегу. Делакруа, разъяренный тигр воображения. Никак не взяться за дело, этот бесконечный мазохизм, самоистязание, зуд расчесывать в кровь больное самолюбие. Отражения люблю больше, чем явления. Слишком серьезен. Серьезность страсти, готовность умереть. Поэзия любви – гибель. Ходят, меня не видят, я вне их сознания. Что же мне делать… Живу, погруженный в море пошлости, мне уже нечем дышать среди этих людей. Их сущность и моя несовместимы. Напишу ли я что-нибудь настоящее? Мечты о книгах, а самих книг нет. Персидская сирень, жара, пора прозрений и презрений, хожу-брожу, неприкаянный. Успокоить себя в писанине. Нет накала. Я в синей рубашке с коротким рукавом и открытой грудью, загорелый, красивый, на удивление молод, как мальчишка. Таким я себе кажусь. В мои 52. Робинзон Крузо на своем необитаемом острове. Никто меня не замечает, как будто меня и не существует. Эти записи, разговор наедине с бумагой – единственный для меня способ существовать вольно, дышать всей грудью, не оглядываясь, не прячась, быть без маски. Пишу как пишу, что-то вот пишу. Я не груб, я нежен. Насиловать свой дух – для чего?

Позвонил Ларисе, у нее плохо, синяки. Смотрит новости. Я приеду только в пятницу, привезу ей мазь. А голос у нее такой жалобный, грустный: «Ну, ладно. Пока». Влажно. После вчерашнего дождя. Тополем пахнет. Жасмин зацвел под окном. У, как разросся этот куст! Гигант! Сколько лет назад вырыли с Ларисой в парке и посадили здесь? Лет десять или пятнадцать? Мама просит принести воды. Колонка за дорогой, набираю в ведра. Переулок, блеск озера, там, вдали. Налетает ветер, легкий, летний. Я не молод, не влюблен, и жизнь не в цветах. Но какое-то таинственное чувство мелькнет в сознании, в нервах, что-то присущее этому месту, какой-то дух,

чудесный, странный, что-то волнующее, интимное, близкое сердцу, неуловимое и расплывчатое, как лицо ветра. Дуновение этих тайн – самые прекрасные моменты моей жизни. Может быть, только это и есть жизнь? Все остальное – колесо забот. Столик в саду среди одуванчиков, пишущая машинка. Сны, всплываю, вяло, нехотя, голова кружится и покачивается, плывет по темным волнам неизвестного моря. Я один и говорю сам с собой, с рождения, с первой же минуты моего появления на свет. Ненаписанные книги с загадочными названиями. Голова захлебнулась в седине. Кавабата, «Старая столица», Тиэко, тюльпаны, ткацкие станки японских кустарей, криптомерии, камфарные лавры, старые храмы, девушки в кимоно, отражение цветущих вишен в прудах. Разорван, разбрызган, живу вчерашним днем, пятясь, повернув в прошлое усы рака. Это не я пишу, это Садко на дне у морского царя, песня захлебнулась, гусли разбиты.

Лариса вернулась с Южного кладбища, от бабушки. Удовлетворенная исполненным долгом, посветлевшая. Могилку едва нашли, траву повыдергали, ивовые кусты нависли, надо обрубать. А я почему такой вялый, хмурый?.. На дачу. За окном вагона пролетают розовые островки Иван-чая, радость лета. Гераклит не читается. Войдем в реку юнцами, а выйдем старцами. Что за станция? Почти приехали.

Она от врача, облучать бровь, в сентябре. Лежали в постели, она такая горячая. Читала мне из Пруста, любовь Свана. Глубокие розовые закаты на лесных дорожках. Помню ли я ее прелесть 20 лет назад? Прояснение после свидания. Еще это происходит, еще длится, с загадочными улыбками в летней темноте комнаты, со смешками и шуточками. Где найти слова, чтобы описать страну сердца? С какими речами подступиться к роднику, чтобы не замутить чистые эти ключи? Нет у меня этих слов, этих речей, и не решаюсь, и молчу, молчу. Лист мой белый на столе молчит. Книги меня окружают, гении, герои пера, кому удалось от сердца к слову найти прямую дорожку. Сердечный опыт лежит глубоко, нетронутый клад. Я еще оттуда не взял ни жемчужинки. Лежит, лежит и пропадет. Я к нему подступаю с заступом, а он от меня уходит в глубину. У меня нет заговорного слова, или не чисты мои руки, мои мысли. Не знаю. Что-то не то, не так. Жизнь моя, любил, снилось. Может быть, и приснилось. Дни мелькают в ресницах, зимние, летние, полоски света на стекле книжной полки при пробуждении – первое, что вижу, открывая глаза в нашей городской квартире. Что-то они говорят мне, эти полоски. Кажется, вот-вот пойму их смысл, их язык. И опять ускользают, гаснут неразгаданными в моем сознании.

В Стрельне у залива. Кронштадт ясно виден. Белеет парус одинокий. Мостик, подводные камни, игра солнечного света на них. Мальчишки плещутся. Кувшинки, жарко, разрушающийся дворец, лопухи до пояса, знойные, слепящие ступени лестницы. Художница со своим ящиком спит у стожка. Липы цветут. Мои одинокие прогулки. Синяя рубашка с коротким рукавом, с погончиками, загорелая грудь. Нагретый на солнце, потресканный и шершавый камень парапета, на котором лежит моя ладонь. Эта заброшенность, безлюдье, разрушение, обнаженный кирпич, разбитые стекла, заросли сорной травы, лопухи, что-то дикое в этой тишине, и туманный залив, там, синеет. Пишу на листке, примостив его на парапете. Напишу такую книгу, и она меня прославит, обязательно прославит. Это будет чудесная, гениальная, великая книга. Она всех пленит, о ней зашумят по всему миру. Уже шестой час! Пора возвращаться. Голодный, но радостный. На трамвайной остановке в супермаркете купил лаваш, отламывал по кусочку и ел. Ах, как вкусно, поджаристая корочка хрустит! Трамвай сейчас пойдет.

Сидели с мамой на скамейке. Какая мама старая стала. Ей 75. Лена, сестра, пришла, принесла молоко. Говорит: главное для нее спокойствие. Ее отпуск улетает, денечки тепла, июля, спит с открытым окном. Читаю, Паганини, туберкулез и сифилис, лечился опиумом и ртутью, кожа да кости, скелет со скрипкой. Триумфы музыкального дьявола. Проснулся от громких голосов и звона ведер. Это за окном, за дорогой. Вышел на крыльцо – солнце! Здравствуй, мое бесценное, летнее, июльское!

Мама, ее рассказы. Бабушка моя, Анна Федоровна, маленькая, еще ниже мамы, коса пышная, каштановая, до пят. Красивая, миниатюрная, как японка. Несла ведра на коромысле от колодца, ведра за землю задевали. Бабушка, бабушка, где ты… Рак печени. В 32 года. Мама конфеты крала, назывались бим-бом, кругленькие. Забралась в песчаную яму за домом и ела. Там ее бабушка моя и застала. Мама тайком взяла из сундука футболку дяди Вани и скроила себе штанишки. Тогда мода – штанишки девочкам носить, а то так ходили. Маме – 12 лет. Анну Федоровну, бабушку мою, выносили из избы на матрасе, везти в больницу, навсегда, а мама моя думала про себя: Ну, вот и хорошо, теперь никто не узнает, что я футболку дяди Вани взяла. Глупая голова, девчонка, 12 лет. С раскрытым зонтиком прыгала с крыши сарая в снег. Дедушка мой, Николай Федорович, голяк, председатель ревизионной комиссии в деревне. По раскулачиванию. Конь «Бодрый», пришлось отдать в колхоз. Горячий, умный конь. Прибегал к избе и ржал, жалобно. Бабушка плакала,

выносила хлеба. Коня загубили в колхозе, заездили. Вечером, в темной избе мама любила на печке сидеть с ее бабушкой Ганей, моя прабабушка. Та читать умела, в очках, газету читала, при фитиле. «Вот, пришли антихристы!» – говорила про большевиков. Окно мешком заткнуто. Вышли из избы, осень, грязь. Ходили по деревне, искали отца и мать, где-то они проводили вечер, в гостях, играя в карты. Мамино детство, бегали босиком с весны по осень, до первого снега. У дедушки моей мамы Федора (мой прадедушка), висели картины в доме: женщина в барском платье и мальчик с воротничком – барич. Дед Федор опился на Покров и умер где-то в гостях, уехал на телеге, а обратно привезли в санях.

Готовил цемент, размешивал палкой в бачке, ремонт фундамента. Мама в платке, смотрит из-за угла. Ноги у мамы больные, опухшие, рыхло-белые, в лиловых жилах, правое колено обвязано. Просит купить ей мазь в аптеке на Невском, когда я там буду по какому-нибудь случаю. Гамсун, «Раба любви», нелепые, безрассудные порывы, капризы, чудачества, неврастения. Голова болит, мутно, никак не уснуть, голоса у калитки, компания ночных бродяг, жуткий вой соседского пса. Спи, спи! Это лето такое одинокое, бесплодное, нервное. Розовые ступни царицы Савской, озноб, тайная боль, чаши ночных лилий, скрип уключин. Может быть, смысл только и есть, что – в безумии сердца? Расчетливость ужасна, ум, благоразумие, эти металлические глаза. Сон и ветер, отблески. Ничего, ничего. Прошло. Вот и дышать можно.

Солнце, неизменность его жаркого прихода каждым утром при пробуждении, сияющими полосками сквозь занавески, и полный блеск, когда их отдерну. Эта неделя моей жизни, здесь, с мамой, в старом доме. Рукопись эту пущу в бутылке странствовать в неведомых, чужих морях. Родились ли руки, которые ее выловят, и глаза, которые ее прочитают, друг мой, Морелла? Хорошо после купания лежать в деревянном доме в прохладной комнате, голым, в одних трусах, на диване и слушать усыпительное тиканье часов на стене, вспоминая, как шел от озера по железнодорожной насыпи, и волны жары приятно обвевали тело. Победитель не я. Я – всегда побежденный. Мечта всей моей жизни, смешная это мечта. Погасло, поблекло, увяло. Стою на холме лицом к полю, солнце, теплый ветер и шум леса.

Бабочка влетела поздно вечером ко мне в форточку, билась у потолка у лампы. Я ловил злополучную гостью и не мог поймать, ускользала сквозь пальцы. А в комнате полумрак, серебристое свечение, как под водой, в глубине. Астарта, Исида, Психея,

Эвридика, Лигейя, Клеопатра, Суламифь. Ожерелье бессмертных женских имен. Путь вверх и путь вниз – один и тот же путь. По какой бы дороге ты не пошел, пределов души не найдешь; столь глубок ее логос.

Темно, гроза, дождь брызжет на меня в раскрытое окно электрички. Вспышки молний. Платформа, впереди ноги, полные, бронзовые, красная юбка, зонт. И нет их. А так хорошо было за ними идти. Спал, кошмары, мотоцикл, тарахтя, носился по улице. Дождь, дождь. Книгу, ту, главную, не написать, хоть зарежься. Синеет сквозь сад кузов грузовика.

Эдварда. Лохматое облако в окне веранды. Снова ее темные брови, они изгибаются такими высокими дугами. Гамсун, «Пан». Вспышка божественной энергии – то, чем написана эта прекрасная книга. Дух животворящий, пылкий. Этот дивный бог ходит по воздуху, раздувает облака, ночью гуляет по звездной дороге, ветер налетает откуда-то, свежий, могучий ветер, шелестит в верхушках деревьев; это дыхание бога и его рука, в руке пишущее перо, он знает жизнь каждой букашки и целых громадных миров, он знает все, ему открыты и ясны все бездны и тайны, и он, этот юный, трепетный, страстный, широко дышащий, могучий бог, кому нет преград, у кого слова – стихии, пишет книги мира, все, все книги мира. Если бы я сам так писал, если бы я и был этот бог! Этот мой сон наяву, моя мечта!

Вчерашняя гроза. Ах, как гремело! Гераклит из космоса швырял молнии. Сухой блеск Гераклита, а потом ливень, обвал влажных психей. Девочка моя, куда ты испарилась? Я плачу, я стражду. Волнующее выражение того лица, модуляция того голоса, что в них, почему только они?.. Кукушка на туманном берегу. Величие перемен.

Ночная бабочка, так поздно, так мрачно. Сомкнутые крылья книги раскрываются на середине. Да минет меня чаша сия!.. Лежу на веранде и жду шума поезда. Этот товарищеский шум спасет меня от чего-то. А, может быть, этот шум рождается в загадочных, бессонных глубинах моего слуха, как в лабиринтах морской раковины, сам собой? Я заложник своего чудовищного, самовольного слуха. Страшно лежать ночью в мертвой тишине одному на веранде.

Танцевала, дурила, пела, расшалилась не на шутку. А потом рыдала, горько, безутешно, в подушку. Пусть я оставлю ее в покое. Гармония нарушена, инь-ян.

Тени, тени. Мама, глаза в черных кругах. Вызывали Скорую, укол, ничего, на этот раз пронесло. Врач: «Обойдемся без больницы». Может быть, я плохой сын? Бесчувственный, бревно. Способен ли я еще на боль, заплакать? Провод без тока, колодец иссох. Копаю

картошку, уродилась, бренчит в ведре, гладкая, чистая, с гусиное яйцо. Нечего бога гневить. Сухо, руки быстрые, сильные; лопата сама, играючи, работает, с борозды на борозду. Старый клен шумит надо мной, старый-старый, крона поредела, еще зеленый, молодцом держится. Он помнит мое детство. Закатное солнце брызжет лучиками сквозь листья. Август – месяц цезарей.

Дождь всю ночь барабанил по крыше, я просыпался и опять засыпал под этот траурный марш. Черная река, как бы наш Оредеж, перевозчик с веслом – Харон. Я видел всю красоту мира и теперь могу умереть. Совесть моя чиста. Ты же старик. Понимаешь? Старик… Утром туман, кирпичная стена, тревожный тополь. Дзюй-Жань, поиск дао в осенних горах. Древний свиток, 10 век, шелк хорошо сохранился. Тетрадь раскрыта. На какой фразе заночевали?.. Тогда на Гривцова, в ветреный майский день, белый плащ, странное, задумчивое выражение лица. Пошел бы за этим белым плащом на край света. Что это? Колдовство, чары? Назови, как хочешь. Потерял дар речи, лепетал что-то невразумительное, едва ворочая языком. Пошлые, жалкие слова; тривиальные, затасканные тысячами уст, фразы. Долго ли это длилось? Всплеск крови – одно мгновение, а потом волны от него, слабее, слабее, утихание. Полчаса, час. И когда уже остался один – попытка осознать. То, что произошло, вижу в себе только я один, и это вместе со мной погибнет. А то, что я говорю об этом – не то, не то, бледное зарево, по нему не узнать пожара. Ловлю отблески, затухающую вибрацию, едва ощутимую замирающую волну.

Спины машин в переулке, засыпанные желтым листом. Метла шаркает по асфальту. Устал я на этом сучке, как лист осенний, стылый. Не пора ли свалиться. Павич, пейзаж, нарисованный чаем. В октябре каждый пятый человек на земле хандрит. Позвонил секретарь, поздравил: я теперь полноправный член Союза писателей. Результат такого долгого пути. И четыре тоненьких книжечки, мое отшельничество и это профессиональное признание. Все-таки не без таланта, и работа, и чутье, пожалуй, то есть – слух. Сижу за столом в моей келье. Книги на полках озарены солнцем. Думаю о сюжете, он рождается там, в мозгу, вот-вот родится, этот «Дождь в четверг», что-то прекрасное и щемящее, что снилось, что, плеснув волной, встревожило сердце, захватило дух; это, как у Баха, поступь органных могучих труб по небесным верхам.

Глаз Василиска: на что не взглянет – всё гибнет. Как царь Мидас – все превращал в золото, так он к чему не прикоснется – все превращается в камень, сталь, неживое. Отрицает Елену Гуро. Но

Гуро к чему не прикоснется своей нежной, доброй душой – все расцветает. Ее взгляд в отличие от него – животворящий. Ему ее не видно, ее душу, сердце. Потому что он глядит не душой и не сердцем. Это взгляд, подобный жесткому космическому излучению, убийственному для всего живого, не смягченному воздушной атмосферой. Он – мир молний. Разве молния судья жизни цветка? Молния взглянет – цветка уже и нет, сгорел в ее взгляде. Зевс и Семела.

Мглисто, у берез последние редкие листики. Лариса почему-то не ушла на работу. Ее ботинки в прихожей на коврике, и черные и коричневые. И плащ ее висит на вешалке. И дверь к ней в спальню закрыта. Ей надо в налоговую инспекцию, вот и уйдет из дома позже. Махровый сине-белый халат, рыжая челка. Грустно мне, уныло, не знаю, что такое. За окном октябрь, лужи в переулке, опавшие листья, зонты. Просит достать со шкафа картонку с ее шляпкой. Примеряет эту черную с бантом шляпку перед зеркалом. Уходит. Стою у окна на кухне, жду, когда она появится из парадной. Вот ее приталенный плащ, ее шляпка. Оглядывается на окно (наша с ней привычка), машет рукой, и я в ответ машу. Ее бледное с желтизной лицо, неуловимое выражение, тень улыбки, мелькнуло и так сохраняется расплывчатым, тающим отпечатком в моих глазах, в моем сознании, словно отражение, скользнувшее в луже. Ее фигура удаляется там, по улице, в переплете тусклых, грустных осенних стволов, тополей и осин, у детского сада.

Лежал во мраке, выключив электричество, и слушал лютневую музыку 16 века. Бесслезно, черств, сух, как мертвое дерево.

На Галерную, опаздываем, дождь хлещет. Вот он, клуб «Маяк». Сидим в зале, музыка из русских опер, арии, певцы, «Что сердце бедное трепещет? Какой я грустию томим?» Из простенького факта – гениальная музыка. «Пиковая дама». В начале – рассказ Тоцкого о графине, три карты. Эта мысль меня поразила. Возвращались, темно, фонари. Конногвардейский бульвар, мокрый, мрачный, круги бегут в черных лужах. Невский, сумерки, дождь хлещет, мечемся у канала Грибоедова, у остановки. Ни троллейбуса, ни такси. Черт знает что такое. Нервы. Казанский в мутной дождливой мгле. Асфальт блестит в тусклых фарах. Никуда мы с тобой сегодня не попадем.

Унылое чувство своей бездарности, беспомощность, слезы в горле, отчаяние и ужас перед необходимостью тянуть еще эту пустую жизнь, бессмысленность этой борьбы. Ничего уже не хочется делать. Зачем, для чего? Скорей бы конец. Одинаковое отвращение вызывает и бессловесность и бесплодные попытки написать хоть одну фразу.

Ночь, едем на дачу, месяц в окне вагона. Мозаика огоньков далеко за полем, дразнит, манит, переливается. Так бы и полетел к ним. Думаю, думаю. Не избавиться мне от этих дум. Сомерсет Моэм, дневник писателя. Шляпка Ларисы, черная, с бантом, у моего плеча. Мне себя не отпустить – полетать. Так вот и сижу всю жизнь взаперти в клетке, сам в себе. Душа моя томится в тюрьме с окошком, только и радость – смотреть на волю, да как другие летают.

Те времена прошли. Шень Фу, «Шесть записок о быстротечности жизни». Юнь, ее радости и огорчения, отбивала по тарелочке ритм заколкой из слоновой кости. Опишу свою жизнь, а то забудется. О людях, что были мне дороги, о том, чем я жил. Все это пропадет, если не сесть за стол и не начать записывать. Замутненное и полустертое, тени, пепел.

Пишет портрет, чтобы заклясть дух модели, обезвредить угрозу. Дуэнде – поединок с демоном смерти. Сам же его вызвал из тьмы, сам создал этот фантом. Победить или погибнуть. Тоже – «Портрет» Гоголя: вызвал из тьмы дух зла, и теперь этот демон убивает своего создателя, художника. Магия искусства.

Вечерняя прогулка с Ларисой. Тепло, последний день октября, горящие в темноте окна. Жизнь фантастична, порыв, минутное окрыление, сожаление о чем-то, о том, что так долго и так безнадежно желал. Книга о Карле Великом прочитана. Огромный кусок жизни отлетает, пустой внутри. То, что хочется заучить наизусть и повторять, как стихи. Единственный критерий. Спросила: «Вижу ли я в ней человека». Танец с саблями, сгореть в огне. Говорение об истинах, ножницы сравнений.

Еще один год. Начали новое столетие. Сочельник. Фильм об Иисусе Христе. Лариса плакала. Говорит, что в ней мало добра и света, что она суетная и злая. Утешал ее: пусть на себя не клевещет, все не так, как она о себе думает. Целовал ее милые заплаканные глаза. Она только головой качала. Вот за эти слезы я ее и люблю. Мама болеет, жалобы: дожить бы до весны, до тюльпанов в саду. Я черствый, бесчувственный сын. С Ларисой в церковь у пр. Стачек. Отражение горящих свечей в темном вечернем окне. Лидии Андреевне плохо, сердце, сидит на стуле, бледно-зеленая, голова остриженная, клочки седых волос на полу. Лариса ее стригла ножницами. Положили на постель, валидол. Ей 78.

Возиться со словами до конца дней. Полная самоизоляция. Писать исключительно для решения собственных профессиональных и духовных проблем. Ни с кем из собратий по перу не общаться.

Робинзон у себя на необитаемом острове. Это под силу только титанам. Мне хочется похвал, успеха, признания. Грустно. Мне даже себя не описать, свою душу, правду чувств. Мое обнаженное сердце. Как? Где те слова, та сила слов? Всплеск той волны, пережить заново. Да разве это возможно? Я совсем другой теперь. Гори, гори, моя звезда. Обнимал в парке березу и пел, в сумерках, в снегу. Никто не видел, никто не слышал, во всем мире я один.

Снятие блокады, поздравил маму. Писал, как мне казалось, неплохо. Гулял в парке, чудесная погода, морозец, солнце, голубое небо, что-то такое свежее, молодое, яркое, как в ожидании любовного свидания. Союз писателей, собрание прозаиков, Герман Ионин читал свою детскую повесть. Слякоть, слякоть. Всё одна только слякоть. А я сижу, молчу, или вру, лицемерю. Противно. Зашел в Дом книги, листал альбом Перуджино. На рынке купил Ларисе пакет молока. В вагоне метро – та, в шубе, в очках, губы в помаде, толстый нос, зевала, нога на ногу, в сапоге. «Серебряный шар», о Горьком. Сколько у него было красивых, великолепных женщин. Андреева, актриса, и та, английская шпионка, Скрижевская. Никогда не забуду (он был или не был этот вечер…). Венера, яркая, над десятиэтажным домом. Снег, собаки, старухи, фары машин в переулке – огненные глаза. Дрянь дело, психопатия. Вояка, один против всех на поле бумаги. Пишу. Тут нужна корректура запредельно жесткого глаза.

Умер Ефим Юрьевич Зуборовский, мой учитель немецкого языка в школе. 75 лет.

Через годы происшедшие со мной события превращаются в глубине сознания в жемчужину невиданной красоты. Мое сознание романтическое, оно приукрашивает реальность, иначе оно и жить не может. Мечты, грезы. Мое сознание от реальности далеко, поэтому неуспех и несчастливость. Сознание несчастья неизменное. Мои желания не утолены, ни одно. Этот поток жизни, понимание своего ничтожества. И что мне со всем этим делать? Ничего. Всю жизнь я бежал от действий, одновременно страдая, что неспособен к действию. И когда решался на действие, то, как правило, терпел неудачу. Мое естественное положение – статика, неподвижность, скорлупа рака-отшельника, раковина – спрятаться от жизни, сидеть и страдать. Потоки иссякнут, и внутри меня и вне – для меня.

Страх стиха, поэзия – исчадие ада. Ритмическое слово многократно усиливает жуть этого неизбежного смысла. Диалог двух глухих, восторги и ужасы. Снегопад за окном. Мне 53. Все это мне еще надо понять и написать. О подвигах, о доблести, о славе… Я вас любил, любовь еще, быть может… Да, написать эту книгу, эту

волну… Сходить в баню, смыть годы. В зеркале я молод, словно и 40 нет. А снег за окном все гуще, гуще, чистый, холодный, февральский, мой, грусть моя. Брожу, твержу. Хоть бы книгу написать, раз ничего больше не будет в жизни. И самой жизни не будет. Прикоснуться голыми нервами к огню, к проводу с током, чтоб – удар, ожог, смерть. Миг – и сгорел. Желание гибели на взлете, на вершине волны. То, что меня так томит. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. Вот и вечер. День мой прошел. Сколько еще этих кругов?..

Отважный шаг в сторону от столбовой дороги литературы. Правое полушарие, расплыв психики, неочерченность, размытость, сфумато. Проба такой манеры – «Якорь в Риге». Идея дикая – чтобы ее оседлать и укротить, нужен могучий наездник. Теперь волны ходят и плещут. Такое письмо потребует других глаз, океанических. В плену своих личных чувств, эти образы полны чар, они – наваждение. Эту действительность своего сердца нужно перефантазировать, быть хозяином себя, властителем своего материала, превозмочь эти чары. Мысли, вокруг которых кружу, кружу всю жизнь, как мотылек вокруг лампы. Упаду замертво, ослепленный, обожженный, так ничего и не поняв. А надо ли понимать? Может быть, эти мысли – фикция, фантом, обман, ложный свет, который зажигает Гоголь в «Невском проспекте»?

Эта музыка сердца, эти мучения, эта острота нервов, слезы, всплеск высокой, яркой волны, это солнце в крови, звезды в горле (текут в пищевод). Оттепель, гулял по раскисшей дороге. Сумерки, фонари на столбах зажглись, цепь огней в мутном мраке. Плеск талой воды из водосточной трубы, как весной; стоял, слушал эту музыку. Звезды проглянули, и серпик месяца, вон он, золотой, высоко в небе.

Приморозило. Солнце встает за железнодорожной насыпью из-за черных елей. Здравствуй, светило! Давно я тебя не видал! Пью чай, печка моя трещит. Обитая фанерой стена озарена солнечным светом. Купчиха Кустодиева, пышная ее рука с чашкой. Чары пола, развеянные чары.

Смысл так называемого творчества – выход за рамки личной жизни в миры сверхжизни, в мировое, в космос. Это ведь самое главное, это и есть – и вдохновение, и чудотворство, и весь смысл этих экстазов. Память сердца – только трамплин для прыжка в жизнь космическую, в мировой океан, за пределы личного, туда, туда… Раньше меня пронизывали токи жизни, теперь нет уж того волнения, редко-редко что-нибудь кольнет, всколыхнется. Физиология угасает, желанья скудеют, розовый конь проскакал.

Купил на рынке два лимона. Продавец-грузин: «Вид лимонов возбуждает любовь». Ночь, звезды, печка горячая. Мериме, «Арсена Гийо». Жить одному в лесу. Это не одиночество, это – я и космос. И всё. Тогда ничего не надо, ни таланта, ни славы, ничего. Жесткая, мужская, самурайская линия и мягкое, женское, пятно туши, ян-инь. Сердце храброе на один всплеск, способное сгореть, пронзенное осью Полярной звезды, вращается вместе с ночным космосом. Сколько я еще проживу? Лет десять, двадцать? Буду писать и писать книги?

Этот фатализм темных жребиев. Мама родилась 23 февраля. А не родись она, меня бы не было. Все предрешено? Странно, странно это.

Хосе впервые увидел Кармен в пятницу. Пучок жасмина в жестких, длинных, иссиня-черных, как вороново крыло, волосах. Взгляд чувственный и дикий, волчий. Красная короткая юбка, белые в дырах чулки, букет белой акации за вырезом сорочки, один цветок во рту. Шла, поигрывая бедрами, как кордовская кобылица.

Март, пятна снега, железнодорожная насыпь, черные пилы елей в мутном небе. Бессонная ночь, собака выла до рассвета. Кавабата, «Стон горы». Синго чувствует, что жизнь уходит. Луна в саду, стрекот цикады, сны Синго, прикосновение к молодой девушке во сне. Уныние, отчаянье, моллюски в раковинах, креветки, лангусты. Вышел во двор, как в космос. Горящие миры. Я – искорка, сверкнул – и нет. А им – гореть и гореть миллиарды лет. До меня, после меня.

Подсолнухи – мощь мозга. Паскаль – ум сердца. Подлинная, от сердца, интонация, всплеск голоса, ум не успевает опомниться. Джиневра Бенси, Леонардо сохранил на века ее молодость и красоту. Купил Геродота в магазинчике у Нарвских ворот.

Масленица, прыгать через костры. Благовещенье, земля разомкнется. Скоро Пасха, куличи, яйца. Весна, весна, унеси меня вдаль. А там и лето, и цветы, и трава, и зеленая роща, и речка, и купание, и лодка, и лес… «Уж вы пойдете во зелен сад, возьмите меня. Уж вы будете цветочки рвать, сорвите и мне. Уж вы будете венки свивать, свейте и мне». Инанна – владычица небес у шумеров, изображалась в виде прекрасной женщины. Мраморная голова богини из Урука, музей в Багдаде. Атом сознания, мое «сейчас», мое «вот» – и все мировое, весь космос, и люди, и звезды и всё. Это Дао таинственное и безбрежное. Садись за машинку, стучи по клавишам. Допечатал, точка. Вот она моя «Одна зима». Отвеяла метель. Ветер, ветер. Сколько в этом ветре воет наших русских чертей.

Мама болеет, лежит на диване. «Устроила я себе, сынок, праздник». Темная, в платке, в халате, страшно постаревшая за зиму, черные мешки под глазами.

Гуляли втроем, снег блестит, голубое небо. Каракулевая шуба и толстое черное пальто. А была тоненькой девушкой, тростинкой. Вспомнил! Да когда это было! Отмачивала ногу в тазу с горячей водой, с содой. Плачет, ноготь в палец врос, в мясо, как она завтра встанет. Раздевается, голая, в спальне, спиной ко мне. Эта ее фигура, обрюзгла, складки. Господи, как мне ее жаль. Острая, пронзительная жалость. Что же это такое делается! Женщина, красота, обожанье. Где все это? Горечь, горечь. Нина звонила, у него запой. Не выдержал, сорвался. Его «Сюита конца».

Резкий, злой ветер. Говорит, что она стара, женское в ней угасло. А я могу еще завести себе молодую любовницу. А с ней мы останемся друзьями. Грустно. «Из пламя и света рожденное слово». Отзывалась ли она на это слово хоть раз в жизни? Долго думала, наконец, ответила: пожалуй, только на струне влюбленности. Заряжена потребностью этих чар. Романтизм, может быть. Мы одинаковы, и у меня также, то же самое – готов жертвовать. Печатаю своего «Рака на блюде». Месяц в окне бледной долькой. Сон о ней, та она, какой я ее любил. Чистая струна той влюбленности, тот трепет и чувственность. Тот ее голос. Чарующая нота. Странный, грустный, ранящий сон. Можно ли оживить ту жизнь на письме? Или это уже наджизнь?.. Не знаю. Эти тонкие токи и вибрации душевной жизни, как это выразить? Пугливость, чуткость, растрепанные чувства, эти шатания, то туда, то сюда. Надо бы без слова, без этого неотлучного посредника. Тот смысл невыразим. Долг перед полетом. В Союзе писателей жужжат-жужжат, рой литературных мух. Зачем я туда хожу?

У нас появилась Бетси – крохотное существо с длинной серебристой шерстью, пряди спадают на глаза-бусины, нос – черная кнопка. Комнатная собачка – Ларисе на радость. Забилась в угол своей конурки, не ест, не пьет, дрожит, дрожалка.

Чей-то голос зовет. Он требует мгновенного отклика, рассуждать некогда. Первые в мире, одинокие, печальные, блуждают в тумане, дао пусто и неисчерпаемо. Бетси спит на диване в нашей гостиной. Трогательная, лохматая, устроилась в шерстяных вещах, шарфах и шапках. Лариса вчера ее мыла в ванной, а потом сидела с ней, завернутой в полотенце, держа у себя на груди, как ребенка, только мордочка торчала из пелен. Очень трогательно. Лариса говорит: наша невостребованная любовь и нежность к нашим несбывшимся с ней детям.

Читать как молитвы. Это магическое чтение, это чтение глубинных смыслов-вибраций, гулов, сквозь слова, за словами, помимо слов. Слова только магический поток звучания. Тонкие токи –

в них текущее, гипнотическое, внушающее. Крупица первозданной чистоты сердца перевесит горы лжи. Странная вещь – сердце, как легко его взволновать! Апрель, земля подсыхает, бурые прошлогодние листья. Черная вода в канаве. Синичка пиликает, солнце пьянит. Хожу, блаженный, ничего не нужно, лишен желаний. Совсем другая весна была год назад. Была тоска, томление. Теперь безразлично.

Гениальный порыв вещей, их звездный миг. Чистое зеркало, нет, нет, ничего не зря. Довожу до блеска. Весь космос смотрится в меня, туго свернутые бутоны и готовые брызнуть жизнью почки новых смыслов. Люблю пустоту в голове и в сердце. Люблю гулять, смотреть в небо. Не люблю людей и машины. Шелковые хвостики осин – вот возвращение первозданной радости!

В Союзе писателей Коля Бельтенев. Не виделись лет пятнадцать. Потрясло как он постарел: седой, худущий, беззубый, в морщинах. Совсем старик, а ему только 50. Фроянов, историк, читал из двух своих книг.

«Сердце радуется, когда пишешь на белой и чистой бумаге». Сей-Сёнагон «Записки у изголовья». Подношу к носу листочки тополя, клейкие, только что распустились. Ах, как пахнут! Капля своего в бочке чужого. Растительная душа. С каждой новой весной обыкновенное снова становится необыкновенным. Ужас словесности. Я сильно изменился за этот год. Переводчик никчемных книг. В его переводе этот туманный смысл зазвучал, загудел во всю ураганную силу. Тополь-титан трепещет, зеленокудрый, в голубом небе, в воздушных потоках, друг детства. «Птица Феникс прилетает один раз в пятьсот лет в Египет, в храм Гелиоса – хоронить своего отца. А приносит она отца своего внутри яйца из смирны». Геродот.

Невский, тепло, оголенные девушки. Половина пятого, канал, у Казанского собора, золотятся крылья грифонов на Банковском мостике. Этот пыльный блеск воды, двор, садик, ее Формиздат, жду, когда выйдет. Союз писателей на Большой Конюшенной, мрачная лестница, 4-й этаж. Читают два молодых прозаика. Все высказываются, один только я молчу. Все молчу и молчу. Створка раскрытого окна, голубое небо, дует. Пушкин, черно-белый, бакенбарды. Чувствую себя одиноким и всем тут чуждым. Всем и всему, что здесь происходит, я чужд. У них праведное возмущение: власть отбирает у них льготы. Они собираются посылать коллективное письмо президенту. Требуют, чтобы и каждый член Союза послал свое личное возмущенное письмо. Нельзя сидеть сложа руки, надо проявлять активность. О, как я пассивен! Молчу, затаил

свою пассивность глубоко, глубоко. Пассивность – это моя натура, моя природа. Сколько страданий всю жизнь из-за этого. Ни писем, ни речей, ни выступлений, ничего они от меня не добьются. Рта не раскрою. Тише воды, ниже травы. Врожденная трусость. Черемуха у метро, такой роскошный куст. Ее звездный час!

Безногий полз по вагону, прося подаяние: «Пожалуйста, кто сколько может!» Культяпки в грязных штанинах и тряпках волочились по полу. Ржевка, жара, сирень. Раскрытые окна, голоса: «Я тебе кто? Муж или х… собачий?» Колышется на ветерке развешанное на балконе цветное белье.

Освещенная солнцем бетонная стена, ларьки с книгами. Только потому и вспомнил про ту зимнюю луну. Стоял у железной дороги и смотрел на ее магический лик, околдованный. Опоздал на поезд, ждал следующий. Вспомнил, как мы с Ларисой приезжали сюда в холодную пору, ранней весной, в марте, шли через лес, и я думал: «вот, печь топить, как неуютно, как холодно. А теперь идем с ней – тепло, прекрасно, птицы поют, черемуха еще не отцвела, а яблони все в цвету. Дымком пахнет так приятно, жгут костры на огородах, дым вьется, тянется через насыпь. Запах ржаного хлеба, купленного в магазине у станции. Как я люблю этот запах, хлеб с бурой корочкой. Геродот. Ксеркс на холме на белом мраморном троне, обозревает свои несметные полчища, идущие по морскому побережью и свой флот на море. Ксеркс счастлив. А потом вдруг заплакал. Отчего эти царские слезы? Через сто лет из всего этого скопища людей не останется в живых ни одного. И все же – вперед. Не рассуждать, не рыдать. Действовать. Цветы яблонь, розовые бутоны, трепещут на ветерке.

Бессонная ночь. Тополиный пух в городе, вездесущий, летит, щекочет шею. Усталость. Лариса в соломенной шляпке. Мороженое «Балтийское» в поезде. Музыка раздражала, детина с приемником. Триста спартанцев пали в Фермопилах. Голова Леонида воткнута на кол. Урания. Туман развеялся, солнце. День тихий, мягкое, влажное тепло, подувание ветерка. Пахнуло дурманящей терпкостью какого-то цветущего дерева. Черемуха? И сотня птичьих глоток щебечет, заливается. Мне 53. Подведем черту: безвестность. Силы таланта недостаточно. Спокойствие до конца. Мужайтесь, о други, боритесь прилежно… Какое-то гигантское, гениальное перо описывает всю жизнь, каждое мгновение, ничего не упуская. Писчий дух движется быстро, молниеносно все исчерпывает. Каждый миг уникален. Вспышка, порыв, несколько штрихов, выбор и отбор происходит на лету, отбрасывается все лишнее.

Сажали с мамой картошку на огороде. Я копал лунку, мама кидала в нее картофелину из ведра. Едва поспевала за моей лопатой, шатаясь, в черном халате, в платке. Старая моя мать, 76 лет.

Вечер. В саду мошкара вьется при дожде и раскатах грома, то рассеивается, то опять собирается в рой. Дождь припустил сильней, и мошкара спряталась.

Иду по дорожке, озаренной солнцем. Майский нежно-зеленый лес, голосистое щелканье и свист соловьев. После ночного дождя влажно. Я тут один, нет соглядатаев. Читаю наизусть своего любимого Фета: «Ах, как пахнуло весной!.. Это, наверное, ты!» Вдруг человеческие голоса, как неприятно их слышать. Два спортсмена пробежали невдалеке, мелькая среди ветвей. Я в черной вельветовой рубашке. Шмель, бубенчики ландышей, облако, поле. Тополиная метель плывет в сиянии солнца, сквозь молодую зелень рощи. Густые клены на склоне, сквозь них внизу сиренево-фиолетовая пахота. Надо же: мне 53 и я еще живой и еще радуюсь всему этому прекрасному миру вокруг меня. И Фет, и соловьи, и поле, и холм. Блестящая, звонкая струйка из ржавой трубы под склоном, комары вьются.

Сарай, сирень, лиловые гроздья в каплях, блестят, переливаются. Притянул ветвь, замочив рукав, – вдохнуть этот терпкий запах, эту свежесть.

Только и мечтаю, как напишу новую книгу, какую-то удивительную, прекрасную, могучую книгу, полную жизни и грозы. В этой книге я выложусь весь, волью в нее всю свою кровь, все силы, все нервы, все сердце. Превзойду самого себя, окажусь тем, кого в себе и не подозреваю. Проснется во мне какой-то гигантский дух, раздвинет меня и разорвет, сожжет, испепелит. Но останется написанная книга. В жертву этой книге, чтобы произошло такое чудо. Но страшит усталость духа и тела. Что-то часто теперь, симптомы невеселые. Способен ли еще мой организм на такой запредельный всплеск? В этом всё. Если бы несколько месяцев, год одержимости, творческой лихорадки, этого безумия… Нет одержимости, значит, и нет призвания. А что тогда есть? Жажда иметь то, что не дано? Быть тем, кем не дано быть? Пописывать, насиловать себя бессмысленно. Вся моя одержимость чайная, искусственная. Иллюзия одержимости. Если бы в меня вселился этот дух вне моей воли. Побыть без мыслей, без слов. Но слова тут как тут, на страже, являются незваные и опять начинают свою беспощадную пытку.

Дождь застал по дороге от станции. Люблю дождь, небо мглисто-сизое, ветер, свежие порывы, капли в лицо. Добежал до дома, успел. Теперь уже вовсю барабанит по железной кровле, стекла забрызганы.

Жизнь моя, свежая, летняя, дождевая. Сирень, яблони в цвету, электричка с гулом бежит по насыпи. Душистая влажность сада, сырой аромат трав и листьев.

Что-то хочет написаться, ищет слова, какое-то волненье. Проснулся в пять, уже светло, кукушка, едва слышно, где-то вдалеке, в туманном лесу. Потом хрипло запел петух. Долго он распевал. Электричка прокатилась – железный поток грохочущих колес. Одаренность, талант, активность, энергия. Огонь утверждает, что он никакой не огонь, что он – вода, всего лишь вода. Свое горение он уподобляет природе воды. Зримые формы таят незримое, нужен очевидец Незримого, Велемир, ясновидец тайнописи, читатель книги мира.

Дождь на рассвете, его бурный барабан. Мопассан, газовые рожки, цилиндры, фраки, вуали, узкие, затянутые шелком, талии, бульвары, Булонский лес. Жорж Дюруа пообедал в винном погребке на площади Этуаль у Триумфальной арки, красавец мужчина, пушистые с рыжеватым оттенком закрученные усы, неотразим. У этой книги свой, уникальный тон, вкус и запах. Читаю, нет – пью ее, вдыхаю ее, осязаю на языке ее вкус. Помню юношеское впечатление при первом прочтении, нашел на чердаке у нас в доме, старая, потрепанная книга, в черной обложке, пожелтелые страницы с широкими полями, цветные иллюстрации Рудакова, такие яркие, заманчивые картинки. Издание начала века. Где теперь эта книга, подарившая тогда мне часы счастья, восхитительное, жаркое волнение? Куда-то пропала, жаль. Терпкая поэзия этой книги хранится, не выдыхаясь, вот уже второе столетие в трехстах ее страницах. «Его вновь охватила жажда любви. Ему казалось, что он уже несколько лет не обнимал женщины, и как матрос теряет голову, завидев землю, так трепетал он при виде каждой юбки». Банальная история, такая же банальная, как десять лет осаждать Трою. Все погасло. Зачем ворошить эту золу и пепел.

Стрижи, эти гении полета, сирень в садах, жить еще можно. Может быть, я все же напишу ту желанную, ту вожделенную мою книгу, удивительную, прекрасную, благоуханную, грозовую? Может быть, она растет во мне, растет и растет, ворочается в сердце, я слышу ее толчки? Не все еще позади, многое еще и впереди. Если бы так. Солнце в кроне тополя у нас на дворе. Мама в своем вечном платке. Старая, старая, маленькая моя мама. На выцветшей фотографии шестилетняя деревенская девчонка. Жадно вдыхаю аромат сирени. Мое обоняние чрезвычайно обострилось в последний год.

Охота писать пропала. Все свое умение и желание писать я исчерпал в этих моих пяти маленьких книжечках. Пусто сердце,

празден ум. Пустыня осталась. И тихонько плачет он в пустыне. Сердце зачерствело, сухо в ресницах. Только нервы, ожесточенные, дергаются от всякого резкого звука. Телесный цвет досок действует успокоительно, радость глаз. Прозрачные слезы смолы на грубо-бугристой щеке ели. Я себя понял: отшельник по самой своей сути, нежелание общаться, хорошо только одному, на природе или среди книг. Писать так, чтобы за меня говорил рукав соседа за столом, сальное пятно на этом рукаве, пылинка. Такие книги, как «Преступление и наказание» Достоевского или «Котлован» Платонова мне, конечно, никогда не написать. Это ясно. Я не знаю, что и как писать, так вот до сих пор и не знаю.

Как я был глуп, влюбленный в те веснушки в школе. Страдал, ком в горле, камень на шею – в озеро, или – голову на рельсы. А ту зимнюю новогоднюю ночь помнишь? Со школьного бала, на дороге, целовалась да не с тобой. Как ты рыдал у себя на дворе, над сугробами, в том своем коротеньком пальтеце с меховым воротником. Где оно, то пальтецо? Давно выброшено на свалку. Это называется первая любовь.

Дождь нерешительный, то припустит, то одумается. Лариса в плаще цвета тростника, под зонтом, пошла за творогом. Плащ тот самый, видавший виды, прожженный на костре и залитый вином, помнящий лучшие наши романтические времена, тот плащ, в который я двадцать лет назад был так влюблен, до обмороков. Кажется, все это было не с нами, эту юную историю о счастье и страсти нам рассказал кто-то очень на нас похожий, пылкий, яркоглазый.

Окно в облаках и каплях. Тук-тук, светлые пальцы дождя из туч. Нежность и щедрость. Чувствам хочется слов, возвышенных, ярких, таинственных, мистических, поболтать о чудесах в решете, о секретах, о сокровенном, интимном, о полутенях и полутонах. Не всегда. Все реже и реже. Все скупее. Это желание слов, страстных и странных шаманских речей, верчений, кружений. Слова вспыхивают, окрыляясь, в полете – чувство чиркнуло о фосфорный коробок нового дня.

Смыслы извилистые, запутанные, как безумные лабиринты, но точные, математический абсолют. Безукоризненное совершенство сложно мыслящего, скрывающего себя слова, переходящего границу себя, растворяющегося и исчезающего в музыке, в токах, в шелесте, в пульсации, в смутном блеске и ударе электричества, в разрядах, в узле вспышек. Чтобы загремело и вспыхнуло в себе, нужен заряд грозы, накопленное электричество, а повод всегда найдется, достаточно чихнуть и – грандиозный взрыв, сметающий горы, срывающий с оси земной шар. А на нет и суда нет. Сиди и не скули. Пописывай

пустячки, брызги мгновений. Есть ли вихрь внутри? Воскреснет ли он, этот смерч, этот ураган аравийский, этот тайфун? Вот тогда бы забылись в буре, вот бы наломали дров, навалили бы лесов! Мечты, мечты. Давно уж не мальчик, а все тянусь к этим лучам, этим чарам. Вихря внутри меня нет, не вложили в рождении, не водится во мне этой Жар-птицы. А я ждал всю жизнь, когда она проснется, затормошится.

Есть этот космический огонь – есть активность мозга и его работа. Нет огня с неба – и ничего нет у такого ума на столе. Вот у него работа и кипит – только когда солнце. А тьма льет воду в очаг.

Нет волны, чтобы подняла и понесла. Нарастающий шум поезда рушится в уши железной лавиной. Книга жизни у Рыбака с чашей Грааля. Как я напишу такое? Клейкий шелест крови. Безумно-болтливый, нехудожественный Достоевский. Раскольников, Соня, сто рублей, черные лестницы, колокольный звон, бильярд, офицеры. Это выделение слов у Достоевского то шрифтом, то кавычками создают глубину текста, многозначность, за передним смыслом – второй, третий. Странным духом веет, угрюмым, тревожным, зловещим, мрачным. Мистический ток бьет от каждой фразы этой книги. «Сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе… Ну что Вы скажете теперь, Софья Семеновна?» Пишу под диктовку дождя эти сырые фразы, и тетрадь разбухает, разбухает, тяжелеет, влажная, переполненная, как бочка. Мантилька Сони. «И кто меня тут судьей поставил – кому жить, кому не жить?... Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли! … Это только значило, что ТА минута пришла».

Дождливый день. По запотелым стеклам переполненного троллейбуса текут банные капли. Понимание мое растет, мутная вода в пруду, хвостики каких-то щекочущих фраз. Лариса в резиновых сапогах, в белом плаще, торт, везем моей сестре, Елене Троянской. «Где пойдем: через пустырь или мимо школы? Как ты смешно ходишь: ноги задираешь. Только сейчас заметила». Застолье, разговоры. Напугал их: «Решил я в горы уйти – жить отшельников в шалаше. Пропаду на лет десять, а то и больше». В каждой шутке есть кукиш правды. Руки-ноги тут, с вами, а голова – в облаках гуляет, с ветерком, с солнцем, со звездочками, башка моя блудная, одинокая, бездомная. Вагон качается, едем. «Это Лигово?»

Можно было бы составить странную книгу из случайных цитат, наугад, беря с полок и раскрывая книгу за книгой, как попало. Закон формы: три струны хокку и многотомье эпопей – равнозначны. Смотрит с тоской на высокого молодого человека у дверей. Имени нет и не будет, затеряюсь во мраке безвестности. Слишком очевидно.

Вечером играли с Ларисой в карты, уже в сумерках. Как бы так сконцентрироваться, чтобы написать все, что хочу, на 20-50 страницах. Разразиться грандиозной грозой и ураганным ливнем на час, на два, на вспышку тридцати страниц чтения. Мощь слоновых бивней ночного ливня. Даная – символ женщины, восторженно ждущей мужчину в виде дождя из золотых монет, то есть мужчину в виде денег, в виде золота, сыплющегося из денежного мешка. Продажная психика Евы, женского пола – проституция.

Магия этой книги, мрачность, молодость, 23 года, ожесточенность, кипение ума, злобная усмешка, безобразная мечта, ненависть ко всему миру, отрицание. Конец романа – пришел сдаться. Прекрасно. Могучая недосказанность, фантастичность. Так нет же, художника пересилил публицист, понадобилось все разъяснить, разжевать, поставить все точки над i, сказать все до последней буквы. Эпилог – провал книги, для слушателей проповеди. Громы против язвы индивидуализма. Благодарим вас за ваши праведные громы, милейший Федор Михайлович. Там человек воскрес.

Раскольников – волк, индивидуалист по духу и крови, вот на него каторжники и бросаются с ненавистью, как на чужака, на врага – стая собак, то есть – стая на одиночку, стаю презирающего и стоящего против нее. Вначале был Василий. Это уж потом – Родион. Родить, родился, переродился.

Фалес: все полно богов. Анаксимандр: люди развились внутри рыб. Анаксимен: земля в форме стола оседлала воздух; солнце – огненный лист; звезды – гвозди; планеты – огненные листья, плавающие в воздухе. Пифагор: зародившаяся в беспредельном огненная единица начинает вдыхать в себя окружающую пустоту и, размножаясь, порождает все числа и вещи. Любил повторять: «Числу все вещи подобны».

Снилось: иду по горной дороге, а она все уже, уже, камни из-под ног сыплются, слоистые, и дальше пути нет, и обратно не повернуть; дорога за спиной рухнула, обвалилась в ущелье. Что делать?.. Дух мой бедный, бессильный, безвестный, погруженный во мрак и сжатый отчаянием и страхом. Тихий, заунывный свист сквозь зубы. Кто ж что-то путное пишет в 53 года. Ничего не успеть. Блок о хрустальном звуке Пушкина: что этот звук слышен немногим, избранным. Радуюсь, как ребенок, что сам-то я из этих немногих, этих избранных. Я в этот мир пришел, чтобы услышать этот хрустальный звук. Пройти трудный путь – вот в чем суть. Вначале ничем не владеет и всего боится. В конце овладел всем в своем искусстве, бесстрашен, свободен в действиях, легкий, быстрый, гибкий, сильный, крылатый,

летает куда и как хочет, трудности и преграды преодолеваются играючи, мгновенно. Вначале раб, в конце – бог.

Тот ноябрь. Тропинка ночью в парке, сырой, водянистый снег хлюпал под подошвами. Загадочно улыбалась, вздрагивала, поцелуи. Черные ели. Этот наш захлеб в ту зиму, первые наши встречи, накопленное электричество, нашедшее, наконец, выход. Зимняя гроза, ее разряды, бьющая в нас молния при одном только прикосновении рук, от которой мы теряли сознание в постели, там, в той убогой каморке, где дала нам приют Евдокия Васильевна Иголкина. Эти наши глубокие обмороки, бледные лица, сучья дерева за двойной рамой окна, облепленные снегом, наподобие кораллов. Шум полуночной электрички из Гатчины. Стекло тихонько звенело, и простуженный грустный голос пустой электрички, замирая, гас у вокзала.

На ветке этой фразы шумит много слов. Это не книга, а неисчерпаемость одного таинственного ощущения. Страх оторваться от привычной почвы, шагнуть с этой твердой опоры и полететь в пропасть неизвестного письма, каким никто не пишет, не для людей, не для читателей. Позволить ему быть непонятным и непонятым. Вот и всё. Стою, прислонясь к стволу ольхи на склоне холма, лес шумит, и бегут по лицу солнце и тень.

Диалог: два голоса, мужской и женский, хлещут друг друга бичами зла в ночной тьме. Ад – это бездушие и бессердечие. «Нельзя считать себя драгоценным, как яшма, а нужно быть простым, как камень». Кружу, кружу вокруг чего-то смутного. Треугольный осколок зеркала. То зеркало, частицей которого он был, разбилось давным-давно, еще до моего рождения, и этот отбившийся осколок тоскует по тому великому целому зеркалу и всему, что в нем отражалось, по тем ушедшим теням. Не сбиваться с голоса сердца, слушать и следовать. Оглушает наружный шум, и соблазны чужих голосов, этих сладкозвучных сирен, уводят на ложную дорогу. Не сбиться со своего голоса, как бы тихо и робко он не звучал, пугливая птица, замолкающая при скрипе чьих-то шагов.

Жизнь бежит, а смерть растет. Река несет лодку на каменную гору. Не увернуться. Спасенья нет. Великий идеалист Достоевский. Если бы себя не мучить строгими требованиями духа, можно бы еще жить, как насекомое, жук, червяк, гусеница, садовый клоп. Я уже с рождения зарифмован с ужасами мира. Эта взволнованность бывает незаметна, но она есть, она, как чистое серебро, чистое и звонкое, бубенчик месяца. Тоска писать что-либо связное. Романтики верили только в мир фантазии и не допускали существования мира реальности. Черная муза отнимает радости разума, как мяч у

младенца. Ужас развоплощения, утрата жара души и всех желаний. Это от нервов – чесотка и то, что мне все кажется, что меня кто-то кусает. Кожа стала такая тонкая, такая чувствительная, что мучительно даже прикосновение одежды к телу. На лодке вверх по Оредежу и обратно. Ветер бил то в скулу, то под днище.

Дорога в Стрельну на трамвае в жаркий августовский день, ветви ив и шелковые метелки тростника стегают окна вагона. Люблю этот путь к заливу в любую погоду, круглый год. Кольцо, выхожу. Тут перемены: ресторан «Стрельна» под голубой черепицей, стулья на воздухе. Поле пуха, гурьба берез на зеленом склоне. Тут где-то гулял Блок, молясь природе. Дворец все такой же, трава выросла на балконе. Когда-то я испытывал тут странные чувства: что я один такой – записываю какую-то карусель мыслей, видений. Тихо. Стою на высокой площадке перед дворцом, мшистое дерево перил. Луг скошен, убирают сено на тележку, прицепленную к автомобилю. Залив мутно-желтый.

Ночью лай собаки на лестнице. Нервы – растрепанная мочалка. Неврастеник. Не пишется. Мрак, стол, скала книг, китайцы, японцы. Не пора ли изучать иероглифы? Перебирали с Ларисой черную смородину, три бидона. На Камчатке то тайфун, то землетрясение, дома рушатся, люди живут на улице. В Волгоградской области нашествие саранчи, из Казахстана, полчища, покрыла поля тучами, света не видно, темно, как ночью. Пожрала весь урожай ржи и пшеницы. Хлебные поля лежат мертвые, изглоданные. В Думе проводят закон о продаже оружия. Пойдет стрельба по всей стране. Не СПИД так пуля. Как в Америке. Там каждый американец гуляет в бронежилете и с презервативом в кармане. Читаю Дино Буццати «Татарская пустыня». Новоиспеченный лейтенант ищет в ночных горах крепость, в которой ему назначено служить.

Есть книги, в которые, как в реки, хочется вступать много раз. Таинственная Каяла в половецком поле, зловещая, гибельная река. Эти писатели любят сочинять сказки, то есть любят жить в своем фантастическом мире. Еду. Тучка набежала. Красиво исчерченное брызгами каллиграфическое окно вагона, жаль с ним расставаться.

Обитель дальняя, покой и воля. Удалиться в высокую символическую точку. Жизнь страшно концентрируется, эта точка (луч лазера) прожигает миры. И брезжит, брезжит, мерцает, мигает, пульсирует. Бьется у виска Вселенной. Собираю вишни под дождем, крупные, как в детстве. Мама. Полное одиночество, отрешенность. Копятся, копятся сокровища души, чтобы в конце все стерли черви.

Вхожу, в руке сумка с вишнями. Лариса, сидя на диване, моет ноги в тазу. Бледная, плохо себя чувствует. Про атомную станцию, ходят в халатах, скафандрах. В Москве теракт, взрыв в метро, убитые, обожженные. Ужас обыденности. Тяжелое солнце, невозможно под ним стоять. Все жду каких-то чудес, откровений, жду от себя каких-то героических книг, подвигов на бумаге, а их нет и нет. Не рождается во мне та звенящая нота. Литература – способ отшельничества.

Полнолуние, голоса оперных певцов, фары на шоссе. Разговор с мертвыми. Мусоргский с нищим чемоданчиком, выброшенный на лестницу, как ненужная тряпка. Чайковский о его «Борисе Годунове»: «Надо запретить сочинять такую музыку». Бездарная книга, сколько банального, ничтожного, редкая радость, когда попадется яркая страница. Лариса в халате, печатает на машинке собачьи родословные. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка. Морис Равель «Ночной Гаспар» в исполнении Марты Агарис. Поэту снится поэма нечеловеческой, божественной красоты и гармонии. Молния этих страниц в мистических снах. Гёльдерлин, Батюшков, углы безумий. Рассказ Грина о скрипаче. Громовая песнь в себе, полет в себе. Эта мелодия присуждена исторгать рыдания. Никто меня не поймет. Голос Сивиллы: всегда начинать с высшей ноты. Жить не кругами, а вертикально – вверх или вниз, все равно. Подниматься или падать. Прожигатели жизни, вино, женщины. Упал, сгорел. Сложные вибрации духа, которым найдены точные слова. «Если есть страшный суд слова – на нем я буду чиста». Цветаева.

Я слишком цепляюсь за свою личную жизнь, это мелко, ослабляет дух. Слишком дорожу впечатлениями своих чувств, считаю это главным и единственно важным, ценным. А есть мировая жизнь, есть космос. Острая возбудимость и эта вечная болтовня с самим собой. Тоска. Что меня ждет: стареть и болеть. Весь этот ужас. Танец Ларисы, пьяненькой, первого сентября в годовщину нашей свадьбы, ее музыкальность, горячность, импульсивность, раскованность, полет. Вот это в ней и люблю. Подарили две пачки финской бумаги по 500 листов. Божественно белое, пустыня чистого листа, не запятнанная ни одной буквой. Виденья прошлого, туман, птицы и струны в тумане. А музыка, голоса? Я очарован грандиозностью этих видений, проплывающих в полном безмолвии, беззвучии. Кто-то дарит их моим глазам, маня и завлекая, дразня чудесами, знамением чего-то такого, что не могут вместить чувства и слабые органы человеческого восприятия. Я больше глаза, чем уши. Нет-нет, да и отдернет небо передо мной свой занавес. Где-то в подсознании, помимо моей воли, делается труд обобщения, шестикрылый серафим, веющий в нейронах

вьюгой вещих снежинок. Магнитный ветер в космосе, голос этот одинок, он вверху, всегда «над», недосягаем, его шаманство. Внизу – болтовня, базар, пустые языки мелят черную муку мира. Сделать этот шаг, последний. Технически подготовлен вполне, великолепно. Шаг в пропасть. Отцепиться от скалы, шагнуть в пустоту.

Ловить отблески. Луна не давала спать, ее ледяной взгляд. Селена, Астарта, Геката. Монтень, учиться умирать. Смуглый, вихрастый, в клетчатой рубашке, читал, подперев щеку рукой. Я вздрогнул: это – я! Призраки, их присутствие в каждом запахе, звуке, веяньи. Иду из леса, ночная дорога, лужи. Монтень не мог писать долгое и связное сюжетное повествование. Ищу подпорки у великих. Две тысячи лет живем у Христа за пазухой, стукаясь лбами в грешной мгле. Вышел во двор – о, звезд! Гигантские огненные шары. А я-то – искорка. Зачем я с моими мыслями, чувствами? Фук – и меня нет. Тот, кто пишет дневник конца, не спешит его закончить. Это импровизация на нервах, настроенных неизвестным мастером, туго натянутых и звенящих. Я никогда не искал опасности, наоборот: всегда избегал, уклонялся от тревог и когтей. Мцыри, бой с барсом, «таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог». У меня такой героизм только на бумаге. Я бы жил один, без людей, в лесу, в горах, на недосягаемой скале самого необитаемого из необитаемых островов. Идеал отшельника. Какое счастье! Герметизм воображения, закупоренная наглухо бутылка в океане, плавает, глазами внутрь, ничего кругом не видит, вне себя, ни волн, ни бурь, ни скал, ни земель. Черный трон – трапеция, качающаяся ночью посреди необозримого моря смерти. Даже божий глаз не может обозреть его – это море мрака.

Нужна резкая новизна, чтобы нож не тупился, чтобы самозатачивался, всегда резучий. Лежу, боль в животе. Фары с шоссе жарким языком собачьей нежности лижут мне лицо, несчастное мое заплаканное лицо, слизывая с ресниц дождевые капли. Истина в том, что все всегда одиноки. Ненавижу прозаичность жизни. Страсть, даже самая низменная – поэзия. Когда я один, я другой человек, чем когда вдвоем с кем-нибудь или в компании, в обществе, в куче.

Беловолосый призрак сада, поседевший за одну ночь, хрустящий солью заморозка. Любуюсь звездным узором ночного неба, а каждая звезда – отдельная душа, сама по себе, у нее внутренний мир и сознание, она и не догадывается, что служит частичкой узора, видимого мною с гигантского расстояния. Но я вижу только узор, а о внутреннем мире отдельной звезды не в силах догадаться – что это такое. Так и мы. Кто видит душу? Видят только узор.

Вой, рев, оскаленные пасти чудовищ кругом, отовсюду, одна рожа страшней другой, ярусами, обступают, тесней, грозней, круг все уже. Матушка, спаси меня! Спаси своего несчастного сыночка от этого ужаса! Дин-дин в чистом поле… надрывает душу мне… Сон о лесбиянках, ловля лосося в горном потоке. Старая ведьма варит в котле черный булькающий суп с запахом сероводорода. Проснулся, а вставать не хочется, холодно. Под двумя одеялами и шинелью. Лариса звякнула замком в половине восьмого. Ушла на работу. За окном туман. Непостоянство моих поступков, то вправо, то влево. Сам не знаю, чего хочу. Моченой морошки хочу и пули в живот на снегу, с Черной речки. Пушкин, заключенный в магический круг, прочерченный палкой царя Николая. Что в имени тебе моем… Память в зимней спячке, забыл, забыл все на свете. Забыл как меня зовут. Только-только потянулась та ниточка и оборвалась. Утро туманное, утро седое. Великое Дао. В доме так тихо, что в ушах звенит. Я один у окна с тетрадью и ручкой.

Вспышки памяти. Юг, море бурное, стою на песчаном берегу под навесом, прячась от ветра. В руках сборник стихов Эдгара По, белые крапинки морской соли на черно-фиолетовой обложке. Где-то недалеко Лариса. Наши счастливые первые годы, нам еще нет сорока. Это выражение ее лица в Анапе на морском берегу в октябре: «Мне же не нужен другой мужчина, мне нужен ты». Горький ком в горле. Убегала вдоль кромки кристально чистых волн с ярко-зеленым отливом, несчастная, плачущая. Догнал, обнял сзади, уговаривал попытаться вернуть утраченное. Песчаный берег блестел. Ее слезы. Сколько ее лиц, и счастливых, певучих, и сокрушенных, страдальческих, тысячи этих лиц, этих выражений в тысячах мест севера и юга. Дом отдыха «Пионерское», кажется так назывался. В Анапе бульвар, засыпанный сухими листьями акаций и платана. Хурма на рынке, сочная, тает во рту. Стрельна, тоже солнечный день, лето или начало осени, трава густая. Шли у канала к заливу. «Я для тебя, как чемодан без ручки: и нести неудобно, и бросить жалко». Говорила мне с мрачным ожесточением, суровая, отчужденная. Почему это вспоминается? Много разных сцен: лиц любви и лиц вражды. Ломоносов, нижний парк, ранняя весна, апрель, деревья еще безлиственные. Спускаемся по откосу, ее темно-зеленый с капюшоном болгарский плащ. Объявляет мне, что беременна, что беременеет, как кошка, цепко, все схвачено. Бурный весенний поток в канале. Какая высокая, горячая, молодая волна била в сердце. Любовь, бутылка красного вина, поцелуи в сыром парке.

Чюрленис, осень, цветомузыка, Зося, соната моря, сумасшедший дом, простуда, смерть в тридцать пять лет. Чем гордится земля и пепел? Чем ты кичишься? «Лучше знаешь бога, не доискиваясь его». Блаженный Августин. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Апостол Павел. «Выражая смертными словами бессмертные вещи». Лукреций. Мой опыт – полная теней путаница. Порвать да бросить. Душа моя, птенчик, щебечем еще под этим холодным, равнодушным небом. Музыкальный восход солнца, Дебюсси, шелест листьев, ручьем льющихся с замерзшей липы. Трава белая, седоволосая, глажу рукой. Огнепоклонник, парс с пустым сердцем, поезд, петух, цыганские голоса.

Тяжелый сентябрь. Собака скреблась на лестнице, выла, лаяла; почти совсем не спал. Стихи – колдовство. Я всегда искал колдовства, чар. Красный месяц, стою у окна, Бах, триосоната, тебе в радость. Это было, когда я любил, приемник на подоконнике, «Орфей».

Вышел из парадной, две сумки, на дачу. Лариса в раскрытом окне нашего третьего этажа, с собачкой у груди, махнула мне рукой. Ненужный жар стихотворства, вдруг пробужденный через 15 лет. Включил свет – мышь на столе. Блюдце с мукой. Снились тщетные попытки объяснить высшее, поэтическое, музыкальное. Это мучительное толкование, этот голос изнутри, в мозгу. Это была подготовка, болтовня, мостки к стихотворению, которое надо было выпустить из гнезда, и я не хотел прерывать этот полусон-полубред, все еще веря в чудотворство сновидчества. Но пытка продолжалась. Не выдержал, встал с постели. В голове пусто, схлынуло, голос исчез. Отпустило это мученье. Страна снов, шорох шагов в парке, тревожный ветер, дующий сквозь сердце. Лариса вчера плакала в постели, ее давит супружеский долг, этот рок над ней всю жизнь. Я стоял над ней, пытаясь утешить. Ее голова в рогульках бигуди, плачущий открытый рот. Жаль безмерно, страдание это, тягостное, придавило, душит. Ушел, прикрыв дверь. Монтень, грустная нота его старости в последних главах.

Покров святой Богородицы, унылое, темное октябрьское утро в дожде. Плещет вода в ванной, Лариса стирает. Собака опять не давала спать, лаяла и скреблась на лестнице. Ужасный резкий лай. Сколько еще будет длится эта пытка? Кленовый лист в сумраке переулка. «Это твое безвестное сердце» – говорит мне, кланяясь, китаец даос в шелковом халате, расшитом драконами. Я сижу в молчании и размышляю над «Книгой перемен». Усталость, нервы, сны, рост потерь. Прошлое шумит, годы, годы. Кисло-унылые мысли. Спускался по лестнице – Лариса с работы, ее кофейно-желтое

ворсистое пальто из шерсти ламы, черная шапочка. Куда это я собрался? Лицо бледное, суровое, ни тени улыбки. Свои сны, свое одиночество, этот тоскливый круг. От первого проблеска сознания до последнего. Приход осени, восьмой наставник Ли (его имя забыто). Удары кисти сильные и причудливые. Фуга Баха, слушаю, прислонясь к ночному холодному стеклу, огонек дрожит, сын огня. Последний стон органа гаснет, ах, как жаль мне его, я готов разрыдаться, но в шлюзах моих слезных желез сухо.

Три чайки в сером небе пролетели легко, едва двигая своими сильными крыльями. Событие! Ведь по природе своей он – сосуд духа. Он есть воистину сердце Неба и Земли. Шторм в Баренцевом море, нос корабля, брызги. Подорванный американский эсминец, дело Бен Ладэна, арабские террористы, знамя Ислама. Смертники с миной на резиновой лодке. В лето 6531. Поиде Мстислав на Ярослава с козары и с касогы. Го Жо Сюй, о невозможности научиться одухотворенной гармонии. Нарядное пальто-снегопад, в изящной светло-серой кепочке, симпатичный, молодой, смуглолицый, в зеркале на лестничной площадке в Доме книги. А на него никто не смотрит, ни один женский взгляд. Дверь открыла Лариса, у нее на щеке не проходит опухоль. Бедная. Ненависть Цветаевой к быту, к непоэзии. Быт – это непреображенная вещественность. Ладья Ра в царстве мертвых, смешно и печально.

На платформе, зимой, от мамы, звучание этой мелодии из «Аве Мария» Кончини. Та ночь, озеро, снег, огоньки, и качающийся колокол мелодии. Сколько же лет прошло? Четыре, пять? Я еще способен был страдать, грустить об утратах. Капитан-лейтенант Колесников с затонувшей атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море. Тело его найдено в 9 отсеке. Записная книжка в кармане, послание жене, одна страничка каллиграфическим почерком, под конец неразборчиво, погасло освещение. Вожусь с рукописью своего «Рака на блюде». Скоро в набор. Лариса говорит, что у нее уже нет той живописи в рембрандтовских тонах, тех сполохов и сияний, тех извержений космических вулканов в мозгу, как было в молодости. Вот чего жаль так жаль. На Витебском мрак, башня с часами, Загородный. Мрак и холод, опять.

Тусклый свет уличного фонаря озаряет спинку стула, и его лакированное плечо так странно, так причудливо блестит. Это не стул, это страх. Я сам оборвал эту струну, и – пустыня. Вечер, волнистая Нева, речной трамвайчик бежит, бело-синий. Желтая заря над Биржей. Тициан, золотые монеты льются в лоно Данаи. Джорджоне, мертвая землистая голова Олоферна и Юдифь улыбаются

друг другу. Саския Рембрандта, нагруженная цветами, шелком и бархатом, хрупкая Флора на фоне черного-черного мрака. Вспышки сердца, поражения, победы, нервный ток.

В венце бессонниц, трясучка, психопатия, носился всю ночь вокруг дома. Этот резкий, как острое стекло, лай на лестнице, грохот и пьяный вой. Метро Ладожская, толпа, старухи, уроды, зонты. Мерзость прикосновения к человеческим телам – вот какое чувство у меня растет с каждым днем и единолично царствует. Ехал в закапанных, банных стеклах – к нему на его Ударников. «Искусство скрыть искусством же». Шопен. Лимонный вечер, черный, сквозной рисунок сучьев, у травмпункта. В постели: «Наверное, я неласковая. Да и ты тоже. Какие мы с тобой нетеплые».

Золотой хвост дрожал в пруду. В сумерках за соснами – заря и черные стаи ворон, тревожные клики. Эрмитаж, сны, призраки, Иштар. Прошу, вернее предлагаю: «Погуляйте со мной по залам и мы будем в расчете». Заколебалась. «Ну, хорошо. У меня есть час». Спустились в гардероб, он был почти пуст. Приняв пальто с хрупких плеч, я обнял его, словно это она сама, и погрузил лицо в мех воротника, надушенный сладкими, чудесными жасминными духами, дрожа от блаженства. Это был только миг, и я оглянулся в испуге – вдруг старухи-гардеробщицы наблюдают за мной из-за своих барьеров. Нет, никто не видел. Да и как они могут увидеть – у них же номерки вместо глаз. Мы поднимались по парадной золотой лестнице Эрмитажа, и я был пьян от счастья, что иду рядом с божественной, недоступной, недосягаемой Иштар, что касаюсь локтем ее локтя, что вдыхаю ее духи и, косясь, вижу безупречную линию ее греческого носа, взятого с камеи Гонзаго и жаркий блеск ее зрачка в чернохвойных иглах ресниц, точно сверкающий глаз рыси. Голова моя кружилась, сердце билось где-то в горле, мешая дышать. Мы с Иштар шли бесцельно, без какого-либо плана, бездумно скользя глазами по картинам, шпалерам и утвари, и только попав в Рыцарский зал, задержались там надолго, с любопытством разглядывая закованных в железо с макушки до пят латников на конях, эти их забрала и средневековое оружие под стеклом: мечи, кинжалы, кремневые мушкеты. Я тут последний раз был мальчишкой и вспомнил свой восторг. Все мальчишки одинаковы, давай им оружие и войну.

Небывало теплый декабрь, плюс десять весь месяц. Пусто сердце, празден ум. Где все эти мои так и не написанные книги? Священное безумие, крылья, одержимость, пламенный труд? Ничего, ничего. Гуляли с Ларисой в парке. Мои мысли вслух. Кто-то проносит передо мной яркую, героическую жизнь, а я записываю, что вижу и что

слышу. Свидетель, евангелист. Ее упреки: «Неужели ты ни о чем больше не можешь говорить, кроме как о своей литературе?»

Мой «Рак на блюде» издан, сто экземпляров, за свой счет. Черно-белая книжечка лежит у меня на столе, никому не нужная, обреченная на безвестность и мрак забвения. Мир молчит. Этот тихий, мглистый, декабрьский день, бесснежность, пустынная аллея до метро. Иду по этой аллее среди тополей, смотрю на небо, на тучи. На сердце у меня также тихо, как у них, и я жадно вдыхаю серый, промозглый воздух, чем-то приятно пахнущий, этой самой промозглостью, мглистой сыростью, и я думаю, что вот, надо же, этого мне достаточно сверх меры, чтобы чувствовать себя вполне счастливым, даже такой погоды мне достаточно, достаточно за глаза, и ничего мне собственно не нужно, только идти эти десять минут к метро и смотреть… Мальчишки взрывают петарды, и я вздрагиваю от громких звуков. Скоро Новый год. По асфальту мостовой вьются белые змейки. До метро – рукой подать. Это мое беспричинное, бесцельное воодушевление – оно еще длится, ему еще ничто не мешает, ничто еще ему не грозит, и я знаю: пока оно есть, я еще буду счастлив, минуту, час, день, я еще буду счастлив… Что нужно сердцу, пустому сердцу без слов? Сердцу и слов не нужно.

Люблю огонь, потому что сердце его чисто и дело свято – все уничтожить, все сжечь. Сжигать и сжигать. Меч сверкнул – скатилась моя голова к той ноге, под ту розовую ступню попирающей Юдифь. Мечта эта душит черной тоской, черной косой, черной змеей. Докатился колобок. Пресность. Ветер в поле. Наши окна светятся в сумерках. Мама. Какой-то едва слышимый звук в воздухе. Писать только тогда, когда то ли вокруг, то ли внутри звенит этот непостижимый звук. Откуда он? Это звенит сама природа, мировая душа? Безрадостный декабрь, карканье ворон на рассвете. Лариса встала, скрип шагов на паркете, плеск воды в ванной.

Рождество. Сырой снег, дети лепят снегурок. В церковь на Стачек, трепещут пламенные язычки горящих свечей, их отражение в окне. Лариса в своей черной каракулевой шубе, крестилась. Вижу мир как это ровное, неизменное, трепетное сияние. Это сокровенное сердце мира светится пламенем кем-то зажженной свечи, дрожит и мерцает, всегда чудесно, всегда ново, всегда странно, всегда тайна. И эта новизна и странность так тиха, так растворена, так неуловима, что кажется только тончайшим преображением самого обыкновенного и привычного. Тайная духовность этого свечения мира везде, во всем. У Гоголя в «Майской ночи»: «Какое-то странное, упоительное сияние

примешалось к блеску месяца». Это сердце человека примешивает ко всему свое сияние и делает его мистическим. Оно и есть сердце мира, неизменное, бессмертное, горящее сердце мира. «Все же промчится скорей песней обманутый день». Овидий. Январский свет в комнате, шелест страниц. Тихий день, окно, сучья в снегу. Ах, ладно, все равно ж я как и не существую. Меня и нет. Я ребенок, который не родился, который так и не явился в мир, и не явится.

Пассивен, мало энергии, страх жизни, боюсь агрессии, избегаю столкновений, не любопытен. Люблю тишину, покой, праздность, отрешенность, уединение. Внутренняя свобода, ничем не обременен – вот мой идеал. Работать не люблю, но бывают порывы, увлечения, довольно страстные, чуть ли не одержимость, такое горенье, что работаю до изнеможения, забыв себя, пока не сделаю, что мне хочется. Люблю мечты, фантазии, воображение, идеальное, жизнь духа. Люблю природу. Люблю книги, поэзию, художество, музыку, живопись, вообще искусства. Люблю все яркое, героическое, гениальное и великое, стремлюсь к этому, мечтаю об этом и ищу это везде и всюду. Сам при этом уныл и тускл, скучен, неинтересен, ни искры, ни грации. Мой внутренний мир убог и нищ, ничего в нем особенного, своеобразного. Думаю про себя, что неодарен, зауряден, нет никакой оригинальности. Думаю, что таланта нет. Все это только мое желание, мечта, влекущий меня блеск. Я все это в себе выдумал. Зажат, скован, робок. И все-таки убежденность, что в корне своего существа самостоятелен и вполне независим. Кто же я такой?

Все тот же январь, 15-е, понедельник, сырой снег, карканье ворон за окном, муть эта. Боже, молю Тебя, дай мне то, что я у Тебя прошу: чтобы моя искра сверкнула, чтобы моя нота зазвенела, нервы загорелись, душа запела! Дай мне огня и сгореть в огне!

Пишу «Дождь в четверг». Можно бы поставить эпиграф: «И прекрасный дождь роскошно шумит». Н. В. Гоголь. Не странны, не причудливы, но лучисты. Преображение Христа на Фаворе. Обыкновенное, привычное, преображаясь, становится не странным, не гротескно-причудливым, а лучистым, сияющим, пламенным, крылатым. Телесное становится духовным, человеческое божественным, земное небесным. Вот в этом всплеске ослепительного сияния – и шок, и удар чуда, потрясающая новизна. Эта вспышка в нервах, эта жгучая новизна в сердце, этот удар чуда и есть – жизнь. «Ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях». «Княжна Мэри». Это чародеи, кудесники, маги, ими говорят демоны стихий, высшие духи, обольщающие и околдовывающие мир. У каждого из них свой лик, неповторимый и неподражаемый, свой голос, свой жест, своя грация,

запах и звучание их сущности. Очистить глаз, снять с него бельмо привычки – «и ты увидишь: мир прекрасен». Самое обыкновенное и невзрачное, давно примелькавшееся и не замечаемое никем, таит в себе возможность преображения, скрытые кладовые неисчерпаемых сокровищ и только ждет ясновидящего глаза. А его все нет и нет. Состояние письма: катастрофы, звездные мгновения, потрясения, все, что ломает рамы однообразия. Все ниши заняты. Своя, личная, предназначенная только тебе, смутно брезжит, может быть, где-то в Тибете.

Обыкновенное может вызывать чувство ужаса, потому что они (вещие) чуют, что за этим прячется что-то необычайное, загадочное, чудовищное, пришелец из другого мира. Чуют незримое, аномалии. Нельзя писать, если нервы не обнажены. Молния: внезапно настичь и сжечь. Одним ударом уничтожится вся эта скука. Молния избавляет от кругов, хлоп – и готов.

Новорожденный, сижу в пустоте, передо мной чистый, белый лист. Что я сегодня напишу? Пустоту о пустоте? Что-то смутное, какие-то видения, голоса. Душа глухая, тусклая, негероическая. Мелькание черно-белых клавиш, есть незнакомые, на которые еще никто не нажимал. Звезда, мороз, мне 54, безразличие.

Смута снов, чувство глубокой несчастности, словно это и есть ось моей жизни. В чем оно, это несчастье, из каких призрачных причин? Беззаветное самосожжение, недостижимость такого сгорания. Еще помню того себя, готового отдать всю жизнь за один «ослепительный миг». Это главное, верховная нота. Все остальное ничтожно. Вот корень моей несчастности.

Утром в постели, Лариса пела песни. Встретил в Пулково из Цюриха. Дух в маске, движется и не движется. Движение и рассуждение. Крылатый летит, бескрылый рассуждает о полете. Инстинкт нестандартных решений рисующей руки, танцующего тела. Все тот же крылатый дух в маске. Весь мир постоянно в этом полете, весь в целом, в каждой своей частичке, хоть и находится в великом Покое. Полет-Покой. Летит, глядя в зеркало великой чистоты. Вавилонская башня рассудка выше и выше. Наука, парадоксов друг. Непрерывный нестандарт. Час души, взрывы, вспышки. «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». Незнакомка, бесы, сияла ночь. Поэзия – звук ОМ, проза – объем. Мир течет сквозь меня. Несколько мелодий, картин, книг, песен. Портрет сущности, пока летит кисть и сверкают краски. Книга откликов на сигналы невероятных миров. Искусство – это ад. Блок.

Март, тускло, талый, грязный снег на Мойке. Капелла, «Снегурочка» Римского-Корсакова, музей Пушкина, тороплюсь, опаздываю, мое длинное, зеленое пальто, стянутое кушаком.

Идем в гости, через парк, яркое солнце, снег блестит. Лариса щурится, в своей черной каракулевой шубе, ей жарко. Легкий морозец, тут на тротуаре снег тает, толпа. Зашли в цветочный, хризантемы. Перед домом, куда идем, замерзший пруд с крутыми берегами; дети с криком скатываются по зеркальной ледяной дорожке. Ах, совсем весна, это высокое голубое небо, это праздничное чувство, на душе светло, мы с Ларисой вдвоем, она такая радостная, глаза молодые, нежные.

Путаница жизни, миллион терзаний. Эрмитаж, шум машин, снег уже сошел, тепло, тусклый день, мутное небо, столп нерукотворный. Груды грязного снега на Большой Конюшенной у Гоголя. Вот он, этот зеленоватый оттенок на сыром стволе старой липы у стены, и воробьи расчирикались в кустах. Слякоть, капель у детского сада. Это начало конца, старенье. Высоко в голубом небе гипнотическое круженье чаек, их яркая белизна, черные края крыльев. «Фанданго» Грина. Опять Невский, вечер, канал, два часа в Союзе писателей, эти две бабы, эта беспредельная пошлость и бездарность, сборище графоманов. Весенний букет, Пушкин на стене, спасение мое, на нем взгляд мой держится, наплаву, на плоту, не тонет. Молчу, упорно молчу, а эти болтают об искусстве, вся эта литературная сволочь. В Доме книги купил книжечку Крученых, издали наконец-то. Листал альбом Магритта, лица-облака, шапка мешает, держу в руке, толкают, я один, непечальное одиночество, а это – они, их яркий, мертвый мир, лестницы, зеркала, глаза, шубы, шляпы, обрывки фраз, прилавки, календари, географические карты.

В Эрмитаже украден Джером «Купание в гареме». Директор Пиотровский в недоумении. Ныряю в соленую память моря. Над головами сидящих писателей ползал по стене таракан. Это вчера. Вот и я этот путник с посохом. Такие сцены ничего не стоят. И оледенение, и наводнение, и пески идут на Пекин. Послевкусие, мужчина и женщина, нет будущего. Годы шли, и он мирился с праздностью мысли, сухостью сердца. Горестная сцена, прядь седых волос, робость характера, Фредерик, последний, шопеновский всплеск музыки. Вечером в парке стоял, стоял, все смотрел на морозный закат за соснами, за шоссе. Гас, гас этот алый уголь. Ноги замерзли, сумерки, невеселые мысли.

По понедельникам на электричке в свой Дудергоф, кататься на лыжах. Мама, старая, 76 лет, часто болела эту зиму, иногда лежала по

трое суток, не вставая с постели. За ней ухаживали сестра и две племянницы. Привозил лекарства, продукты, апельсины или бананы, мама их очень любит. Последний раз был в яркий мартовский морозный день. Так и думал, идя по дороге в горку среди сельских домов, что, может быть, последний раз в эту зиму приехал покататься. Солнце, снег подтаял, кое-где сухой асфальт.

Хрупкие листы письменности. Мир хаотичен, случаен, пыль снов, звезд, комет. Искусство – магия, вызывание духов жизни и смерти. Раз дана здесь на земле такая способность, как я могу жить ниже. Не могу. Нетающий белый лист, радость моя писчая. Стол залит ярким апрельским солнцем, колеблются тени ветвей, блестит белый футляр пишущей машинки и розово-перламутровая раковина с Карибского моря – память моих давних плаваний. Молодое чувство, рыжие космы костра в парке, клубы сизого дыма. Это мое опьянение жизнью еще длится. Сегодня встал бодрый, пел. Лариса в отпуске, тоже поет. Блеск, канавы, ручьи, бред бытия. Иду по влажной дороге через парк к метро, лицом к солнцу, опьяненный светом, как будто молод, влюблен и счастлив. Голубое небо, грязь блестит, каждая почечка на весенней ветке прекрасна. Какой чудесный певучий день! Этот новый апрель, эти мои 54 года. Есть еще у меня минутки.

На что я надеюсь? Стало легче дышать после тяжелой, мрачной зимы. Горный воздух ста книг. Грезящий часовой. Эта церковка на Стачек, деревянная, новенькая. Звонкая, рыжая струя бьет у точильщика из-под диска. Явь, сны, прилив сил. Гуляли в парке, Лариса в зеленом пальто и в шляпке с бантом, той самой, что была на ней много лет назад в Ломоносове, когда мы были молоды, давным-давно.

Сны об искусстве, влюбленность в гениев. Голубое утро, полет чаек, завитки облаков, кисея веточек в рожках, готовых окрылиться молодой листвой. Патина памяти, японское «саби». Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Дух Святый найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Студеный день, суд у сестры, встреча на вокзале Нового Петергофа, старенький, дребезжащий, переполненный автобус. Желтые дворцы. Церковь раз пять показывалась и кивала золотой главкой в просветах между домами. Ольгинская улица. Сижу на скамейке перед зданием суда, читаю старинную японскую повесть о принце Гэндзи. Прошла девушка, колыша, как черными крыльями, полами распахнутого длинного пальто. Поет в ясном воздухе чистое серебро колокольного звона. Розово-кирпичное кружево церкви в переплете апрельских лип. Внутри полумрак, лилии, золото

иконостаса. Богоматерь и курчавый младенец Христос. В стекле трепещут отраженные огоньки горящих свечей. Лариса крестилась перед иконой в сумрачных ризах.

Из нитей всех времен ткется этот ковер, таково тончайшее мастерство. Наложение планов, Пасха. Спиваков, апрельский филармонический вечер, и Невский, и шум машин, и часы Думской башни, и ее черная шляпка с бантом, и светло-зеленые, ясные глаза, и самоцветные огоньки хрустальных люстр, и скрипка-ласточка, гобой и флейта. Лаковый отблеск, струны. Бах, Моцарт, Шёнберг. Толпа каскадами текла с лестницы в гардероб и на холодную синеву улицы. Сад, Пушкин, Русский музей. «Десять вечера, а как светло!» – говорит восхищенно.

Волнующий локоть соседки по столу, лед скользких тем, зуд любопытных вопросов. Сеть касаний, теснота и вино. Мутно, хмель, тревожный шум сосен за шторой. Голубые глаза над прошлогодним бурым ковром, дрожат на ветру. Чинил сарай. Мама. Жанна, Ванечка, солнце, дождь, снег, ручьи. Так бы и полетел, раскинув руки, над этим черным, туманным полем.

Эти узоры фраз, экспромты, какая-то физиологическая необходимость, растительный сок, движение глубокого корневого смысла, порыв, всплеск, неповторимое сплетенье мировых причин. Дух дует, выдувая из себя свою форму, свое тело.

На Витебский вокзал, списали расписание. Сенная, купили две банки сардин и сто грамм очищенного миндаля, в них кальций. Ларисе врач сказал. Садовая разрыта, ремонт, пыль, толпы, жара, девушки, оголенные, в летних блузках. В Апрашку зайдем за чаем. А чая этого и нет, завтра будет. Переулок Крылова, театр Пушкина, квадрига Аполлона мчится вскачь в облачно-голубом небе. У Ларисы вдруг заболели ступни, это от босоножек, подошвы плоские, а она привыкла носить с изгибом. Еле добрались до дома.

Витебский, солнце над башенкой, мутное, как сквозь воду. Жаркий апрельский день. Едем на дачу, зеленые саженцы в коробке. Цветущие ивы проносятся за окном электрички – рои золотых пчел. Лес светлый. Книгу о принце Гэндзи так и не раскрыл за всю дорогу. Теплая ночь, тонкий, туманный серпик над крышей сарая. Паук спускается на незримой паутинке. И я точно умру. Длинная свеча на столе на веранде.

Наш любимый путь до разлива. Сидим на берегу под сосной, на бревнышке, подстелив Ларисину кофту. Теплый ветерок, сосна шумит над нами, играет блеск на воде. Чайки кричат. Солнце мутное, сияющее сквозь дымку. Чуть подернутый зеленым бурый лес вдали.

Такая же теплая ночь, влажный ветерок овевает. Звезды и месяц в волшебной дымке. Это робкое сияние, ночная тишина.

Опять в городе. Мглистое утро. Раскрыл окно, голый по пояс, дышал этим дивным запахом молодой березовой листвы и цветущих черемух в переулке, какой бывает только в сырую погоду и после дождя. Ах, люблю я этот запах, эту молодую зелень, только-только брызнувшие листочки. У кленов золотые лапки, все так свежо, чисто и еще прозрачно. Радуюсь всему, что цветет. Вчера, там, в еловых лесах, на платформе вечером, Лариса в том самом плаще с капюшоном, камышового цвета, как и 23 года назад, когда оба мы были молоды и влюблены, ее лицо, волосы, заколотые обручем на темени, провожала меня на поезд. Поцеловались три раза. Острота чувств, эти вихри, смятенье, оргии безрассудств. Господи, где это безумие, куда оно пропало?

Люблю быть один. Сколько помню себя – всегда я такой был бирюк и рак-отшельник. Такой уж уродился и, как говорится, горбатого могила исправит. Эта моя тяга к одиночеству и замкнутость, любовь к тишине и уединению влекли меня к нелюдимым профессиям и определяли выбор. То я хотел стать смотрителем маяка, то сторожем какого-нибудь заброшенного склада, то лесником в дикой глуши. Вся моя жизнь только повод для того, чтобы я понял себя, свою сущность. Эта книга – исповедь моей пассивности, робости, страха.

Мои странности: вижу не то, что есть на самом деле. На витрине стоит книга в зеленой обложке, название «Книга пустот», а мне грезится желтая с названием «Башня». Не вижу, ни человека, ни вещи. Или, наоборот: вижу то, чего нет, свою грезу. То же со слухом: говорят одно, а я слышу другое, свое, что у меня в уме, в воображении, по своим ассоциациям. Получается не разговор, а испорченный телефон, ответы невпопад, полная чепуха, причудливые, бредовые образы, конская собака, черный абрикос. Бессознательная подмена, подвох. Сажусь не в тот поезд, перепутываю место, день и час встречи.

Один в квартире, вечер, половина десятого часа. Внезапно озарились верхушки тополей и верхние этажи десятиэтажного дома и над ним – нежно-розовая радуга меркнущей аркой. Чудесный миг. И вот уже ничего нет, небо темнеет. Ничего не остается из того, что любил, и наступает глубокое уныние. Мой стол, моя пишущая машинка, мой грезящий часовой. Слова – это листья на ветке фразы, их может быть два-три, а может быть много. И фраза шумит всей листвой на ветру смысла, и вся книга гудит бурным лесом таинственных символов.

Я буду охранять банк на Мойке и сегодня, вооружась автоматом, я иду туда первый раз, иду не один, а с младшим Совенко. Мы вдвоем будем охранять этот банк. Полные сутки, 24 часа, пока не сменят завтра в девятом часу утра. Мы идем, не торопясь, по малолюдной Почтамтской улице. Свежее майское утро, автоматы на коротких ремнях болтаются у нас на правом плече дулом вниз. Идем, вдыхая густой запах тополей, источаемый после ночного дождя молодыми клейкими листочками. Болтаем о том о сем, чепуха на постном масле. Совенко будет охранять наверху за столом вход в банк. Я – внизу, в подвалах, денежные хранилища. Еще моя обязанность – открывать железные ворота, впуская с улицы во внутренний двор банка служебные и инкассаторские машины.

Скучно писать, как все пишут, вот что движет пером. И то далекое восьмое ноября, и сырой снег, и тревожное ожиданье гостьи. Холодный, ветреный день. Выбрали в лесу три рябинки и посадили у дома за забором.

Мшинская, холодно, очень холодная ночь. Звезды, соловей щелкал. Заморозок. Сажал картошку допоздна, до темноты. Писал. Во втором часу лег спать. Конечно, я остыл, чего уж там. Ни писать, ни жить уже не хочется. Даже та маленькая энергия, что была мне дана, иссякла. Но какие-то лиловые огоньки еще бродят, играют, вспыхивают. Вот меланхолией этих лиловых огоньков я и могу еще написать что-нибудь под занавес, под закат. Только бы не впасть в унылость и занудство. Что-нибудь закрутить свое. Я тот, кто грезит, а не тот, кто пишет. А тот, кто грезит, писать не может. А я пишу. Зачем? Привычка? Потребность жить по высшему рангу? «Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам и по ночам – на улице». Блок, дневник.

Свежее майское утро, облака, листва. Могучие зеленые крылья мая шумят и звенят за спиной. Жду стрижей. Почему опаздывают? В прошлом году они уже перечеркивали небо. Тема с завихрениями, соблазны, страдания. Букет таких чокнутых. «Аз сплю, а сердце мое бдит». Песнь песней. «Кто же он такой, кто определяет всем голосам мира петь так, как им поется?» Чжуан-цзы.

Открыл окно, небо, ясное, голубое, майское. Когда же стрижи прилетят? А они – вон! Мчатся – прекрасные черные молнии! Один, второй, третий, четвертый! Какая радость, какой дивный полет! Вот я и счастлив! Смотрю, смотрю, ношусь вместе с ними по этому чистому небесному простору. Ничего другого мне от жизни не нужно. Это и есть – жизнь, порыв, полет.

Последний раз тогда блеснули нервы – прошлой осенью, «Очи черные» написаны взблесками бритв, резко, угрюмо и ожесточенно. Холод, дождь. Вчера на платформе провожал Ларису в город, ее лицо, шутки. Это лицо не перестает мне нравиться. Вот я один, а только что вдвоем были. Один – совсем другая жизнь, другое сознание. Наше с ней – отшумевшие крылья, стон затаенных струн. И голос арфы замолчал. Дотемна строил парник; ветер мешал, рвал пленку. Теперь постоянно разговариваю сам с собой вслух, когда один. Во сне, в мозгу, всю ночь. И днем продолжаю болтать без перерыва. Одичание. Писать «произведение» не могу, не грезится. Мучает неспособность написать большую, грандиозную вещь, нет сильного и долгого возбуждения, нет мощи. Челн мой застыл в мертвом штиле, чуть дунет, проплыву немного и опять замер. Короткий вихрь, шквал пробежит, жди следующего. Жалкое плавание. Рухнуть, сгореть поскорей.

Иду от метро в 9-м часу вечера, солнце и холодный ветер, шелест тополей, темно-сизая туча. Вот они опять и блестят и шелестят, окрыленные листвой, эти тополя у детского сада. Их особый, сырой дух.

Мама плачет, устала жить, болезни, обиды. Старость ужасна. Опять любовался цветущей кашкой у платформы. Трепет молодой листвы берез, золотистой на закате, щебет птиц. Эти искры и нервы. Дурь, нелепость поведения, все шиворот-навыворот, шут в себе, такое сознание.

Холодный майский день, Большая Конюшенная, облака бегут, Гоголь, эти зеленые деревца, Казанский, пять вечера, Союз писателей. Штрихи дождя на стекле автобуса, знаки древней письменности, существующей только для одного меня в целом мире, этот узор притягивает и зачаровывает; стою, держась за штангу, читаю тайнопись, начертанную незримым писцом.

Зеленая полоса года сменила белую и черную. Экстремизм, полная гибель всерьез, любовь к гибели, Блок, пение на разрыв аорты. Уже нет тех гибельных потрясений всего организма. Ибо крепка как смерть любовь. Ничего нет реальней боли. Дон Жуан, ущерб, упадок, соблазн. Вкус корней. Молния в сердце. То, что за пределами зрения, скрыто за тонкой, неразличимой маской внешнего образа, сливается с глубинной сутью. Это маска зеркальная, это зеркало. Цыгане в вагоне, парни и девушки, шумные, черноглазые. Букетище красной сирени надо мной на полке, (сижу у окна), благоухание. Мистическое око, Матюшин, дрожь всего живого, древняя воля. Чудаки и безумцы.

Жизнь сама себя пишет, ее насыщенность и интенсивность, само дыхание. Ненависть к стандарту, усилие – вытянуть себя за волосы из этого болота. Артист, единственная реальность – он сам, его артистизм, грация. Пророческие фантазии, посланец, исполняет какую-то особую, личную задачу.

Эрмитаж, Пьер Сулаж, «Гудрон на стекле», энергическая суровость. «Чем проще средства, тем сильнее выражение чувства. Чем ограниченней средства, тем сильнее экспрессия». Солнечный день, облака, прохладно. Казанский, свечки, Лариса крестилась перед ее любимой иконой Серафима Саровского. Апраксин двор, разрытая Садовая. На Сенной от ларька к ларьку, искали чай. Проголодались, булочка с маком. Пыль, толпы. В рыбный, купили хек, две замороженные рыбины.

Пыточное чтиво, дыхание стандарта в каждой строчке, каждая буква истекает этой слизью общего пользования. Их идеал – слиться с асфальтовым фоном времени. Меркнет блеск самых светлых звезд. Так о чем говорить и горевать. Лариса от врача, в молочной железе нашли какие-то звездочки. Ничего хорошего. У нее камень на сердце, говорит о системе лечения Шевченко. Идем от метро, тепло, июнь, тополя трепещут в голубом небе. Грустный и прекрасный мир, уже без счастья. Пушкин родился, начало лета.

Слово – не слово, речь – не речь, язык – не язык, зрение – не зрение, слух – не слух. То, что должно молчать, но от избытка жизни молчать не может. Дух летит над бездной, и зримость его полета – зыбкий след дуновения на водной глади. Так пишутся письмена на воде. Тотальность стандарта, мир-стандарт.

Дождливое утро, шум дождя за окном, мокрая листва смятенно колышется в мутном, застланном тучами небе. Запах влаги. Отшельник, алхимик слова, одиночка, веянье духа, узоры тончайшего мастерства. Страх сжал горло, не способен крикнуть, хриплю, бормочу что-то. Мгновенно схватить след этих крылатых ног, ускользающий отпечаток. Ток, тень, след бегущей глубины. В мире как в одиночной камере, герметизм, задушенный крик в себе. Эти сны и видения одиночества, невозможность общения, контакта, пустота смотрит в зеркало себя. Водоворот воронкой внутрь. Ломать кости, не дать срастаться, не дать ране заживать. Подлинность этой раны, этой воронки, глубина уединенности, отвращение к любому виду общения, разговор пустоты с пустотой. Не могу быть вторым, могу быть только первым. Первым могу быть только если я один, в абсолюте Одиночества. Один – един, единица, единственность Полюса, пронзенного осью Полярной звезды.

Тополиный пух на закате, путь к метро. Голая девка вешает белье в саду, золотоволосая, белокожая, на ярком солнце среди сочной зелени. Ушла, оставив влажное пятно у меня на простыне. Щемящая фантастика того сна. О моей прозе: что это у меня большое открытие, новое направление, никто сейчас так не пишет, и назвал какой-то литературный термин, какое-то иностранное слово. Знаешь ты, что это такое? Но я не знаю, впервые слышу это слово. Тогда он обстоятельно мне объяснил, но я ничего не запомнил. Нет нужного накала, без чего нельзя писать. Наверное, я очень ослабел. Отчего? От плохого питания? От возраста? Не рано ли? Всего-то 54. От пристрастия к крепкому чаю?

Ларисе снятся змеи, маленькая красная кобра. Думает о болезнях – вот и сны такие. 23 года нашей жизни вдвоем. Бегала на почту – платить за электричество, тот самый камышовый плащ с капюшоном, той первой встречи в незабвенном ноябре. Торопится уехать в город, благополучно ли с Лидией Андреевной. А дождь хлещет, хлещет, провожал ее к платформе, поезд ее увез. Вот – один, этот приступ тоски, непонятно, иду через лес. Написать бы такую книгу: как меняются чувства от долгой жизни вдвоем, о постепенном угасании и этой тоске. Такую книгу мне никогда не написать. Да и зачем? Написать книгу – это уже другое, это – жизнь одинокой души, это жизнь вдвоем возводить в одиночество себя, своего, этой тоски своей.

Гулял по дороге до разлива, влажно-теплый вечер после дождя, комары, эти мысли – как писать жизнь. Магическое преображение даром словесности. Психика играет в свои жестокие, страшные игры: причуды, капризы, дикие выходки, чудачества и безумства. Это сама природа играет, любя бессмыслицу, шутовство бубенцов абсурда. Зловещие намеки, мрачные предчувствия, предвестья жути. В каждом атоме этот огненный полет гения, сгорающий метеор духа, творчество и чудотворство. Новые и новые повторы этого божественного мига. Музыка и мистика. Все прочее литература. Давно уже об этом думаю, думаю, но ничего у меня не получается, дар не тот. А путь этот зачаровывает, сама мысль о нем воодушевляет и окрыляет до захлеба. Мечты, мечты. Но путь во всяком случае ясен, одинокий этот путь в пропастях и безднах.

Приподнял с земли вакханку с амфор, театральные сны цензора Красовского, математические – индуса Раманужана, магический танец Нижинского. Повествование в прошедшем времени, перспектива Дао, как на картинах древнекитайской живописи. Находишься одновременно и внутри пережитого и над ним, отстранен. Да и сам

процесс письма – уже такая мистическая перспектива: и внутри жизни, и высоко над ней, с птичьего полета, в космосе. Письмо отстраняет непосредственную жизнь в знак на бумаге, а знак этот – символ, он из космоса, и в то же время ты, пишущий, в своем письме, ты – письмо, пишущее перо, стило, стиль. В этом высший, мистический смысл письма: в том, что оно отстраняет непосредственную жизнь в знак и поднимает ее над нею самою на высоту знака-символа. Произведение искусства пишется пером беспредельного и безмерного. Такое произведение – только частичка неизмеримого. Религия письма.

Мне интересно только глубинное свечение, жемчужный свет в себе. Голая эстетика. Дождь, дождь ночной. Баня черная, закопченная; веники стонут, охают, крякают. Сижу один в сторонке, пригорюнясь, свесив на грудь вовсе еще и не старую голову, пот льется с меня ручьями. Хилый сфинкс на своей скале, задающий самому себе неразрешимые загадки. Июньский тополь трепещет в запотелом банном окне. Шел через парк, заросли высокой белой травы, бурьян вдоль канавы.

Стою у раскрытого окна на кухне. Плавное, завораживающее круженье тополиного пуха, солнечные лучи брызжут сквозь листву. Это чудесное утро и голубой воздух, и стрижи, и моя грусть. Лариса нарядилась, накрасилась, счастливая, убегает. У нее семинар маркетингов. Этот тополиный пух, это безрадостное лето моего крушения, цветущая персидская сирень, блеск листьев.

Бумага фиксирует твою мощь или немощь, на что ты способен. Словно бы есть некий высший знаток, определитель, оценщик. Но ты – глубоко уединенный голос, неуловимая уникальность звучания, тембр, нюанс. Где этому оценщик? Этот голос не говорит пустых слов, а только суть себя. Этот голос живет на необитаемом острове. Героический одиночка. Единственная ценность этого одинокого голоса – что он есть, сам по себе, и только.

Стрельна, лебедь, волны, амазонка на вороном жеребце, желтоволосая, в черном жакете. Дворец, клевер, липы, шелест лета, дорога, заросли гигантских лопухов выше ограды, кувшинки в канале, старые серебристые ивы, как те, 20 лет назад, когда увидел их тут впервые. Иду с Гераклитом в руке. Этот космос, один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов или людей… У Гераклита ни одного пустого слова. А литература – сколько пустословия… Обратно, трамвай, дождь брызжет в окно.

Жить замкнуто, нелюдимо, как паук в углу, одинокий мастер в глубоком уединении своего искусства, и ткать, ткать свою паутину на

бумаге, свои тонкие, высоко художественные кружева, свой путь до последнего вдоха. Художник должен жить один. Это мое железное убеждение. Гений – космическая мощь, дух божий. Люди не могут его воспринимать, как он есть, а только в меру своей обыкновенности. Если бы могли – была бы снята самозащита их ничтожности, сгорели бы в его огне, как Семела в блеске явившегося во всем своем всемогуществе Зевса. У Цветаевой: что же мне делать с этой чрезмерностью в мире мер. Приходит новая титаническая волна, эта волна несет собой свою форму, рожденную собственной мощью. Эта форма по плечу только титанам. Мы этого Пришельца не видим, не слышим, не осязаем, но чувствуем его присутствие и его действие. Это чувство ужаса: вот нечто, что нас мгновенно уничтожает.

Пресные попытки писать. Пред грозой в июле. Молнии ломались над садом, как дамасские сабли. Только титану под силу ломать эту сталь. Нарисованный молниями мгновенный автопортрет этой космической мощи. Пенье во весь голос, полет в полный размах крыла. Некто пишет книгу жизни каждого существа в мире, пишет судьбу. Но мы не понимаем язык этой книги, не способны разгадать эти знаки, не в силах прочитать ни одной фразы. Только гений может расшифровать эту тайнопись и прочитать книгу своей личной жизни, своей судьбы. Этот некто, назовем его, дух. Язык – потребность духа. Поэт – интуиция языка. Если бы могли видеть и читать нашу жизнь во всем ее объеме и полноте, мы не смогли бы жить. Но только это подлинная жизнь, и она неуловима, ускользает, улетучивается раньше, чем мы сделаем вдох. Эту книгу внутри нас стремительно пишет дух-скорописец, личный гений, чтобы потом передать в Божьи руки, на Страшный суд. Можно ли написать что-нибудь адекватное, на бумаге, хотя бы в намеке?

Скрещенные черные бретельки на бронзовой женской спине в жару в городе. Тоненькая девушка в короткой юбке в белый горошек, иссиня черные индианские волосы, гуляет с догом на поводке. Жара, облака, песчаная дорожка блестит кварцем. Медовый запах нагретого клевера. Палящий полдень, Лариса в пляжной соломенной шляпке, мои разглагольствования о Лао-цзы и Гераклите, трава, цветы, стрижи, барашки облаков. Купаться глазами в голубом небе. Активность мозга, энергия. Лучше смерть, чем усталость. Покой нам только снится. Сам видит, а не то, что видят другие и ему указывают, что они увидели. Самосознание – первый из первых, единственный. Един есть Бог, един Державин.

Я ставлю себе цели и задаю задачи невыполнимые. Может быть, надо проще. Это Дао китайских картин, третий глаз. Свобода

проявления затормозится сложностью. Несовместимость качеств: слабая психика и максимализм, жажда чрезмерности, за черту, за край. Опустошенность, бескрылость, равнодушие. Ничего не хочется, ни писать, ни любить, ни жить. Могу еще читать и гулять.

Июль, жасмин, Кармен. Тоска вечно влюбленных глаз. Умру – Бог передаст мои глаза другому, бегущему в мир, по эстафете, и так без конца, в беге этом, с влюбленными глазами – по горестной земле. Новая техника, на ступень выше, для космических полетов, сам себя сделать, из себя первоначального, дословесного, того, кто еще не боится, не знает, что в мире есть умение говорить и писать, новое слово – по Н. Федорову. Вековые березы шумят над домом, теневая листва трепещет, как плотва, на красной крыше.

Лунные кратеры, запредельность. Художник, глядя на формы, извлекает Форму и рисует именно Ее, а не множество и разнообразие. Вода играет, дитя, нимфа. Страх активности: что вот, надо смело и свободно себя проявить, действовать. Рабский страх, паралич духа. Страх и стандарт. Врожденная трусость, прятаться, тешить свой покой. Большая творческая одаренность может этот страх побеждать. Талант заставляет забыть о страхе, покинуть уютный покой, броситься с десятого этажа в уверенности, что не упадешь, а полетишь на неизвестно откуда взявшихся крыльях – передать привет Фету.

На лодке догреб до разлива, лежал на скамье, глядя в небо, грезя. Лодку раскачивает, камыши шуршат, небо высокое-высокое, облака эти, стрижи, век бы так лежал и смотрел, а лодку бы, крутя, несло течение неведомо куда… Крик с берега: мальчик и девочка, просят перевезти на тот берег.

Пишет спинной мозг. Я никогда не скучаю, я тень ищу. Летаю во сне. Поймали и собираются отрубить топором голову на плахе, как петуху. Палач в красном подошел. В последний момент вырвался, улетаю, лечу, выше, выше. Спасся. Лицо, на которое указывают и с которым сравнивают. Многие лица могут быть похожи на Наполеона. Чичиков похож на Наполеона и Герман из «Пиковой дамы». Но лицо Наполеона на высоте, на скале, эталон. На высоту его лицо поднял его гений. Остальные стоят внизу, толпой и равняются на своего кумира. Их культ. Я из понятливых, так можно определить мое маленькое достоинство. К первоначальному себе не вернуться, нужен хоть изгибчик, хоть намек на единственность, неповторимость, штучность. Те, кто отпечатаны по шаблону, миллиарды, всегда ведомые, всегда в плену у великих магнитов, магов. Тирания этих чар всесильна. Вот, кто властвует. Где глубина, на которой эта власть не действует?

Сознание своей самостоятельности и независимости от этой власти, от этих чар. Нужна свобода от любой власти, от любых влияний. Уверенность, что это так и есть, что это не самообман. Привычка к подчинению – гибель. Стертость лица, расплывчатость личности, разъедающий туман, сырость. Требуется постоянное усилие – стирать чужие случайные черты. Слабые попытки что-то из себя сделать на бумаге.

Гроза, проснулся, лежал, слушая раскаты грома и шелест дождя за окном, опять забылся. Приморский южный город ночью, гуляющая по набережной человеческая сволочь, грохот мерзостной музыки и летящий над городом Александр Грин, тощий, лошадиное лицо, пиджачок клубится. Грезящий часовой. Я поставлен сторожить отражения в мутном городском канале. Такова моя служба. Мне за это хорошо платят: отражением денег в зеркале, золотых монет и толстых пачек купюр. Не жалуюсь, на жизнь хватает. Шаткая логика, ошибки на каждом шагу. Рожденный лопнувшим пузырем. Где-то ведь я живу, но где? И живу ли я один? Или в семье, женат? Может быть, я когда-то и был женат. Не помню. Одно ясно: теперь я не могу жить бок о бок и нос к носу ни с одним человеком, ни мужчиной, ни женщиной. Никакой потребности общения у меня нет. Эта работа как раз по мне: сторожить отражения в мутном городском канале. Солнце – мой отец, луна – моя мать, звезды – мои сестры и братья. Женщина стоит в спальне, снимает лицо, как маску, под ним другое лицо, другой женщины, когда-то любимой; снимает и это лицо-маску, под ним еще другое лицо и т.д. Также меняется и вид комнаты, как декорация. Зенобия, царица Пальмиры, богиня Иштар – или жена безработного, безденежного режиссера. Полет фантазии: этой ракете нужно много горючего, жизней реальных существ, чтобы, сжигая их, лететь. Молитва на вокзале, убегающие змеи рельсов, дальше расплывчато, оттуда нет новостей.

Волна рождается в сердце мастера серфинга, она растет, растет, эта титаническая волна, ужасная, выше неба, и несет его на своем гребне куда-то неизвестно куда в мировом просторе, и нет места, где бы она остановилась…

Полдень, зной, блеск на реке млеет, голоса купальщиков, заброшенная турбаза, лопухи, серо-кирпичный дом, запах ванили у булочной, шелковое золотистое платье Ларисы, потемнело на спине от пота, соломенная шляпка, вьются ленточки.

Какая радость – проснуться с чувством здоровья, выспался, чудесная погода, ясное летнее утро, голубое небо, и птицы, птицы, стрижи и ласточки. Распахнешь окно в сад – волна свежего ветра,

тополь шумит и береза трепещет, листья зеркально блестят. Ах, хорошо! Я стою неодетый, в одних трусах, ветер так приятно овевает голое тело. Я один в доме, на даче, у меня впереди еще целый день праздности, удовольствий, бездельного, беззаботного, самого пустейшего времяпрепровождения, гулять, купаться, размышлять о возвышенном. А можно и бездумно бродить, куда моей душеньке захочется. Если бы вот еще на лодочке покататься, так ничего бы больше и не надо в жизни. Ничего, ничего не надо в жизни, когда в душе горит и поет этот лучик радости, лучик ничем не омраченного, чистого счастья. А на двор выйдешь – солнце! Лицом к нему, под горячие поцелуи! Крышка рукомойника горит серебром.

Чудесный голубой луч протянут от столба до столба через широкую площадку перед домом отдыха, горит и трепещет, колышется и поет над зарослями. Что за диво? Да это же строительная лента! Это строители оградили участок. Сколько чудес можно найти, гуляя по дороге. Это такой горе-фантазер: как царь Мидас, к чему не прикоснется взглядом или слухом – все тотчас превращается в фантастический образ, а то и в какую-нибудь чепуху, нелепость, бред, абсурд. Вся действительность при встрече с его зрением и слухом превращается в причуды его воображения. Так странно устроен его мозг, он обречен, дон Кихот, безумец, эксцентрик. Иногда он сознает свою ненормальность и мучается, что он не такой как все, сознает, что он неисправимый фантазер, могила только его исправит, что это вне его воли, что он во власти всемогущего демона фантазии и воображения. Сколько он не пытается бороться с этим демоном – все тщетно, он терпит поражение, он всегда побежден.

Гамсун, перечитываю его «Пана», вот уже третий раз. Его удивительная, уникальная интонация, она совершенно бесхитростна, глубоко лирична, сердечна, задушевна. Эта интонация своим обаянием покоряет все живое, как тростниковая свирель Пана. Казалось бы, простой, незатейливый мотив, а – невероятная сложность психики, бездны души. Это-то сочетание и уникально. Дождь закрапал, брызжет в форточку мне на страницу, стекло в капельках, и вот уже холод за окном гуляет. Низкое солнце на закате так странно золотит дождь, матово блестят под струями мокрые крыши. Радуга! Зову Ларису. Поднимается ко мне наверх, глядим в раскрытую форточку. Дуга из семи цветов. «Такую яркую я никогда не видела!» – восхищается Лариса. Я стою сзади и прижимаюсь к ее спине, обняв ее за талию, и волосы ее пахнут, а радуга меркнет, меркнет, вот уже расплылась, увяла, цвета ее, такие восхитительно яркие пять минут назад, поблекли, вот обломок остался от той

колоссальной арки, и тот тает… А в другом окне – гряды пылающих облаков, золотых и дымных, плывут на нас. Грандиозное зрелище! Ночь. Звездочки дрожат в прорехах туч. А на западе у горизонта такая чистая полоса и этот синий мистический свет от нее. В эту ночь придет август сменить июль и дохнет холодом на наше лето.

Просыпаясь, отворачиваю край занавески у моего изголовья и опять вижу солнечное утро, голубое небо, и сочные зеленые листья дикого винограда трепещут за окном веранды. И опять радость, чувство нового дня и новой жизни, и я предвкушаю огромный светлый день и великие дела, я уверен, что сегодня-то, наконец, откроется мне все то, что я так упорно ищу, к чему стремлюсь, откроется и воплотится в потрясающую книгу могучей, нечеловеческой красоты. Книга эта будет расти, расти весь день в глубине ярко-голубого неба, никому неведомая, незримая, к вечеру созреет и вдруг разразится грандиозной грозой. Книга эта, написанная молниями, падет с неба на землю. Та самая «Голубиная книга».

«Железные ночи» Гамсуна. Мистические страницы, из высших в мировой литературе. Ориентир только на такое. Это не воля, это жажда. Врожденная тяга, очиститься от всего постороннего, полный поворот, сосредоточиться в одну единственную точку одного единственного «желанного сна». Тот сон, та песня ангела, которую слышала душа до рождения, несомая сюда, на землю. Если уж что-то писать, то состояние души и письма должно быть только такое, только экстремальное, мистическое, когда слышишь голоса духов и шаги Бога. Если нет этого, лучше уж вообще не брать в руки пера, и не пытаться. Почему я не понимал этого раньше. Кое-что такое у меня написано. Это то состояние, когда во всем слышишь дыхание духа и тебя пронизывает мировой ток. И слова заряжены этим током, этим духом, и они – дух. Тогда все преображается как на горе Фавор. Тогда – пламенный бред, чад нестройных грез. И тогда – «посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут».

Провожал Ларису в город, она мне при прощании: «Какой замечательный день мы провели вместе!» Ее зеленые, светлые, улыбающиеся глаза, бусы из необработанного янтаря. Стоял на берегу Оредежа, этот огненный слиток дрожит в воде. Долго-долго так смотрю, зачарованный. Войти в роль себя другого, себя сверхзадачи, подвиг души. Для собственного сознания. Ценность существует только в сознании и для сознания. Самовнушение: сверну горы. Вера в себя, чую в себе такую силу, что могу перевернуть землю. Или: все делается бессознательно, само собой, по инстинкту, как бесследное. А

сознание – это сохранение следа, цель и ценность. И для этого вся жизнь? Нет, не для сознания, а для своей души. Душа больше сознания. Гигантская луна над горизонтом. Ночь холодная, небо темной, глубокой синевы.

Дождь шумит, и мне так приятно думать, что вот я сижу в тепле, под крышей, в уютном кресле, и дождь до меня не доберется, не замочит. Вот сижу я, беззаботный, книгу мою любимую читаю да поглядываю в окно, в мокрый сад и долго еще буду так сидеть да читать, и ничего мне больше не нужно. Я здесь один, ничьи глаза меня не видят, да и не нужен я никому, и это хорошо, это меня тоже радует, один, невидим и спокоен. Храню в себе ровный жар и желанный сон. Мои дни и ночи, колеса светлые и темные, катятся под гору, одно за другим, я их не считаю. Мне 54, подумать только: докатился колобок, целый и невредимый. Дождь кончился, опять солнце, сад смотрит на меня счастливыми, влажно блестящими глазами. Сад мой зеленый.

Магические зеркала искусства. Страницы Гамсуна хранят весь этот чад любви, пламенное безумие, эту боль, эти колдовские чары. Это жжет, это бессмертно. В том и смысл: сохранить, как драгоценные духи во флаконе. Книга сохраняет это драгоценное безумие. Иначе все бы пропало. Пропало, пропало. Выдохлась бы душа, угасли чувства и – пусто, бесследно, не вспомнить, не воскресить. Пустыня. Гамсун чародей. Благодарности моей нет границ. Время остановилось. Что называется – роковая любовь. Эта любовь – смерть. Позабавился как мог, написав. Развеялся, для собственного удовольствия, чтоб скоротать время. А на самом деле – растравить рану. «Потому что я могу жить только совсем один, в лесу».

Сохранить для души. Не для сознания, а для души. Мы все делаем для души. Все искусство – дело души, чтобы сохранить и хранить душу – в книгах, картинах, мелодиях. Каждое прочтение зажигает мою душу магическими лучами, и я потрясен, и мне так горько, и долго хожу под впечатлением этой истории любви. И опять, зачарованный, возвращаюсь к первой строчке: «Последние дни мне все думается, думается о незакатном дне северного лета».

Эти кризисы души, повышенная температура. Только при ударе молнии озаряются ее потемки, открывается занавес и является полная картина, во всех подробностях, светло как днем. Объем и масштаб души: у одного пожар на весь мир, у другого – спичечная вспышка, у третьего – блеск лужи под фонарем. «Возвышающее возбуждение» – так это назвал Эдгар По. У Камю в «Постороннем» – зной и убийство

араба. Безжалостно правдив сам с собой. Правдивость и пассивность. Безразличие. Два чудака – он и следователь.

Лариса теперь похожа на красивую зрелых лет японку: горбоносая, горделивая, тонкие аристократические черты лица, осанка, и прическа эта с яшмовым гребешком на темени, которую она стала делать в последнее время словно по наитию. Разные ее облики, та ночь в Новгороде. Вчера передача – о жизни насекомых. Все жрут всех. Жуткий мир рядом с нами. Лариса перестала стучать на машинке и смотрела в ужасе, раскрыв рот.

Мир тайных взглядов, когда видящий незрим (тайный соглядатай), мир видений, это, пожалуй, мир художественный. Это ценность мгновенно созданных и бесследно исчезающих произведений искусства. Блестящие на солнце сквозь листья вишни ноги женщины, загорающей на крыше, читает какую-то книгу, может быть, пошлейшую, бульварщину. Облака бегут, шум ветра. Может быть, я никогда не увижу лицо этой женщины и не узнаю ее имя, а мгновение это есть, вот оно – схвачено и записано, светится, дышит, перенесенное в тетрадь. Пока пишу – живу. Но как быстро утомляется взгляд, и уже скучно смотреть на одно и то же. Женщина и не подозревает, что на нее смотрят и какие она возбудила мысли и мечтания.

Шел с платформы, мама, голова в белом платке, туго обвязанном, ждала на дороге. Лицо потемнелое, жалуется на боли, это лето еле тянет. Купался в озере, нырял, светло-зеленая глубина, столбики; вода холодна, хороша, купался долго, с удовольствием, с радостью, ничуть не замерз. Чувства обострены, трепет тополя, холм зеленеет, чайка высоко в небе, электричка, грохоча, бежит у озера к платформе. Странный мир, бассейн вселенной. Кроме меня никто не купался. Мальчишки удили рыбу под водопадом, стоя по колено в воде. Этот шум водопада и мшисто-зеленые камни. Шел обратно по насыпи, как пьяный, тепло, высокие зонтики поблеклых, ржавых растений качались. Читал до половины первого «Постороннего» Камю. Вышел на двор, ночь теплая, звезды, волна прохлады за углом веранды, запах пряно-влажный, ясень шевелится и блестит в свете фонаря, где-то в переулке музыка. Думал: «Вот умру, а звезды будут гореть, и фонарь у дороги, и листья ясеня все также будут блестеть и шевелиться. Радуйся, что не в тюрьме, не ждешь казни – когда тебе отрубят голову».

Эдгар По, просился волонтером в Польшу, зачаровал «Вороном» гигантскую страну, вся Америка читала и декламировала эти строфы, загипнотизированная, под властью магии, и целый год не могла

отрезветь и избавиться от этого наваждения. Пути красоты и правды выстланы парадоксами. Бесстрашие быть самим собой, ни одна травинка не притворяется, не выдает себя за что-то другое. Летящий гусь не хочет отражаться в реке, река не хочет отражать гуся. Но театр, маскарад тут как тут – мимикрия. Игра-поединок, кто кого. Тепло, мглисто и влажно, склон холма, стою, прислонясь головой к стволу осины, смутный, неумолчный шелест листьев. В просветах стволов внизу бледно зеленеет поле. Также тут стоял весной в мае. Обиваю фанерой стену в маминой спальне. Маме плохо, магнитные бури всю неделю. Потемнело, дождь хлынул, бил по асфальту за окном. Я сидел на диване, слушая первую симфонию Брукнера. Буря музыки. Гром в себе, протест, похищение сокровищ, победа, отпечатать свое лицо в бронзе вечности. Очевидные вещи. Зачем я об этом пишу? Где-то тут рядом, невидимка, мой двойник лелеет брезжущую в мечтах, туманную повесть о времени и о себе.

Под утро начался дождь, слышал сквозь сон невнятный шелест. Мысли о тайном нездоровье, слабею. Под зонтом за водой через дорогу к колонке. Мокрые листья сирени. Я такой же «посторонний», такой же чужак, добровольный Робинзон. Камю написал в 27, в сороковом, и тут война, немцы, увез рукопись с фронта и два года таскал в чемодане, чудом уцелела. А ведь это шедевр, великая книга в сорок страничек. Мама за калиткой разговаривает с какой-то седой старухой. Мама маленькая, голова обвязана белым платком, по-деревенски, как у паломницы, как у нищенки, лицо озабоченное. Лариса вчера листала альбом с фотографиями и ее поразило мое лицо, где мне уже под пятьдесят, такая на моем лице безнадежность.

Угрюмая жизнь одиночки, отрешенность, безразличие. Не играю в их игру. На твой безумный мир ответ один – отказ. Без этого «возвышающего возбуждения» жить неинтересно. Духовный наркотик, морфий, постоянная потребность в новых и новых дозах. Опьянение «очарованными далями», страстная взволнованность, мистический жар. Эти мои купания, в такую погоду, при свирепом ветре, конец августа, холм, озеро. Неделя с мамой, одни в доме. Бес противоречия, та черта, глубоко врожденная сердцу, все опрокидывает и над всем жестоко смеется. Обыденная, невзрачная жизнь взрывается на каждом шагу. Жизнь бесцельная и бесчеловечная.

Купался, камни, вода зелено-голубая, столбы, пронзительный крик чайки. Две уже немолодых женщины мыли ноги, стоя на камнях у водопада. «Вы здесь будете выходить?» спросила меня одна из них. «Да» ответил я твердо. Она посторонилась, и я ступил на плоский

камень, как на ступеньку, поднялся на бетонную дамбу. На мостике остановился и смотрел на этих женщин, на их белые ступни, которые они, низко нагнувшись, мыли, как завороженный. Они заметили. Я сделал вид, что смотрю не на них, а на воду, бурлящую в водопаде. Шел обратно по насыпи у озера, опять словно пьяный, так на меня действует купанье. Трава качалась, пожухлые стебли, шелковистые метелки, озеро блестело, сильные порывы теплого ветра. У платформы высокие растения с пушистыми головами, лохмы хлопка. Мама сидит в тени на табурете в кухне, усталая, старая, бледное лицо, голова, обвязанная неизменным платком.

Все внушения, все наваждения, все эти чары и магия змеиного взгляда, и Нил, и древние города, и ацтеки, и Мексика, и пропавший без вести Амброз Бирс шлет мне фронтовую корреспонденцию столетней давности, и я не знаю, что делать с этими письменами, иронией и сарказмом этих записок Сатаны.

Лодка, знойный день, огнистый дождь блеска на реке, видение журавля, Лариса, ее восторг. Прыгнул с обрыва, вихрь пузырей. Набрали грибов, два белых, в папоротниках. Преображение Господне. «И возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить».

Форму омывает бесформенное и размывает изнутри, протекая подводно. Вспыхивают и гаснут звездочки зачаточных смыслов в беспорядочном потоке неочевидного и невероятного. Правду ощущений подстерегает банальность выражения. Украденное «маленькое ощущение» Сезанна.

Наши ночи с горящей свечой в той нетопленой каморке в ноябре. Первое прикосновение. Потрясение, грозовой разряд двух, перенасыщенных страстным электричеством, тел. Божится: воочию видела, как между нами проскочила молния. Удар тока и оба – в обмороке. Голые выходили во двор мочиться, она – в высоких сапогах до колен, тоненькая, точеная, бронзовая, еще не сошел южный загар, белели полоски на груди и бедрах. Тишина, туман, слышно, как снег тает, капли шуршат, скатываясь с деревьев.

Феофан Грек, альбом, солнце брызжет сквозь густую крону еще зеленого клена. Дома не сидится, стены давят, томлюсь, тоска, не нахожу места. Когда Лариса держала этого черненького щеночка, прижав его к щеке и склонив голову, у нее было такое трогательно-нежное, умиленное выражение лица. Быстро собрав сумку, убегаю. Дорога успокаивает, особенно поезд. Ржавость пожухлой травы и листьев, эти холодные отблески уходящего лета в августе. Рты

растений, серебристо-лиловый лишайник. Не надо ни говорить, ни думать, ни о чем. Все понятое мной храню в глубоком молчании, как в запечатанном сосуде. Слово за семью печатями молчит, набрав воды в рот. Тот, Хранитель печати, угрюмое начало, ключ от бездны, губы намертво сжаты, знающий о неодолимой тяге речей к безмолвию, только один раз в столетие позволяет разомкнуть пророческие уста. Богу богово и кесарю кесарево. Томительная длительность жаркого, праздного дня, опьянение солнцем. Стоял над обрывом; внизу, не видя меня, переодевалась после купания женщина, светловолосая, рослая, крепкотелая. Большая, молочно-кремовая грудь. Надела через голову красную рубашку и пошла босиком.

Нет, я не Байрон, я другой. Дао неясное и туманное. Книга Моруа. Помню я то лицо. Вся тяжесть работы ложится на плечи тонкого намека. Узоры небесные и шелест ночной, листья шепчутся, у них печаль, скоро им падать с тополей, облетать, облетать, тополя уже ржавые, жухлые и всю ночь шелестят их жалобы. Один, говорю с мирозданием, вон с той звездой, она нежная и так приветливо мне мигает. Лариса, ее рассказ, поездка в Гатчину к пожарному инспектору, напрасно, какие-то пересчеты нужны, документы, ее мытарства, зато видела двух журавлей в небе. Как они перекликались! Сидела в парке на скамейке, ела булочку, запивая кефиром. Говорит, что в юности любила гулять одна в парке осенью, на нее находило это глубокое меланхолическое настроение, до слез, до спазмов, горькое такое наслаждение одиночеством, осенью, увяданием. Так и мы с ней, теперь уж кажется, что давным-давно, гуляли в гатчинском парке, то ли в июле, то ли в августе, а, может, и в сентябре. Да ведь не один раз мы там были, молодые, веселые. Те поездки, те прогулки, вино, лодки.

В сумерках высокие заросли пожухлых растений с распушенными головами. Солнце только-только зашло, таинственно дрожит угасающий красно-золотистый свет. Шел, шатаясь, нес тяжелые сумки со сливами. Томление усталости, сердце замирает. У Грина в «Золотой цепи» «толстый глаз». Лариса читает книгу Моруа о Байроне. Байрон тоже был маленького роста. «Как и ты» говорит мне ласково. «Ах, ты, мой маленький!.. Но какие у вас характеры разные! У него характер властный, тиранический, ни с кем и ни с чем не считался, делал по-своему. А ты вот всего боишься, все оглядываешься – что скажут. Весь ты – страх и трепет».

Вышел на Мшинской, запах креозота, тележки, мешки, бегут на автобус. Конец лета, едва уловимый, неясный шелест, тишина, черный лесной ручей, засыпанный листьями. Робинзонада глубоко затаенного, внутреннего голоса. Пугливый, начинает звучать только в

полной тишине и одиночестве, когда уверен, что никто не услышит. Осмелься быть самим собой, то есть осиновым листом. Твой вестник – осиновый лист. Все человеческое вызывает отвращение. Печатаю по капле, книга накапливается.

Долго стоял на берегу, зачарованный. Люблю этот блеск, Оредеж здесь разливается, ветер теплый, колышется над водой хвоя старой сосны. На той стороне строят замок, рабочие ходят по крыше, стук молотков. День сентябрьский, тихий, солнце еще греет, еще летают бабочки, машут белыми платочками. Должен придти инспектор из санэпидемстанции, вот и жду его. Читаю Гамсуна «На заросших тропинках», дневник его стариковский. Какая прелесть! Опять та пронзительная, звенящая нота, как в первых его книгах, в молодости, этот дивный, задушевный лиризм и мягкий юмор, подшучивание над самим собой, обаяние и грация его души, описывает мелочи будничной жизни. Эта сила индивидуальности, естественность нежных и одновременно мужественных струн, этот чувствительный и мечтательный гений. Спал плохо, в девять встал, смотрю: Лариса открывает калитку. Ее розовая куртка, сумка через плечо. Кашляю, саднит горло, простуда моя разыгрывается. «Ты какой-то не такой» говорит. «Наверное, за эти два дня, что ты здесь, что-то случилось». И взглядывает на меня внимательно. Этот ее платок на голове и брови.

Кусты и трава летят в вечерних сумерках за окном электрички, уже пожухлые, уже в сентябре. На Витебском в ларьке купил хлеба. От метро через пустырь, тополя, влажно. Фонари в тумане, в дымных лучах. Горящие окна многоэтажного здания, в каждом блестит лампа. А на западе гаснет зеленая полоса. В квартире никого, радость одиночества. Орфей, Куперен, гавот. Полощу горло шалфеем. Горчичный пластырь на грудь. Спать.

Эта одинокая звенящая нота, она только в снах. Кто-то пишет потрясающие истории, из столетия в столетие, великие книги, доблестный ряд. В сберкассу за пенсией, потом в аптеку на Ветеранов, что-нибудь от простуды. Бодр, боек, ловлю на себе женские взгляды. Яркость, легкость, нежная голубизна сентября, желтые листья на асфальте. Живу еще, хожу, думаю ерунду всякую. Напишу, не напишу – все равно. Пятая симфония Брукнера, фанфарный обвал в конце. Трагедия во Флориде, акулы загрызли шестерых, катались на этих досках по волнам. Этот сёрфинг плохо для них кончился. Ничего удивительного: океан, голубоглазый атлант, пишет свою повесть, пишет и пишет страстную, неистовую, стремительную, как лавина, чудовищную, катастрофическую книгу – ураган, цунами, грохот гибнущего мира. Почему так гнусно устроено:

все жрут друг друга? Почему не питаться солнечным светом? Какой ужас – вид зубов, клыков, эти свирепые, рвущие, грызущие пасти! Этот мир создал Сатана.

Портрет волны. Титаническая волна затопит мир. Отказ от всего человеческого, отказ мыслить. Ни одной книги, голые стены. Меняет лица – от ангела-девочки до оскаленной морды медведицы. На вершину самой высокой, недоступной для людей горы. Полет ведьм и шабаш на Лысой горе. Но это же обычный притон! Ограбить банк, убить. Наваждение. Ужасается, что натворил. Отелло задушил Дездемону. Помню смутно, в четыре года, по радио, рыдал навзрыд, потрясение, по рассказу матери. Брукнер год писал свою пятую симфонию, а время ее звучания – час. Книга также: год писать, час – читать. Туман, залив, тишина, камни, чайки, вода мятая, мерцает. А как бы я, интересно, жил один? Бродил бы вот так весь день… Эти мглистые раздумья, одинокие гулянья, ресторан «Стрельна», остановка трамвая, ларьки, лотки, арбузы-тигры в клетках.

Томлюсь в стенах, ни строчки из себя не выдавить. Шипение пустоты. Писательская импотенция. Бегу из дома, как ошпаренный, на другой конец города, метро Елизаровская. Книжная ярмарка, толкаться в людских кучах, бульварщина, бессмыслица, цели нет передо мною, крика в себе, вопля смертного. Вагон, девки, дети, все куда-то едут, празднично одетые, суббота. Очередь на километр за билетами, прошел по удостоверению. Толпы, с этажа на этаж. Купил древний даосский трактат по алхимии. Продавец, живчик, ртуть, мечется вдоль прилавка: «Вот какая книга вам нужна!» Порывисто выхватил из ряда: «Даосская сексология, управление своей жизнедеятельностью». Кричит: «У меня и в тридцать не было столько энергии, как теперь, на шестом десятке. Работать, работать надо!» Весь как на иголках. День странный, мглистый, ветер этот, листья желтые крутятся. Лариса привезла грибов. В лесу хорошо, рада, светлая, посвежела.

Эрмитаж, Вермеер из Амстердама, женщина в голубом, читающая письмо. Эль Греко, два полотна из Рима. Собрание пастелей, Дега, Редон. Столп нерукотворный ремонтируется, в лесах. Лариса в черной шляпке, спрашивала: идет ли ей эта помада? Жалуется: оттого, что я все время занят литературой, она перестала чувствовать себя женщиной. Дочь Саргона, верховная жрица города Ур Энхедуанна. Сны об Эрмитаже, лунный день, Малая Конюшенная, Гоголь, ржавые деревца, тучи, серовато. В Доме книги купил сочинения наставника Догена. Душа одна и ясна, а жизнь – на ней мундир. Я сам в себе. Все остальное – Слово. Художник – это тот, кто видит не напрасно. Мечта

о ненаписанной книге. Тень Фрейда рядом. Хожу, или угрюмо глядя в землю, или восторженно – в небо. Никогда не хожу, глядя прямо перед собой, а если и хожу, то ничего не вижу. Не хочу видеть. Живу в грезах.

Окно электрички, исчерченное каплями. Вокзал, дождь, голуби, уныло, октябрь, асфальтовая дорога вдаль, ржавые холмы мокнут, шиферная крыша покрыта алым ковром кленовых листьев.

Два пути: путь вверх и путь вниз. Путь вверх – приказ: аз есмь. Путь вниз – отказ: от себя. Чистый гений – первоначальность духа. Врожденная гениальность – это дух. В начале – дух. Но ему, рожденному в мир, необходимо действовать в формах этого мира, чем он молниеносно и овладевает с присущей ему гениальностью, а затем создает форму самого себя, своего духа, своего гения. А вернее, находит, потому что форма его духа уже существует, только в не проявленном виде.

Речь живет сама по себе. Пока не говорю и не пишу, я не речь, я вне речи. Начну говорить или начну писать – становлюсь речью. Речь в меня вселяется, или во мне пробуждается. Откуда она берется и все эти ее слова? Я о них и не подозревал, пока не стал говорить или писать. Это какой-то свободный, самостоятельный дух речи и письма. Есть же в Ригведе гимн богине речи Вач. Слово священно, древнее ариев, древнее мира, ждет своего часа, в кого и когда вселиться.

Студенисто, последние ржавые лоскутки. В «Военной книге» купил томик Ремизова о сновидениях в русской литературе. В зеркале спускается по лестнице серая кепочка, коричневое пальто и зонтик. На Невском уже совсем темно. Канал, огни, метро. Спокойно, спокойно, малыш…

Мысленно древо, мысли-листья, один листок, сорванный вихрем, крутится, несется неизвестно куда. К Черному морю, в пустыню, к Лермонтову? Свой ум – тихий омут, чертик воду мутит, разглядывает в микроскоп личинку своеобразия, зародыш всего своего, своясей. «Орля» Мопассана. Мордой в грязь, в очередной раз. Голос соблазна, блеск чужих миров, искушение бездомностью, бездонностью, не дразни запоздалый уют. Стандарт и страх уже в генах, запрограммирован. Инстинкт самосохранения: слиться с серым фоном, остаться незамеченным, не высовываться, быть как все. Глоток свободы, голый, на сцене, перед всеми, мистер Икс, без маски. Осмелиться заявить о себе, горбатом и угловатом, быть самим собой с отвислой губой, а не шляться гурьбой по дороге столбовой. «Но Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его». «Опротивела душе моей жизнь моя»; предамся печали моей; буду

говорить в горести души моей». Черные в сумерках сосны-струнки и сквозь них густо-розовая и золотая заря, и огни шоссе, и над соснами и зарей мечется с громким криком воронья стая.

Приснилось: иду по струне электропровода над городом, высоко в небе, спокоен и угрюм. Из раскрытых окон высунулись жильцы, лица искажены злобой, кричат, изрыгают ругательства, проклятия. Но я абсолютно спокоен, не дрогнув, иду дальше. В комнате мглисто, тюлевые занавески, ненастный ноябрьский вечер, сырой снег летит. 29 соната Бетховена в исполнении Глена Гульда. Лариса сидит на диване, я стою у книжных полок.

Этот наш вечер, Садовая, толпы, ноябрь, идем с Ларисой на ярмарку в Апраксином дворе, через проем железных ворот. Лариса в своем желтом пальто впереди, я за ней, меня сзади толкают, кричат, злюсь. Женщина, шедшая за мной, споткнулась о порог и упала, лежит на асфальте, ее поднимают. Желтое пальто Ларисы уже далеко, бегу, догоняю. На углу азиаты в черных кожаных куртках, грубые голоса, тараторят на своем языке. Этот мрак, толпы, булыжник под ногами, торговые ряды, зеркала, вывески, тесно, давка. Спустились по крутым ступенькам в подвал, магазин игрушек за железной дверью. Сонная продавщица девушка, прыщавая, в кожаной короткой юбочке, нос нерусский, шумерский. Лариса долго с ней советовалась, что подарить годовалому ребенку, мальчику (Ванечке), и чтобы недорого, в пределах ста рублей. Наконец, выбрала игрушечный автомобиль из пластмассы, колеса красные, кузов зеленый.

Понедельник, гололед, слякоть, дождь. Отчаянье, все кончено. Электричка, бегущий лес, снег. Там полно снега. В доме холод, сырость. Идем к Оредежу, вода черная-черная, рябь, ветер, колышутся над водой еловые лапы. Уныло, мрачно. Пытались гулять по разжиженной дороге, какое там! Ноги промочили, вернулись домой, затопили печь. Перекусили. Стемнело. Обратно на платформу, ждем, мерзнем. Поезд не идет. Пришел через час, и потом до Ленинграда тащились три часа, застревая то тут, то там. В вагоне душно, стекла запотели, невмоготу, психовал. Лариса сердилась, ее зимнее зеленое пальто, черный берет, очки, читала Танидзаки. Я – книгу Торчинова о дзэн-буддизме. Самосущная единичность, каждый рождается и растет, и развивается только сам из себя, из семечка своей единоличности, своей уникальности, абсолютно независимо от всего внешнего. Чудеса в решете у Сеятеля таких семечек в колхозном поле. После Павловска поезд наконец-то помчался. Я стоял в тамбуре, окно разбито, продувало, мелькали бегущие огни, дробились и сверкали лучистыми желтыми звездами в сыром стекле.

Красное село, вокзал, сумерки, площадь, автобусы, ларьки, толпа с поезда, золотисто-зеленый свет зари за переплетом черных сучьев. Годовщина Ванечки, стол, спирт. Бежали на поезд, опоздали, дверь захлопнулась перед самым носом. Лариса не могла отдышаться, горло болит. Говорила, что я о ней не думаю, что нет к ней ласки, внимания, что мы, наверное, изжили друг друга. Опять о ребенке Лены, об этом бедном, слабоумном младенце, от которого Лена отказалась. Плачет: «Где то он сейчас, маленький, беспомощный. Медсестры разве будут за ним ухаживать. И куда таких потом? В инвалидный детдом? Надо было взять к себе. Не могу забыть; как представлю, что он там где-то лежит и плачет, беспомощный, брошенный, никому не нужный. Бедный человечек, не знающий ласки. Это чувство, женская жалость, – это такая бездна…». Я утешал, – чтобы не теряла голову, нельзя давать волю сердцу, замучает и т.д. Плакала всю дорогу. Электричка, пустой вагон, мы с ней одни, за окном летят огни в ноябрьском сыром мраке.

Сесть на своего конька-горбунка, только ведь надо его еще найти. Искать там, где другие не искали. Чистая самосущность. К Ларисе пришел сапожник, обсуждают починку обуви. Утро испорчено, писать невозможно. Неизлечимый идеализм, удар красоты в сердце. Готов отдать за нее жизнь, тут же, в этот миг, незамедлительно, безоглядно. Страстно жажду этого. Приснилось: идет в светлом плаще, неся в обеих руках тяжелые чемоданы, – к автобусной остановке. Всего-то сон, смутно. Проснулся, и нет ничего. Едва уловимое дуновение давней горести.

Язык магичен, одно целое с организмом и с миром, слит с нервами, с кровью, говорит кровь, только тогда речь – живая. Искусственный язык, знаковый, рацио, – это язык мертвый, машинный, машина. Всплески магической силы, «звуки небес», следы, отголоски. Смысл – связь, вязь. Божья вязь. Связь всего, то, что всех связывает в одну единую вязь. Противоположная сила – разорвать связь, нарушить вязь. Космос-хаос. Маг – могучий, мощь контакта с жизнью, мощь вязи-связи. Мандала – созерцание космоса, геометрическая красота орбит.

Гуляли в сумерках, Лариса в своей черной каракулевой шубе, несла нашу собачку Бетси, златошерстую, как ребеночка, завернув в пуховой платок, только мордочка торчит и две черные блестящие бусинки. Усадьба Шереметьевых за прудом, за березами, теперь художественная детская школа, окна горят.

Колебания пульса, сны, ореолы, требовать от себя каких-то чрезмерных усилий. Игра без правил, душа-пташка бьется в когтях

демона фантазии. Инстинкт спрятаться, быть незаметным, в тени, в раковине. А ты его вытащи за шкирку, на свет, пусть все видят эту тварь дрожащую. Чудное желание, звуки небес, пение сирен, берег очарованный. Я люблю все, чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет. Раскованный голос. Лариса наконец-то получила пенсию, веселая, принесла торт, празднуем. Корелли и Альбинони, хоралловые прелюдии Баха. Каждый день печатаю на машинке «Прогулки в лесу». Все свое оставил, и правильно, нужна пауза. По утрам делаю дыхательную гимнастику и упражнения с гантелями, минут сорок, до пота. Надо себя вытаскивать из депрессии. Дышал сыростью, высунув голову в форточку, стоя, босой, в трусах, на столе. Талый снег и черные стебли внизу. Темные дни всю неделю.

«Как некий серафим, он несколько занес к нам песен райских, чтоб возбудив бескрылое желанье в нас, чадах праха, снова улететь…». То есть – двоемирие: мир творческих чудотворств, фантастической гениальности, где все невозможное возможно и самое невероятное вероятно; и мир обыденный, житейский, земной, рассудочный, обывательский, утилитарный, по меркам и понятиям которого и судят и дают определения всему и вся, в том числе и тому, что никаким меркам и определениям не подлежит, неподсудно. Обитатели этих двух противоположных миров, антагонисты, взаимно отрицаются. Это антимиры.

Шел через парк, сосны в снегу, хвойные ресницы, заснеженные. Этот мой психоз, безумие, читал вслух, во все горло пушкинских «Бесов»: «Мутно небо, ночь мутна», с надрывом, с хрипом, плача и рыдая. Старик с собакой на дороге, удивленный, что я стою, задрав голову к верхушкам сосен: «Белочка там прыгает? Да?» А я прошел, не ответив, отвернувшись, злой, матерясь внутрь. Мерзость прозябания, мой протест, мой бунт. Лучше себя убить, чем эта мерзость. Шоссе, машины, грязь, слякоть, люди тошнотворны. Вот уже целый год этот ужас, вопль отчаянья. Решительный шаг в бесповоротное, безвозвратное одиночество. Почувствовал за спиной кого-то, остановился, пропустил. Тот, проходя, посмотрел с недоумением. Коричневое пальто, как на вешалке, драная шапка. Алхимик в своей келье, в затворничестве, колдовать над бурлящими колбами, сотворить эликсир бессмертного слова. «Поэзия – это язык в состоянии кризиса». Малларме. Вот язык и бурлит в колбе, оседлав пружину духа, ездок в незнаемое, закусил апокалипсические удила Пегаса.

Эрмитаж, «Золотые олени Евразии», из скифских курганов. На третьем этаже – Одилон Редон, «Женщина, спящая под деревом», этот

глубокий, магический синий. Миллионная, фонари, красные огоньки машин, мостовая мокро блестит, безлюдно. Глухой, декабрьский вечер. На Невском гирлянды, новогодние украшения. Лариса, ее психозы, щитовидная железа, преддиабетное. В метро давка, проголодались, горстка изюма. Маложизненные, загораться от чужой энергии, факир на час.

Проснулся, отдернул занавеску, рассветная мгла, костер вспыхнул у мусорной цистерны, взметнулось золотое пламя, дворник подбрасывал кипы бумаги, его темная фигура, а огонь бушевал в рассветной мгле, звонкое, веселое, золотое пламя в этой рассветной мгле. Ах, как прекрасно! Все стоял, все смотрел; а пламя пело чистым огнем, пока не погасло. С Ларисой в церковку, полумрак, икона Божьей Матери, трепещут язычки свечей. А за окном – зима, сумерки, проспект Стачек, огни, машины, трамвай. В поликлинику, взять анализы, смотрим: месяц! В черно-синем небе. Новорожденный, тоненький. Сопровождал нас, мелькая между домов.

Метель. В шестом часу разбудила собака. Опять задремал только перед рассветом. И этот странный сон: будто бы он пришел ко мне и высокомерно, безжалостно, с издевкой говорит, что начал читать мою новую прозу и бросил. «Сколько же ты страниц прочитал?» – спрашиваю робко, трепеща перед ним. Потом он начал рассказывать какой-то анекдот, а я имел глупость его прервать. Он молча встал, надменный, и пошел к двери. А я стал его умолять не уходить, унижался, готов был целовать его руки, просил, чтобы он побил меня хорошенько, сколько ему захочется, только б не уходил. Унижался отвратительно, гадко. Он в конце концов смягчился и согласился остаться. Сон говорит только правду, обнажая суть. Цветок не раскрылся, бутон сжат, лепестки тесно сомкнуты.

Еще неизвестно, кто кому дан. Мне дано сознание, или я дан сознанию? Может быть, я дан сознанию, этому демону, и оно мной владеет, я у него в пожизненном рабстве, все время, пока я наяву, каждый день. Этот демон показывает мне разные картины, весь мир в реальности и много-много каких-то вероятных и невероятных миров (миры иные). Сравнивает меня с другими, мне подобными и говорит мне, что я проигрываю, что я совсем не то. Вот те – то, те – герои! А ты? Если уж быть тут, в мире себе подобных, говорит демон сознания, то единственный смысл – быть первым и высшим среди подобных. Ну хотя бы – сам с усам. Этот демон искушает меня желанием исключительности и, втайне смеясь надо мной, несет-несет меня к яме, куда я и сковырнусь скоро, чем и прекратится это

издевательство. Туда, непременно и неотвратимо, где все равны, и герои и трусы. События личной жизни банальны, но демон сознания даже вокруг ничтожного события зажигает ореол грандиозной значительности. Вокруг пустякового происшествия светится ослепительная изумрудная аура мировой важности. Статья Гамсуна «О бессознательном», трепет крыльев и шепот крови, перелистал перед сном. Лариса, какое у нее было лицо! Мрачное, ледяное. Ужасно. Что это, отвращение? Жертва? Не знаю. Лечу в пустоту все эти годы, больше двадцати лет, чей-то спутник, теряя перышки самосознания, и мне все легче и легче.

Высшее, что сделал человек – это песни. Это всплеск души, крик сердца, это сама жизнь, ее крылья. Песня – от избытка, горя или радости. У Гоголя о песнях. Писать только, когда поется. У каждого своя песня. Снилось: искал автобус, служебный, куда-то ехать, во дворах, а автобус стоит на улице, все уже в сборе и едва не уехали без меня. Лариса ругала, мои оправдания. «В черных сучьях дерев обнаженных желтый, зимний закат за окном». Взял третий том Блока, отыскал это стихотворение в его «Страшном мире», помню наизусть. Жорж де Латур, свеча, череп, Магдалина. Долго не мог заснуть, не согреться. Да, все это ушло. На лыжах, сосны в метели, снег чистый, пушистый. У платформы Ульянка купил елку за сто сорок рублей и нес два километра до дома. Ванечке второй год, ходит уже. Светлые волосы, глаза голубые. Вот я такой же был.

Еще три дня – и по новому кругу. Все, что я делаю и чем живу, никому не нужно. Я делаю это и живу этим абсолютно один, внутри себя, только как мое личное дело, и дело это решительно никого не касается. Мое дело никому и непонятно и ненужно. Между мной и ними – непреодолимая пропасть. Я один и кругом непонимание. Есть ли у меня толика таланта, какая-то искорка, нет ли ее – не имеет значения. Нечего об этом и думать. Раз я устремлен по этому пути и следую по нему, потому что этот путь меня влечет – этим все исчерпывается. Это мое естество. Капаю и капаю в какую-то заветную точку, точу свой камень. Ни для чего. Только потому что капля такая уж сосредоточенная. Книга моя равна всем ненужным никому книгам. Ее жизнь – только пока я жил ею.

Мутно, вечер, в Апраксин двор, новогодние подарки. Толпа, толчея, брусчатка, снежная каша, ряды с тряпьем, торговцы, тележки. Лариса выбрала три фотоальбома и три соломенных плетенки в виде сердца. На Сенной мандарины. Давка ужасная, ждал за дверью, толпа валила туда и обратно. Психопатия.

Этот элемент единоличности, себя, своего, надо найти, чтобы он был помещен в таблицу Менделеева, как новооткрытый психический элемент. Смотри в неизвестное, смотри, смотри; возможен прорыв. Но твои глаза в бельмах шаблона, слепота и панцирь. Необходима операция. Или поворот глаза, сдвиг с мертвой точки, гибельный, обратная сторона Луны. Гений глаза рисует, летая. Жизнь внутри сильнее жизни вовне. Вся жизнь извне переходит в жизнь внутри. Слово вовнутрь – горит, кричит, летит, звенит, гибнет и возрождается в каждый миг и вне времени, крылатый огонь, дух божий. Так в стране сна. Вне времен и вне пространств. Во весь голос – свободный, раскованный, бесстрашный. Посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать мировой рекорд в литературе. А что это? Психея играет на флейте? Злой дух? Нюанс, тембр, обертон. Не искази ни звука, не предай своего голоса. Вернуться к истоку, где-то там во мраке времен едва слышно лепечет родничок, о чем-то своем: это я, действительно я, только я, каков я есть и никто другой. А вокруг чары чужого.

В универсам, оттепель, лужи, лед; сукастые, черные тополя. Ждал Ларису на улице, ходил туда-сюда, этот сумрак, муть, однообразие городских домов, люди, машины, огни. И от всего веет каким-то таинственным духом. Ходил и читал сам себе наизусть «Слово о полку Игореве».

Жизнь скучна и однообразна. Несвобода на генном уровне, эта неспособность быть свободным уже в зачатии, в семени. Всё. И нечего без конца себя мучить этой мыслью. Вечером в другой конец города, метро «Пионерская», трамвай 55, улица Орбели, извилистая, мрак, огни окон, черные деревья в сквере, клочки талого снега. Моего «Рака на блюде» введут в интернет. Шел обратно и, конечно, перепутал направление трамвая, попал на площадь Мужества, а метро там давным-давно не работает. На автобусе до Лесного проспекта, купил лимон за пятерку.

Гипоталамус – центр психической энергии и полового влечения. Скука – это неснятое напряжение. Капля долбит и долбит год за годом, миллионы лет, делая свою самую обыкновенную, занудную, скучную, механическую работу, подтачивая устои мира, на арене которого разыгрывается история великой цивилизации, великой культуры, великих гениев. И в один прекрасный момент – трах! Мир этот рушится, в прах, в пепел, в пустоту, в ничто, бесследно, как никогда и не бывало. Побеждает простейшее, примитивное, тупое, слепое. Долбит и долбит, железные часы, глагол времен, металла звон. Бе бо любя словеса книжныя.

Просыпаюсь, тьма, карканье ворон на рассвете. Смутно блестит стекло книжных полок. Отдернув штору и высунув голову в форточку, смотрю. Мутно, метель. 2 февраля, мне 55. Вот уж год я живу безрадостно, как и не живу, в тумане, тупо и бессмысленно. Написать книгу «Начала и концы». Первые и последние фразы великих произведений мировой литературы.

Теперь рассветает рано. Снег выпал, легче стало. Три часа за машинкой. Гулял в парке, метель. Наизусть «Зеркало» Пастернака, «Как растет тревога к ночи» Блока. Вечер, синяя заря, деревья качаются, черные хлопья ворон с криком мечутся в темнеющем небе. Цели экстремистские, реализация себя, своей единичности. Ты один такой в мире, до тебя такого никогда не было, после тебя такого уже никогда не будет. Или ты реализуешь свою единичность, или нет. Если в тебе есть эта сила реализации, задана врожденно, изначально, то она свое дело сделает, не беспокойся. Экстремальные состояния: шепот крови и трепет крыльев, ловля эфемерных мотыльков сетью отблесков, вязь несвязуемого, «только ветру связать», мировой узор чудотворств. Смертники, напор, накал, «в жестоцем харалузе скована, а в буести закалена». Фантастическая логика сна. Кто он, безвестный творец сновидений, безымянный гений, автор неведомых шедевров, отсылающий Фрейда толковать прорицания пифий?

Все творцы – это один Творец, одна Психея, история искусства – история ее изменений. Этот сюжет Готорна, его Уикфилд. Книга говорит сама за себя, ей не нужно имя автора, она предпочитает анонимность. Знаешь только то, что знаешь наизусть. Знахарь: знает слово. Мистический жар, взлом вселенной. Хрупкая, мимозная психика, мужчина и женщина, двусмысленность в каждом слове, в интонации, в жесте, в мимике, пустяки, страхи, ссоры, мучительность эта, этот летучий, эфемерный материал. Это уже третья история. И тебе все мало?

Страх перемен, необычных форм. Красная скала в Австралии – дверь из земного мира в мир духов. Март, Мойка, талый снег, капли, голубое небо, ветер. Моцарт в капелле. Собрание писателей в музее Пушкина, закон о защите русского языка. Чугунный Пушкин, цветы у ног. Булыжник брусчатки. На Миллионной, во дворе, на скамейке у дверей какого-то учреждения, ел взятую с собой жареную картошку, доставая ее ложкой из банки. Идущие мимо служащие смотрели на меня с удивлением. Я хорошо одетый, в этом своем темно-зеленом, длинном пальто с кушаком. День весенний, чистое, звонкое, голубое небо, вода брызжет из водосточной трубы.

Гуляли в парке, Лариса в желтой лисьей шубке, черный берет, несла в сумочке нашу собачку Бетси, сумка на ремне через плечо. Выпустила на землю, и та бежала около ее ноги, как приклеенная, глядя на нее неотрывно, золотистая шерстка длинными прядями раздувалась. Гуляющие на дороге, останавливаясь, восхищались нашей собачкой, все без исключения, старики и дети. А день такой чудесный, весенний, солнце, тепло, синички пиликают.

Дух игры. В своей игре, как рыба в воде. Стихия игры – радостная, азартная, страстная. Играющая волна новой весны, новой жизни. В книге новая волна жизни всплеснула и осталась в ней жить, петь и шуметь навсегда, бессмертно. А ты, бегущий по волнам, уже спешишь догнать другую новорожденную волну. Ежесекундно расширяющиеся горизонты игры открывают врата новых чудес и влекут за собой все дальше, вперед и вперед… Неисчерпаемость открытий чудных. Яркий ответ на тайный сигнал. Демон новизны, не может себя повторять, горячка, лихорадка, гонит вперед и вперед, без передышки, ему нужны исключительно только открытия. Котел открытий кипит, брызжет через край. Постоянно в этом накале, без конца. Лучше смерть, чем усталость. Бездны и изгибы.

Безвестный движется бездумно и бессловесно к своей окончательной безвестности. И тут к нему приходит известие, что у него есть известность: это как присвоение ордена. Не знает, кто он такой, никакой. Зеркала убраны, не может себя увидеть, лишен образа себя. Нет соглядатая и надсмотрщика, ничьих глаз со стороны. Рабское, робкое, кнут, хлыст, ранжир. А все же свободен, в нуле, в ничтожестве, в заурядности. Похож на глупого и низкого. Любой образ себя – ложный образ, плен самосознания, мираж мирских пустынь. Серенький, плоский камешек, и на нем написано: обыкновенность. Все трещинки соберутся в одну колоссальную трещину. Где-то есть Голос, сильнее всех голосов, только он говорит правду о себе и мире. Только он говорит во всю свою мощь. Но мир его не слышит. Психея письма, сверчок знает свой шесток, орел – свои горы. Орлу и деве нет закона. Мгновенная связь неведомого с невиданным в лесу глухом, перекличка черта с младенцем, зонтика со швейной машинкой на операционном столе хирурга.

Книга-флакон, эликсир бессмертия – душа книги. А душа бессловесна. Слова – мимика души, жест, выражение глаз. Суть убегает глубже и глубже от заступа языковеда-кладоискателя. Основа обновляет змеиную кожу, снова и снова, новенькая перестройка: весь мир разрушим до основанья, а затем мы наш, мы

новый мир построим… Прорыв, взрыв, езда в незнаемое. Семя мирового обновления. Мировой расцвет. Слышать ось, рисующую, поющую.

Жюль Ромэн «Люсьен», этот зыбкий, неуловимый, многообразный мир странных психических состояний. Летучее спокойствие, искра, вспыхнув в первой фразе, бежит, блестит, горит, звенит, до конца, до последней точки. Искра жжет. Почему же я сам не пишу такими же красиво сложными путями мысли? Сон: будто бы я пишу легко, крылато, как никогда не писал, как будто в меня вселился некий дух и вот он чудотворит. Как грандиозны и грациозны, дерзки и причудливы его полеты! Какая магия! Словно Бог дал мне на минутку почувствовать, что такое гениальность. Ювелир равен алмазу. Но и жизнь не имеет значения, в конце-то концов. Значение имеет только свобода от всех значений. А только вот бьет божий ток во всем, через всё. Знаки, складываясь в слова, фразы, книги дарят нам сказочные богатства и фантастические миры. Чтобы путешествовать по просторам Вселенной, не надо выходить из дома.

Двоевластие: обобщение и общение. Ловцы космических сигналов, шепот атомов с края Вселенной. Апрель, сырой снег, разноцветная стайка детей в заснеженном детском саду среди деревьев – алые, желтые, синие курточки. «Смотри, смотри!» – Лариса у окна на кухне. «Как красиво! Как у Брейгеля!».

Восьмой день болезни. Эта проза призвана не раскрывать карты, она ведет речь о чем-то с виду несущественном, но нельзя не догадаться, что за этим стоит тайна, некий блистающий дух, но его не определить, он всегда ускользает. Собрать сокровенные лучи в книгу. Эта японская проза, волнение, жизнь нервов, ток свежего воздуха. Веру в себя еще не потерял, писать еще буду, иначе, не так, как прежде. Тоска по большой работе. За эти два года резко изменился угол зрения. Теперь смотрю на себя судным днем Ярого Ока. Какой-то кудесник мгновенно связывает разные нити, беря их отовсюду, из воображаемых, невероятных миров, ткет из них волшебный ковер; это огненное дело непостижимо для оценщика в сумраке качеств с ярлыком «многозначность». Эта вещая мощь древних заговоров, рокот темных струн, к чему не прикоснется – раскрывается, чудотворство, Лигейя, грозный узор. Алгеброй поверить гармонию. Анализ, отражая в своем зеркале магию и музыку, принимает сторону чуждой себе стихии, проникается ею, сам становится магией и музыкой. Тот, кто живет интеллектом: мир чувств становится подлинно ценным только тогда, когда предстает отраженным в зеркале анализа, осознанным чертежом. Многослойная местность в

грозе, в переплетении молний мгновенно меняет вид – анализу с его переносным зеркалом за этой огненнокрылой жар-птицей не поспеть. Прекрасная ясность прозы не здесь. Уровень понимания – заветная высота, дальше нельзя, Тютчев свергает дерзкую мысль с вершин совершенства.

Учитель и ученик. Я его понял, теперь он виден мне весь, в целом, каков он есть. Наваждение кончилось, он перестал меня ослеплять. Я сам эгоцентрист. Его роль в конце концов оказывается только – катализатор, активизация. Сфокусировать себя, серная кислота (вытравить в себе ненужное) и т.д. Повысить умение и понимание ради своего личного дела, для себя самого. Профессионализм эгоистичен. Сублимация, возгонка. У Гофмансталя, кажется: жизнь – виноград, искусство – вино. Вот я прочитал Жюля Ромэна. Такой памяти и силы воспоминания не бывает в реальности: чтобы через много лет вспомнить подробно течение своей психической жизни, все нюансы, все струнки, тонкости, изгибы мысли, колебания настроений, и так стройно, и реакции, и подробности внешнего мира, и сложнейший психоанализ. Никогда такого не бывает в реальности. Это реальность, повышенная и насыщенная искусством до чрезвычайности и чрезмерности, на много порядков, то есть – реальность психической жизни. И тем не менее звучит как правдоподобное, а не фантастическое.

Сознание больше, чем я сам. Сознание первично. Сознание идет против самого себя, как трус идет против самого себя, чтобы проявить в себе героя; как человек заурядный идет против своей заурядности, чтобы проявилась его неординарность; как неодаренный идет против своей неодаренности, чтобы пробудилась его спящая одаренность. Сознанию нужно себя повысить, повысить свое качество, поднять статус.

К маме, привезти лекарство. Погулять по холмам, увидеть подснежники, новой весной, еще раз в жизни, полюбоваться, порадоваться. Влечет в лес, к птицам, к цветам. Словно моя душа корнями опущена в природу, как в огромную банку с водой, этим она питается и живет. Все это как-то невзросло, по-детски. Даос. Мужчина и женщина, мимозная психика, мучают друг друга, опять, опять. Смутный поток в мозгу, то, что невозможно перевести в слово. Нет такой энергии слова – фиксировать весь поток, а то, может быть, открылось бы много интересного, странного. У сознания свои радости. Во сне сознание снимает с себя ценность, оно спит и видит вольные сны. Сны свободные от него самого.

Природа молчит и таится, она всегда ускользает от нас. Мы никогда не узнаем, что это такое. Но человек зовет природу, взывает к ней, называет по имени, призывает. Как называет, – так она и отзывается. Природа – эхо, откликается тем голосом и тем именем, сущностью того, кто ее зовет. Поэту, лирику – отзывается матерью сырой землей. Физику, математику – числом, формулой. И т.д. Пушкинское: «тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт». То есть поэт – это сама природа, та же непостижимая сущность. Для поэта природа – мать. И только поэт – подлинный сын природы. Лао-цзы природа откликнулась как Дао. Пастернаку – «Сестрой моей жизнью».

Психея слита со словом, слово – с природой. Тут корень поэзии. Природа поет голосом поэта, магическим, певческим словом Орфея. «Пожелтелый белый свет с тобой белей белил». Готовность Психеи к динамике резких смен, к беспрерывной череде революций восприятия, к безостановочным переворотам, к постоянному пребыванию в активной фазе, в экстремальном состоянии. Психея – чародейка, бабочка, волшебный сон, Чжуан-цзы, мировая ось. «Души не взорвать, как селитрой залежь, не вырыть, как заступом клад». Структура языка перестраивается по природе той Психеи, которая на нее воздействует, под могучим ее влиянием. «Она с алфавитом в борьбе, горит румянцем на тебе». Читая книгу, читаешь эту Психею. «Обнаженное сердце» Эдгара По. Правда себя – слишком революционный дух, то, от чего потрясется земля. Мировая душа, Солярис, все мы – вспышки и всплески этой единой мировой Психеи. Или ты живешь свою минутку всей этой мировой Психеей, или только собой минутным. Окрыление сознания. У Тютчева: «Неколебимый строй во всем, согласье полное в природе, лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею сознаем… И отчего же в общем хоре, душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник?» Душа революционера (и в искусстве) – «мы старый мир разрушим», чудо новаторов– повернуть реки вспять, остановить солнце и т.д. Подрубить корень мирового древа.

Копаю огород; пишу, сидя на перевернутом ведре. Попашет, попишет. Колышется золотая крона цветущего клена.

Приказ: «К столу! Пиши!» Душа фокусирует свои лучи в книге, как в линзе, в одну жгучую точку. Книга – подвиг души, ее героизм, ее высший всплеск. Единство в многообразии. Куст черемухи в ветре, в игре солнца и тьмы, свежий шелест. Сила воображения: Флобер, отравленный мышьяком мадам Бовари. Так пишут подлинные художники. Влюблен в огненную душу вулканов. Братец огонь Франциска Ассизского, стигматы сострадания. Лечу, куда хочу.

Разлад, трещина души, «и горько жалуюсь, и горько слезы лью». Это троезвучие. «Откуда, как разлад возник?» Страстный порыв неопределенных желаний, Врубель. Носитель ритма, всесилен, как стихия, всегда закованный в броню. Рыцарь, аскет. Гипноз слов, энергия и изощренность этой чудовищной словесности. Но это мне теперь чуждо, а, может быть, и всегда было чуждо, да я не понимал, был ослеплен. Вот все это и прошло, эта магия, этот плен, и я свободен. Освободился от наваждения этого демона. Накопление и освобождение энергии, страсти разряды. Накопление личной свободы и ее разряд. В космическом масштабе – катастрофы, гибель миров. Не пишется, не тот накал, не та температура в котле, там должна кипеть вулканическая плазма.

Помню, в начале мая шел по проспекту Народного ополчения, предвкушая: вот опять пахнет благоуханием черемуха, ее цветущая ветвь у стены дома. И – какой удар: вместо этого – резкий запах масляной краски. Помнится то сильнейшее наркотическое возбуждение, которое производил на меня чай, долгое время, и прошлым летом. Тогда я еще подумал: вот, в этом состоянии духовного возбуждения мне абсолютно никого не надо, я бы вполне мог жить один, совсем один, только бы не покидала бы меня эта экстатичность. Так жить – что же лучше! Я счастлив, вполне, вполне, и ничего мне больше не нужно. У меня крылья, я лечу… «и волен, силен был бы я, как вихрь, взрывающий поля…». Теперь уж ничего подобного нет, так, отблески, вот как сегодня утром: вдруг этот толчок писать, чего давно уже не было.

Сегодня солнце, вишня цветет у нас в переулке. Смотрю: стрижи! Спасибо, спасибо, мои милые! Прилетели! Радость моя! Вот, дожил до новой весны и вас, моих любимых, еще раз увидел.

На платформе, в черном платье, разрез до бедра, каблуки-шпильки, ждет поезда на Петербург. За ней нежно-зеленое майское поле. Заметила мой взгляд, нервничает, поворачивается то лицом, то боком. Бьющаяся у виска прядь русых волос. Уже давно позабытое волнение, эта страшная тоска и безнадежность. Мне 55, но издали я, коротко постриженный, в тени, может быть, кажусь значительно моложе, сорокалетним. Подошел мой поезд на Гатчину, вхожу в вагон, пытаюсь последний раз увидеть ее в окне. Нет, не видно. Поезд уже мчится. Вот и все событие. То же – вчера, в метро, та, выше ростом, резкие морщины у носа, но молодая, шея лебединая, улыбалась.

Утро. Мама. Нежно-зеленый холм в завесе дождя. Ваня мычит, поет за дверью, говорить еще не умеет. Ох, уж это говорение. Если бы можно было вспомнить тот бессловесный, дословесный возраст, те

ощущения, ту жизнь вне слов, чистую, без мутных завес речи, этой льющейся и льющейся без конца человеческой речи.

Наша Битюнечка ощенилась, два слепых комочка. Тогда, зимой, в феврале, когда Битюню принесли к нам, она забилась в угол дивана и тряслась безудержной лихорадочной дрожью, словно ее током било. Трое суток мы с Ларисой поочередно баюкали ее у себя на груди, пытаясь согреть и успокоить. Я сам не ожидал от себя такого наплыва нежности, что способен, жертвуя сном и серьезными делами, нянчиться с собачонкой, точно с ребенком. Как было не полюбить это трогательное, дрожащее, беззащитное существо. У Ларисы слезы в глазах стояли. «Может быть, мы оттого так любим Битюню, что у нас с тобой нет детей?»

Новые чувства кует искусство. Некогда рассуждать, надо извергаться вулканом страстей. Человек не знает и десятой доли того, что знает душа его. Преступая правила и приличия общепринятого письма… Щенки малюсенькие, черненькие, меньше мышонка, ползают в корыте, оттуда им пока никак не выбраться, карабкаются на край, скулят. У них уже глазки прорезались и усики торчат. Битюнька, их мамашка, прыгает к ним в корыто, и они тут же лезут к ней – сосать, присасываются, чмокают, дергая лапками, пиявки.

То, что знаю наизусть, становится прозрачным. Стихи, конечно. А проза? Та проза, которую читаю, словно слушаю музыку. Гоголь, Пушкин, Гаршин, Эдгар По, Гамсун, Кавабата, Нерваль. Опять и опять слушать, вдыхать. Такая проза усваивается интимно, преображенная душой, вне слов, пересказать никому невозможно. Перевоплощение психики, демонизм. Время раскидывать камни и время собирать камни. Страсть к устройству равна страсти к раздраю. Мистические интуиции. Болящий дух врачует песнопенье, гармонии таинственная власть… Эти, рожденные в сердце неизвестной звезды, пишут при повышенной температуре, равной температуре солнечных вспышек, в тифозном жару головы Вселенной. Богатыри не мы. «Жюльетта!» кричит Мирбо, таща крест на свою Голгофу. Литература – гигантский сад пыток, аллеи и дорожки, большие и маленькие, с именами мучеников слова.

Купался перед грозой. Дождь грохотал, ломался, блестел струями, ливень, солнце глядело из туч на это зрелище вместе со мной. Ураганный ветер, но тепло, облака мчатся, деревья гнутся, шумят. Дошел до разлива, трава бурлит, бушует зелеными волнами. Глаз солнца на закате, радужно-лучистый, мистический. Перечитываю «Исповедь» Августина. Многословно, эти речи с

Богом, страницами, скука. То, что о себе, как «грешил» – искорки интереса, честно, резко, сильно.

Дух оригинальности – на клеточном уровне, искривление клетки. Разве это можно сделать усилием воли – вола с плугом, портящего борозду? Небесный верблюжонок бежит по лазурной пустыне, за ним другой. Елена Гуро, Фет.

Слова мешают. Литературность, всосанная с молоком матери, вкорененная в нейроны мозга. Слова лгут. «Мысль изреченная есть ложь». Но искра проскакивает – от сердца к сердцу, из глаз в глаза, голосом, жестом, мимикой. «Тогда, взглянув друг другу в очи, сказали мы». Или когда: «Ни звука. И нет соглядатаев». Только ведь я и сам себе соглядатай, и тут – оглядка. Сердце прячется, истина сердца ускользает от сетей слова, даже самых мелкоячейчатых. Тут одно: попытаться написать о себе честно, раскрыться как перед Богом. Преодолеть трусость и стыд. Открытие себя для самого себя. Попытка доказать себе: что способен сказать о себе правду, не побояться раскрыться. Или и это иллюзия? «Маска, дай мне чутко слушать сердце темное твое». Сердце темное твое видит насквозь Бог Саваоф. От рентгеновских лучей его взгляда тебе не скрыться. Утешься этим привычным поэтизмом. Страсть к умствованию неотделима от страсти говорения.

Дождь весь день. К вечеру прояснилось, к разливу, дорога в лужах, заходящее солнце между сосен. Не бил барабан перед смутным полком, Гулливер играет в карты, я мечтою ловил уходящие тени. Сон под утро: ждем поезда, зимняя ночь, вот, слышим, идет он, поезд, гремит вдали. Впереди мчатся собаки, стая черных собак проносится мимо нас и вдоль вокзальной стены, по тускло освещенному снегу, и мне кажется: это рельсы бегут, загибаясь. А это – собаки, черные обезумевшие собаки.

Изгородь в розах и березы на заднем плане, за сараем, июньские, блестят, трепещут под бегущими облаками. Успел до грозы, потемнело, две капли на лоб. Гроза, корыто с водой посреди клевера, шум электрички и дождя по железной крыше. Жасмин расцветает у калитки. Жасмин, Кармен.

Снилось: у лифта толпа, мне туда не попасть. Поднимаюсь по лестнице, передо мной какая-то старуха и с ней дети, загородили дорогу. С трудом протискиваюсь, бегу, мчусь. Лестница все круче, ступеньки все уже, дальше – никак, едва карабкаюсь. Смотрю: номера квартир не те, большие числа, трехзначные, а мне надо номер 6. Спускаюсь обратно, ниже, ниже, лестнице нет конца, номера на спуске не уменьшаются, а все увеличиваются, никакого лифта нет,

голые стены, и лестница – круто вниз, с едва выступающими ступеньками, как ребра.

Эрмитаж, кураж. Шопен перед сном и ласки. Царица утра и Сулейман, повелитель духов. Черных имен духоты не исчерпать. Таких затиший тишина, такая тишина затиший. Спать, спать, спать и видеть идущие поезда… Ларисе хочется апельсина – чтобы сочный, и вина какого-нибудь хорошего, лучше – сухого. В следующий раз без вина и апельсина не пустит в спальню. «И не суйся» – говорит. Это китайцы пишут жизнь духа и дух жизни, естественность, природность, безыскусность, такой путь, такой стиль, эзотеризм. Древние образцы, язык символов и намеков. Гуляю каждый вечер, закаты; стою, прислонясь спиной к сосне; солнце садится за рекой в острые верхушки елей. Своя душа потемки: гадкий утенок не знает, что он лебедь, Гоголь не знает, что он Гоголь. Гомер не знает, что он – Илиада. Гомер – звук пустой, волна, плеснувшая в берег дальний. Что в имени тебе моем?.. И вот Гомер молчит, а море черное, витийствуя, шумит… Тут правит ритм. Но ритм – это дух, он приходит свыше, из смутного шума, из гула. Белые ночи, мотыльки, отклики, таинственный свет с запада. Отблеск скрытого Огня, отклик на тайный Голос. Нет силы, нет имени. Стена сарая, измазанная белой краской. Небо в перьях энергии, завихрения гигантской раковины, перламутр, гривастый шлем. Стрижи и ласточки.

Гермес говорит: «Что внутри, то и вовне». Но внутри дух, настрой, настроение, состояние психической погоды, штиль или ураган; а вовне – подробно, предметно, четкость форм. Властью какого колдовства бесформенное становится формой? Дух (внутреннее) мгновенно, интуитивно находит себе форму вовне. Душой исполненный полет. Бог танца. Книга – вся полет, от и до. «Сестра моя жизнь». Загадка «Героя нашего времени». Сон – дух яви, бессознательное – дух сознания, вдохновение – творение, дух – материя. Все тот же принцип: что внутри, то и вовне. Горчит и пахнет, ломится в жизнь и ломается в призме, и радо играть в слезах. И только ветру связать. Глубина играет, душа-искорка, хоровод сверкающих духов жизни. Устают играть – и уже не горчит, не пахнет, не сверкает, не ломится. Так сразу возникает поверхность, граница между тем и этим, внутренним и внешним, – стекло, зеркало. И глубина застывает зеркалом – незвучащая, негорчащая, непахнущая, никакая. Это зеркало – сознание. И дух жизни тщетно бьется о незримую границу, трясет – и не бьет стекла. Стихи – тот же дух жизни, вовлеченный в игру стихий – огня, воды, ветра, земли, – поющий, жгущий, горчащий, пахнущий, сверкающий. Жар игры горит румянцем на тебе. О верь

игре моей! Раздую я в пожар его! Эта игра на грани. Как всегда. Все на той же скользкой грани – сна и яви, жизни и смерти, возможного и невозможного. Стихи – результат, ставший зримым след игры духа, смерчей тоски, кипящих воплей, страсти разряды. Мощь этого духа сотрясает зеркальную нахлынь стиха, трясет, но не может разбить неразбиваемое. Нет, не может. Стихи – стихия, сочиняются сами собой, играючи, самозабвенно, забыв, что они стихи, что они слова, что они сочиняются.

Не стыдятся себя, своего нутра, быть самими собой, не стыдятся людского суда. Бесстыдные бестии. Не побояться бесстыдства. А ты не из тех. Всегда быть в маске – судьба моя. Кокон треснул, бесстыдная бабочка-душа выпорхнула на свободу. Это Чжуан-цзы, его сон. Берег, две девушки под обрывом играют в карты. Стиль – внешний след внутреннего своеобразия, след духа. А как его, дух, увидишь? Он вне форм. Только по оставленному следу. Все мечтаю о чуде: что вот во мне откроются какие-то чудесные сверхспособности, и мир потрясется. Сквозь обычные слова светится и звучит что-то необычайное. Это и есть – дух. Чистый ум, свободный; открытия, зарождаясь, всплывают пузырьками, просятся на поверхность, лопаются. Три девушки под обрывом у воды, сидят ко мне спиной, позвонки, ягодицы, волосы торчат вверх пучком, перевязанные, как луковицы. Все сокровенное станет явным – на то они и духовидцы. Сокровенное останется сокровенным, откровение – откровенным. Пятно туши скажет обо всем в мире. Тончайшая вязь всего со всем, она же веянье духа, фотон, и волна и камешек, пускающий круги по воде. В обыденном спрятана громада необычайного. Отклик, а не связь. Случайные черты, случайные связи. Подлинное сердце – это детское сердце, открытое. Рожденный с козырной картой во рту. Древняя воля веющего духа в зарослях таволги. Читаю эту китайскую книгу у раскрытого окна на втором этаже. Сад после дождя, в банном чаду. «Когда древние писали живое, они пребывали между наличием и отсутствием сущего». Писать и дух и свою подлинную душу, между известным и неизвестным.

Теплый восточный ветер, купался. Девушка в лодке, сидит на корме, нога, смуглая, упругая, большой палец оттопырен, свет и трепет играют на этой ноге; только эту ногу я и вижу, сверху, с обрыва. Девушка скрыта стволом ели, меня не замечает, разговаривает с толстой, безобразной старухой в купальнике. Я все смотрю, смотрю, зачарованный, на эту ногу, стою, не шевелясь. «Нога, вся созданная из блеска и трепета» думаю я.

В город, лес проносится, увядающий, жухлый, рябина красная. Приятно обдувает теплый ветер. Дневник японки Сарасина Никки, прочитаю страничку и сижу, смотрю в окно. Вот и Павловск… Этот шелест тополей у детского сада, уже ржавых, сильные порывы теплого восточного ветра ерошат их верхушки. Жаркий августовский день. Я нагружен сумками (картошка, кабачки, огурцы), висят на плечах, в руке еще корзинка с брусникой. Стою тут с такой тяжестью и, пока нет соглядатаев, все слушаю этот волшебный шум, этот шелест, это чудо.

Перед уходом разбудил его. Он спал на боку, свесив руку, в свитере, стонал. Говорит: «больной сон». Иду на станцию, лес ржавый шелестит, осины те самые, стволы в золотых пятнышках. Странная моя поездка в том апреле, оттепель, сырой снег, мягкая такая погода, просветление, и эти осинки, перед которыми я стоял, заглядевшись. В воздухе сейчас дымность, запах гари, торф где-то горит. И вчера – огромная, блистающая луна, колдовская, над горизонтом, полнолуние. И этот сильный ветер дует всю неделю, теплый ветер, не холодный еще. Читал у него дневник Блока. Нужен отбор, выжимка, будет звучать дух Блока, как он есть, в космическом смысле. У человека две природы: земная и космическая. Земная – для жизни на земле. Космическая – жизнь духа, «туманный ход иных миров». «И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Особая чувствительность космического. «Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». У Блока это – слышать мировую музыку. Этот суд отметает чужих и отмечает своих. Двойственность, андрогин, Адам Кадмон, искорка из бездны, звездный Платон, нерожденный ребенок. «Все люди полны желаний, только я один, кто отказался от всего… Все люди пытливы, только я один равнодушен». Шелест, август, сон больной.

Выпадение, отсутствие – разве это материал для книги? Тот, кто вскормлен волчицей, страшится людей, речей, письмен. «Когда б оставили меня на воле…». «Восторгом оживлен небесным». Вот он – я! Все прочее – не я, шелуха, отпадает. Освободился – и так легко, легко. Камень с души – свалился. Те, чьи имена шумят в веках. Забыть и себя и весь мир, с кем, с чем, «в час последнего слияния». «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне».

Ночью через сад, вдруг остановлен внезапным, как удар, блеском. Гигантский серебряный шар! Никак не мог понять, что это. Нет, не луна. Это ведь какой-то ужас, а не луна. Наверное, что-то со зрением. Заперся во времянке, перед тем, как лечь, медитировал с зажженной

свечой, минут пять, близко от глаз. Озерцо воска, горячая струйка перелилась, течет. Пламя синее у основания, потом красное, потом золотистое, внутри бело-золотое, по краям желто-золотистое и вокруг полупрозрачное сияние. У пламени я разглядел цветов десять, а сколько еще оттенков этой огнистости! «Оставь сущее – погрузись в отсутствующее. Пари безмятежно в великой пустоте». Слышу гул космоса, там начинает петь какая-то струнка, где-то на краю вселенной родилась новая звезда.

Каждую книгу надо читать так, словно она единственная в мире, и слова ее висят в пустоте. Тогда она становится вся видна, все ее достоинства и недостатки. Книга – портрет духа автора. Небо полно ласточек, их щебета, мчатся, упругие, крылатые тельца. Как я рад им, каждое утро, весь день. Вот они-то свободны, они книг не пишут и не думают ни о каких книгах. Им не надо мучиться этой чепухой, этими мечтаниями о доблести и славе. Лермонтов хранил в себе некое безмерное космическое пространство, где жизнь и смерть слиты. «На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил». Тот же дух в «Герое нашего времени»: «Тихо было на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы…». Или: «Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию…». Ему весело чувствовать себя высоко над миром, его дух парит. Воздух гор, разреженный, чистый, веселый воздух гор. Слова пронизаны этим космическим излучением, беспредельностью пространств. То же у Гоголя. У Пушкина – «Бесы». Бальмонт – «Я на башню всходил…». Космос слов – символические указательные стрелы – внутрь, намек на то, что вне слов, неизреченное, несказанное. Навести, намекнуть на то, что невыразимо. Невыразимое безбоязненно подходит очень близко, вплотную, и сквозит в словах, мыслях, жестах, поступках, вольно играет в снах. Этот внутренний космос не скроешь, как его не прячь; большой огонь, как его не заметить. Японское югэн. Искорка верит, что она посланница большого огня, и вера эта мировой пожар раздует.

Ласточка промчалась, задев волосы на моей голове, ветерок ее полета. Луна и тень на траве, шевелится. Еще живу. Душа на ниточке едва держится. Я тут все лето один, даос, и мне хорошо. Никогда еще мне не было так хорошо, так спокойно и безмятежно. Опустошаю наполненное и наполняю пустое. Солнце в тумане, желток, Дао, Чжуан-цзы. «Парить и странствовать у предка всей тьмы вещей, как вещь рядом с вещью, а не как вещь для вещи». «Откажись от малого знания, и проявится большое знание». Рождение богатыря, сверхновой звезды, мир потрясется. Богатырский ген, уже в зачатии, в

чреве, народился ясен месяц, сын неба, Син. «Но не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем». С глаз спала пелена самомнений. «Он ужасно покраснел…». У Лермонтова полно этих «ужасно», но его книгу они не портят. Неправдоподобие так называемого внутреннего мира, но ведь только оно реально. Внешний мир нереален – иллюзия, майя. Правдоподобие нереально. Эстетика без границ, по ту сторону добра и зла, «ты вся – не отсюда». Змеистые диалоги. Печорин пожимает плечами, сюжет, интрига, змея-спираль, в конце распрямляется, чтобы ударить. От скуки, себя занять, развеселить, поиграть с людьми, как кошка с мышками, для забавы. Гибель Беллы, Грушницкого, Тамань. Финита ля комедия. Необычайный магнетизм, «Фаталист», игра со смертью. Уединенная воля. «Способен ли оставить всех людей и искать только самого себя? Способен ли парить?» Без руля и без ветрил. Демон, чудовищная, нечеловеческая восприимчивость, маскарад, молниеносная реакция, метаморфоза, смена масок, пластика, артистизм, грация мгновенно меняющего форму осьминога. И такой осьминог пишет книгу – октаэдр. Кому ее читать? Надкушенное яблоко луны вчера ночью.

Пастернак, космос играет в человека, в его чувства, конноборцем над пешками пешими, а человек играет то на трубе, то в бирюльки. Знаю наизусть «Слово о полку Игореве», «Сестра моя жизнь», тысячи стихов, даже прозу, страницами, Гоголя, Лермонтова «Герой нашего времени». Хочется хранить в себе, в крови, в нейронах, в генах – эту магию, эти вещие струны Бояна.

Туман, Тамань. Знал, когда писал, что одолевает и затмевает своим духом все ему предшествовавшее. Знал твердо и точно. Фразы приподнимаются, как волны, длинные, долгие. Никуда не торопится, ни тени беспокойства, напротив – героическое спокойствие, даже торжественность (торжественно и чудно). Ничего лишнего, ни одного суетного движения или мысли, ничего мелочного, все проникнуто космическим смыслом. Музыка речи, стальной блеск, ослепительный, но холодный, как клинок. «И мне было как-то весело, что я так высоко над миром». Подражатели, зачарованные сверхспособностями своего кумира, в сознании собственного ничтожества, мошки, притянутые светом ночного фонаря, крутятся обезумевшим роем вокруг него, веками, тысячелетиями, во веки веков.

Стержень самостоятельности, позвоночный столб; угрюмая искорка последней надежды. «К ногам народного кумира не клонит гордой головы». Два мира: в одном мире только простые камни, в другом только драгоценные. Простой камень, попав в мир драгоценных камней, тут же превращается в драгоценный, в алмаз,

рубин, изумруд. Драгоценный камень, попав в мир простых камней, тут же становится простым камнем, галькой, попираемой ногами. Дуэнде и Дао, бесстрашие огня. Не преклоняется. Неброскость, безыскусность, сады дзэн-буддизма, честная пресность. Лицо – условность, маска духа. «В нем поселился некий бог». Некий героический дух взял лицо Лермонтова, как маску, и сыграл историю его жизни, написав «Героя нашего времени», где персонажи тоже – маски. Ему нужен был этот маскарад. В резонансе с космическим ритмом. Жар-птица, танцующая в волшебном саду. Но и слово – маска. Под маской названия – дух, раздающий имена и создающий атмосферу своего звучания. «Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой».

«Творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых». Платон в «Федре». Время упадка: красиво, некрасиво. Время расцвета: истинно, ложно. По Шёнбергу. Ум-паук ткет свою паутину слов – поймать мир. Чудные узоры. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». История мира – это история героев и гениев, то есть личностей. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути Мои, говорит Господь». И Исайя. До двух ночи смотрели «Город женщин» Феллини. Герою – 50, Марчелло Мастрояни. Прощание с женщиной, с женщиной вообще. Простужен, желтые листья, последний день октября.

Дождевые струи бегут по стеклу. Дверь открывается. Порыв ветра, вспышка молнии, колеблется пламя свечи, трепещет флаг на флагштоке, шарканье подошв, паутинка бьется в далеком поле, талый снег на асфальте. Сидит у себя в комнате, читает, куда-то едет, метро, поезд, идет по лесной дороге. Бесцельно блуждает, забыв о себе, о том, зачем и для чего он отправился в путь.

Привычно, скучно, ничего нового, интерес исчезает, мир лишается своих чар. Душа устала, равнодушие, апатия. Способна ли такая душа откликаться на новое? Душа угасла, спит, крепко спит. Спи, старый друг, терпи, терпеть недолго, крепче спи. Омега меланхолии – сдвинутые брови. Чувство скорби рисует Тристана страдальческих страниц. Я жил мечтой об интенсивности, но жизни боялся. Будем исходить из того, что у меня ничего нет, кроме кое-какого выработанного умения писать и кое-какого понятия о том, что такое – писать. Остается только голый голос на бумаге. Этот настрой потаенных струн на космос. Слово – резонанс значения и звучания. Оно же – удар по нервам рыдающего рояля. Японская пьеса «Звуки чая». История духа в образах. Все есть ритм, форма, образ. Слушай и смотри. Танцуй в ритме-образе, ты сам и есть – ритм-образ. «Бездна

бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Роб-Грие, разоблачение мифов. Крушение старого мифа о глубине. Птицы ищут потерянное слово. Когда птицы не поют, гора еще покойнее. Суть всегда перекричит форму. Начинать всегда с нуля, с пустого листа. Попадание в Абсолют. Музыка и математика – абсолютная точность, строй космоса. Скользко-кремнистый путь Орфея. Много формы, но мало духа. И наоборот: много духа, но мало формы. Орфей – Абсолют. Вихри духа из космоса заносят к нам «звуки небес», отрывки райских песен. «Как молния, мне в сердце глянул победно возраставший звук».

Мгновенный отклик, эхо, безмерность и нечислимость. Таков и ты, поэт. Привкус пошлости в словах «творчество», «красота», «прекрасное», «поэзия», с каких-то пор он появился. Ось неизменна, верю в неколебимость оси, вокруг которой все крутится. Поэт-эхо и поэт-вихрь. Рене Магритт: «Живопись – это волшебство, она ничего не значит, а поэтому непознаваема и необъяснима». Поднимаясь по этой лестнице в конце концов остаешься совсем один и невидим, сам себе единственный оценщик и судья. «Исполнен мыслями златыми, не понимаемый никем…». Стихотворение: сразу высказать все, за один вздох. Поэту – поется вещей душой. Древний символизм, первообразы, первичный звук. «Бесы» Пушкина – воронка смерча, в которую захвачен и в которой закручен поэт. Воронка небес, острым концом вонзенная в землю, в которой крутятся, мчатся бесы, рой за роем, и вместе с ними душа поэта. Поэт – песня, прозаик – повесть. Одно единственное стихотворение, пока его читаешь, им живешь, заслоняет собой все и заменяет весь мир. Ангелы мыслят музыкально.

Мысль в прозе ниже, чем в стихе. Мысль в стихе ниже, чем в музыке. Поэзия – орфическое истолкование земли в ритмах. Плюс и минус создают напряжение, и между ними – разряд. Бьет ток. Мне достаточно самых примитивных форм, простых слов, простой психики. Веберн: «Я ношу в себе переживание, пока оно не становится музыкой, неотличимой от этого переживания». При таких скоростях стирается всё, и свет, и звук не воспринимаются. Это скорость мысли, интуиции, быстрей звука и света. Это быстрота Духа. Мир форм – низший мир. Абсолют формы и молния духа – совершенное произведение искусства. Молнии, залетающие сюда из царства духа, не вмещаются в мире земных форм и знаний, и порождают всяческую фантастику, неудовлетворенность и неутолимую тоску.

Один Звук. «Гудят моей высокой тяги лирические провода». Эти великие магниты притягивают всю громаду жизни, все ее тайны, чудеса, голоса, громы и шепоты. Поэзия – музыка. Слово поет, звенит, горит, летит. Поэзия – токмо звук. Отчизна скрипок запредельных. Порвать родство с прошлым днем. Вкус пустоты. Иррациональность жизни, ее мистика. Аристотель ищет иголку истины в стоге силлогизмов, а Орфей очаровывает владыку мертвых, чтобы вернуть свою Эвридику. «Как» против «что», истина против стона тюремных стен. Птичья быстрота реакций. Орган восприятия тайн, неисчерпаемости градаций и вариаций. Печальные дела. Выключил свет. Тени ветвей качаются на темной стене. «Хотеть, не желая хотеть. Действовать, не желая действовать». Лао-цзы. Стрелки птичьих следов на снегу. Неведомое ищет для себя слово на этих запутанных лесных дорожках. А слово-то, оно тут, оно всегда тут как тут, зовет невиданных зверей с неведомых путей. Слово на престоле, в венце из звезд. Тот, Кто вовне – Он же внутри тебя.

Змеистое серебро магнитофонной ленты, обвиваясь вокруг сосен, трепещет на ветру и блестит. Ручей в ледяных очках читает утопленницу-газету. Изумрудная бутылка с длинным горлышком. Органное эхо Баха. Никто не развяжет то, что я связал. Слово – то указательный перст, то «в музыку вернись!» У Фета: «Философия – божественное самосозерцание духа в области разума. А искусство – божественное самосозерцание духа в области красоты». «Как богат я в безумных стихах!» Слова в стихах больше слов. Первородный творящий Звук. Свобода от знака. «Я только чарам верю». Цветаева.

Красное Село, оформлять паспорт, яркий теплый день, сожженный склон, рыже-седой. Надежда Мандельштам о Хлебникове: невозможность контакта с ним, постоянно погруженный в себе, в свое, в ритмы, только губы беззвучно шевелятся, всегда неподвижная голова на неподвижной шее. Давид Бурлюк о нем же: «У него глаза – как тернеровский пейзаж». Хлебников предлагал воздвигнуть в Киеве памятник русскому языку: орла, соловья и лебедя на престоле из мраморных изваяний книг Пушкина и Льва Толстого. Город, знающий дорогу к богам – Тиу-Тиу-Токан.

Читать только то, что хочешь знать наизусть. Философия в самых простых словах, там, где нет никакой философии. Свечение древних книг, орфики. Взаимосвязь: от взмаха крыла бабочки рушится мир. Певучая ось мира, сердце песен, Орфей. Поэты на этой оси, вращение лирических миров, созвездие Лиры. Поэт – первый человек, до грехопадения в мир печали и слез, Адам в Эдеме до Евы и до Змея, до

яблока соблазна. Орфей возрождается в каждом новом поэте. Остров Пасхи – центр мира, каменные истуканы на берегу океана. Текучий ум сжат в жгучий луч. В плену представлений о себе любимом, Нарцисс в застенке кривых зеркал. Мир пульсирует: то узор, то пустота; с каждой вспышкой узор обновляется, неповторим; пустота – одна и та же. Пенелопа, ее покрывало и прялка. Тот, кто прозревает меняющийся узор мира, ясновидящий. Стих-скороход, поезд дальнего следования, экспресс катастроф.

Утро, солнце. Рыжая в окне шестого этажа, высунулась по пояс, голые плечи и руки, медные волосы горят, что-то жрет ложкой из миски. Майская листва в переулке блестит и трепещет.

Как много остается неназванным, несказанным, невысказанным, и так всегда и останется. И все это – самое важное. Прообраз: «покрывший зеркало». «Блеснет в глаза зеркальный свет». Интуиция – Афина Паллада, выходящая из головы Зевса, сразу, во всеоружии. «Здесь девы холодные сердцем живут, то дщери великой Гилеи». Книга книг, сад прогулок духа. «Что» и «как» глядят в разные стороны, для одного его «что» и есть его «как», для другого его «как» и есть его «что». Демокрит и Декарт мысленно чертят кратчайший путь от «А» до «Б». Великий китайский художник Го си тушью на шелке проводит змеистую линию – душу гор и вод. Художник Го Си мыслит тушью на шелке, рисуя единственную в мире линию, именно эту и никакую другую, здесь и сейчас. «Das Was begenke, mehr begenke wic». «Думай о том, что, но больше – о том, как». Гете, парадоксов друг. «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Беспощадный диктат поэзии: не только пересказ, но даже замена звука, Е на Ё (звЕзд на звЁзд) – мировая катастрофа, рушит в прах бесценную вселенную этих двух строк. Ведь кому-то надо, чтобы звезды зажигались. Метапсихоз: один и тот же художественный дух становится то Гомером, то Данте, то Шекспиром, то Байроном, то Леонардо да Винчи, То Бахом, то Моцартом, то Бетховеном, то Гойей и т.д.

Свобода от логоса во сне, от знака. В состоянии сна нет опоры на знак. Во сне душа освобождается от гравитации, от притяжения к Знаку, к Логосу, (логике), она в невесомости, в космическом полете, свободно меняет ситуации и декорации, полет ее фантазий и импровизаций умопомрачителен в своей непредсказуемости и невероятности. Во сне суд отсутствует, во сне душа неподсудна. Судья крепко спит, отпустив душу на свободу.

Слово сильнее всего в стихе. Мир сотворен стихом. Ведь Бог – слово. Капли бегут по стеклу, одни быстро, другие медленно, путь

одних длинный, других – короткий. Чувство нездоровья, что-то в горле, бронхи, или хуже. Мысль о смерти. Надо же, еще прошлым летом я был полон сил и надежд, был на подъеме. Даже зимой. Это падение началось после Нового года. Было возбуждение, оно преображало. Гулял пьяный до разлива. Ласточки, сосна, цветущие кусты под обрывом. Те два пня, на которых мы с Ларисой любим сидеть, мокрые после дождя. Обратной дорогой – везде сирень и рябина – душистыми белыми шапками. Чинарь Друскин, его дневник. Небольшая погрешность при некотором равновесии. Его профессия – мыслить. Юлиан Шуцкий, переводчик «Книги перемен». В юности потрясение от Скрябина, как и у Пастернака. Знал 20 восточных языков. Первые книги, сакральные, первоначало письменности – от них все остальные, горный обвал литератур.

Эта сила меняется по кругу от полюса к полюсу: то ян, то инь. Когда есть полное ян, то инь полностью отсутствует. Когда есть полное инь, то ян полностью отсутствует. Когда ян только начинает свой путь превращения в инь – это молодое ян, а инь еще нет, но оно уже есть внутри ян. Когда ян близко к превращению в инь – это старое ян, в нем уже очень много инь. Тоже самое с движением инь к превращению в ян. Сила всегда одна, но ее превращение, перемена – это двойственность, это – два. Но два – только знак, обозначение внутреннего, динамического состояния одного, единицы. Два – это знак движения единицы-плюса к превращению в единицу-минус. Есть только Целое, Единица. Мы разделяем мир на плюс и минус условно, наше разделение мира иллюзорно. Мы не видим Одного Великого Превращения. Есть только одна всегда изменяющаяся и превращающаяся Сила. Весь мир – это одна Сила, Свет-Тьма, Зло-Добро, Красота-Уродство. Все пары противоположностей на самом деле – Одно. Два – условно. Реально – Одно. Инь-ян (плюс-минус) – пульс одного целого, его ритм. Ритм и форма. Или: дух и форма. Воспринимается и понимается интуитивно, по чутью. Потом осознанно – образ и знак.

На скамейке у сарая читаю «Книгу перемен». Визжит калитка. Лариса в розовой куртке, с сумкой через плечо, идет, ослепленная солнцем, жмурясь, в зарослях златоголовых одуванчиков. Машу ей рукой, не замечает. Привезла огромную белую рыбину. Чищу ее. Через лес – за хлебом, в магазин у платформы, щиплем нежные, зеленые хвостики у елей, кисленькие, витамины. Посадили огурцы, тыкву, кабачки, петрушку, лук. Бархатцы уже цветут, оранжево-желтые, радостные. Наши разговоры, ее сны, ее заботы, и зубные, и всякие. Нет, не останется, сегодня же уезжать. Провожаю до

платформы. Встречный поезд грохочет, налетая. Она в испуге, пригнув голову, как-то кособоко и хило бежит в сторону от насыпи, за канавку, не хочет, чтобы поезд у нее над головой гремел.

Писатель – это слово. В начале было слово, и слово было от Бога, и слово было Бог. Слово родило писателя, того, кто знает Слово, кто понимает, кто чувствует Слово, кто верит в Слово. Слово сотворило писателя и диктует ему себя. Все прочее – литература. Будут речи, но они не верны.

Теперь ясно вижу главную цель: в корне другое, какой-то другой мир, где все известное становится неизвестным и требует иных названий, все надо назвать как-то иначе. А все прочие цели перед этой единственно важной и нужной целью меркнут. Высшая высота – девятая высота.

Полнолуние. Троица. Ливень; зеленые листья, сорванные грозой, летят во тьме над дорогой. Два стихотворения Ивана Козлова: «Вчера я, мраком, окруженный», и «Не наяву и не во сне». Пушкин, «Последняя туча рассеянной бури», Лермонтов цитирует в начале «Княжны Мэри». Вдохновение («восторг небесный») – мощное эстетическое возбуждение, сильнее страха смерти, сильнее «священного ужаса». Это огненный дух, «горит поэзии огнем». Этот дар свободы Бог дал только человеку: «я не был раб земных оков, органом звонким и чудесным в огромной стройности миров!» Это мощное возбуждение, превышающее страх смерти, тождественно природному грозовому электричеству. «Условный сивиллов язык».

Вечером выпил бутылку пива, запьянел. Созерцал закат солнца. В форточку ветер. Солнце, прячась за дерево, брызжет прощальными лучами. Под утро сон: вышел из метро, дома, залив, корабли у берега, двое в лодке, мужчина и мальчик, длинноволосые, с женской грудью, гермафродиты, ныряют с лодки, купаются. Толпа купальщиков бежит по песчаной косе, девушки и парни. Вода зеленая, буйная. Песок бурый, ржавые суда. Я стою у ствола старой березы, ствол шершавый, бороздчатый. Сбоку от меня крутой склон, по нему спускаются стаи огромных крыс, нападая и увлекая за собой овец. Так мне кажется, что это крысы и овцы. Внизу еще какие-то серые, змеистые существа наподобие угрей. И теперь мне кажется, что это не склон, а дно какого-то прозрачного моря, только почему-то море стоит, как склон. Тут же, рядом со мной, домик охраны. Усатый страж спрашивает, не иду ли я в город? «Да, иду». «Так передай письмо» говорит он. «Вот адрес». Читаю: улица №89. Страж дает мне письмо и связку ключей. Письмо – свернутый квадратиком, исписанный с обеих сторон листок.

У входа в метро еще два усача охранника. Пройдя между ними, вспоминаю, что забыл свою сумку. Возвращаюсь, беру сумку, спускаюсь к метро. Грязно. Какая-то женщина кричит, чтобы открыли дверь. Уборщица. Двое грузчиков толкают тележку с мусором. Дверь распахивается двумя створками. Выхожу на улицу вслед за грузчиками с тележкой. Какие-то странные дома, улица направо, вкось. Площадка на возвышении, там беседка. На фронтоне надпись: «Улица №89». «Ну вот, нашел! Где-то здесь!»

Есть книги: как окно раскроешь – врывается свежий воздух жизни, ее могучий ветер.

Туманные слои ускользающих представлений. Серебряное яйцо Орфея, единое сущее. «Непоколебимое сердце легко убеждающей Истины». Парменид. Жестокий дар провидчества. Возвращался от Ларисы с улицы Десантников, сумеречно, дождливое небо, пр. Стачек, детская художественная школа (бывший особняк Шереметьева), чайки кружатся над прудом, их призрачные отражения в темной воде под ивами. Долго стоял, смотрел, зачарованный, пьяный от пива (выпили с Ларисой по бутылочке). И эти заросли высокой пахучей травы с белыми зонтиками. Какой холодный и дождливый июнь. Говорят, сто лет такого холодного июня не было. Грустно, грустно мне живется в мои 56 лет. Вот о чем я думаю, одиноко идя домой в пустую квартиру. Парменид, его шарообразное бытие. Остался отрывок поэмы «О природе», а за ним тянется хвост упоминаний, толкований и комментариев через три тысячи лет. Огонь и земля – душа моя малоогнистая. У Ларисы заботы – четыре щенка в вольере, четыре комочка. Восьмой этаж, залив видно и Кронштадт.

Встал, мутно. А там что? Ярко-золотой, трескучий, за деревьями, сквозь темную зелень листвы? Огонь! Он самый! Дворники зажгли. Радость моя! Гераклит, Парменид, Эмпедокл.

Иногда, особенно в сумерках, возникает чувство странности мира; мир предстает как неизвестный, как тайна. И тогда кажется, что все понятия неверны, все названия ложны. Надо все переименовать, назвать как-то иначе. У «Этого», я чую, другие имена, все зовется по-другому. Может быть, когда-то было правильно названо древними, а в наше время имена и названия искажены. Сыны неба, посланцы, представители и выразители мирового Духа, мирового Сердца. Стиль – звучание, аромат, музыка, нечто ускользающее, неуловимое.

К Ларисе на ул. Десантников. Выпили пива по бутылочке, запьянели. Разобрали постель и легли. Солнце бьет в окно, залив яркой полосой, блестит голое плечо Ларисы, спина… Возвращался,

пруд, дуб этот могучий, древний, в буграх, солнце садится. Долго стоял, прислонясь к стволу и смотрел на закат. Листья, ярко-зеленые, резные, трепетали надо мной с легким шумом. Шоссе, машины, мимо меня люди идут, а я стою тут, от пива пьяный, декламирую: «Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Вот, думаю, не будь Лермонтова, не сочини он это, и я бы не так тут стоял, не то бы чувствовал, и это мгновение было бы другое, о, совсем, совсем оно было бы другое! Как странно все устроено! Какая загадочная штука – жизнь! С ума сойти! Пруд блестит, художественная школа, теплый июньский вечер. Июню скоро капут. А там июль. Кто дням велит июлиться?..

Грация, артистизм во всем в природе, это космическая сила, артистический дух Божий, японское «югэн», сокровенная красота. Безвестность – мрак глубокого колодца. Многие карабкаются по стенкам этого колодца, пытаясь выбраться на свет, стать видными, но мало кому это удается. Абсолют понимания – «Просветление». Путь синусоиды – вершина волны (абсолют), вспышка, затем снижение до полного непонимания (равноценного полному пониманию, все тот же абсолют). Ритм таких взлетов и падений, пульс просветлений-помрачений. Не заботится быть понятым. Тысячелетия люди смотрят на огонь с одной и той же мыслью: горит, светит, жжет. Но в этой одной мысли миллион мыслей, способных совершить миллион открытий в науке и искусстве у «быстрых разумом Ньютонов».

Утро, июль, стрижи с визгом чертят круги над школой. Тополиная метель. На Десантников. Идем вдоль дома, Лариса в соломенной шляпке, розовые штаны. Панель поделена по-братски тенью и солнцем. Лариса показывает на железную ограду у кустов персидской сирени с отцветающими бело-розовыми кистями: «Хорошо что поставили заграждение» говорит она, «а то ведь у нас такой народ – все перетопчет и переломает, накидает всякой дряни». Вышли на шоссе, рядом рынок «Юнона». Стоим на солнцепеке у остановки, ждем 60-й трамвай, а его все нет.

В Южно-приморский парк им. Ленина. К заливу, диким, извилистым побережьем, вдоль канала, по гребню высокого вала. Лариса нарвала букет, Иван-чай, клевер, ромашки. Только колокольчиков тут нет. Сидим на бревнышке, залив блестит, глыбы красного гранита по всему берегу. Искупался, глубоко, вода теплая. На обратном пути Лариса подвернула ногу, попав в ямку, прикрытую соломой. Опираясь на мою руку, едва добрела до трамвайной остановки, стонет. Щиколотка припухла. И досадно и грустно. Как-то

все безрадостно. Не мог вспомнить строчку Пастернака: «Блещут, дышат радостью». Помню только: «Блещут…радостью», а «дышат» забыл, пропало, провалилось.

Жаркий июльский день. Стою у раскрытого окна, клен в зеленых носиках, тополиный пух. Бах, токката ля-минор, в исполнении Ванды Ландовской, сочные, чистые звуки клавесина. Глаз Дао видит только полное и совершенное. Короткий дождь, с гулькин нос. Смутные голоса сквозь дождевой шум. Гроза мигнула – и нет ничего. Прояснилось. Единственная для меня форма – непосредственный отклик на жизнь в виде мгновенной записи. Я не умею жить и не умею писать. Я лишен фантазии и воображения, то есть – лишен духа активности, едва шевелюсь. Не то, что те – титаны мысли. Эдгар По: «Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти». Этот мир видится из мира «югэн», как что-то странное, таинственное, загадочное. И моя непосредственная жизнь в этом мире, жизнь здесь и сейчас видится отчужденно, в отстранении, как не моя, а какая-то другая. И то, что имеет значение в этой бытийственности, там, в мире «югэн», откуда я смотрю, где я живу действительно, ничего не значит, там имеет значение совсем другое. Эта моя текущая, пусть самая ничтожная, единственная жизнь, погружена в мир «югэн», и это уже другая, моя как не моя…

Дождь, жасмин. Проводил Лидию Андреевну на Балтийский вокзал. На Невский, в Доме книги купил дневник Лили Брик. Не хватило денег на майстера Экхарта. Книги, что книги?.. Сколько мыслей чудных в пламенном чаду надумает каждый из этих забредших сюда за всю свою жизнь? А в целом человечестве?.. И о чем же они думают?.. Все мысль да мысль… Фраза, что фраза? Фразеры с рыбьими глазами неистребимы. Нет, сила в том, чтоб дух пылал! Та, Лилит, когда я листал Ван Гога. Бедра, осанка, нога на высоком каблуке. Приложила дощечку к уху, кому-то говорит. Заметила мой взгляд. Смуглая, пушок над верхней губой. Изогнув по-змеиному талию, проскользнула из-за стеллажей с альбомами к выходу. Давно забытая дрожь, легкий укол сожаления. Ничего, ничего. Спускаюсь по ступеням, в зеркале – в синей рубашке, брюки гармошкой, глаза дикие. Это же я! Невский бежит, влажно, мрачно, тучи, Казанский этот. Вот и дождь, брызжет, слабый, робкий. А, ерунда! Зонт раскрывать… Ну какой это дождь…

Лариса сидит на скамье в приемной травмпункта, нога забинтована. Увидев меня, улыбается. Тут большая очередь: мужчины, женщины, подростки. Комната мрачная, голые, грязно-голубые стены. Приоткрывается дверь и видна чья-то толстая нога, от

ступни до паха, забинтованное бревно. За окном темно, тучи, тополь трепещет мрачными листьями. День давящий, парной, влажно и тяжко, вот-вот пойдет дождь. «Что ты такой напряженный?» спрашивает Лариса. Женщина с соседней скамьи смотрит на меня с интересом. Должно быть, я хорошо выгляжу, загорелый, молодой, в синей рубашке с коротким рукавом, открытая сильная бронзовая грудь. И брюки на мне элегантные, нежно-зеленые, как луг перед грозой. Должно быть, я привлекателен. Весь день, блуждая по городу, ловлю на себе внимательные женские взгляды, и даже совсем юные девицы смотрят на меня так пронзительно, так огненно, в метро, на улице, везде. Загорается лампочка на двери. Лариса встает, ее очередь, ковыляет, прихрамывая на левую ногу. Я бросаюсь к ней – «Тебе помочь?». Она отстраняет меня рукой – «Не надо». Из кабинета стремительно выскакивает черноволосый парень азиат, прыгает на одной ноге к выходу, вытянув вперед другую, забинтованную, не касаясь пола, как сильный зверь, вырвавшийся на волю.

Это мое постоянное и основное состояние, вкус глубокой отдельности, отделенности, уединенности, одинокости. Я живу глубоко отдельно, недоступно, вне какого-либо общения с кем-либо. То есть – общение есть, но оно всегда внешнее, поверхностное, всегда уклончиво, я всегда остаюсь скрыт, замкнут, ускользаю, уклоняюсь. Не то, чтобы я боюсь общения, но это не является моим подлинным, сущностным состоянием. Поэтому я абсолютно непонимаем и непроницаем. Как только кто-нибудь на меня посмотрит, меня уже нет там, куда в меня смотрят. На мой счет всегда ошибаются, это всегда не мое подлинное, всегда не то. Может быть, так у всех? Не знаю. Есть же очень общительные люди, живущие исключительно в общении, их жизнь вся вовне, что называется душа нараспашку. Я наоборот – весь внутри, интроверт. Таких, как я, много, этот тип. Я причастен к Силе, Духу. Мое общение – с книгами, написанными такими же одиночками, то есть общение с духом этих одиночек в их книгах.

Поэзия – голос, потребность петь. Знаки поют голосом, рвущимся изнутри. Смыслы поют. Поют, а не рассуждают. Нераздельное Единство, ось Вселенной. Эта ось поет голосом Орфея. Убрать все, что заслоняет и затмевает. Зеркало должно быть чистым, незамутненным и невозмутимым. Саби – приглушенное югэн, тусклые чары, почти отсутствие чар, красота отрешенного, простого, незаметного.

Мглисто, ласточки, жемчужное небо. Один на даче. Рассадил салат и прополол грядку с редисом, как велела Лариса. Сижу в саду на

скамейке, читаю книгу об эстетике Басё. «Цветет один цветок, а вся вселенная поднимается с ним». Создание такой формы хокку – колоссальная нагрузка на слово, но при этом никакой тяжести не ощущается, наоборот – легкость, полет, крылья. Для непосвященных эта разница между высшей духовной формой слова и обыденной не видна. Это состояние – сатори, саби, сиори. Так называемая безыскусность искусства. Неизменность изменения, изменчивость неизменного. Чтобы неизменное было живо, ему надо постоянно меняться, являться в новом облике, приходить как другое, еще не бывшее. Чуткое отношение: боится даже дохнуть, чтобы не исказить, не спугнуть истину этой внутренней самоценной жизни, дрожь и трепет чьей-то души.

Крайний индивидуализм – агрессия, бесчеловечность, убивает душу всего живого, мертвящий, злотворный дух. Или чудовищно, или мелко. Пишу в темноте, у окна. Дождь хлещет, все сильней, ливень.

Чай, одиночество, ласточки в мглистом небе перед дождем. Встречаясь, радостно восклицают, целуются в полете, опять разлетаются в разные стороны, нежно щебеча, окрыленные нечаянной встречей. Я слабее страшных сил мира, поэтому я прячусь в щель, в пещеру. Моей целью и заветным желанием было пересилить мир, победить мир, чтобы мир меня признал. Это не получилось, у меня не нашлось такой силы. Я потерпел полное, сокрушительное поражение. Я сдался. Теперь я уже ничего от себя не жду, никаких великих дел. Единственно, что надо сделать, необходимое – «Прогулки в лесу», книга о нем. Это всё. Подвести черту. Сам по себе я – ничто. Ни как писатель, ни как человек. Может быть, я что-нибудь стою, как понимающий. Но ничего из моего понимания не сошьешь. Тяга пропала, азарт, интерес. Так, тлеет какая-то последняя искорка. Вот-вот и она погаснет. И наступит полный мрак. «День догорел в душе давно».

Томление духа, томиться в этой тюрьме дней. Мысли, как брошенные в воду камешки, дают круги. Вышел в сад, взъерошенные головки белого клевера, мотылек с коричневым кушачком спит. Docta ignorantia – мудрое незнание Николая Кузанского. «И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? Оно чудно». Отклонения, «и страшен будешь как чума». Отрыв от схемы, что-то с глазами: звезды кажутся треугольниками острием вверх. «Любой вещи изначально присуще то, на что она способна». Чэн Миндао. Весь день провел в саду, беседуя с Басё. В наш разговор вмешивались тени и тучи, ласточки и солнце. Ветер, налетев, как птица Пэн, повернул последнюю страницу. «Не ищите следы древних, ищите то, что

искали они». Соседка у себя в саду рвет траву, грациозно изгибая голые руки. У нее густые светло-рыжие волосы и среди них белая прядь, свешивается на лоб, мешая работать. Она выпрямляется и эту прядь откидывает. Что-то блестит, то ли заколка в волосах, то ли часы на запястье. Я чуть-чуть взволнован и рад своему волнению, как старому, давно пропавшему другу. Иду голый по пояс в рваных красных штанах мимо забора – бочку поставить под водосток. Буду любоваться дождевой струей, падающей в бочку с плеском, с брызгами. Только для этого и поставлю бочку, ни для чего другого мне это не нужно. Не нужно, не нужно ничего.

То одно чувство претворить в слова. Ту силу, ту жизненную таинственную силу или волю претворить в слова. Слова будут этой силой. Сила будет словом, и слово будет силой. Эту тайну претворить в слово. Эту предельно утонченную, сокровенную истину претворить в слово. Слова общего языка примут значения каких-то неведомых миру ощущений и чувств. А внешне – самая обыкновенная, частная, личная, какая-то никакая моя жизнь или что-то там такое. Чуду тесно в слове, несказанное больше сказанного. Сказать так, чтобы не сказать. Истина в несказанном. Истина – это тайна, которая всегда остается тайной. Истине тесно в слове. Истина есть чудо и тайна. Всегда является как другое. «Красиво, потому что некрасиво».

Определенность неустойчива и кратковременна. Устойчива и долговременна только неопределенность. Неотвратимые слова подступают и жгут, никуда от них не денешься, пока не напишешь. «Большое мгновение» как говорит Друскин.

Все рождаются со своим изначально заданным направлением роста. Это направление роста никого не повторяет, единственно, индивидуально. Также изначально дана каждому и сила роста. Если эта сила мала, то ее окажется недостаточно, чтобы преодолеть и победить силу вовне, силу мира, и тогда рост в своем изначально заданном направлении будет невозможен, заглушен, задавлен силой мира, подчинен и направлен по стандарту, куда нужно миру. И только тот, у кого большая сила роста, достаточная для преодоления силы мира, победы над ней, растет и вырастает в своем единственном, изначально заданном направлении. И вырастает в своем направлении настолько далеко, насколько ему дано природной силы. Некоторые удаляются в своем направлении роста так далеко от всех и вся, что их уже не видно, куда они ушли.

Убрать чары – остается конструкция, математика, физика, химия. Мертвый мир, без божества, без вдохновенья, без души. Ведь дух искусства – чары. Освобождение от «быть». Знойный полдень, тихо,

гул мух. Майстер Экхарт «Об отрешенности», я даже почувствовал веяние какого-то чистого, хрустального ветра, горней прохлады. «Не вопросами, но подлинным бесстрастием достигают сей потаенной истины». Генрих Сузо. Всегда ощущать себя стоящим над бездной и идущим по тонкому льду. Синий мотылек, сложив крылья, спит на глинистой дороге, не замечая меня и моих ног. Стою, не шевелясь, боюсь его потревожить. Пусть поспит.

Приснилась некая мысль, во сне она казалась чрезвычайно важной, от нее зависела вся моя жизнь. Надо было на ней сосредоточиться. Проснулся от этой мучительной, неотвязной мысли, и она тут же улетучилась. И теперь не пойму, что же это такое было, о чем она. Духовный одиночка, у Цветаевой: «Знаю отродясь» и «Отказом взять». Тютчев: «Лишь жить в себе самом умей». Эзотеризм. Я не понимал. Это такая психика. Не понимаю, потому что ненужно, неважно. «И моя отрада /в том, что от людей /ничего не надо /нищете моей». Арсений Тарковский. У Цветаевой активно: «На твой безумный мир ответ один: отказ». Дзен-буддизм: «Он не знает, что сообщают ему глаза и уши, сквозь пальцы пропускает тьму вещей». Не видеть и не слышать, не знать. Чистое зеркало сознания.

Проснулся, распахнул окно – ветка сливы бросилась ко мне целоваться, сочно-зеленые, яркие губы. Красавица, смеется, поет. Счастье ты мое! Стая черных стрел проносится с визгом. Стрижи, солнце уже высоко, сияющее июльское небо. Легкость молодого тела, забытая радость.

Взлом основ, мировой расцвет. Работать с упором. Лысый Филонов с горящими глазами пророка. Брови-камыши, двойные зрачки, лошадиный рот, лик дракона, отрешенно-порывист. Думание ворует ум, священно безмолвствующие, забытые следы чьей-то глубины. Нет причины, есть только следствие. Чистое действие. Древо Дао не имеет корня. Прозрение Одиночества в себе. Полярная звезда окружена семью черными солнцами, которые излучают сокрытый, или черный свет. Прежде, чем открыть рот, ты уже все сказал, как Чжуан-цзы.

Выпил бутылку пива, запьянел, ноги подкашиваются. Пошел гулять, Оредеж, купаются две русалочки, резвятся, брызжутся, хохочут. Комар поет в ухо на высокой ноте, Орфей. Поливал из лейки, как просила. На обед суп из щавеля и гречневая каша. Купался два раза, вода тянет к себе, прижимает к нежной, мягко колышущейся груди, крепко обнимает, страстно целует, отпускать не хочет. Трава подняла брови высокими дугами. В лодках под обрывом голые нимфы загорают, раскинув руки и ноги, как пьяные. Повсюду валяются

бутылки. Река Стугна, темное дно, Ростиславль, родных кудрей волна. Во сне слышал голос мамы, звала меня по имени: «Славик! Славик!» Не случилось ли с ней что?

Труд вьюна: обвиться и взобраться, выше, выше. Что такое? Тучи по всему небу, солнце скрылось, ветер крылом шумит. Очень, очень похожие на дождь дела. Может, и брызнет. Глаза видят моложе… Назначение поэзии: дать душе ощутить то, что больше души, что в нее не вмещается, тайнопись неизреченного. «Овладел и стихами, как важной отраслью умственной деятельности человека. Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилья, все впечатления их жизни». Пушкин, все он же. Физики и лирики, о чем шум? Стихи – быстрый яд. Фауст с его магическими заклинаниями.

Озеро, рельсы, ларьки, телефонная будка, пожухлая трава, солнечный августовский день, две девушки на платформе, расписание поездов. Весь день выкапывал из грязи гнилую картошку. Мама, голова обмотана платком, опухшее, почернелое лицо. Обратный путь, город, через парк, заросли репейника выше меня, пух на колючих головах, ах, какой шелковый, мну в пальцах. Иду по дорожке, шатаясь от усталости, седой, старый. В переулке ремонт, скрежещут лопаты, нерусский говор, рабочие в шлемах – чернолицые восточные люди. Самосвал гудит, с грохотом ссыпает гравий.

Ель в потеках смолы, затопленная лодка, мрачная вода, холодный ветер, шелест тополей, ржавые листья, визгливый, жалующийся лай собаки. Вот-вот пойдет дождь. Тут она и пела, заведя руки за затылок, та, черноволосая, в купальнике, прошлым летом. Думал о книге, которую хотелось бы написать. Эти мечты о ненаписанных мной книгах, они не отвяжутся. Дорога в лужах, высокий берег, ель над водой, поворот реки, темнеет, туманные врата, крики, плеск, купаются. «Нет, это что-то неопределенное, неясное, мучительное». Из письма Пастернака. Приснился необитаемый остров и повсюду книги, куда бы ни пошел, как раковины, в перламутровом футляре, иные похожи на черепах, иные – на рыб. Луч духа пробуждает форму. «Так должны шевелиться губы человеческого гения, этой твари, вышедшей из себя». Цветаева.

Пришел из леса с корзиной грибов. Дождь. Сумка Ларисы, продукты. Приехала. Где ж она? Дождь сильней. Ливень. Вбегает, мокрая, за пазухой наша собачка Бетюнька. Пошла прогуляться к реке и – вот, пожалуйста!

День нашей свадьбы, 1 сентября, 14-летие. Бутылка красного вина. Рассказывала о бабушке Марие Афанасьевне, о дедушке Андрее. Ее

мечты, что я разбогатею на моих книгах, став известным писателем, купим дом, отправимся путешествовать. На юг, к морю. Пьяненькие. Звездная ночь. А холодища-то! Пар из рта. В доме тепло, печь топится, грибы на спицах сушатся, запах от них. Мы вдвоем, никто, кроме нас в целом мире не знает о нашем дне.

Есть только одиночество, этот резко очерченный магический круг, за который никому не дано переступить. Черный круг. Банально. Искорки чуда сверкают не здесь, чародеи не мы. Возбуждение, волны слов, я окружил себя книгами. Глен Гульд, «Английская сюита» Баха. В Гатчину, оформлять документы на дом, из конторы в контору, справки, очереди. Сентябрь, день тихий, солнечный. Тут Куприн жил и Павел Васильев, пейзажист, тот, что рисовал талый снег на сельской дороге и умер в 23 года. Соборная улица и тут же Карла Маркса, ржавая табличка. Гуляли в парке вокруг озера, седая старуха звала в павильон любви, кричит: «Не проходите мимо!» Листья шуршат под ногами, клены красные, дворец Павла. Лариса что-то говорит, я молча киваю. Ели финики и орешки.

Фейерверки, фонтаны в грезах Раскольникова, начинает титанически фантазировать, такова их природа, миражи, открытия, изобретения, мимоходом, заявляют о себе миру, во весь голос, 22-летние, «мир огромив мощью голоса». Все эти дни разгуливаю по улице то с ведром, то с корзиной. На меня смотрят с любопытством: седой ежик, что я тут шляюсь без видимой цели? Этот американский фильм о безногой девушке. Вызывает по телефону платного мужчину. Он пляшет голый, выключает лампу, целует дивную девичью ногу. А нога оторвалась от тела, видит: у него в руках искусственная, из пластмассы. Наш грибной поход, на лодке через Оредеж, бродили в осеннем лесу, тихо, черные шляпки, брусника на вырубке. Теплая ночь, звезды, Лира. Метеоры чиркают. Комар что-то поет в ухо. Глухой, лысый Ронсар, а ему только 37. Утром на почту платить за электричество. Шел по шоссе, ел сливы, выплевывая косточки. На почте замок, понедельник. Милое дело! Плетусь обратно, в сердце пусто, лист летит, шелест этот шелковый, осенний в мире. «Как же я теперь жить буду?» думаю. Напрасный, напрасный это дар.

Откуда такие знания, видения, сила, ритм, связь с духами, все это шаманство, о чем и не подозревал в себе и помыслить не мог? Неизвестно, что это. Может, некий луч попадает случайно, молния бьет. Приходишь в соприкосновение, ну вот и – разряд. Раскрыл форточку в мозгу – шаровая молния и влетела. Всегда ведь бродишь в атмосфере этого непонятного электричества, оно повсюду. В лес за грибами, одинокие радости. Франсуаза де Эстрэ, возлюбленная

Ронсара, растерзана сбродом, ворвавшимся в замок. Заплетала косички с разноцветными бантиками у себя в потайном месте, чтобы понравится своему любовнику. Провожал Ларису по проспекту Стачек, она в плаще и черной шляпке. Спиленные тополя, пруд, алый клен. Разговор о «Прогулках в лесу», о статье, которую мне надо написать к его 70-летию. Эти мечтания. «Ты моложаво выглядишь» говорит она мне. «Короткая стрижка тебе идет». Простились у перехода. Обернулась, машет рукой. Иду обратно, думаю. Необъяснимо, непредсказуемо. И это нечеловеческое, демоническое – уже в семени, в гене, или даже до рождения, в звездном луче, падающем с неба в миг зачатия, в яйцеклетку. Это воистину великое чудо. Образ этого чуда меня захватывает. Экстремальность и аномалия летучих. И тут же сознание своей обыкновенности – комплекс неполноценности, ущербности, ничтожества. У Шаляпина: «В искусстве есть «чуть-чуть». Если это «чуть-чуть» не сделать, то нет искусства. Выходит около. Знаешь, я все-таки не могу объяснить. Это надо чувствовать. Понимаешь, все хорошо, но запаха цветка нет. Смотришь картину – не то. Все сделано, все выписано, нарисовано – а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Верно. Но вот и бык, и вол трудится, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит – если он артист. А как – неизвестно. Артиста сделать нельзя – он сам делается».

Жизнь скучна, как зеркало. Мглисто, сыро, дождь шуршит. Сидя в кресле с собачкой на коленях, шепчет беззвучно: «Как вы мне все надоели». Но куда же мне деваться?» спрашиваю ее в тоске. Ушла грустная-грустная, в плаще, под зонтиком. Для чего я родился? Вот вопрос. Я – простой, обыкновенный камешек, каких полно на торной дороге. Не драгоценный, не полудрагоценный, никакой. Никому не нужный. Ни миру, ни кому-нибудь. Серая галька среди серой гальки. Обыкновенность. Как все. Роль фиксатора, свидетеля, хроникера. Никакой другой роли в мире мне не дано. Вечер, Невский, Дом книги, Гоголь на постаменте – вот великий писатель! Фонарики желтенькие зажглись. Что заклинать себя знаками. Жизнь глубоко безрадостна, но как-то надо ведь шевелить клешнями.

Гулял в ночном парке под дождем, декламируя «Улялюм» Эдгара По, на английском, конечно. Переводы – дрянь, никуда не годятся. Лужи на дороге, шум дождя, капли блестят на спицах зонта, огни шоссе вдали. Что меня обессилило? Плохое питание, возраст, горло? Если даже я и буду писать нулевым письмом, то – зачем? Что я докажу, себе или миру? Если писать «свое», то оно ведь это «мое»

никому не нужно и неинтересно. Да и есть ли оно вообще, это «мое»? Так что, если писать, то только по делу. С так называемым творчеством все кончено. Кончено, кончено, дорогой товарищ. Любовь к слову? К Слову! Но это больше, чем любовь к Слову, это – любовь к Духу. Не только к Духу, воплощенному в Слово. А к самому Духу, до Слова. Кажется, у меня есть понимание такого Слова и чувствование такого Духа. Есть знание Этого. И есть Стиль. Другого у меня ничего нет. Не знаю, есть ли тут для кого-нибудь, кроме меня, ценность, и нужно ли это миру. Не исключено, что что-нибудь и окажется нужно. Хоть у меня, кроме этого, никакого дара больше и нет. Но ведь – капля камень точит.

Измерить Аристотелем Орфея, пересказать циркулем танцующий язык кружащегося в неистовстве шаманского бубна. И наоборот: метаморфоза скучных формул в феерическом миге душой исполненного полета.

Гулял в сумерках в парке, гигантские золотые костры. Жгут сухие сучья перед зимой. В этом ноябре самое красивое, что я вижу. Вслушиваюсь в себя. Это душа пугливой птички, поющая только одну нотку. Природа дала ей только эту простенькую однозвучную нотку, и ничего другого она не знает и не умеет, пиликает и пиликает свое, и не надоест ей одно и то же твердить изо дня в день. А чуть почувствует чье-нибудь присутствие – и вовсе замолкает, прячется в безопасное место, где она может быть уверена, что никто ее не потревожит. Ну, вот она и думает про себя, что быть самим собой, прячась от всех, не так-то ей и весело. А там, в темноте вон какие огоньки желтенькие, и шоссе шумит. У этих, с открытым на весь мир огромным сердцем, чувствительность, знаешь, не то, что наша с тобой, они в живом контакте со всем живым. Такая у них и речь: «Встаю и говорю…». «Надо, чтобы музыка высекала огонь из груди человека». Бетховен.

У бриллианта 58 граней под определенным углом друг к другу, чтобы играл радугой. Только 5 процентов добываемых алмазов годится в бриллианты, то есть годится для огранки. В этом-то все и дело. Да, в этом-то все и дело, друг сердечный, единственный. Душа, может быть, и знает что-то такое удивительное и необычайное, что и не снилось твоему мудро занудному рассудку, только ведь она очень хорошо скрывает все эти неслыханные сокровища в своей мифической пещере, гадай да воображай, что там у нее. Все это мечты и звуки. А ты со своей простенькой ноткой так и проживешь, утешаясь, что она, по крайней мере, чистая, не фальшивит. Сны о жизни, фантастические, иногда очень яркие, вот они и искушают:

искусство, искусство – песня сирен, завлекающих на очарованный берег, усыпанный черепами. Веберн, потрясший основы техники сочинения музыки. Контрапункт звука и молчания.

Тот, у кого уверенное чувство, что все делается не то и не так: не так рисуют, не так танцуют, не так поют, не так играют на скрипке, не так пишут. И делает всё по-своему. Это «По-Своему» – Саваоф, диктующий миру свой диктант. Вне стаи. Нищие духом, лишние, ненужные, парии, миру они не нужны, не ценны. Негероические одиночки, антигерои. «Все люди радостны… только я один не выставляю себя на свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир…». Луч Духа бьет в бубен мозга: «и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня». Искусство – маска, а за маской Дух. «А под маской было звёздно». Но и реальность – маска, майя. Талант – больше тебя, тайна, зарытая глубоко в чистой земле Будды. Семь броней Софроницкого. Вождь враждебной рати, всегда закованный в броню. Дух блуждает в туманах родимого хаоса, ищет шкуру великого тигра, а находит гравюру Вильяма Блейка. Эта форма ему по духу, яростное сердце удовлетворено. Его обступают бесчисленные образы его фантазии, одолевают все эти неукротимые призраки, требуя, чтобы он дал им воплощение, дал полнокровную жизнь. А ты кто? Тот, кого не беспокоят? Ты только – выбор и отбор. 20 декабря. Закончил «Прогулки в лесу», 701 с. Издать – бог весть когда, об этом рано думать.

Истина слова – лаконизм, удар точно в сердце остро отточенным стилетом стиля. Большие объемы громоздят горы пустой руды с редкими дарами золотых жил. Знает нутром, отродясь, от своей вещей силы. Кто стоит за словом? Знак Зеро? Зеркало? Я и Оно, прямое сообщение, без посредника, третьего не дано. Цель и цельность. Этот чудный магнит внутри так выстраивает из слов узоры фраз, чарующие чудеса, львиный рык, рев водопада, шепот, робкое дыханье, голос грозы на Синае, раскаленные добела, мигающие зрачки молний. Героическое напряжение всех твоих экстремальных сил. А размагничен твой чистый гений – жди скуку тусклых строчил.

Невский, «Ноты», предновогоднее. Сбежал с пьянки в Союзе писателей и долго сожалел, тоскуя, страдая от одиночества. Глупо, конечно, а вот… «Кто сможет сделать так, чтобы были записаны слова мои! Кто сможет сделать так, чтобы они резцом были высечены в книгах…». Эх, ты, многострадальный Иов. Сбросить все лишнее, оставить семь тварей в ковчеге, семь цветов и семь звуков. Дух носится над хаосом и выдыхает видения чудесных, невероятных миров.

Встреча с Сашей Старовойтовым, опять он подарил мне пуд бумаги. Тащу сумку на плече, печальный: ведь ничего я не напишу, зря дарит, бесполезно, не в коня корм, никакой я не писатель, я – пустота, вдох-выдох. Перешел мостик, оглянулся и ахнул в восхищении: метелки камыша светятся в лучах солнца, припорошенные снежком, серебристые, шелковые, распушась и раскачиваясь в дуновении ветерка. На рынок, продукты к новогоднему столу. Солнце над лесом, низко бьют лучи, это зимнее сияние. Один, безрадостно, Лариса болеет.

Все тот же древний формализм, форма кричит: «Вот я!» Скрываю свою внутреннюю свободу глубоко в себе, тщательно скрываю ее от чужих глаз. Моя душа – маленькая пугливая птичка, прячется в глубоком дупле и вылетает чуть-чуть попорхать только тогда, когда уверена, что никто ее не увидит, что она в полной безопасности. Такой человек для искусства не годен, не герой.

Январь, полнолуние, так ведь девятка, ее день. Вялая гимнастика, какая-то хворь сидит внутри, ломит все тело. Безразличие. Лариса с замотанной в белом платке головой – болит ухо. Капал ей в это ухо из пипетки и все не туда попадал, она сердилась. Читаю Блаватскую «Тайная доктрина». Все знание мира уже есть в каждой былинке, в горчичном зернышке. В метро, рядом со мной, решала кроссворд в журнале, вышла на техноложке, рыжий водопад, как у Тарковского в «Ностальгии». Адская ночь, под нами буянила пьяная банда до самого рассвета. Задыхаюсь, что-то с горлом, с легкими, весь мокрый. Бронхит ли это? Мрачные мысли. Никогда я не был так слаб. Отвлечься наедине с бумагой. Но мне надо быть уверенным, что я пишу нужную, необходимую книгу, что-то новое, неизвестное, знать, что это чрезвычайно важно.

Писательское собрание. На Невском Шейкин, хромает, опираясь на палку, в старом плаще с капюшоном, нахлобученном на голову. Высоко отзывается о моих книгах: я настоящий художник, живу исключительно правым полушарием. Мойка, сырой снег, Пушкин во дворике.

Скрытность. Но – с самим собой? Разве лист бумаги – это сцена, на которую смотрят тысячи глаз зрителей из зала? Разве я не уверен, что написанное мной на этом листе никто никогда не прочтет? Или, сознательно ли, бессознательно, я боюсь, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет, и поэтому не пишу открыто? Да, это возможно. Причина – глубинный, подсознательный страх. По сути дела я почти не бываю раскрепощен, открыт, откровенен, я прячусь и скрываюсь

постоянно, я почти всегда начеку. Может быть, у меня и нет потребности быть раскрытым, откровенным, мне безразлично, не важно, не нужно это, я в глубине сознания, втайне все о себе знаю, а выносить это вовне, даже для себя, даже и на бумаге, которую сожгу через минуту, я не хочу. Может быть, это стыдливость, целомудренное чувство – нежелание оголяться?

Пропало всякое желание писать, еще не пропало желание читать. Блеск древних символов. Тарковский «Иваново детство», несколько чудесных кадров: грузовик под дождем мчится, кузов, полный яблок, мальчик и девочка; яблоки рассыпаются по земле, их едят, наклоняясь и изгибая лебединые шеи, красивые вороные кони. Мальчик догоняет девочку, бегут, смеясь, по лучистой воде у берега, по мелководью. Мать удаляется.

Сила одного человека, гения, Гомер, Шекспир, накатывает, как гигантская волна, и накрывает своей мощью весь человеческий род.

На лыжах. Вечером в баню. В парилке и четверти часа не высидел, теперь не выдержать пара, пот ручьями, ослабел жутко. А старики 70-летние парятся часами, хлещут себя вениками и ничего им не делается. Железные старики. Тащился в темноте через парк, шатаясь. Едва доплелся до дома. Выпил пиво, «Невское», «Триумф». Опьянел. Мои радости. Живу при погашенной топке, но это нежизнь. Ученые придумали телескоп – может разглядеть черную дыру. Черная дыра – это гигантская черная энергия, не отдающая, а поглощающая, пожирает все, что попадает в сферу ее притяжения.

У февраля двойка, понедельник, мне 57. Купили бутылочку монастырского вина «Душа монаха». Гори, гори, моя звезда. Ямвлих «Жизнь Пифагора», пять лет молчания. У меня нет ни одного дара из тех, что перечисляют всезнающие оценщики талантливости, и тем не менее что-то нет-нет да и сверкнет. Вспомнил сегодня свою строчку: «В пистолете спящих восемь медных ос». Хорошая ведь строчка-то. Замечательная строчка. Есть чем гордиться. Метель. Полдня за машинкой, потом – лыжи, два часа бегал в вихрях бурана.

Каждый из них пишет то и так, как он о себе думает, что о себе мнит и как себе представляет и себя и свое писательское дело. Мнит, что понимает и уверен, что призван. Старая, как мир, история. Закончил печатать «Лопающиеся пузырьки». Отвез рукопись в набор, Васильевский остров, Средний проспект. Через недели две-три будет готово. Обратно шел с легким сердцем.

Жизнь сама себя пишет, ей надо себя записывать, когда ей это чрезвычайно важно, необходимо, когда она под током высокого напряжения. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем».

«По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». Только ведь рылом не вышел, форма черепа не та, дохлый орел за решеткой чисел. Орел и решка этого темного жребия, загаданные желания в свете небес высоких. «Зеркало» Тарковского, ливни, ветер, куст, музыка, стихи, Терехова, мокрые волосы, как у русалки, чан с водой, мальчик бежит, падает, пожар. Бог летит через космос, как красный треугольник огня. Так просто. Мистическая интуиция. И – страшный технический мир, ужас все возрастающей сложности, машин, наук, формул. Орфей и орфики – превращение музыки в число, в машину. У Орфея космос – музыка, у них – число, машинный шум. Война вертикали с горизонталью. Мистики – отказ от распри: «В час последнего слияния не проверь».

Март, сырая метель с утра, глухие сны. От меня в мире не останется и царапины. Малевич, черный квадрат, нуль форм. Хор живых и мертвых. Путаться в сетях знаков. Мерцание и дуновение. «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Сижу в зале с края у двери. Подходит толстощекий, румяный, громкий, протянул руку, знакомясь. Я ему тоже назвался, тихим голосом. Он не расслышал, переспросил, агрессивно. Я повторил. Он, громогласно: «Да, есть такая фамилия!»

Дух выдыхает слово великих речей. «Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих». Ты еще не мастер, ты – подмастерье. Тебе Ювелир дал в дар алмаз, чтобы ты превратил его в бриллиант. Игра мира в гранях бриллианта – семь цветов радуги Завета, Преображенье. Преобразователь, а не изобретатель. Резец и кисть – дар миру, или мир – дар резцу и кисти? Красота – свобода от темной материи, все то, что радо играть. «Только песне нужна красота, красоте же и песен не надо». Зеркало, лунный свет, отражение луны в воде, эхо в ущелье. Игра двойной души света – свобода ритма волны от рифов фотона. Врачи о Бальзаке, о неистовстве его работы: «Это распутство мозга».

Беллини, «Мадонна в лугах», синий плащ, спящий младенец, облака, бычок. Крики чаек на пруду, резкий ветер, апрель, Пасха. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Воздержаться от чернобелых клавиш. «Способность думать – это замечательный дар, но способность не думать – дар еще больший». Шри Ауробиндо. Жизненно важное дело грации и гармонии. Стою у раскрытого окна, одну щеку солнце греет, другую ветер студит; воробей чирикает; березы белоствольно раскачиваются; вдали между домов зелено-золотистое марево. Черемуха. С Ларисой ходили на почту, она несла на руках собачку

нашу Битюньку; резкий холодный ветер, церковь, густой дым костра. Разговор о космосе, о мистических явлениях.

Платонов, «Джан», орлиный клекот этой повести. Обыкновенное, незначительное действие наполнено огромным жизненным смыслом, огромной душой, прекрасной и яростной. Душа самого Андрея Платонова. «Потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться». Проводил Ларису до метро. Дождь, цветущие черемухи мокнут, яблонька протягивает бело-розовые бутоны из-за кирпичной стены. Прощаемся. Спускается по ступеням, ее черный плащ и шляпа, узкие плечи, ниже, ниже, исчезает эта траурная фигура. Траур по мне. Иду обратно, понурый. Грандиозный куст цветущей черемухи вздыхает, шевелится.

Дух грации не умещается в формах мира, кризисные состояния, экстрим, все, все, что гибелью грозит, бездны на краю. Знак (нота, для фиксации и указания), но под ним клубятся музыкальные туманности и грозы. Работа с чрезмерным и чрезвычайным, превышающим твои возможности, непримиримая война с самим собой, убогим и нищим.

Большая, дерзающая чувствительность не умещается в формы мира, хватает звезды с неба и делает из них открытия – открывает дверь в тайное тайных. Тонкая работа, паутинная, шепот крови, трепет атомов на другом краю вселенной. Ночь, почти, две бутылки пива, гулял под дождем, слегка пьян. Не так, не так пьян как прошлой весной, в мае, и трава не так зелена, не так. Я сильно изменился не в лучшую сторону. Мостик, пруд, мрак, дождь, темный дуб шумит.

Молочное небо, черемуха. Это еще май, у него еще три дня за пазухой. Психика таких одержимых (по Платону), огненная Психея, активность, сила, захват. Куда деть силу, к чему приложить? Она кипит и рвется наружу, туда, к чему призвана, к действию. Высокий уровень активности, взрывчатость, поток импровизаций, тысячеструнное сердце, голая гениальность, ее голая форма. Л. Толстой против Шекспира – реализм против артистизма. Отличительная черта старых мастеров – вещее знание, тайный, пророческий язык. Это тайный язык природы, человек перестал его понимать, на нем говорить. Творческая сила героична, самосожжение, священная жертва, игра силы на свободе. У меня жизненная сила маленькая, заурядная. А что есть? Способность к слову, упорство, умение сконцентрироваться, сосредоточиться на одном. Дарование ли это, талант? Я долго о себе мнил и жил этой иллюзией. Очень уж хотелось этого, вот и мнил и мечтал. Так – половина жизни. А скоро и конец. Всё, всё. Вот мой итог. Я всего лишь научился хорошо писать

(стиль), достиг достаточно высокого профессионализма и понимания в этом деле. Больше этого от себя ждать нечего.

Начал писать повесть, завершение милицейской темы. Как все сцепляется. Запись Олеши в его дневнике («Книга прощания») – о Голявкине. И вдова Голявкина – ее восторженный отзыв о моей прозе, ее запись обо мне в ее дневнике. Я в этой цепи, есть чем гордиться. Теперь я равнодушен. Пропала потребность писать, нет возбуждения. Безразличие, конец пути. Да, похоже, это конец. Я не способен замечать незамечаемое, то есть я вообще не способен что-либо замечать. Но это самое важное качество для писателя. Нет этого дара, так и писать нельзя.

Кинорежиссер Козаковский, фильм «Тише», документальные съемки, ливень за окном потоками по стеклу, голубь чистит перья, стена, лужи на асфальте, комочки тополиного пуха бегут, испуганные, колеса машины. Сначала видится как незнакомое, крупным планом, не понять, что это такое. В следующий миг незнакомое открывается как известное, но не совсем, а угадывается и тут же исчезает, полуузнанное. Потом другой кадр – то же самое, и так далее. Получается нечто странное, волшебство, завораживает. Эта громадная неопределенность не вмещается в знак. Невозможно сказать – что это, для чего? Проводил Ларису до метро. Пруд, поликлиника, цветущие каштаны, по всей улице до самого конца. Шел, задрав голову, любуясь. Солнце яркое, печет; жарко в теплой черной куртке.

Не оглянись! Пиши, не оглядываясь! Твоя душа Эвридика для тебя – невидимка. А оглянешься – испугаешься, одолеют сомнения: твоя душа покажется жалкой и низкой в мире блистающих, победоносных богов и героев. И пропала твоя душенька, твоя Эвридика, пропала навсегда. Июнь, одинокая прогулка по городу. Канал, церковь, золотые купола, ограда Михайловского сада. Я стоял в тени лип, две девушки фотографировали друг друга. Одна, белокурая, хороша, можно голову потерять. Вода в канале колыхалась, сверкая, тяжелый, мутно-коричневый шелк. Катера, Михайловский замок, двор восьмиугольником, Павел на троне, в сапогах, маленький, курносый, держит державу и жезл. Стрижи в голубом небе. Девушка под цветущими каштанами, желтая блузка, белая юбочка, ходила туда-сюда, разговаривая сама с собой. Неужели сумасшедшая? Подойдя ко мне близко, она тихо проговорила: «Не проходите мимо». Я ничего не ответил, только ласково улыбнулся, повернув к ней лицо, и пошел дальше. Красный пожарный кран, широко разинув рот, ронял из своей ржавой глотки струю, такую яркую и звонкую, и вода бесцельно растекалась по асфальту. Рядом, на гранитном постаменте, мрачный

Петр в черных латах тяжело восседал на своем коне, и голова его казалась рогатой. Желтые, душные цветы перед ним, на клумбах, пахли так приторно-пряно незнакомым мне, каким-то дурманным тропическим запахом.

Две створки этой двери в неизвестность: знакомое и незнакомое, между ними – открытие. Открой и еще раз открой, и узришь врата всего чудесного. Написать такую повесть. Магическая рифма Пушкина: «печальный – дальный». Часто повторяется, как заклинание. Лучшие его стихи, шедевры, с этой рифмой: «Бахчисарайский фонтан», «Не пой, красавица, при мне», «Что в имени тебе моем», «Для берегов отчизны дальной».

Всю ночь дождь. Кандинский «Точка и линия на плоскости». По длинной дороге до разлива. Сидел на пеньке у реки, тишина, сочная трава, кукушка в глубине леса на том берегу: ку-ку, ку-ку, сто лет жить. Эмилия Бронте, «Грозовой перевал». Гениальная Эмилия, бедная, чахотка, тоненькая, своенравная, огромные глаза, тяжелый узел черных волос на затылке. «Бог – это духовная сила человека». Это она сказала, это она. Мрачный фермерский дом, свирепые псы, окорока, громадные оловянные блюда, старик доит корову на дворе, светя фонарем. Метель, буран. Ночлег в странном ларе-чулане с окошками, старые книги в плесени, кошмарный сон, ель за окном стучит в стекло и царапает веткой с шишками. Кэтрин Лутсон, маленькая девочка, молит: «Впусти меня, я гуляла в вересковых пустошах дотемна и теперь мне не попасть домой».

Рушилось, грохоча, обрывки бешеной слюны. «А вы ноктюрн сыграть могли бы?» Дракон – не русское слово. Загудит с набережной – иди к нему под своды, там сухо. Они тяжелые, сквозное, чугунное крыло, на асфальте прочерчена глубокая борозда. Лопались, скоро выдохнется. Что это? Как они это называют?..

Стать нужным миру. А как же: «Ты сам свой высший суд»? Твой внутренний мир не нужен миру вне тебя. Это суд того, что вне тебя, над тобой. Но я этот суд не признаю. Или признаю?.. Нет, не признаю, никогда! Будь хоть сам бог! Потому что это чужой бог, не мой. Ибо он вне меня. Мой бог – это бог во мне, внутреннее, мой внутренний бог. Эта могучая жизненная сила не умещается ни в какие их рамки и факты, ни в какие их суды.

Дождь. Проводил Ларису на поезд. В платочке, в коротком светлом плаще, подпоясанном кушачком. Уехала с собачкой. Вернулся, затопил печь. Выпил бутылку пива, потом вторую. Приятный хмель. Стоял наверху у раскрытой форточки, созерцал закат. Уходит, кидая прощальные лучи. И вдруг замечаю, что – два

солнца! Точно! Но я ведь пьян. У пьяных всегда двоится. Так чему ты удивляешься, естественное явление: закат двух солнц. Протрезвеешь – опять будет одно. Ох, одно, одно, как твое одиночество. Потемнело в мире, стало холодно. Спустился, в комнате тепло, печь горячая. До часу ночи читал Брэма Стокера «Граф Дракула». Карпаты, мрачная ночь, волки воют, замок, старинная серебряная лампа с пламенем на ветру, длинные седые усы, бритый подбородок. Гордый старик. «Да – Дракула» отвечает он на мой вопрос.

Писатель, творческий контакт с жизнью, с чем страстно соприкоснулся, что глубоко врезалось, и теперь является к нему с куда более могущественной, страшной силой, демон фантазии и воображения; этот демонический дух, тысячекратно усиленный, тысячи образов, картин, сцен, форм, фигур, лиц, речей, историй, голосов подступают к писателю со всех сторон и властно, деспотически требуют, чтобы он всех их принял в свою душу и всем дал жизнь, требуют воплощения. Цветаевское: «Не надо ее окликать!» Ее – жизнь. Окликнешь – обрушишь на себя горный обвал. И должна быть могучая, гениальная сила пера, сила слова у писателя, чтобы он мог дать жизнь этому безмерному сонму духов жизни.

Герой отказа, дух максимализма и экстремизма, крест Голгофы.

В электричке, едем, горная гряда облаков, космическое зрелище. Наша златоволосая собачка у Ларисы на коленях, они с Ларисой стали похожи. Ул. Десантников, вид с 8-го этажа, закат над заливом, алое око. По рюмочке виски. Возвращался пешком, белые ночи, высокая, еще сочная трава на пустыре, казино, крутится гипнотическое зелено-красное колесо. Присутствие чего-то в воздухе, тайная весть с другого края мира. Введенский: «Сомнительность, неукладываемость в наши логические рамки есть в самой жизни».

Мощь и смелость не умещается в рамки, трусость слабых душ ищет опору в готовом. Магическая сила артиста, массовый психоз, рев восторга. Чистый, летучий дух, единение с сущим, Стравинский: музыка ничего не выражает. Крохи, подобранные со стола атлантов.

Дождь, парное тепло. Белые ночи. Проводил Ларису на поезд, вагон с разбитыми окнами. Уехала с собачкой на руках, как с ребенком, помахала рукой. Наша минутка днем. Еще они есть, эти минутки. Купил в магазине у платформы две бутылки пива, шел через лес, позвякивая сумкой, то ли счастливый, то ли с тоской. Вечером гулял, лучи закатного солнца между елей. У дороги блестит трава, белые цветы. Шумит ручей в канаве. Живое знание от Бога, состояние сознания у герметиков – пермандра. Месяц как в «Вие» у Гоголя, двоится. Беда с глазами. Иду спать на веранду. Там холодно, дрожу,

долго не могу согреться под двумя одеялами и полушубком, положенным в ноги. Свернувшись калачиком, думаю с тоской: до чего же холодно и дождливо в этом июне. Согревшись, засыпаю. Сны, сны до утра, ни хвостика не вспомнить при пробуждении.

Улетучиваются слова тайных внутренних миров. Сложная система сокровенных зеркал. Назвать вещи своими именами. Но они сами должны сказать свои имена, тебе надо спрятаться и подслушать, как они себя называют. Я вижу эту вычурность, ужимки талмудистов, возомнивших, что им дано право толковать и определять. Эрос, сила влекущая мужчину и женщину друг к другу, только эта сила и есть, минутки чуда, плюс минус. Этой силе не нужны названия и имена. Дух – то, что внутри; материя – то, что вовне. Эта сила идет изнутри – вовне. Дух – центр сферы. Граница сферы с тем, что вне ее – так называемая материя. А на самом деле это одно и то же.

Ларису увозили на машине, она сидела на переднем сидении с собачкой на коленях. «Час расставанья, час тяжелый» – сказала мне, прощаясь. «Не грусти». Помахала рукой. Машина умчалась по шоссе. Я остался один, в тоске, в смятении. «День смерти бабушки» сказала она. 4 июля, вой пилы, черные стрелы стрижей мчатся во все стороны в утреннем небе. Этот высокий голубой мир, я в нем никогда не бывал. Снится тишина, цветочный ветер с неведомых лугов, зной, благоухание, травяные волны катятся на нас, мы стоим, ждем, Лариса в голубой блузке с белыми ленточками на груди, загорелые руки, щурится из-под полей соломенной шляпы. Может быть, Толмачево.

Я люблю искусство за то, что оно не реальность, а отражение реальности, как зеркало, как эхо. Люблю зеркало, эхо и поэзию, которая по своей сути – зеркало и эхо. Это не копирование реальности, нет! Но это и не насилие над ней, ее насильное, агрессивное преображение, самоволие, произвол. Это нечто неуловимое, ускользающее, отблески и отголоски внутренних зеркал и внутреннего эхо.

Тот теплый июньский день, всплыло вдруг; облака, Мойка, швейная фабрика Володарского. Позвонил из проходной по местному телефону. Они вышли ко мне вдвоем, моя сестра Лена и она, Лариса. Тоненькая, изящная. Лица не помню. Мы стояли на набережной, о чем-то болтали. Они – веселые, возбужденные, рассказывали что-то, смеялись. Мне пора. Пошел по набережной в сторону моста, блеск Мойки, грохот машин. Оглянулся, они еще стояли, смотрели мне вслед, помахали рукой. Потом, через года два, когда мы уже с ней жили вместе, Лариса сказала, что я тогда произвел на нее

впечатление: загорелый, крепкий, пиджак на мне хорошо сидел, и эти плечи, эта широкая спина.

Этим же летом она приезжала к нам в Можайское. Начало июня, цвела сирень, день солнечный, жаркий, Лариса в голубой блузке, рыжие кудри, загорелое лицо, ее возбуждение, смех. Уходила, эта ее голубая блузка за калиткой; я обломил ветвь красной сирени и, догнав на дороге, подарил ей.

Осень, сентябрь, вернулась с юга, с Черного моря, из Абхазии. Бронзовый загар, стройная, как статуэтка. Приехали вдвоем с моей сестрой, поздно вечером, после работы, бутылка вина, пригласили меня за стол. Какие-то споры, я говорил раздраженно, Лариса не соглашалась, противоречила не менее запальчиво и непримиримо. Вышел из дома, разозленный, ночь темная, сад, ярко озаренное окно, слышен звонкий женский смех. Ох, как меня раздражал тогда, в ту ночь этот смех! Как он казался мне груб и вульгарен. Тогда я порвал с женой, вернулся сюда в родной дом и жил опять одинокой холостой жизнью.

Потом в ноябре, 8-го Лариса приехала с дочкой Леночкой, одиннадцать лет. День мрачный, мокрая метель. Плащ темно-зеленого, камышевого цвета, с капюшоном, намокший, в сырых хлопьях. Я помог снять, отряхнул, повесил на крюк. За столом сидели тесно, она с дочкой, я рядом с ней, слева. Кроме нас и сестры, мама и отчим Георгий Иванович. Старался коснуться локтем ее локтя, коленом ее колена. Потом оказались с ней одни в другой комнате, на диване перед телевизором. Это моя сестра так устроила. Сидели молча, в разных углах дивана, уставясь в экран. Я не знал, что сказать, ничего не шло на ум, кроме банальностей. Она тоже воды в рот набрала, сидит гордая, неприступная, ледяная, на меня и бровью не ведет. На экране (черно-белый «Рекорд»), что-то мельтешит, поют, пляшут. Я решил, что ничего между нами не будет, ну и черт с ним. И молчал, молчал… Это молчание стало уже катастрофическим, раскрыть рот и произнести слово казалось уже невозможно. Скрипнула дверь, к нам заглянула кудрявая голова сестры, улыбка, лукавый взгляд. «Идите-ка прогуляйтесь!» Всучила мне начатую бутылку вина и яблоко, подтолкнула в спину.

Ночь. Метель кончилась. В поселке ни огонька. Шли по безлюдной дороге, оставляя черные следы на сыром снегу, которые тут же наполнялись водой. Шли, шли, все также молча. Дальше начинался парк, холмы во мраке. Остановились, выпили наше вино, отхлебывая из горлышка, закусили яблоком. Языки развязались. Что она тогда мне сказала? Кажется: чтобы я не думал, что она кокетка.

Она вовсе не кокетка. Я предложил перейти на «ты». И вдруг: «Можно я тебя немножко поцелую?» Не дожидаясь ответа, схватил, стиснул в объятиях… Как же – немножко! А потом стал кружить ее на руках, а она смеялась и просила, чтобы я ее отпустил. Ночь словно бы сделалась светлей, дрожали в каплях сырые струны кленов, сырой снег, тая, рушился с шорохом с нагнувшихся сучьев. Я снял пальто и постелил на снегу под елью… Эта сырая ночь, талый снег, вершины холмов призрачно белеют. Что-то говорим, говорим. Не столько я, сколько она говорит. Она чувствует во мне удивительную чистоту, чувствует, что может мне довериться. Какое это счастье, когда можно полностью довериться человеку, без оглядки, не боясь быть непонятой и потом получить предательский удар ножом в спину. Она впервые встретила человека такой душевной чистоты, с которым можно полностью раскрыться. Мы оба такие, наша чистота – чудо. Да, чудо, что мы сумели сохранить ее в этом мире, дожив до 33 лет. «Но только…» – И она смотрела на меня так тревожно, так трагически: «До чего же все это хрупко, трепетно… Я боюсь верить в прочность брака, не верю. Поклянемся, что мы никогда не будем мужем и женой, никогда не будем жить под одной крышей. Привычка убьет чудо этой ночи, убьет всё, привычка – проклятье». И мы поклялись. Возвращались по тропинке, изрытой ручьями, пьяные, что-то лепетали. Она просила, чтобы я поцеловал ее в грудь. Грудь странно белела в контрасте с темной бронзой еще не сошедшего южного загара.

На другой день Лариса с дочкой уезжала. Мы с сестрой провожали их на платформе. День темный, промозглый. Лариса стояла, прислонясь спиной к ограде, этот ее камышовый плащ и капюшон, как у монашки. Я зачем-то заглядывал ей в глаза. Она удивленно спросила: «Что ты так мне в глаза смотришь?» Договорились, что я позвоню ей через три дня. Так она сказала. Подошел поезд. Помахала нам из окна вагона, ее тонкая рука, запястье из-под рукава. В тот день я бегал в парке по холмам, счастливый, и распевал песни.

Я позвонил, как договорились, точно через три дня, утром, из телефонной будки у вокзала. Как я верен своему слову! Что ж умалять свои достоинства – я всегда отличался необычайной точностью и тем, что всегда сдерживал свои обещания. Нет, я не догадался позвонить раньше, такое мне и в голову не пришло. Всего лишь недогадлив, а не потому, что расчетливый сердцеед, специально выдерживал паузу, чтобы сильнее разжечь у женщины страсть. Да, такие дела. А вот она страшно мучилась все эти три дня, почему я не звоню ей. С ней была истерика, рыдала навзрыд (так она потом мне призналась). Мое

поведение рушило ее представление о страстно влюбленном мужчине, который не в силах ждать такой срок, ему невтерпеж, он звонит на следующее же утро. Она не могла понять, не могла себе объяснить, кроме как тем, что я одумался, что я к ней безразличен, что это был порыв на одну ночь, а теперь я вернулся к жене, ведь у меня там, на улице Тухачевского, маленький сын. И все-таки я позвонил и услышал тот голос, простуженный, с хрипотцей, тревожный, напряженный. «Да, нам надо скорее встретиться. Сегодня, конечно». Решили, что я приду к ней, к ее фабрике на Мойке, к окончанию рабочего дня, то есть к шести вечера и буду ждать ее на набережной, если не будет дождя и мокрого снега, а то в проходной, где вертушка.

Холодный ноябрьский вечер. Не знали, куда нам деться, куда пойти. К ней домой нельзя, там полна коробочка. Ко мне в Можайское – что моя мать скажет, как ей в глаза смотреть. Нет, стыдно. Мы сидели на скамейке в Михайловском саду, ломали голову. Наконец, Лариса придумала: поехать на дачу к тетке. Зимой дача пустует, в Вырице, полтора часа на электричке. Тетка добрая, даст ключи. На выходные и махнем, с Витебского вокзала. Замерзли на скамейке в заиндевелом саду, как кочерыжки. В тот вечер, вернувшись домой, я рассказал маме, что нам с Ларисой негде встретиться наедине. Тогда мама предложила найти нам убежище, договорится с нашей соседкой Дусей, одинокая старуха.

В назначенный час я ждал в жарко натопленной комнате, которую предоставила доброжелательная соседка у себя в доме по просьбе моей матери. Я приготовился к свиданию: на столе три хризантемы в вазе, самые большие и пышные, какие я нашел на цветочном базаре у Балтийского вокзала, гигантская свеча-башня, купленная мной год назад в Таллине, бутылка дорогого коньяка, фрукты, конфеты. В нетерпении вышел на улицу, прислушивался, когда свистнет электричка у платформы, пришедшая из города. Этот ноябрьский вечер, мрак, талый снег. Вдруг как кипятком ошпарило: что же я стою! Надо ее встречать с поезда, там, на платформе! И я, как был, в одной белой рубашке, с голой шеей, непокрытой головой, в тоненьких бальных ботиночках помчался во весь дух по дороге, вниз, под горку, а дорога скользкая, ботиночки на гладких подошвах, как на лыжах по льду покатился. Люди с поезда идут, три-четыре человека. Вижу, в отрыве от них – хрупкая фигура, этот плащ ее камышовый, этот капюшон монашки, надвинутый на брови, торопится. Заметив меня, ахнула: «Ты? Сумасшедший, у тебя же голая шея!»

Я запер дверь на ключ и зажег свечу. Стол мы оставили нетронутым, не до того… Что же это как не удар молнии? Этот

обморок… Я даже видел, как между нами проскочила электрическая змейка. В середине ночи мы проголодались и принялись за трапезу. Потом вышли во двор, голые, Адам и Ева; Лариса в высоких сапогах на босу ногу. А ночь дрожит в каплях, молочный туман, таянье, дома поселка через дорогу, за забором, смутно… В ту ночь мы совсем не сомкнули глаз. Мы не вылезали из нашего логова трое суток. Толстая свеча-башня растаяла без остатка, растеклась и застыла восковой лужей в блюде. Мама моя стучала нам в окошко, приносила еду, горячую картошку в кастрюле, закутанную полотенцем. Я выходил к ней за дверь. Мама в этом своем неизменном деревенском ватничке, в пуховом платке, спрашивала шепотом: «Ну, что, затворники? Как вы там? Ты ее застудишь. Топи пожарче, не жалей дров». Лариса стыдилась моей матери, пряталась с головой под одеяло…

Потом мы стали встречаться у меня дома. Я уверил Ларису, что моя мать чрезвычайно к ней расположена и сделает все для нашего счастья. Все же Лариса не очень верила моим словам, она считала, что разлучает меня с моей женой и с моим маленьким сыном, разрушает семью, и моя мать не может не осуждать ее поведение, недостойное порядочной женщины. Конечно, такое поведение аморально, она страшно виновата, и перед моей матерью, и перед моей семьей. Ее терзала сверхчувствительная, болезненная до крайности совесть. Поэтому она не хотела попадаться на глаза моей матери. Мы договорились, что мама не будет выходить из своей спальни, когда меня навещает моя милая. Я встречал Ларису на платформе, она приезжала из города в переполненной рабочей электричке, мчалась ко мне сразу, не заезжая к себе домой. Воистину, она потеряла голову от страсти. Забросила дела, быт. Дочь оставила на попечение бабушки. Она потом призналась, что ее трясло как током даже от моей походки – как я иду враскачку, по-моряцки, покачивая крутыми плечами. Весь рабочий день только и думала о предстоящем свидании и горячо мечтала, как она опять окажется в моих объятиях. От этих наваждений она едва не теряла сознание, она в самом деле, реально с ума сходила. Я встречал ее на платформе, вглядывался в выходящих из вагона людей. И вот – она! Это ее всегда тревожное, взволнованное лицо. Она похожа на пугливую птицу, которая постоянно настороже, готовая улететь при первом признаке угрозы. Она порывисто бросалась ко мне, и мы торопливо шли, обнявшись, по темной дороге к моему дому. Но иногда она приезжала внезапно, негаданно, когда я ее не ждал. Я слышал торопливый, многократный стук в окно, отдергивал занавеску и видел робко, извинительно улыбающееся лицо, бледное, безбровое. Впускал, снимал плащ, пахнущий

сыростью. Она прикладывала палец к губам, просила шепотом, чтобы я не гремел и не разбудил кого-нибудь в доме, снимала свои сапоги на высоких каблуках и шла в мою комнату в одних чулках, на цыпочках, крадучись, как будто она совершает какое-то преступление. Но ведь она действительно была убеждена, что она преступница, разрушительница моей семьи. Но она и дня не может без меня прожить, как в песне поется, и вот: не вынесла душа муки – прилетела. Или ты не рад? Снег на голову?..

Так у нас было и в ноябре, и в декабре. Незабвенные наши ночки. Однажды, пьяненькие, мы посреди ночи, тайком, отправились гулять по поселку, забрели на замерзшее озеро, дурили, легли на лед и смотрели в зимнее звездное небо. Звезды кишмя кишели, серебристые, как рыбки, кружили над нами, сверкая чешуей, шевеля плавниками и хвостиками. И глаза у них с оранжевыми ободками. А тишина! Что называется – нерушимая. Только слышно, как под нами на дне шуршат водоросли и карасики сопят во сне, зарывшись в ил. А космос кружится над нами, и мы кружимся вместе с ним…

Лег в час ночи, не мог уснуть, слышал грохот электрички, этот железный вихрь, свист колес. Помчалась в город. Так это, значит, уже рассвет? А когда же спать? Мысли о смерти, гоню их прочь, а они возвращаются, черные мухи, жужжат, жалят. Не заметил, как забылся.

Максимум силы, полная свобода проявления, нет никаких преград. Титанический талант. Шестая раса, братья тени, тетрактис. Духи планет, влияние звезд на бедную душу. Нет душе покоя, нигде нет. Купался, гроза, камень мнизурин, прогоняет злых духов. Разве могучий дуб может вырасти из макового зернышка? Нет, никогда! Чудес нет. Я себя оцениваю трезво. Ждать от себя каких-то подвигов, звезд с неба? Моя роль ясна. Вечные розовые очки и струна в тумане. Осевая, орфическая струна, вокруг которой вращаются зачарованные миры. Тут правят число и форма. Одноразовые миры, чистая бесполезность. Андрей Платонов «Река Потудань», «Третий сын», «Фро», «Джан», «Возвращение». Платонов – большая душа, большое сердце. Последняя большая душа в русской литературе. Он видел душой, сердцем. А теперь артистизм, злой, волчий. Жизнь проста по своей сути, у нее самая простая форма: жизнь-смерть, начало-конец, тьма-свет. Жизни достаточно повторения этой самой простой ноты и не требуется никаких более сложных форм. Жизни по ее сути сложность не нужна, нет в ней никакой потребности. Суть жизни самой по себе проста и поэтому мистична. Вот почему – отшельники, столпники, пустынники, молчальники, дао, дзэн-буддизм, исихазм, суфизм.

Я долго о себе мнил, что я что-то там, и жил этой иллюзией. Очень уж хотелось этого, вот и мнил, и мечтал. Всю жизнь. А скоро и конец. Все, все. Вот мой итог. Черта подведена.

Едет в автобусе, пересаживается, меняет маршрут, блуждает по всему городу. Гроза, потоки дождя по стеклу. Он то в одном месте, то в другом, поднимается по лестницам, звонит в двери, спрашивает. Та, кого он ищет, жила когда-то в этом городе, полвека назад, ее давно уж нет на свете.

Август, мглисто, тучи. Улица в лопухах, этот больничный корпус, громадный, многоэтажный. Поднялся на 4 этаж, палата №18 в конце коридора, так сказала мне дежурная медсестра, молоденькая, с хвостиком на затылке, совсем еще девчонка. В палате одни старухи. «Мальчик к нам пришел!» – воскликнула одна из них. Мама сидит на кровати, свесив ноги. Кровать высокая, а мама маленькая, ноги не достают пола. Обрадовалась мне, поцеловались. Показала свои ноги, опухшие, отек. Делают уколы в вену. Стала рассказывать, что затеяли покрыть крышу новым железом, воодушевилась, глаза сияют. Строители уже приходили, смотрели, просят за работу 11 тысяч. Может быть, она новую крышу на нашем доме еще увидит. Прощались. Мама встала, она такая маленькая, мне по грудь. Платок этот у нее на голове, беленький, завязанный по-крестьянски, как в деревне, цветной халат.

Сделал ставку на слово, на литературу, сам себя сделал. Проявил большую силу и поэтому сделал из себя нечто в своем деле. Что это – сила желания, сила воли? Помимо силы таланта необходимо сознательное, волевое усилие. Слишком себя жалел, разнеженность, по воле волн и настроений, как сердцу хочется, – таков и результат. Ноль, ничто. Вырвался два раза петушиный крик, раз – в стихах, раз – в прозе. Вот и все. Склонялся перед гигантами, перед этой титанической мощью. А сам?..

Некая мировая молния, неуловима, всегда ускользает, и здесь и не здесь, не знаешь, где и когда ударит, не знаешь, где она сейчас, но она всегда тут, и всегда бьет в самую точку, в центр жизни, в сердце. Девятая глава Иезекииля. Человек в льняной одежде с прибором писца на поясе.

Выпил пива и гулял во мраке. Сырые звезды дрожат, мироздание, грозди созвездий, как всегда, как в августе. Сила песни, орфическая сила песенных чар, этой силе подчиняются все, без исключения. Чары певчего, ритмического слова. Слово поет внутри себя. Дух поет и танцует, бог поет, эта магия во всей природе, в космосе, хороводы светил чудными узорами сплетаются и расплетаются в бесконечных

пространствах. Услышав впервые стихи, я был соблазнен этой поющей сиреной поэзии. Но поэт ли я? Так, искра малая. И разве одному мне поют соблазнительницы сирены? Я из тех, кому природой заложено – соблазняться.

Вечером гулял под дождем, до разлива, там, где семь сосен на берегу, семь сестер. Обнял самую большую, прижался щекой к ее бронзовому стволу, к шершавой, смолистой коре, долго так стоял. Тишина, забор этот, листья сырые над ним колышутся во мгле, и я еще живу, еще дышу. Какой я маленький рядом с этой гигантшей, с этой могучей жизнью. Пора в обратный путь. Иду, иду, спотыкаясь, огни в домах. Один я такой в непогоду шляюсь. Лягушки на дороге прыгают у меня под ногами во мраке. Эти самозаписи пропадут, жаль, не жаль, лопающиеся пузырьки. Я кожей ощущаю мою безымянность. Что я написал? Несколько искренних фраз, они-то мне и дороги. Моя струнка, как я есть. Но все пропадет. Очевидность. Теперь я в этом убежден, твердо уверен. Я нужен миру не более, чем эти лопающиеся пузыри в луже.

Страшный непесенный, механический мир. Куда убежать от диктата и тирании знака? В музыку? Без разграфленных линеек с насекомыми нот?.. Одиночество – орфическое состояние, узор и звон. Зуд честолюбия, сибарит, наркоман очарований. А ты пойди и победи. Эта сила – великий импровизатор, она всеведуща, она знает то, что ум и сознание не знают, даже и не подозревают об этих тайнах, им это и не снится. «Оставь сущее, погрузись в отсутствующее». Плотность слова у старых мастеров. Теперь слова размазывают по тысячам страниц.

Я лежачий камень на берегу океана жизни; океан шумит, блещет, волнуется, накатывается на меня, волны жизни что-то приносят ко мне, какие-то обломки кораблекрушений. И я догадываюсь: о как громаден океан! Как огромна жизнь! Чего там только нет! И никогда я это не увижу, не узнаю, не встречусь! Только и есть у меня, что гадать по этим осколкам о неведомых странах, безднах и бурях.

Критерии и корни вещей. Единственно верный определитель – излучение изначального сердца. История эта повторяется бесконечно, эта пара, и эти роли. Платон и Сократ. Помимо моей воли, жизнь сама дала. То, что сделал, милицейские рассказы, пока была сила самолюбия и честолюбия, я и трепыхался, и горел, хотелось сделать себя на мировом уровне, в мировом масштабе. Замах могучий, на бессмертие в веках! Вот и взлетел петушок, кукарекнул разок-другой. А думал – орел. Все мечтал написать книгу, которая удивит и

потрясет весь мир. Опьяненный великой мечтой, бежал по этой дороге гигантов, пока мог, и пал без сил, рухнул, как загнанная насмерть лошадь.

Время связывать и время развязывать. Ведь все, что есть – связь или несвязь. Книга развязывания узлов. Все знание сосредоточено в точке. Знающий, когда и где поставить точку. Могучая сила точки, свобода от всего, что вовне. Образ бессловесен, сам за себя, но писателю надо перевести его в плотность слов. Ум крутится, как белка, в колесе понятий, им же созданных.

Лариса, ее жалобы. Проснулась посреди ночи и начала думать о жизни: что же с ней дальше будет, как она будет жить. Эти черные мысли о старости, о грядущей беспомощности. Никак не могла уснуть до самого рассвета. Эти мучительные мысли лезли в голову, не давали ей ни минуты забытья, жестокие, беспощадные мысли.

Весь день красил крышу, страшно устал. В темноте вышел на шоссе встречать Ларису. Луна! Встает на востоке, там, за железной дорогой, над елями. Огромная, желтая. Час последнего беспамятства. По шоссе спешат две фигуры, с поезда. Не то, не те. Лариса не приехала. Сегодня 1 сентября, годовщина нашей свадьбы, 15-я. Космос кругом, его огненные шары, его узоры. «Звезды – невод, рыбы – мы. Боги – призраки у тьмы»

Я – рыбак, плету сеть из слов, закидываю эту сеть в море. И что же вылавливаю? Селедку, салаку, то, что испокон веку ловят рыбаки, обыкновенную рыбу в обыкновенные сети. Золотая рыбка не попадается. Может быть, сеть не та, надо сплести какую-то необыкновенную сеть, из каких-то чудесных слов и необычным, неслыханным способом? Или это не тот рыбак и рыбы не те? А есть – Рыбак-Слово и рыбы-души. Сеть из самых простых, самых обыкновенных слов, вечных слов, сплетенная самым обыкновенным, извечным способом, у такого Рыбака, ловца душ, становится магической сетью. Уголь мечтает стать алмазом.

У слова есть свой абсолют: «Из песни слов не выкинешь». Или воздержание, или безудержность. Сказ, указ, отказ. Активность: вопрошают, без удержу задают вопросы. Я этого полностью лишен, никогда не было потребности задавать вопросы. Нелюбопытен, не пытлив. Безразличие, по ту сторону, потусторонний, посторонний. Спрашивали – отвечал по необходимости, без энтузиазма. Уму нужна опора, притяжение. А дух на свободе, опоры нет, не нужна, невесомость, летает. «По наважденьям моим как по мосту, с их невесомостью в мире мер».

Можно ли представить такой мир, где все по принципу исключительности? Мир, как некий магический калейдоскоп: каждый раз новый, ни на что не похожий, неповторимый строй и узор, все в корне другое, и так без конца. «Я люблю все, чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет». Одноразовость, отсутствие повтора, не успеваешь привыкнуть, узнать, осознать, понять. Не с чем сравнить, сопоставить. Есть только сам принцип смены, повтор только в том, что это каждый раз нечто в корне другое. Такой мир трудно представить. Жить в нем было бы невозможно. Это был бы какой-то чудовищный калейдоскоп катастроф восприятия. Разве что кошмарный сон дает намек на такие фантастические возможности. Зачем мне это? Мне достаточно мистики пустого пространства, этой неизменной основы.

Вижу то, что видят все, – Ничто. Те, кто утверждают, что видят то, чего никто, кроме них, не видит, – жертвы Майи. Смотрю в точку и вижу все ту же точку, поставленную Ничто. Nigil. Огонь – наивысший артист мира, один и тот же завораживающий, магический танец. Вот вечное зрелище!

Гамсун, «Последняя глава», конец сильный, спасает весь роман. Ночной пожар в санатории, самоубийство, жена приехала на одну ночь, чтобы вернуть мужа домой, и сгорела в огне. Та самая мистика страсти, за что я и люблю Гамсуна, его гений. Только это и ценно, эта струна. Гамсун, крестьянский сын, прожил 93 года. В 90 – дневниковая книга «На заросших тропинках», блеснул под занавес его прощальный луч. Гений Гамсуна прощался, его мистическое шестое чувство. Писать, и так писать в 90 лет – исключительный случай в литературе.

Все дело в микровосприятиях, то, что называют – детали. Но слово «деталь», не годится, оно конструктивистское, машинное, а тут – мимолетность воспринятого, фиксация мгновенных микровосприятий. В этом жизнь прозы.

У Пастернака «Вокзал», «Метель» («В посаде, куда ни одна нога…»). Чтобы вырваться из плена чужого стихосложения и стиховой психики нужна опора на что-то другое. Другой слой речи, который еще не использовали в стихах, просторечие, физиология, то, чего небывало, резкий поворот руля в какую-то такую сторону, куда еще никто не поворачивал.

Сознание своего «Я». Не будь сознания, все силы теряют центр и опору, впадают в хаос, делаются безумны. «Не дай мне бог сойти с ума». Но высшее сознание не ум. Высшее сознание – интуиция. Интуиция может казаться безумной, вне центра. Но это не так, центр есть, только он скрыт, незрим для ума. Интуиция и есть высший ум.

Вернулся в город, в квартире сыро и холодно. Спал под двумя одеялами и шинелью. Шинель толстая, тяжелая, согрелся. Наша собачка собралась рожать, животик большой, смотрит тоскливо. «Весна священная» Стравинского, ржавая листва, южный ветер.

Музыка – это таинство и разорение. Дыхание других планет. Есть закон магической силы, он никогда не действует зря, а только по строгой необходимости. Этот закон действует во всем космосе, также и на Земле, одной из точек космоса. На Земле он действует в земных формах. Так этот закон магической силы действует и в искусстве. Строго, как математическая формула, но это не формула, а сила. Сила – таинство, она не измеряется формулой. Тут в определении этой силы действует интуиция, внутренняя гениальность, точность чутья, абсолютный слух (в космическом смысле). Этой силе нет преград. Но для проявления себя, для своего действия ей необходима опора – звук, ритм, форма. «Музыка – божественная энергия, творящая мир». Шёнберг. Художники, которые творят мир, и художники, которых творит мир.

Сила людей видна издали, как свечение звезды. Чем сильнее человек, тем он виднее при равном удалении во времени и пространстве. Подробности жизни и дел этого человека на таком удалении уже не видны, исчезли, а только светится его сила. Этот человек стал легендой, мифом, стал звездой мира. А пока он вблизи, сколько ненужной шелухи крутится вихрями и смерчами пыли, затмевая глаза. Все, все шелуха в конечном счете. И книги, и картины, и музыка, и подвиги – только плоды этой таинственной силы. Единственная ценность – сама эта сила, звездная сила в человеке.

В одном звуке, одной линии, одном движении танца, одном слове – весь, сполна отклик на мир. Поэт – это тот, кто откликается, он весь – отклик. Его суть и назначение – отклик. «Тебе ж нет отзыва». Миру нечем откликнуться на эту мистическую суть поэта, у него нет такой силы и такого органа. Вся сила отклика предоставлена поэту.

Бегал за деньгами, сберкасса закрыта, дождь, ливень, опять солнце, проспект блестит, толпа, машины. Этот ломбард, почта, аптека, что я тут делаю, зачем все это? Как бы хорошо было со всем этим кончить и не томиться тут долее. А вот, все чего-то кружусь, мечусь, жду, ищу. Пустые дела, пустые дни. Я живу, да. А зачем я живу? Куда стремлюсь? В метро морды, поток морд, вверх-вниз, весь день. И я – морда среди морд. Путь вверх и путь вниз – один и тот же путь. Васильевский остров, Средний проспект все также разрыт, как зимой, ремонт у них, вечный. И этот холодный ветер, тополя, еще зеленые, шумят, сентябрьское голубое небо, облаков летучая гряда. Сад,

решетка, институт, тот самый, куда тебе надо. Не попади под колеса. Вот они, твои великие творения, твои «Лопающиеся пузырьки», весь тираж везу на тележке.

Музыка в свободном полете, зачем ей философский камень на шее, тянущий на дно мудрых реторт. Прокл, его числа-боги. Разве удастся умереть в минуту радости? Ничего не знать о себе, не задумываться, распевать песни. Двойка, выйдя из единицы, начинает видеть себя в зеркале двоящихся смыслов отражения, а, увидев себя, начинает рассуждать об увиденном двойнике. Она чрезвычайно возбуждена, и в отличии от безотчетной единицы, она мыслит отчетливо и отчетно, она в отчете за все происходящее во всех мирах, реальных и нереальных. Интуитивная память о космической жизни сожженного на костре Джордано Бруно. Ускользающее от наблюдения постоянное искривление-изменение силового поля космического Целого. Разуму неподвластно. Можно только быть участником. Каждый человек находится в силовом поле всего человечества. А само человечество – в силовом поле всего космического Целого. Точки, где сила сгущается – Гомер, Шекспир, звездные часы человечества. Двойка видит мир двойственно: как две стороны одной древней медали. С одной стороны – единое нераздельное Целое, с другой – множество в бесконечности различий. Какой стороной повернет медаль, так и видит. Два этих виденья взаимоисключающи. Двуликое единство, Янус, ян-инь. Война кривых с прямыми. Люди – штамповка множеств с Адама, первого человека, Адама Кадмона, первичной уникальности.

«Бесконечное Бытие подобно светлому кристаллу, который принимает в себя все цвета и испускает их опять, однако это не портит и не уменьшает его прозрачности и чистоты. Оно подобно бриллианту, который поглощает свет, окружающий его, и сияет в темноте, испуская его». Ману. «Ничто не истекает из Самого Бога – Его субстанция совершенно не изменяется. Ничто не выходит из Него и ничто в Него не возвращается… Все это начинается, появляется, течет и проходит в тени Его. Сам по Себе Он непреложен в Свете Своем и пребывает спокойным, как старое вино, которое не пенится, а спокойно покоится на дрожжах своих». Сифра Дзениута. «В самой сущности нет действия. Ибо хотя силы, посредством которых она действует, вытекают из основы души, в самой основе – одно глубокое молчание. Только здесь покой и обитель для того рождения, для того, чтобы Бог Отец изрек здесь Свое Слово, ибо эта обитель по природе своей доступна только Божественной Сущности». Майстер Экхарт.

Осень, дорога, красный забор и луна в елях. Странная, беспричинная радость весь день.

Артистизм – кратчайший путь кривая, а не прямая. Весь спектр возможных искривлений, отклонений, неправильностей правильного, игра артиста. Сам Бог – великий Артист, а мир – Его игра. Суть мира музыкальна, а не математична.

Вечер, сыро, ребрышки шпал. Синяя заря гаснет.

Замыслов может быть много, это сперматозоиды, ум, мужское; а родить книг сможешь только немногое из всех замыслов, немногие будут оплодотворены, это женское, ведь на рождение книги работает весь организм, тут огромная затрата сил всего организма.

Мир чар, магическое (магнитное) силовое поле Орфея. Я попадаю в это поле, и оно действует на что-то во мне своей магической силой, я очарован, намагничен и сам начинаю излучать эту орфическую силу. Подобное притягивается к подобному.

Запрограммированность восприятия. Где мое, где чужое? Тот, кто знает сам то, что никто ему не говорил и чему никто не учил. Самое страшное – шаблон представления о себе, эта догма, этот образ себя, который ты сам себе создал и только так себя представляешь. Надо быть свободным от догматического образа себя, оставлять возможность живого, неожиданного взгляда на себя, открытия неизвестного себя. Твой природный ритм, пульсация, подсознание. Подключенные к силовому полю всего человечества, эти великие чувствительные души, слитые с душой человечества, с мировой душой, одно целое с ней, их все ранит, они – само сочувствие и сострадание. Отклик такой души на страдания человечества. Придите ко мне все униженные и оскорбленные.

Маги, властители душ, непоколебимые, как скала, смотрят высокомерно, устрашающе. У, как страшно! А вглядишься – пугала, чучела, набитые мусором.

Болезнь сосредоточенного внимания. Эдгар По. Пишет некое неизъяснимое свечение и звучание. Это нечто сквозит и излучается сквозь слова. Луч молчания.

Гулял в парке у прудов. Холод, вечер, золото это, мглистость, октябрь. Еще круг, невеселые мысли о безвестности, обреченность моего имени на забвенье. Глупо, а вот думаю, мучаюсь. Жизнь не удалась, ничего не удалось из того, о чем мечтал, к чему стремился. Что ж, лопающиеся пузырьки. Ничего изменить нельзя, нет оснований для имени, нет такого дара. Так о чем беспокоиться. Успокойся, успокойся.

Великие писатели, властители душ и дум, люди попадают под власть их книг. Откуда эта власть? Сила воображения, мощь духа, энергия. Люди влюбляются в эту энергию, в эту гипнотическую силу. Гоголь – музыкально-живописная душа, дух артистизма.

Как писатель, я абсолютно сложился, поэтому никаких оценок и определений себя не принимаю, никакого суда над собой. «Ты сам свой высший суд». Ничей суд меня не собьет и не поколеблет. Только, если замечания по стилю, по технике. А если кто-то отрицательно оценивает в целом то, что у меня с моей точки зрения абсолютно сделано, значит, мной написанное ему чуждо.

Чайка-сабля, блеск рассекает это небо, Нострадамус «Центурии», три короны, Скрябин, мировая мистерия, лазурные валы Индийского океана, еще не конец, но скоро, последний танец, всеобщие объятия, хор с сомкнутыми губами. Возрождение, новые миры. Или на тебе играет эта орфическая сила, ты инструмент, звучащий музыкой, которую из тебя извлекает этот, неведомый тебе музыкальный дух; или ты сам эта сила, играющая на инструменте.

Иду грустный, между домами, нюхая хризантемы, купленные у метро. Сегодня наша дата, 8 ноября, четверть века назад. Боже мой, четверть века протекло! Как давно это было!

Встреча с Костей Крикуновым на Васильевском острове, его новая книга «Ты», журналистика, интервью. По закусочным, водка, пьяный. Обещал свезти мои книжки Айги. Знаком с Айги 6 лет. И предисловие Айги к этой его книге. Я надписал свою книгу «Лопающиеся пузырьки» просто и кратко: «Айги – от Овсянникова». То есть – на равных. Но ведь это верно, это мое самосознание мастера, у которого нет пустословия.

Он уже сразу все знает, так что ему нечему учиться у других, он знает больше и лучше своих учителей. У него врожденно заряд гигантской активности, и стоит его погрузить в жизнь, как в колбе его психики начинается чудовищно бурная реакция. У обычных людей эта реакция весьма слабая, вялая, что-то колышется, чуть булькает. У него – кипит и взрывается. «Кипучая бездна огня и мечты». Иван Козлов о Байроне.

В литературе я люблю нечто, чему нет слов, что не литература. Как у Лермонтова: «В разбитое стекло врывался морской ветер». Вот, когда стекло слов разбито, литература разбита, и в дыру врывается ветер и вихрь откуда-то Оттуда. Есть разные измерения письма. То, что все они пишут, хоть реалисты, хоть модернисты и авангардисты – это литература двух или трехмерная, плоскость письма, письмо плоское. И есть четвертое измерение, или пятое, шестое – это

литература совсем иного рода, как на другой планете. То самое «разбитое стекло» этой земной психической плоскости, в которое врывается ветер неизвестного, неземного, иных миров. Вот и вся разница и только-то. Мы с разных планет. Так о каком понимании может быть речь. Их плоский, двухмерный глаз, глядя на четырехмерное письмо, порожденное четырехмерной психикой, видит только то, что способен видеть, то есть – только плоское, двухмерное, и только так и оценивает, и определяет, и судит. Они говорят и пишут абсолютно те же слова, абсолютно о тех же вещах, те же мысли и те же образы, но все это находится в плоском поле их двухмерной психики. А за теми же словами, образами, мыслями носителя многомерной психики стоит Нечто, и я всегда чувствую излучение этого Нечто. И это мистическое чувство – единственная для меня настоящая ценность в мной прочитанном. Все это очевидности и банальности. Ясно как гамма. И тем не менее, колеблюсь, шатаюсь, ищу опоры. Это от одиночества и сознания непризнанности, безответности. Молчание могил. Один – и кругом молчание. У Альфреда Шнитке: «У меня чувство, что то, что я делаю, это не я делаю, это уже сделано, это уже есть… Я чувствую, меня ведет какая-то сила».

Женщины живут в мире запахов, они чувствуют запахи во сто крат сильнее, чем мужчины, запахи для них чрезвычайно важны, это их жизнь. Сексуальная привлекательность – это запах тела, вырабатывается особой железой, он неуловимо действует на подсознание, и человек не может объяснить и не знает, почему его влечет тот или та. Тяга друг к другу или отталкивание определяется этим неуловимым для сознания запахом. Сила физической привлекательности заключается в этом запахе. Над женщинами эта магическая сила запаха властвует во сто крат сильнее, чем над мужчинами; для них красота мужчин определяется бессознательно этим запахом.

Илиада Гомера – древний боевик, написанный гекзаметром, система развернутых сравнений, и вся древняя жизнь, и герои, и громкость имен, и блеск силы, и мощь картин. «В дом отойду Океана, глубокие льющего воды».

Звонок Шейкина, восторженные хвалы, говорит, что я уникальное явление в русской литературе. Гуляли в сумерках по гололеду. «Нестор, конник Геренский». Пружина гениальности, заложена при рождении; брошенная в мир, в жизнь, разворачивается со страшной быстротой, с чудовищной мощью, смерч, спираль бури, от нее все шарахаются в ужасе. Привыкнув, рукоплещут, шум на весь мир,

увенчивают лаврами, ставят памятники. Вавилонская башня банальности. Все формы выходят из одной Формы, все образы – из одного Образа, все звуки – из одного Звука, все слова – из одного Слова, все мысли – из одной Мысли. А мыслит ли сон? Сон не мыслит, он только художествует, это чистый артист. Он сколько связывает, столько и развязывает. Он – Пенелопа и ее пелена, что соткет, то тут же и распустит.

Вечер Кости Крикунова в кафе на Гороховой, девушки на тюфяках. Костя читал в микрофон свои стихи и прозу, волновался, голос дрожал. Саша Ильянен обо мне: «Да, он большой мастер, он-то настоящий художник». Вечер кончился, они пошли пить водку куда-то в котельную. Мы с Ларисой побрели к метро на Сенной, метель, пушистый снежок, мрак, огни. По пути купили полкило сливок, рыбу, хлеб и баночку икры, – к новогоднему столу.

Среда большого огня, чтобы выжгло то, что нужно выжечь. Живу в своей норе, редкие вылазки куда-то в город, и опять прячусь поглубже в свою нору, и так вот живу, год за годом. Образы действуют на что-то в человеке, также как музыка. Но образы – неверное определение. Уже Анненский об этом сказал. Образы – что-то обрезанное, очерченное. На самом деле – это некая музыкальная форма зримости, то есть – некая зрительная бесконечная текучесть, как звучание музыки в переводе на зримость. Недаром попытка цветомузыки. Стихи, поэзия – и есть такая зримая музыка. Есть и такая проза. Но такая проза – та же поэзия. Гоголь и назвал «Мертвые души» поэмой.

Дочитал Илиаду. «Так погребали они конеборного Гектора тело». Титанический подвиг Гнедича. Его гекзаметры звенят бронзой. Этот великий, неопределенный, бесконечный образ, вложенный в психику художника такого титанического типа. У каждого такого свой титанический образ. Это прежде всего и чувствуется в них, и они сами так чувствуются, их образ. Должно быть, так чувствуется вселившаяся в них космическая сила дарования.

Звонок Алексеева, пьян, говорит: «Должен тебе признаться в любви. Какое мне счастье под старость, что встретил тебя. Ты настоящий художник, ты в моем сердце». Лестно, конечно, и все это меня очень тронуло. Я не избалован хвалами.

Вечером в гостях у Шейкина, оказывается, хохол, дед его был Шейко, обрусил фамилию. Милые люди, и жена его, и внучка, филолог, китаеведка. Петроградская сторона, ул. Ленина, старый дом, квартира, чугунная люстра, камешки из Крыма, пили кагор. На стене карта страны, красными кружками, где он путешествовал, геодезист.

Написал книгу о рейде Мамонтова. Фановая труба, обклеенная коньячными ярлыками.

Опять звонил Алексеев, восторги: «Ты, Вячеслав Александрович, настоящий художник! Ты для меня новогодний подарок! Самый прекрасный новогодний подарок! Обнимаю тебя!» Да, конечно, слышать это радостно. Прочитал несколько его маленьких вещей в сборнике, который он мне дал на чеховском вечере. Есть чистая, подлинная струна. Пишет от сердца, как поется. Но очень неровен, хаотичен. Говорит: «Я больше всего люблю родину и литературу». Чудак, чудак. Что он, что Шейкин, два чудака-романтика. Шейкин старше меня на 23 года (в отцы годится), Алексеев старше на 7 лет.

У Алексеева хаос, перехлест, вихри, мало формы, рыхло. Эта трагическая нота существования, как у Блока: «И всматриваясь в свой ночной кошмар, /Строй находить в нестройном вихре чувства». Вот строй (форма) у Алексеева и не обретена, вихри чувства остаются хаосом. Искусство – это вихрь, порожденный сердцем художника, большая эмоциональная и поэтическая сила. Но вихрь, обретший форму, строй, гармонизированный. Нет вихря – нет искусства, будут безжизненные конструкции, мертвечина. Но и вихрь без формы – муть чувствительности, пыль столбом, графомания, дилетантство.

Стиль, которого я добиваюсь: ускользающая, тонкая филигранность, и психическая, и письма, музыка слова. Одномоментный образный удар в живую точку, равный одному звуку целой музыки жизни. Из этих точек я составляю поток целой музыки жизни, ее ускользающую филигранность звучания. Пушкин Вяземскому: «Поэзия выше прозы». Партиты Баха в исполнении Глена Гульда. «Сей человек несравненно могучее всех человеков». Сумерки, соломенные струны, склоняясь, дрожат у мостика. Пишу милицейскую повесть.

Беспредельная зрительность равна беспредельному звучанию музыки. Вагнер, бесконечная мелодия. Предметность беспредельной зрительности смотрится-звучит как беспредметность, как музыка. Это и есть бесконечный, неопределенный образ-звучание. «Нет, Пушкин, рок певцов – бессмертье, не забвенье». Бедный Дельвиг, друг бесценный.

Позвонил Хохлев, похожий на тихую сову, автор пошлой сказочки, которую расхвалили в Союзе писателей. За эту сказочку его приняли в Союз. По рекомендации его покровителя Смирнова-Денисова. Тоже спортсмен, бегун. Высказал свои впечатления от моих «Лопающихся пузырьков». Заложил закладками, что ему понравилось. Читал он, по его выражению, не как у меня написано, а

чтобы увидеть душу автора и шевеление мыслей. Ну, увидел. Ассоциативное письмо, поток сознания и т.д. и т.п. Набор банальностей. Самомнение до небес. И это говорит человек, не умеющий писать, марающий какую-то пошлую, слюнявую пачкотню, от которой все визжат от восторга.

Чтобы сказать все о мире, хватило бы одного слова. Но где его взять, заповедное? Слышали его звон да не знают где он, тридцать птиц, каждая из них слышала только частичку этого звона, свою частичку. «Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль». Мгновение длится. Самое большое мгновение – вечность. Это – Мгновение с большой буквы. Жизнь – это одно большое Мгновение, единственное и неповторимое. Один день Будды. Шествие теней. Слово – некий объем зрительности, звучания и ритма. Сказать – это сообщить или явить некий объем так понимаемого слова. Минимум или максимум объема слова – короткий (малый) или длительный (большой, колоссальный) вихрь. От трехстишия хокку до многотомной эпопеи. Хокку (микровихрь) и Махабхарата (буря на сто томов) – равны. Артистическое восприятие – змеистые кривые геометрии Лобачевского. Гибко-зеркальный Змей, текучий, кусающий свой хвост. Все мы в этом магическом круге. Кому доносятся знаки и звуки извне, из-за сжимающего нас кольца Уробороса? Иллюзия трепещущих нервов, этих страдальческих щупальцев души, что-то ищущих, куда-то рвущихся в слепом устремлении… «Разве имеем мы меру, чтобы вымерять неизмеримое, и постигнем ли бесконечное, неустанно умножая конечное?»

Конец года, седое утро. Звонил Алексеев, он и его жена Валентина, пьяненькие, восторги: мои книги – классика, я пишу лучше всех из пишущих на русском языке, я великий писатель.

Январь, оттепель, ветер. Проводил Ларису до автобусной остановки на шоссе. Ступени эти под аркой вверх-вниз. Долго не шел автобус. Моя нежизнь. Теперь уж непоправимо. Этот снег. Жар сердца утолит. Начни с нуля. Пусть будет голое поле. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин… Читаю, читаю, всюду отзвуки, Джон Донн, «По ком звонит колокол». Вот откуда у Хемингуэя. Вечер за окном. Гори, гори, моя звезда. Чуевский. Птица Феникс существует в единственном числе в своем виде, она – царь птиц. Умирающая и восстающая из пепла – одна во всем мире. Так утверждает Агриппа Неттесгеймский. А тут ребусы, куда ни плюнь – убийцы чувств. Затворник, книжник. Гулял, грустя. Белым-бело, люди, собаки, снег. Нельзя оглядываться на этой скользкой дороге.

«Преступление и наказание», старый фильм 60-х годов, Раскольников – Тараторкин. Смоктуновский. Тот русский язык: «воротился», «ступай». Звонил Алексеев, пьяненький, о моих книгах, о моей особой линии. «Да принесут горы мир людям и холмы правду». Оценки меня в писательской среде: блестящая проза, блестящий мастер, блестящая позиция, блестящий стилист, яркий писатель, яркое явление, уникальное явление в русской литературе, яркие образы, не пишу, а рисую словом. О, сколько блеска, ослепнуть можно! Гуляли, гололед, вороны на льду. Ждал ее у магазина, думы эти, пронзительно-синий вечер. Эта речь со мной родилась, моя плоть. В счастливые творческие часы мысль является облеченной в плоть слова, точного, как формула. Великое очарование речи, ее магия: ритм, вздох.

Гуляли по вечернему городу, Дворцовая площадь, ель, гигантская, с бегающими огнями. Невский в звездах, подсветка Казанского, о которой говорили в «новостях». Зашли в собор, служба, хор, свечки трепещут, поп в золотой рясе ходит, размахивая кадилом, запах ладана.

Звонок Алексеева, он все пьет, сказал с грустью: «Ты человек европейской культуры, а я какой-то чуваш». Ставит меня рядом с Чеховым и Сологубом. И т.д. Пьяная дребедень. Мой рассказ «Ребенок» из книги «Дни с Л.». Если суть человека – духовное и моральное уродство, то это удар насквозь, страшный сокрушительный удар, образующий в человеке на том месте, где у него сердце, его душа – черную дыру. Там ужас, ничего, кроме ужаса и отвращения к себе, кромешный мрак. Естественно, что человек не хочет так себя осознавать и инстинктивно отторгает такое самосознание и такое искусство. Об этом мои книги «Одна ночь» и «Человекопад». Обнаженное, беспощадное восприятие жизни – ужасно. Не только из-за отсутствия артистичности, а главным образом от того, что нет смягчающей атмосферы, вообще нет атмосферы, нет воздуха, дымки, которая смягчает удар и делает восприятие не таким жестким, резким; космические лучи бьют прямо в душу, бьют убийственно. У Гоголя этого нет, у него и артистизм, и волшебная дымка, магия юмора и живописи, и ритма. У Достоевского – много неприкрытого, прямо разящего, без воздуха, без атмосферы, прямые удары в душу, жестокость такого обнажения жизни.

Мечу бисер перед свиньями. Зачем? Я люблю только искусство и смерть. Точнее: только смерть. Это на одной стороне медали. На другой стороне той же медали: я люблю только ощущение жизни, острое, яркое, интенсивное, напряженное, как натянутая струна.

Ощущение и сознание – что я так живу. Искусство для меня – только сгустки такого ощущения жизни и ничего более.

Сила жизни в виде написанных слов. Пусть так. Высшая концентрация этой силы жизни в виде слов – стихи. Конечно, стихи – удары молнии. Такая концентрация, то есть «это» – и в прозе. Убийственный мир прямых. Прямая линия – убийца. Кривая – артистизм, зигзаги, рисунок, разряд электричества в красоте. Концентрация духа в точке, то есть в абсолюте, разряд и удар силы. Если у меня и есть какой-то талант, то только в этом. Единственное, что необходимо сделать: «Прогулки в лесу». Это действительно нужная книга. Позвонил Алексеев, он работает в котельной в Ломоносове. Назвал меня большим художником. Радостно, конечно, это слышать, но верить такой оценке я не могу. Сумерки. Сходил за пивом, пьянствую, Ларисы нет дома, в гостях. Лидия Андреевна в своей комнате, собачка наша Битюнька спит на кровати в спальне Ларисы. Я пью пиво за столом и смотрю в черное окно. Тризна по Пушкину.

Позвонил Алексеев. Поднимает мой дух, говорит: «Ты гений, ты классик. Маленький, но классик». Он озабочен формой, говорит, есть форма умная и форма глупая. Правильней было бы: сильная форма и слабая, живая и мертвая. Еще говорит, что эти мои милицейские рассказы и тема Петербурга – маленькая, оно очень оригинальная книга. Яркая и оригинальная.

Опять февраль с его заклятой двойкой. Мне 58. Статья Блока о заклинаниях. Мир – это ритм. Ритм – это магия. Магия – это чары, чародейство, сосредоточенность духа на мировом ритме. Поэт – носитель мирового ритма. Жизнь в сознании призрачна, нереальна, отражение в зеркале. Искусство тем более – отражение отражений. Непризрачны и реальны только боль, сила и смерть. Боль – пока длится, сила – пока действует, смерть – пока ее видишь, смотришь – взор во взор. А в искусстве – только яркие призраки жизни. Но ведь и сама жизнь – не жизнь, а только призрак себя, майя. Вот и маемся. Жизнь вечно ускользает от нашего сознания, от наших чувств. Искусство – миры фантазии и воображения, мечты и грезы. Оседлать новую великую волну мировой жизни. Жди у моря погоды. Жди Волну, жди стихию. А ее все нет и нет. Звонил Иван Леонтьев, вы, говорит, у нас выдающийся писатель, а мы все серенькие. На 20 лет меня старше.

Большой писатель – это сила. Сила всегда права. Сила к себе притягивает, к силе тянутся. Его зовут голоса жизни, все они зовут его неотвязно, только его, других не зовут, или зовут слабо, а его

страстно, со страшной требовательностью, и он с такой же силой и страстью на их зов откликается. «Не кончив молитвы, на звук тот отвечу и брошусь из битвы ему я навстречу».

Федор Абрамов, «Братья и сестры». Правильно-серое. Мозг повернут на правду, а не на искусство. Все списывают с чего-то, с какого-то образца для себя, своего представления о правильной литературе, поэтому у всех один и тот же литературный стиль. Апрель, понедельник. Чары утрачены. Бродил в парке, жарко, лужи, грязь, блеск, облачно-голубое небо, скворцы. «Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире!» Звонил Алексеев, пьяненький, называл меня гением, что я единственный из них всех владею формой, что я написал апокалипсис. Да уж. Это у моего любимого Гоголя: «Гений – богач страшный, перед которым ничто весь мир и его сокровища». «Но какое множество есть разбросанных во всем намеков, могущих зародить совершенно необыкновенную живую идею в голове, если только эта голова – творец и поэт».

Один к заливу. Две бутылки пива, сидел на бревнышке, плеск волн, красные гранитные глыбы, крик чаек, залив, золотой столб закатного солнца, рыбачья лодка скользит. Этот майский день, сижу пьяненький... Не повествовать, даже и не показывать, а так себе, намекнуть, ускользнуть, скрыть. Не называть, а намекать. Можно ли так написать большой объем? Целую книгу? Синод, Сенат. Все померкло, прошло, отошло. Даже и грусти никакой. Дожил.

Гуляли в Михайловском саду. Церковь на Малой Конюшенной, где Пушкина отпевали. Поставили свечку Александру Сергеевичу. Предчувствия. Снова тучи собрались над моею головой. Метро на канале Грибоедова, прятались от ливня. Ветер, солнце, переменчивая погода, весь день такой. Звонок утром: «Премию Гоголя вам не дали, к сожалению, а только отметили». (Моя книга «Лопающиеся пузырьки»). И на том спасибо. Принеси я им хоть книгу самого Гоголя, неизвестную миру, они бы и тогда мне премию Гоголя не дали бы. Дают каким-нибудь мазилкам, грязнописцам. Ну пусть. Черт с ними. Я уже ничего не жду от мира. Терном славы не увитый, без имени покину свет. Я – безымянный, безымянная высота.

Встреча в парке, май, зелено, ветер. Саша Старовойтов в красном пиджаке, дарит толстую пачку прекрасной финской бумаги – чтоб я написал роман «Мастер и Маргарита». Ведь меня ждет мировая слава, и он хочет, чтоб у меня где-нибудь и о нем было словечко. Сила сцепления слов. Тяга слов к центру силы. Сам грамматический строй, фонетика и синтаксис, даже союзы и, а, но, если, ибо, однако – это

музыка. Или наоборот – какофония. «И от мира уводила в очарованную даль». Эта «очарованная даль» откликнулась в блоковской «Незнакомке». Душа усмехается от избытка силы и радости. «Пророк сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом». Ускользание души – от определений, от всего, не вмещается в мире известного. Это жизнь играет, сама жизнь, сам ее дух, а я тут ни при чем.

На ул. Десантников. Выпили по две бутылки пива. Пять щенят в загородке. Залив, солнце садится. Возвращался домой поздно, тепло, светло как днем, тоненький месяц, пригорок с густой белой травой, запах этот. Я под хмельком, молодое романтическое чувство, поэзия, так, минутка былого, пахнуло прежним. В 58 лет мое жизненное возбуждение кончилось, то есть молодость кончилась. Перестал действовать этот внутренний наркотик. А извне не помогут. Как вернуть утраченные чары? Важно только превосходство. Пафос, размах. Освободить вещи от знания о них.

На Мшинскую. В пути читал «Идиота». В начале 4-й части рассуждение Достоевского об ординарности, о таких людях. Ординарны, обыкновенны, а всю жизнь мечтают быть необыкновенными, оригинальными, талантливыми, гениальными. И многие так себя и считают гениями, только почему-то мир этого не видит и не признает их. Так эти непризнанные гении и остаются в заблуждении на свой счет, всю жизнь. Такая порода людей. Но ведь есть и другие, есть идеалисты, бескорыстные, влюбленные, рыцари. Они только любят, беззаветно, восторженно – все высшее, необыкновенное, гениальное, а себя не выставляют на свет, остаются в тени, только служат и жертвуют своему идеалу.

На Мшинской никого, я один. Косил траву на участке до позднего вечера. Комары досаждали. Солнце садилось. Стоял у окна в комнате на втором этаже. На его столе лежит раскрытая книга, исторический роман Гуля о Николае Первом. Смотрел как солнце уходит, последние, прощальные лучики. Топил печь, читал «Идиота». Такая дрянь, такая размазня эти Гани, Ипполиты, Аглаи, генералы. Белиберда страшная, четвертая эта часть. Бездарность, пошлость, ни одной интересной мысли, выражения, образа. Пошлая, занудная бабья болтовня на сотне страниц. Ужасно. Ужасный писатель. Читать его невозможно. Только куски. Этот его Ипполит, чахотка, 18 лет, и это его «последнее убеждение». Второй его припадок, идиота, на вечере с князьями, его речи, разбитая китайская ваза и припадок – это тоже сильно, сильная сцена, сильные страницы. Достоевский все это о себе пишет, он сам и есть этот идиот, его мысли, его убеждение, его

психика, его припадки, весь он – такой вот идиот. Поэтому так и сильно, так необыкновенно. Сцена встречи Настасьи Филипповны с Аглаей тоже сильно. Тут вся бабская психика, вся их злоба и жесткость. Конец гениальный. Последняя глава, ночь с Рогожиным около убитой. Тут он гений, действительно гений. Мощно. На этом и надо было закончить роман, на этой главе и слове «идиот». Так нет, ему понадобилось написать заключение, то есть объяснить и размазать. Как же, для читателей, для дураков. Испортил даже и конец, как испорчены 2/3 книги.

Идиот – сердце, интуиция. Пророческая и простодушная душа, добрая, идеальная, чрезвычайно доверчивая, наивная, но и «заметливая», как выражается Достоевский, абсолютно точная в своих догадках, предчувствиях, пророческих ощущениях. Вне ума, вне логики, вне интеллекта, на уровне подсознания. У него и любовь на уровне другом, не как у всех, запредельном, не от мира сего, поэтому его и не понимают; никто. И женщины не понимают, ведь они любят по-женски, слишком по-земному, приземленно. У него же другое, за пределом их чувств и анализу не доступно. Юродивый.

Вот прочитал еще раз «Идиота» зрелыми глазами. Этот его роман держится, как покрывало, на трех гениальных стержнях: 1. Сцена с деньгами в огне, 1-я часть, конец. 2. Посещение дома Рогожина и потом гроза, припадок на лестнице, нож. 3-я часть. 3. Последняя глава, ночь в доме Рогожина около убитой. Все остальное – только наполнение, чтобы чем-то наполнить, что-то накрутить вокруг интриги, главной пружины, социальные вопросы, речи и проч. Но хороши все эти его шуты: Лебедев, Фердыщенко, генерал Иволгин, Коллер, Ипполит. Все эти фантастические фигуры, чудаки, оригиналы. Только очень уж он размазывает и потому ужасно портит. Он и шутов своих слишком размазал, надо втрое меньше. Также и другие фигуры, многие вообще пустые, я бы выкинул, только загромождают. Вообще у него все ужасно размазано и загромождено. Главный его недостаток – отсутствие художественной меры. Рогожин – гениальная фигура, самая сильная в книге. Конец романа – дрожь безумия, в мировой литературе нет равного этой сцене: бдение всю ночь около мертвой Настасьи Филипповны.

У Достоевского из всего написанного ¾ – мусор, ¼ – гениальность. Сам признается: «В фельетонстве моем я сам был виноват… соглашаюсь, что очень нехорошо, но…».

Большие писатели сосредотачивают в себе душу и сердце всего человечества, все главные мучительные вопросы мира и времени, в котором они живут. Большой писатель берет все человечество в себя,

и сам становится душой мира, его сердцем, его болью, пытаясь это все разрешить и выразить. Большой писатель – это большая душа, великая душа, она не умещается в мире и времени, она через край мира и времени.

Этот индийский музыкант мистик Хазрат Инайят Хан, его книга «Мистика звука». Музыка ближе всего к духу, или напрямую – дух. То есть ритм, вибрация. Все только дух. Все – ритм. Видимое, предметное – лишь материализация духа (ритма). Слово тоже – вибрация. Музыка слова, ритмическое слово. Такое слово вызывает вибрацию в сердце, резонанс. Абсолютный слух на слово, на такое слово.

Читатель не понимает и никогда не поймет произведение так, как понимает его писатель и как он понимал, создавая свое произведение. И сам писатель сильно ошибается, если думает, что понимает свое произведение в полной мере, что он сделал. Если это настоящее произведение искусства, то пишет его сила неизмеримо большая, чем сам писатель. На время создания этого произведения писатель становится орудием этой высшей силы. Как же он может понимать, что она, эта сила, делает и сделала? Он эту силу и ее дела понять не может, это ему недоступно, он понимает только то, что сам от себя делает и сделал, то есть чисто человеческую часть (технику, мастерство). «Умирают и рождаются рядом, а закона жизни и смерти не разглядеть». Эта Книга в тысячу страниц – одно большое слово.

Яркий, теплый день, зеленый холм за окном. Мама, лицо потемнело, говорит, надо дожить до осени, летом нельзя умирать. Посидели на скамейке перед домом. Лариса меня вела под руку, пьяного, парк, поезд, в глазах плыло, расплывалось, болтал всю дорогу какую-то чушь. Цветные искорки. Этого мало, слишком мало. Абсолют там, где много слов звучит как немного слов. Так у Гоголя. Суть жизни выглядит фантасмагорией. Слово качается в мозгу перьями страуса и звенит подковой Медного Всадника. Душа слова цветная, звонкая, музыкально-живописная, Жар-птица в глухой ночи жизни. Лови эту Жар-птицу в волшебном саду языка. Душа-рояль. «Рояль был весь раскрыт».

Достоевский решительно появится с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Хочется высказаться погорячее. От живой струи жизни отстану. Не надеясь на успех, нельзя с жаром работать. Твердое, небоящееся слово. Жизнь полна комизма и только величественна лишь во внутреннем смысле ее. Этот свистун Пушкин (в письме к Майкову). Июль, железный блеск листьев на зное. Бабенка в метро, черный

чемодан. Обводный, авария, прорвало, оранжевые безрукавки. Рижский проспект, пыльно, «Медвежьи песни». Жара, голые девки, супрематизм.

Бог вложил знаки в руки людей, с тем чтобы все могли знать свою судьбу. Сердце его не обременено ухищрениями искусства. Его действия подобны течению воды, его покой подобен зеркалу, его ответ подобен эху. Туманный, будто отсутствует, тихий, будто прозрачен. Все, на что смотрит, видит; все, что слушает, слышит; все, что делает, успешно завершает.

Запрет говорить о сокровенном, о том, что для тебя свято, страх опошления. Многое не надо замечать. В стихах не надо замечать того, что надо замечать в прозе. В стихах надо замечать немногое, но это немногое – Нечто. Мыслить не словами, а сиянием слов. Потаенные струны звучат неслышно. «Леса, луга, небо, долины – все, казалось, как будто спало с раскрытыми глазами». Неслышимые для обычного слуха струны колдовской души Гоголя.

Ветер, листья, ласточки. Гуляли, туча, дождь, пережидали под березой. Заборы, ярко-зеленая трава в переулке, пахнуло густым медом цветущей липы. Купили бутылку грузинского вина, пили у окна на втором этаже, рубин в рюмках, солнце на закате, пьяненькие. Читаю «Карамазовых», шут этот старый, гнусный, хорош. Но растянуто, беда, беда, гений, великий, страстный, вещий, зловещий. Роман в угоду жанру требует рутины описаний, сцен и диалогов, рутины театра для публики. Я сказал: «буду я мудрый», но мудрость далека от меня. Шел спать во времянку, две звездочки в тумане. Заперся, свечка, тишина. Спать тут хорошо, спокойно, ничто меня не тревожит. Гоню мысли вон и сплю.

Гулял один по дороге. Алая заря в елях, сожаления. Ночной дождь шумит в саду. Долго стоял в дверях, слушал этот шум. Лариса уехала в город. Экклесиаст: кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. «Карамазовы», пересол, перебор, да и слюней напустил. Роман рыхлый, как и все им написанное. Фельетонисто. Закончить надо было на фразе: «Митю увели». После купания, прохладно, заря над дорогой – золотой треугольник острием вниз. Девушка, свежая, тонкая, прошла мимо, глядя вдаль, в зарю. Темная ночь, тихо, небо в пятнах туши. Завтра август. Теперь я живу приглушенно, под сурдинку.

Кто я – вне слов, вне стаи? Волк в овечьей шкуре? Косматая звезда, поток золотых рыб, небесная Афродита. Мысль о числе мешает слушать музыку. Как только говоришь «математика» – музыка уничтожается, ее нет, есть только математика звуков. Может

быть, где-то есть незримое хранилище ценных мыслей, незримая библиотека? Может быть, ни одна такая мысль не пропадает, витает в воздухе и влетает в чьи-то пригодные для нее мозги, а человек думает, что это его мысль? Бёме, терпкость и безмолвие, чувственность, звон крови. Судей сорок два. Мир – зеркало Бога, отражение Бога в зеркале. Какие бы бури и взрывы не потрясали мир, зеркало не бьется, цельное и нерушимое, Бог держит его.

Тютчев, «как бы», запредельная чувственность, ритмическое существо, в жилах небо протекло, с бронзовым звоном. Звонкая сила поэта. Глина, не звенит. «О нашей мысли водомет!» Предел, запрет, заставляет сосредоточиться. Жюль Ромэн, «Чья-то смерть», коллективная душа. Лазаревская, вид с горы, море мглисто-голубое. Хозяйка Валентина Сергеевна, адыгейка, кареглазая. Вечером при луне, бар, музыка. Лариса на берегу, после купания, пела и танцевала. В темноте взбирались на гору домой, звон цикад, какие-то красные цветочки у стены.

Купались, штиль, обезьянка Екатерина Васильевна. Море в блеске. Три негра, черные, белозубые, в красных набедренных повязках, кричат: «Фотографироваться! Экзотика, эротика! Дамочки, смелей!» Холмы в дымке. Вечером опять в ночном баре у пляжа; заказали пива. Девушка в белой блузке принесла два ледяных бокала. Громкая музыка, певец выл на эстраде, женщины танцевали. Легкий хмель. Лариса сожалела, что я не танцор, а то бы выдали. Возвращались в темноте, звонкие голоса цикад.

Древние писатели, лаконизм, предпочитали умолчание. Громада разнообразия, причесанная на один манер. Попробуй изменить манеру – ковер разнообразия расцветет хвостом невероятных павлинов. На золотом, на светлом юге. Блеск, плеск, раскаленные белые камни. Визгливый голос массажиста на пляже, тонконогий, панама, предлагает желающим профессиональный массаж. Запах копченостей, креветки. Осы и зеленые мухи. Купались в бурном море, громадные валы набегали на берег. Мощный прибой, грохот валов. Простужен, коньяк «Темрюк». Вокзал, памятник Лазареву.

Что бы я сказал о себе? Неудачник, несостоявшийся писатель, нуль, мое имя не будет известно. Никогда. Мое имя не засветится как автора некоей грезящейся мне книги. И это так и должно быть, и иначе и не могло быть. Я ничем не выдаюсь, и у меня в корне нет той силы, которая делает человека выдающимся. Я не тот человек, который вообще, в принципе, может быть замечен. Теперь можно себе признаться, что я потерпел полный крах. «Ты сам свой высший суд». Я склонен ставить себе низкие оценки. Гордиться нечем.

Литературное значение мной написанного скорее всего никакое. Если бы у меня была эта сила, разве возникла бы у меня мысль об ее отсутствии? Разве мучила бы меня эта мысль? Или можно внушить себе все, что угодно? Внушить, что у него есть то, чего на самом деле нет; и наоборот: внушить, что у него нет того, что на самом деле есть? Остается одно: продолжать свое занятие, свое дело. Дело-то мое, это точно, тут нет сомнений. И я стараюсь сделать его как можно лучше, насколько хватает сил и соображения.

Пошел один в город; по улице Каралаш, к морю. Каралаш – герой войны, летчик подполковник, погиб тут в воздушном бою. Пальмы, магнолии, платаны, кипарисы, ларьки, бары. Стоял в темноте у моря, грохот валов. За спиной столики, жрут, пьют, музыка из ресторанов. А тут древний океан бушует, стихия бьет о берег свой. Сколько веков эта титаническая вода бушевала и гремела, штурмуя берег, миллионы лет… Молодой парень плясал на берегу под музыку, лицом к морю, голый, худой, только что искупался, капли блестят на коже, извивался всем телом, вскидывал руки, крутился, издавая какие-то дикие, блаженные вопли. Свободный сын природы. Меня прохватила дрожь, на него глядя; почувствовал себя вот таким же, как он, вольным, с гибким молодым телом, море по колено. Возвратясь, рассказал Ларисе, она смеялась. Говорит, тоже почувствовала молодость, ожидая меня, проснулось чувство тревожного волнения, с каким молодая женщина ждет своего мужа.

Со всех сторон окружен собственной слепотой, жажду прозреть и увидеть множество невиданных миров и не могу. Мука слепца. Божий дар, царь и бог в своем танце. Остров сокровищ в дожде.

Октябрь, ул. Десантников, облепиховое масло. Возвращался в темноте, машины, огни, звезды, запах дыма и сырости. Фильм о пиратах, остров, скалы, маяк, белый конь с рогом на лбу, единорог, вой и рев этой странной банды мерзавцев, море, камни, белокрылый парусник внизу, в бухте. Лег в час ночи. Сам себе снюсь. Сон железный.

Прожить остаток жизни умственно и душевно сильно – вот все, что я желал бы. Про себя я знаю, что пишу лучше их всех, всей этой литературной швали. Списывают с образцов серости, серопись. Говорю без ложной скромности. Если и есть смысл жить, то, когда есть одаренность. Иначе жизнь бессмысленна. Это мое твердое убеждение. Это касается только меня. Много людей думает не так. А если есть одаренность, но нет известности, то это все равно что никакой одаренности нет. Потому что – неизвестно, не подтверждено ничем, никем, недоказуемо. Что ж, весь мир будет говорить, что ты

бездарь, а ты не поверишь этому и будешь считать себя гением? Непризнанный гений? Это надо быть сумасшедшим маньяком. Непризнанными гениями мир кишит. Так что моя жизнь вполне бессмысленна, и это меня все еще ранит. Ждать абсолютно нечего. Я безвестен и останусь в безвестности. Эта безвестность вполне заслуженная и неотменимая. Я миру не нужен. Так и должно быть. Сиди в своем углу и спокойно занимайся своим любимым делом, без которого ты не можешь жить. Я в своем деле профессионал высшего класса, понимаю в этом деле чрезвычайно сильно, как мало кто. Никто не понимает то, что я понимаю и что я пишу. Никто ничего не понимает в моем деле. Понимающих меня нет. «Писателям открыты многие пути ко славе, и бесчисленны венцы бессмертия; многих хвалит потомство – но всех ли с одинаковым жаром? О, вы, одаренные от природы творческим духом! Пишите, и ваше имя будет незабвенно…». Карамзин «Письма русского путешественника». Вот и утешимся этим напутствием.

Я только влюблен в энергию, в дух искусства, в магию и полет. Только в это я и влюблен, только этим и очарован. Ну вот и вся разгадка. Вот теперь я полностью и окончательно себя понял. Деготь ума в бочке песен. Мед горчит, лебедиво не озарит. Поэзия, дурочка с переулочка. Бежит он дикий и суровый. Дикий – дивий.

Яркий морозный день. Андрей Романов, Рижский проспект, отвез повесть. Утром звонок Алексеева: «Видишь, какой я хам и ругатель, но кого полюблю, того уж люблю. Тебя я полюбил. Ты талантливей меня, и я мучаюсь своим несовершенством».

Измайловский сад, сумерки, мутно, серо, конец мая. Присуждение премий, сцена, рев в микрофон. Начался дождь, мочил сидящих в рядах зрителей. Пьяные, плешивые, шумные. Им невдомек, кто я. «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне». Вечный подросток, тайный миллионщик, неведомый миру богач. Мокрая листва, запах тополя.

Проводил Ларису до поликлиники. Цветущие каштаны. Миллион терзаний, ювелир бесценных слов, вещий кудесник. Подлинно только мгновение, импульс, снайперское попадание точно в цель, чтобы сознание не успело мигнуть. Безрадостная жизнь индусов. Актеры, факиры, красные тряпки, инстинкт говорения. Волшебная флейта Египта, магические ритмы, Гермес Трисмегист. Бог Тот, слово дивное и вещее. Недосказывает, знает что-то такое, чего никто не знает. Слово зеркально, ум видит себя в зеркале слова. Но Кто-то стоит за словом, проскакивает вещая искорка, молния, неуловимость, не успевает отразиться. Могучая намагниченность грозовой атмосферы.

«Зачем арапа своего младая любит Дездемона?» Если бы каким-то чудом вдруг открылось окно в Это, я бы стал лихорадочно записывать, комкая, обрывая и глотая слова (стенография духа), только бы успеть записать побольше. Потом, когда прекратится этот поток, я уже как-нибудь разберусь и приведу в порядок, я-то, высший Ювелир, высший Мастер. Но ничего не открывается, ничего, ничего. День за днем идут, пустые, бесплодные, ненужные. Нет работы, нет ее! Мастер мается без работы. Тоска, скука. Однозвучный жизни шум.

Голос Творца во всей природе, кому дано слышать. Волна, плеснувшая в берег дальный, звук ночной в лесу глухом. Поэт отзывается на все, он – эхо. На поэта никто отозваться не может. Такая природная способность, природа эхо, она же природа поэта – тайна мира. Мотылек, танцующий вокруг Огня, пока не сгорит. Мысль танцует вокруг тайны. Мысль-мотылек притянута тайной Огня, схвачена, заколдована, будет танцевать вечно.

К 60-ти выдохся. А написал-то, написал. Вся моя проза – с 42 лет. Стихи – с 13. Но стихи не в счет. Вот еще два рассказа: «Севрюгины» и «Штурман Сумов». Интуиция видит себя в зеркале интеллекта. Нет ничего заранее известного. Привычный порядок либо отрицается, либо преображается. Книга ключей. Кровь в сосудах движется по спирали. Солнце не знает, что оно ядерный реактор, вода не знает, что она Н20. Жизнь не думает, что она химия. Вы, боязливые зародыши жизни. «Весь мир перевернется, если я остановлюсь». Л. Толстой.

Звонили, поздравляли. Желают мне быть русским писателем, чтобы распутица ночная от родины не увела. Это рубеж. Дальше старость, ужас. Утром дышу морозом в раскрытом окне, мало воздуха, мало кислорода. Логос, космос, музыка, сияние формы, под нею хаос шевелится, тайный жар. Пустые скорлупки, покинутые живым смыслом речетворцев. Взгляд на Землю из космоса, иконопись. Смысл, доступный всякому мальку в пруду. Но об этом не знают ученые. Первый поэт, создатель языка нетленных витийств. Корни в иных мирах, многоярусье радуг, полярные сполохи искусств. Напряжение мировой силы в точке, на кончике пера. Но не хочу, о други, умирать. Написал автобиографию в справочник петербургских писателей. Включили в этот почетный ряд.

Смотрю в глаза тому, что пишу, а оно смотрит мне в глаза строгим, беспощадным взором. Не отвожу глаз, надо выдержать этот суровый взор, пока не допишу. В Союзе меня называют одним из пяти лучших стилистов в современной русской литературе. Конечно, этим я и отличаюсь от всех от них. Моя маниакальность, одержимость стилем. У них этого нет, пишут серые тряпки.

Апрель. Мое имя по радио. Встреча у метро Лиговская, борода как у Льва Толстого, обнялись. Отдал ему мой рассказ «Севрюгины», он теперь главный редактор в «Авроре».

Украшение отягощает кинжал. Слух, спящий в дудочке Пана. Чутье чистых нот. Запах скошенной травы. Юлия Федоровна, секретарь: премия Гоголя. Стою, облокотясь на парапет у Морского вокзала, смотрю на воду. Блеск этот, теплоход из Толедо. Ну, вот, чудо свершилось. Гоголь услышал меня.

Плеск фонтана, зной, пруд, павильон, за столиками на траве, пиво, громкая музыка. Хожу-брожу, босиком, горячий песок, рыбаки, машины, пыльный хвост за ними. Стальное зеркало с отблесками крыльев, простор, сон наяву, камни. Тот, кто смотрит из того мира на этот, видит черный квадрат в белом круге. Тот, кто смотрит из этого мира в тот, видит белый квадрат в черном круге. Дело всей моей жизни – это такая алмазная иголочка. Ничто не возбуждает меня писать ни рассказы, ни поэмы, ни стихи, ни повести, ни романы. Ничто. Иногда выскакивает искорка на кончике этой алмазной иголочки – вот и весь порыв. Может быть, я на правильной точке. Только так я в резонансе со звучанием Целого. Не делать лишних шагов. Три шага Вишну – к вершине. Это всё. Пошлость всегда тут же, как в кошмаре.

Октябрь, мглисто, сыро, листья. Александровский сад, фонари, два сокола смотрят друг на друга со своих гранитных насестов. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой. Книжная лавка, никто не брал и не берет. Дом Книги, мемуары, глушь, тоска. От метро пр. Ветеранов – через это изумрудное и золотистое, скамьи, решетки, клумбы, песчаные дорожки. Приглушенно, под сурдинку. Дома – слепая Л.Д. лежит у себя в комнате, радио включено на всю громкость. Ларисы нет. Где она? Темнеет, тревожно, шорох шин в переулке. Кленовый лист падает.

Мое дело никто за меня не сделает, а оно есть – мое дело. Это такая мистическая внутренняя жизнь. Об этом у Феллини, фантазия свободно переходит в образы реальности, не отделить одно от другого, нет границы, различия. Мешает определенность. Андрей Платонов «Сокровенный человек», то есть природный человек, самодельный язык. Вещее ощущение огромности мира. Писать главными, корневыми словами, чем живет душа. Чутко слушать сердце. На другом полюсе – цинизм искусства.

Вещая душа, рисующая и поющая. Краткость – краса каллиграфа. Жертвенный огонь. Встреча в метро, Лариса, губы накрашены, волосы распушились. В Пушкинский дом, по Среднему проспекту,

набережная Макарова, черно, дождик, мокрый асфальт, шум машин, до Тучкова моста. Поэты серебряного века, фотографии, косой лоскуток с бисером Хлебникова, Крученых, Митурич, «Садок судей». Маяковский, «Облако в штанах», Блок, юный, кудрявый и Блок больной, предсмертный. Шейкин с женой.

Умерла Битюнечка. Ночью слышу, зовет у себя в спальне: «Битюнечка, Битюнечка!» И рыданья. Так можно с ума сойти. Пустота страшная. Как будто держу ее на руках, эту крошку, этот комочек, прижимаю к груди, как ребенка. Все вспоминается, то одно, то другое. Лариса называла ее «золотые ушки».

Оттепель, слякоть, серенько. Встреча с Леной (сестрой), нотариальная контора, завещание мамы. В приемной, поглядывала на меня, накрашенные ресницы. Вело в мою сторону и тянуло ее взгляд ко мне, помимо воли. Очарованная даль, гордячка. Бесстыдно упоительна и унизительно горда. Бродил в парке, унылый, лед этот, тусклость, вороны, вечерний звон, как много дум, лежать и мне в земле сырой… В квартире мрачно, в каждом углу мерещится Битюнечка. Лариса после ванны, распущенные рыжие волосы, похуделая, притихшая, слабые бледные руки. Разбирала письма, нашла мои к ней, полные любви и страсти, заплакала.

Февраль ,болезнь, вчерашняя буря утихла. В квартире пусто, грустно, едва ползаю. Темное варево этих дней. Талый снег. Лариса в тоске, бедная. Обнимала осину в парке, что-то ей шептала, просила освободить ее от горя и печали. Есть поверье, что осина спасает.

Минимум слов и чтобы они стояли в самых сильных позициях, тогда возникает этот хрустальный звук. Иван-царевич на сером волке. Тяжесть смысла и алмаз формы. При накале требование отбора расширяется, но такого беспредельного накала тут не существует. Мощь ищет полноценного развертывания себя и создает полную картину. Самостоятельность – железный столб, врытый глубоко в землю, сам стоит, непоколебим. Формы, влекущие к многословию, как к грехопадению. Одна строка может заслонить всю мировую литературу. «В соседней комнате зашумело женское платье». Поезд дождя, полный капель, шумит всю ночь, бессвязно, безжалостно, мрачно. Мокрая листва, зеленые гирьки слив в саду. Что тебе это все, в конце-то концов? Непосвященных рук бездарно возложенье.

Мысль не может себя высказать в слове, она – ночь, а слово – день. Но «крылатый слова звук» – это нечто от ночного языка, от того, что умалчивается, от того, что хоть и передается посредством слова, но не словом, а между слов, без слов, чувством, чутьем, внушением, навевается. Темный бред души, трав неясный запах. Форма, ее сияние,

призрак вещи, смутный зов. Тот уровень, священный, весть сущего. Аз есмь Сущий.

С Ларисой в церковь, поставили свечку перед иконой Божьей Матери и молились за мою книгу. Март, мокрый снег, хожу как мертвый. Отделение милиции, поликлиника, гаражи, стрекот капель, чириканье воробьев, в глазах черно. Ладно, будем жить как в пустую бочку. «И будет небо над главою твоею медяно и земля под тобою железна». Туман, таянье, еду в автобусе, кладбище, черные клены, кресты, ограды, отец, мать, да, теперь и мама, царствие небесное, тот ноябрь, чистый снег, утром выпал, белый-белый, как праздничная скатерть… Красное Село, церковь, площадь, буфет, жилконтора, встреча с сестрой.

Сам не знаешь, какие богатства, какие клады, какие сокровища в тебе есть и вдруг по волшебству явятся, когда ты, вдохновенный, начнешь писать. Те, кто рисуют картины своих чувств и ощущений, тонких, неуловимых, иногда очень сложных. Открываются дивные миры, эта живопись-музыка. Гамсун «О духовной жизни». Это меня всегда поражало и зачаровывало, этот дар у других. Самое для меня дивное в мире. Этого-то у меня и нет, этого мистического души. Этого-то моя душа и лишена. Слово пишет дух. Какой дух, таково и слово. Есть обаяние смысла и есть обаяние формы. Новые смыслы и новые формы. «Ибо в нощи не спит сердце его». Сферическое письмо, зерна образов, прорастающие в свой срок. Для поэта важен не сам факт и не истина факта, а то, что в факте является поэзией.

У Гоголя была такая большая, дивная и вещая душа, которая живо интересовалась предметом и знала его со всех сторон и насквозь, в то время как обыкновенные души только скользят по предмету, не интересуются им и не видят. Дело в такой живой, охватывающей весь предмет, страстно заинтересованной вещей зоркости. Почему и гений. И еще его артистический, живописно-музыкальный дух. Все у него крупно, при филигранности каждой фразы. Фраза рождается в его магической душе, как волшебный цветок. Крупный, живородный жемчуг языка.

Мокрая метель, хлопья-чайки. Их, чаек, жалобный крик с неба, на рассвете, когда я проснулся от страшного сна, от этого кошмара, который меня душил. Печаль этих небесных голосов, их крылатое круженье где-то там, в мутных высях. Щемящее пробуждение. Мне 62. Старость, бездарность, занавес падает.

Стихотворением руководит смысл. Смысл – дирижер над оркестром звуков и образов. Смысл – дирижер «напряженной, как арфа, души». Но северный соловей поет: «Я так бессмысленно

чудесен, что смысл склонился предо мной». Бьется, щелкает и сияет соловей под Полярной звездой бессмыслицы. Поэт невидимой стороны мира, мистик. Бог сотворил мир как поэзию, как поэтическое произведение. Бог создал свой мир, как поэт, огнем поэзии. Бог и есть – высший Поэт, Поэт всех поэтов. Поэту в мире только поэзия и нужна. Поэзия – это чары, власть чар, неодолимая, страшная и сокрушительная. Загадочная и страшная власть чар, чарование, тайна мира. Чары правят миром. Чары – корень искусства. Стихия, демоническое. Муза Блока: «Ты вся – не отсюда». Это верховная сила, которая сильнее всех, сама по себе.

Мистическое переживание, главное и исчерпывающие, у Блока – «Незнакомка». Он к нему шел чередой меньших мистических переживаний, как бы нащупывая, угадывая это свое в себе, главное, набирая силу, пока не созрело, не набралось и не произошло. После этого – опять меньшие, меньше этой вершины. Такого уже не повторилось, потому что в «Незнакомке» это его высшее внутреннее выразилось в полную силу. Все, что после – ниже, также, как и все, что – до. У Гоголя все его книги – мистические переживания. (Кроме «Выбранных мест из переписки с друзьями»). Высшее – «Мертвые души». Второй том сжег, потому что написал его, уже не переживая при создании мистического переживания. Понял это и сжег. О себе же он говорил в письме Аксакову: «Вообще же я человек не мистический». Падает внутренний накал, гаснет мощь, мистическое переживание уже невозможно.

В языке есть тайна, как будто он хранит знание о чем-то глубоко в нем сокрытом. Внутренняя форма слова, энергия имени. Многословие убивает Слово. Чем больше слов, тем меньше духа. В слове сокрыта самая великая энергия, какая известна на земле. «Я приходил к вам, братия, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. И слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». От Бога должно исходить непонятное слово, если слово понятно, оно слишком человеческое. «Да умолчит убо всякая плоть человеча».

Вихрь знает свою силу: когда она есть и когда ее нет. Это когда пишет дивное и вещее, перо Жар-птицы в темном поле. Внешний мир всасывается присосками ненасытных нервов и становится внутренним миром таинственно-волшебных чувств и дум, а кто-то потом списывает эти мистерии души и издает книги. «Примазался к великим», со слов Алексеева.

Я вполне единоличен и жизнь хочу переживать только единолично, исключительно единолично. Если я что-то переживаю

совместно с кем-то или с целым родом, то и это я переживаю как некое единоличное, то, что делает меня больше меня самого, как будто понесла великая волна. Способен ли я на самопожертвование? Разве что в порыве. Порыв кончается, и я опять с самим собой. Все дела мира для меня только мифы, ужасные или прекрасные, только поэзия. Пока это поэзия – для меня интересно. Нет поэзии – все равно. Мое сочувствие, сострадание или единодушие – это не главное, не постоянное мое состояние. И все-таки из сострадания другому я способен пожертвовать своей единоличностью. Но надолго ли?

Верю лишь в то, что живу только этот земной срок жизни, здесь, сейчас и одноразово. Во мне нет яростного духа, я не воин. Нет ни страсти, ни желания, ни потребности борьбы. Лишь бы сохранить свою внутреннюю свободу. Индивидуалист ли я? Пожалуй, да. Но не агрессивный, не воинственный. Наоборот, прячусь от всех в самой дальней безлюдной пустыне. Но такой ли уж я кроткий? Нет ли у меня подспудной мечты отомстить сильному, унижающему меня своей силой, своим насилием за мое унижение? Похоже на то. Но опять же – это только порыв. Я вовсе не злопамятен и не могу держать зла в душе. Самое главное для меня – внутренняя свобода.

До 30 лет я стоял на очень низкой точке – понимания и умения писать, что хорошо, что плохо.

Есть неодолимая тяга освободиться от необходимости писать так, чтобы ты был общедоступен. Избавиться от этих оков и писать свободно, как хочется, как поется. И есть не меньшая обратная тяга: желание быть понятым всеми, писать на понятном всем языке, говорить со всеми, со всем миром, а не только с богом в себе. В первом случае ты выше читателя, ты ушел на какую-то новую вершину, ушел от всех далеко. Читатель сам должен до тебя возвыситься, подняться к тебе на твою вершину, если хочет высот, а не низин. Ты своей вершиной поднимаешь весь мир на свою высоту. Во втором случае ты со своей вершины спускаешься в низину, в мир, к людям, чтобы говорить со всем миром, со всеми людьми на их языке. Нужно и то, и то. Когда как, когда что требуется. Главное неподдельность и там, и там.

Я глуп и пуст, всё, что вне меня, умнее и полнее меня. Я – пузырек в мире, пустой и глупый, а мир умный, бурный, грозный, обрушивается на меня всей своей громадой, давит на меня со страшной силой, с лютой злобой, с яростью и ненавистью, хочет меня проглотить. Не знаю, за что он, умный, великий, полный могучей силы, так ненавидит меня, глупого, пустого и убогого. Я не выдержу этого сокрушительного напора, я скоро лопну.

Должна быть хоть какая-то точечка, где ты ни с кем не совпадаешь. Если ты полностью совпадаешь и тебя пересиливают, то ты все равно как не существуешь, тебя нет. Где твоя мощь, ей надо выпеться, пусть пересказывает свои сны. Мир ловит каждое слово таких, каждый пустяк. А мы – маленькие, незаметные пташки, наша пискотня и щебетанье никому не нужны, мир нас не слушает и не слышит. Да, но ты побывал внутри этой шаровой молнии, надышался могучим электричеством, насыщен им и преображен. Там, на том Фаворе, на той Горе. Что тебе еще? И ты принес с той горы книгу того Голоса, вот, у тебя в руках, для мира. Что тебе еще, каких сокровищ?

Какой ты уже есть – слово, свое, не с чужих уст. Искусство – бездна поводов для феерий. Ковши и кувшины, лучик в щелочку, игольное ушко, верблюд заблудшего каравана. Мышиный масштаб. Кто прочитает твою шифровку, узоры надписи надгробной на непонятном языке? Дух сложности, множащий запутанные клубки лабиринтов, измотает и вымотает мощь. Каждый раз такое, искры чуда. Питаюсь этими знаками силы. Я – магнитная стрелка компаса, безошибочная. Сирены – это голоса матерей, сестер, жен, невест, любимых, всех оставленных на берегу. Каждого моряка зовет, надрывая душу, покинутая им на суше женщина.

Ищи услады в корыте интерпретаций и толкований, а чудесные звуки соловьиных рулад не достигают ушей, соловушка умолк, как только этот жрец мысли приблизился к кусту, где он пел.

Это и не форма и не содержание, это произведение. Оно принципиально целостно, недробимо и неразделимо (что внутри, то и вовне). Если отдельно говорят о форме и содержании, если одно раскалывают на два, значит, что-то не так с восприятием и сознанием тех, кто это делает, у кого такая потребность. Эстетическая несостоятельность таких раскалывателей очевидна. Ведь природа – мастер, и нет в ее животворящем деле разделения на форму и содержание, а есть только ее произведения в их совершенной цельности.

Совесть мучит, что не пишется. Дух первичен, язык вторичен. Но дух и есть слово. Слово, а не язык. Активная позиция. Слои языка по эпохам, как слои пород у земли. Чувствую чистые линии, это для меня главная ценность и больше всего меня радует. А если чистота и мощь вместе – наивысшая радость. Есть высшие образцы чистоты и мощи, они везде, и как целое, и осколки. Это редкий металл, космический, он в метеорах. Взыскательный художник, мученик совершенства, перфекционист. Высшая планка, для звука жизни не щадить. Тут

несоизмеримость, «с этой чрезмерностью в мире мер». Вот почему условность искусства, иносказание, метафора, символ.

Музыка слова, то, что Гоголь (о песнях) назвал поэзией звуков, поэзией поэзии. Пастернак (раньше Блок) – не звучание только, а соответствие звучания и значения. Без этой музыки нет поэзии. Тут смысл как звучащий строй, поющий, в звуке, как бы музыка смысла.

Август, ночь, луна, лай на дороге. Не уснуть, сам я в белой рубашке, лунной, безумный, у калитки, с камнем в руке. Лариса, у нее самолет утром, боится, страх лететь. Западают клавиши памяти, старость. Стоял в саду, задрав голову, лететь бы туда, в звезды, выше и выше, они бы все ярче горели перед моими глазами, все жарче, я бы видел иные миры и жизнь на других, далеких планетах, летел бы к ним, держа в руках тетрадь и ручку, и записывал бы быстро-быстро эту фантастическую неземную жизнь. А потом бы я вернулся на Землю и показал бы эту тетрадь с записями. Сенсация. Ведь никто не видел, что увидел и записал я. Или так: сидел бы я всю жизнь в какой-нибудь норе, глубоко-глубоко под землей, как барсук, или лучше – мышка, маленькая, робкая, пугливая, всего боящаяся мышка, и писал бы там какую-то свою мышиную книгу. Написал бы, вылез бы из норы, дрожа в жутком страхе перед миром, от каждого звука-шороха. У меня бы взяли эту книгу, и оказалось бы – божественное откровение!

Душа возбуждена, горяча, мысли раскручиваются вширь и вглубь, мощно, пламенно, летуче. Откуда что взялось, ни о чем таком и подозревать не мог минуту назад. Все это кажется каким-то чудом. Откуда что берется? Ведь казалось, ничего в тебе нет, ты совершенно пуст, все в тебе мелко и плоско, и душа вяла, равнодушна, бездеятельна и бездарна. А вот… а теперь вот откуда же?.. Какой-то тайный огонь живет внутри, и не знаешь, когда он вспыхнет и с какой силой, может, мировой пожар, вулкан, весь мир сожжет.

Я знаю высшую точку силы в слове. А выше здесь на Земле быть не может. Есть предел. Вот то, что я знаю. История – это только история энергии. И история искусства – только история энергии. Все прочее, что не энергия, за бортом. Энергия смотрит на всё сквозь свою призму. Жизнь усыпительна, энергия бессонна. Дует из космоса и раздувает усы Святослава под парусами грозы. «Мастью весь в молнию я, то есть выше по касте, чем люди, я обдаю огнем». Быть – это быть формой и именем. Формой и именем энергии. Вещие персты на живых струнах гусляра-Бояна. Ухо древней морской раковины – слышать «новы тайны». Запрет перу писать ниже, опора на туманность Андромеды. Большой огонь поглощает все малые огни.

Смотри на мир сквозь мощь. Почему же в глазах крах? Не победа, а поражение?

Следы Силы, орлиные росчерки. То, что сохранилось, попало в каталоги, энциклопедии, музеи. А сколько сверкнуло и пропало! Да, может быть, и большинство этих молнийных рисунков Силы пропадает, исчезает бесследно. Ну и что? Разве Силы от этого убавляется? Да ничуть. Все та же мощь. Вся сила мира становится моей силой. Искусство – вертикаль, жизнь – горизонталь. Заданность формы сковывает силу, мешает ей свободно проявиться там, где она хочет проявиться. Форме надо быть тоже свободной, форма должна быть той, какую хочет свободное проявление силы, но форма при этом должна достигать максимума, абсолюта. Форма не должна стеснять силу, как тесная, заранее заданная, узкая одежда, определенного покроя, фасона, стиля и моды. Форма вначале должна быть как никакая, в полной воле и власти силы; что она, сила, захочет, какую форму, как оформиться в том или ином конкретном случае. Об этом у Боратынского: «О, тягостна для нас /Жизнь, в сердце бьющая могучею волною /И в грани узкие втесненная судьбою». Все это делает форму какой-то особенной, исключительной, каждый раз неожиданной, единственной, непредсказуемой и по-новому мощной.

Сила в слове как-то так группируется, сгущается, и сразу вижу, отмечаю – где сильно, то самое, а где этого нет, не достает, не тянет. Это главное, что мне удалось узнать. Скажем так: сила там, где сгущение силы в звуке, смысле и образе, и эта сила есть чистота порядка в звуке, смысле, образе – как новый порядок и новая мощь. Это надо чувствовать. Объяснить нельзя.

Корень скрыт и непонятен. Это дается, а не создается. Но из того, что дается – все и создается. Дан алмаз, чтобы ты его (себя) обработал в бриллиант.

Такая широко распространенная манера, извилистость, изгибистость фразы, витиеватость, культурно, интеллектуально. Ужимки и танцы вокруг да около. Если их убрать и написать прямо, останется страниц 50. Книга Наймана об Ахматовой.

Проводил до поликлиники. Пруд, мостик, утки, чайки. Каштаны. Да вся эта улица такая, в каштанах, длинная-длинная, одному богу известно, куда она приведет. Парень влез на верхушку, трясет, каштаны сыпятся, стукаясь о землю, раскалываются колючими скорлупками. Октябрь, мутно, студеный денек. Стою тут под ветром, листья-птицы летят в лицо. Красота, хоть плачь.

В Доме писателя вечер, 80-летие Вильяма Козлова и Виктора Голявкина. Обратно через сад, мимо ТЮЗа, к метро Пушкинская.

Черно, голо, фонари, листья на земле. Шел понурый, в тоске, в глубоком унынии, несчастный, свесив голову и уронив руки. Побежденный, раздавленный, поражение, полный крах. Всё. Чудес не бывает. Финита ля комедия. Похвалы и высокие оценки. Для успеха я никогда ничего не мог делать и не могу. Поэтому – всё, конец.

Сила у меня была и написано у меня сильно. Хожу по следам силы у других. Жду, когда она опять у меня будет. Надеюсь, что еще будет, еще возможно возвращение силы. Надежда еще не совсем погасла. Что я читаю в книгах? Я читаю в них ту силу, которая их создала. Там, где нет этой силы – не читаю, потому что там читать мне нечего. Звонил Алексеев, утешал: «Не грусти. Что ты грустишь. Ты гений, ты написал гениальную прозу. На фоне всей современной литературы. Теперь можешь жить спокойно и копить себе на похороны. Ты свое дело сделал. Что тебе еще? И у тебя в жизни был Соснора. Неужели тебе этого мало? Мы встретили в жизни много славных, одаренных ребят и испытывали подъем, когда писали. Этого достаточно». Он прав. Действительно – достаточно.

Я дикарь; как был так и остался дикарем, уже жизнь прожив, 63 будет. Мне лучше бы ни с кем не общаться. Ни с кем, никак. Жить на своем необитаемом острове, как и жил, дожить оставшийся хвостик. Больше всего меня угнетает антигероизм моей жизни. Вот что гадко так гадко, мерзко так мерзко. Имя этому – бездарность, ничтожность. Ну и как с этим жить? Страсть писать. У меня такой страсти, кажется, никогда не было. Это что-то другое у меня было. Любовь к поэзии, к поэтическому, к чему-то дивному, чудесному, мистическому, что вне прозы жизни, вне всего этого житейского, бытийственного. Все это и вело меня к слову – жажда дивного, яркого, героического, необычайного, вне мер. Пока это возбуждало, пока было это возбуждение, я писал. Жажда всяких чудес, которых я ждал от жизни и от слова. Теперь уже не жду, кончено, дверь в чудеса закрылась. Нет чудес – нет у меня и писательства. Что ж тут попишешь.

Эта книга обращена лично ко мне. Она лично мне указала то, что мог понять только я один. Никто другой понять это неспособен. Эта книга имеет для меня особое значение, она для того, чтобы нечто было открыто и указано лично мне. Это, можно сказать, назначение, миссия, судьба. Все другие, кто будет читать эту книгу, найдут в ней что угодно, но только не то, что в ней предназначено лично для меня. Этого высшего назначения для них (для всех) в этой книге нет. Она им будет просто интересна (она и правда должна быть интересна). Но то значение, которое в этой книге для меня лично, никто не увидит, никто не поймет.

В этом новом январе выжженная пустыня. Оцепенение, ничего не хочется делать. Мог бы еще что-то о чем-то как-то написать. Не могу, не могу. Сегодня иду к Васе Чернышеву, товарищеская встреча, как он сказал, человек восемь. Зачем это все. Скука. Все это мне и чуждо и ненужно. Польза одна – что общество отвлечет меня от себя самого, от моей скуки, хоть как-то.

Есть многое, что нельзя оформлять в словах, а надо оставлять в интуиции, в чутье. Иначе вцепится в сознание и будет мешать. Я ощущаю себя как невзрачную личность. С таким ощущением глубокой неинтересности самого себя жить, конечно, невесело. А писать просто-напросто нельзя, при моем максимализме. Вот почему я пытался писать что-то яркое, компенсировать свою невзрачность. Сюжетом может быть эмоциональный и образный смысл какого-нибудь одного слова, например: «смутный». Так у меня написан «Смутный год» и другие миниатюры, и большие вещи «Лопающиеся пузырьки», «Тот день» и т.д. Это как в музыке – лейтмотивный звук. У меня это и получается музыка из слов, такие музыкальные поэмы и миниатюры. У меня слова – это как звуки и мелодии в музыке. Вот почему никто ничего не понимает. Все мыслят по прямой рациональной логике. А тут другое.

Содержание нуль, пока не стало формой. Мысль о траве менее пошла, чем мысль о счастье человечества. Мысль живет отдельной своей жизнью, отдельно от меня. Она сама по себе, я сам по себе. Потому что пока я не записал или не прочитал что-нибудь, я этим не живу, я живу чем-то другим, во мне другая жизнь. А как только запишу мысль или прочитаю, я начинаю жить записанной или прочтенной мыслью так, как будто этого во мне не было. Странное чувство. Мысль о дереве за окном, о вороне на суку или грязи на дороге равна мысли о бытие и небытие, и всем мыслям философии, всем ее умозрениям. И более того: мысль о дереве, вороне или грязи на дороге чище, менее пошла, чем мысль о бытии-небытии, боге, истине, справедливости, материи, духе и проч. Мы погрязли в этих мыслях, это стало какой-то непролазной пошлостью.

Гулял один во мраке. У пруда черный куст сверкает в каплях, в свете фонарей. Сверкает, играет. Вот она, красота! Диво! Отошел на пять шагов – потускнело. Отошел на десять – все пропало, погасло, нет красоты, не играет, скучный куст. Так и в слове. Надо, чтобы слово играло. Надо знать, когда слово играет, когда нет. Интересно только то, что играет. Шекспир против Толстого. Нужна мощь, это изнутри, мощь пружины. А лишенные этой мощи умники пытаются

делать революцию формы извне, при нуле внутри. Выходит жульничество, формализм, модернизм, кудреватые Митрейки, завитушки вокруг пустоты. Этот закрученный, сжатый в мощь пружины, вихрь внутри, единственный в своем роде, вырываясь в мир, свободно раскручиваясь, развиваясь до своего предела, устремляется в свою, единственную, только ему присущую сторону. Поэт всесилен, как стихия. Узоры мысли, новизна узора неоткрытых, брезжущих в тумане созвездий Поэзии. Нельзя предавать себя, нельзя предавать поэзию, эту Золушку-душу. Нет, нет, никогда не сотрется оставленный на земле след ее хрустального башмачка. Фантастические соображения этих Фата-Морган будут и впредь являться, пока мир не рухнет. Мысль – мгновенное дерево ветвистой молнии. И еще раз – верность экстремуму. Это главный урок. Смысл моего ученичества.

Сорок тетрадей дневников, тянется рука – все сжечь.

Отсутствие формы у сонных медуз. Пишу без связок. Не успеваю закончить фразу, как она вспархивает с листа бабочкой с узорами на цветных крылышках. Что общего между ней и гусеницами и слизняками в общедоступном саду литературы? Где же обитает Мысль, до формы, до слова? В море-океане на острове Буяне? Спящая красавица в хрустальном дворце… «Мысль изреченная есть ложь». Царевич, пытающийся исторгнуть морскую царевну из ее родной стихии будет горько разочарован. Язык сам пишет, рука сама рисует. Язык-самописец, вещее перышко Жар-птицы.

Стою у реки, игра блеска, темный лес на том берегу, белеет снег, апрельский воздух, шум ручья, зелень сосен. Томительная жажда света всю зиму, и вот он, свет! Золотистые сережки ольхи, эта бахрома над водой, и солнце, солнце. Блеск и игра света повсюду, куда бы я не пошел.

Похороны Кости Крикунова, на Смоленском кладбище. Солнечный апрельский день, народу собралось много, журналисты. Костя в гробу, лицо бледное, как бы прозрачное, молодое. Не верится, что мертвый, будто бы спит, вот-вот проснется, разбуженный шумихой вокруг него. Вот и нет Кости. Костя тогда сказал: «Он чудовище». Гений – так и чудовище, кто ж еще. Форма существования силы: «Война и мир» Толстого или хокку Басё. Это и форма существования души: океан и капелька. Поэт и философ – разные звери. Будут ли мои слова счастливее меня? Навряд ли. Сейчас мои слова неизвестны миру, не слышны в этом реве, вое и грохоте литературных лавин. Мои слова известны только совсем немногим, их знают десятка два.

Предисловие, слова, послесловие. То есть: до слова, слово, после слова. Три формы существования мысли. Жить в слове, словом, или жить вне слова: переход из одной формы в другую, как переход через смерть. Гераклит: смерть одного – жизнь другого. «Мысль изреченная есть ложь»: то есть – изреченность мысли – смерть ее дословесной формы. Мысль в словесной форме рождается, начинает жить за счет смерти ее дословесной формы. Миссия писателя, его святой долг, его оправдание на Страшном суде: сказать такое слово, которое занимает свое место и держит его. Абсолют формы, нагруз смысла и абсолютная уместность, необходимость. То слово, которое находится на скрещении больших сил. «Всё – лишь страсти разряды, /Человеческим сердцем накопленной». Мастер самого себя, автократор, Феникс, сам себя рождает. Отшельники языка, бесконечная отделенность. В чем ты – бог? Где твоя грация с изгибом? Надо, чтобы два слова, поставленные рядом, создавали новое чудо: превращение воды в вино на свадьбе в Канне.

Стоял наверху у раскрытого окна, солнце заходило, долго дрожало его золотое марево, там, сквозь крону далекого дерева, клена или тополя. Уже и ночь, полночь, а все еще так светло, такое светлое голубое небо, голубой простор и стрижи носятся по нему. Вот они, белые ночи. Ни памяти, ни воображения. У меня и всегда жизнь была только в порыве сиюминутного, того, что вот, сейчас, тут, в вихре мгновения.

Из всей этой кучи-тучи наговоренных в мире слов я выбираю жемчуг, крупный и мелкий, и тащу к себе в норку, в свою сокровищницу. Вот чем я занят. Я всего лишь серенькая мышка-норушка. И зачем мне эти сокровища, мне, мышке? Сам не знаю. Люблю жемчуг, жемчужины эти, большие и малые, ну, потому что красивые, за красоту. Вспышка слова, его молния, чистота или изгиб. Выразительность – герой этой трагикомедии Невыразимого. Пишу с изгибом, по строчке в день. Большое так не напишешь. Надо, чтоб была сильная тяга, чтоб загудело пламя, чтоб горело и несло, вперед, вперед. Сиди в своем углу, в своей норе, где тебя никто не видит, делай свое дело, никому не видимое, никем не замечаемое, и молчи. Увлеченный и очарованный. Перо само все знает, когда начинает писать. Я ничего не знаю. И не надо знать. Я как солдат, оставшийся без своего Наполеона. Он задал мне железный тон, надо его держать. Теперь этой опоры, этой скалы у меня нет. Но куда-то я все-таки еще иду. Или путь уже пройден?.. Струна звенит в тумане. Еще слышу ее.

«Заниматься творчеством высочайшего художественного ранга?» О, творчество высочайшего художественного ранга! Это было и моим стремлением, тягой всегда. Заметил ли кто-нибудь этот мой высочайший художественный ранг? Несколько заметили. Десяток. При этом я страдаю, что я в тени, что имя мое во мраке, и мой «высочайший художественный ранг» у меня-то самого всегда под большим сомнением. Хочется каких-то сверх доказательств, какого-то высшего судьи, который бы определенно дал такую оценку, признал за мной такой ранг. И что же могло бы быть таким доказательством? Массовый успех? Мировая слава? Вот-вот. Это-то и стало бы для тебя настоящим доказательством. Нобелевскую премию тебе, что ли. Смешно. Тем не менее с таким сознанием и живу. С сознанием неудачи и неуспеха при моем-то «высочайшем художественном ранге»! Как и все бездари и графоманы. Нужны доказательства, указанные свыше, – кто есть кто. Нет этого указания, этого Перста высшего Определителя, Эксперта, нет и доказательств. Все остается зыбко и сомнительно.

Поэзия общих понятий, некие духовные смыслы, смутно-расплывчатое, зыбкое, неопределенное; снежное поле – некая душа, дух, а не что-нибудь конкретное. Фантомы, а не факты. Много лишних слов, чувств, мыслей, все это крутится, крутится и оседает пылью, пыль копится, слой за слоем, и полностью скрывает все и вся. Дух и форма ищут друг друга впотьмах, в ветхих мехах, не помня «что» и «как». Власть вымысла, рой очарованных фантомным блеском. Писатели разделяются надвое: на тех, кому важно сказать, а не говорить; и на тех, кому важно говорить, а не сказать. Книга, написанная глубоко в сердце буквами неизвестного алфавита, непрочитанная, причиняет мне нестерпимые страдания. Ношу эту боль, это мученье, этот раскаленный гвоздь у себя в груди. Где ключ к этому языку? Найду ли я его когда-нибудь, прочитаю ли эту книгу? Зачем мне это?..

Эта душа пишет себя отточенным острием стиля. Радость чтения. Просветление, блеснет тончайший золотой волосок – единственная ценность моя в мире. Сквозь решетку меры глядится безмерность. Мощь почвы ждет сеятеля ржаной правды. Плоть слова, живая, горячая, жаркая, есть что пощупать. Капля на листе, снежинка – поистине новое чудо. Война духа с материей, с дней Эклессиаста. Сгущение духа в ритм, в форму. Шиллер формой уничтожает содержание, опять и опять. Правду жизни лучше всех знает Мюнхгаузен, фантазер презирающий правдоподобие, жестокий мистификатор, танцующий на костях мифических предков.

Звонил Лукин: начнет печатать мою книгу в своем журнале. За эту книгу русская литература мне будет благодарна, в ножки мне поклонится. Книга умная и хорошо написана. Планирует напечатать всю в нескольких номерах. В этом ноябре еще и не то случится. В конце-то концов, что бы со мной не происходило, я весь свожусь к слову, к записи. Что я? Кровь и кости. Червь, вылезший из моря. Раздавят – и мокрого места не останется. И этот червь пишет о своей червячной жизни, и его записи каким-то непонятным образом становятся поэзией. А у поэзии свой отбор. Из всего, что есть, она отбирает только то, что ей надо. Ее вещее сердце узревает только дивеса-чудеса, подбирает перышки волшебной Жар-птицы, разбросанные где попало по всей земле.

Бег по кругам, ледяным, вьюжным, декабрь-февраль, отзыв из «Литературной газеты». Наплыв нервной силы, чувство, похищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности. Март, к метро. У детского сада тополь, такой светлый, дивно-ветвистый, трепещущий в синем небе. Букет желтых тюльпанов на снегу. Юность – дурость, старость – бездарность. Стою над собой с ножом у горла и требую подвигов, великих дел. Смешно, нелепо. Забываю вчерашний день. Сырой снег за окном утром. Это все записки настроения, не более того, стоны и скрипы. Еще скрипим. Осталось лет пять, чтобы успеть еще что-то сделать. 70 – это уже конец, это уже точно старость и ужас. Сама мысль ужасна – 70лет! Надо что-то делать, спешить, а ничего не делается, нет ни искорки того огня, при котором можно сделать хоть что-то настоящего. Все это пустое нытье, жалобы турка. Старая песенка. Надоело.

Клики чаек с ясного неба, весь день, весь март. Купол качается, этот маятник мира, то голубой, то черный, издавая свой тоненький-тоненький, хрустальный звон, похожий на жалобу или мольбу о пощаде. Поехали в Южно-приморский парк, гуляли по дорожкам, тающий снег, говорили о моей книге. Книга блистательная. Великая книга. Ее будут изучать. Это как Монтень. Лариса в этом абсолютно убеждена. Читала с непрерывным интересом. Книга захватывает, в ней какая-то магия, читается как роман, лучше всякого детектива.

Свобода любит свою узду. Красота торжествующего порядка Фомы Аквинского. Мир, погруженный в магическую атмосферу колдовства, начинает чудотворить и куролесить, безумствовать, нести чушь и белиберду, петь в пламенном бреду, забываясь в чаду нестройных, чудных грез. Днем Аполлон, ночью Дионис. Не

встретиться им на узкой тропочке искусства. Вся поэтика в горенье-кипенье, порыв паров. Поэт начинается там, где кончается человек и его, жаждущая смысла, рассудочность.

Встал, мглисто. Мысли, все те же. Это сознание парализует, и руки опустились, висят как плети. Мерзкое сознание: что тут вообще можно чего-то добиться, в этом направлении, в каком пошел. Ну и вот: пришел! Дальше хода нет. Называется: подведение итогов и сведение счетов. Главное, что все это жутко противно и пошло. И это сознание, и это подведение итогов. Все какая-то гадость и мерзость. А оттого, что требовал от себя самого-самого, максимализм этот. Требовал да недотребовал. Эта требовательность должна была двигать тебя еще лет с 15-ти. Слишком долго прохлаждался. Это крах веры. Это крах веры в себя. Опять дождь, весь день сегодня дождь. Лариса, конечно, в такую погоду сюда не поедет.

Вот Ходасевич пишет: «Поэтами рождаются. Всякий истинный художник, поэт, писатель – выродок, существо самою природой выделенное из среды нормальных людей. Но это божественное уродство, это гений, дар божий и проч.». Как я раньше был опьянен, очарован таким взглядом на поэта, на такую исключительность. Теперь я и этому всему не верю. Все сочинили, все мифы. Сами же поэты и сочинили про себя эту божественность и это божественное уродство, это шаманство и необыкновенность. Противно, потому что вдруг открываешь про себя, что тебя просто морочат, обман и мистификация, дурят голову тебе и другим. Они, видите ли, отмеченные перстом Божиим. Все сочинили: и перст, и Божий, и то, что отмеченные. То, что выродок, конечно, – выродок. Живет в своем мире, а не в общелюдском. Выродок и есть. «Слышно страшное в судьбе русских поэтов!» Гоголь.

Язык мыслит то телом, то словом, то резцом, то смычком, то кистью, не дает мыслям рассеяться, рассеянными по бассейнам Вселенной. Язык рода мыслит мной, а я твержу свою невеселую песенку. Посинелые смыслы бесчувственных, удушенных слов. Плачь сердце, плачь. Старенькая, потрепанная машина литературы катится, катится, колеса вязнут в расхлябанных колеях. Необходимо такое чувство и такое сознание, что ты пишешь что-то мощное, превосходящее все, что есть. Чувство, что ты пишешь каким-то небывало мощным языком, таким мощным, какого еще не бывало. Иначе ничего не начнет писаться. Все, что я писал, было написано с таким чувством. Была эта иллюзия, самоослепление. Я каждый раз обманывался. Наступило время, когда уже никак не удается обмануться. Полная утрата этой иллюзии. Теперь пришло слишком

ясное и печальное понимание, что это не действительная мощь была, а мираж, мечта, наваждение.

Я пишу только тогда, когда беру максимум, предел, высшую точку, ни на микрон ниже. Когда так называемое «художественное чувство» является в максимуме. А если вижу, что ниже – то и не пишу. Вот почему и не пишу теперь, что эта высшая точка не берется, не появляется. Ни во что не верю, кроме личной одаренности. И не верю, что хоть что-нибудь остается от жизни, кроме того, что ты сделаешь, как говорится, на века. Если будут эти века. Оценщики оценят, что ты сделал, цену твоего дела, и решат: быть тебе в веках или рылом не вышел. Если будут эти оценщики и если они тебя вообще заметят. Не замечают, значит, дело твое какое-то неприметное, незначительное, ничтожное, ничего не стоящее. Не быть, не быть тебе в веках, на лбу у тебя написано. Обречен кануть в Лету. Мне все думается, что если бы я стал участником какой-то яркой, могучей, титанической жизни с такими людьми и действиями, я бы сумел записать, засвидетельствовать, изобразить с достаточной силой, не снизив эту яркость и мощь. Вот единственное условие, когда мое перо еще могло бы заработать. А, может, и это иллюзия. Перо выдохлось.

Все, чего я достиг – это сосредоточенность упорства, страсть увлечения и усилие труда. Еще, конечно, так называемое эстетическое и поэтическое чувство. О, красота! Ну, конечно, она самая. Это магическое словечко. Это даже и изначально, это двигатель, сердце всего дела. Делай то, на что устремлен. А устремлен на звезду, самую дальнюю, высшую, какую-то, твою, где-то там, высоко-высоко… в туманных высях… Закон скучных чернил руководит этими угрюмыми писателями. Этот темный, черный, очень черный путь. Две бабочки летят, белая и черная, «да» и «нет». Фильтр слова из всего океана несказанного пропускает только то, что позволяет решетка и сеть строгих стражей Знака. Невиданное и неслыханное, все что не позволяет воспринять форма глаз и ушей. Заслонка Знака. Или язык – это оружие с зеркальцем для охотника за тайнами мира. Язык это только способ говорения о чем-то неизвестном, всегда скрытом, непостижимом, всегда неопределенном, туманном, всегда несказанном. То есть способ хождения вокруг да около чего-то, что нам мерещится как подлинное, реально существующее. И когда мы язык ставим в центр, то ставим в центр именно это самое хождение вокруг да около. Главной ценностью становится неопределенность. И тогда: «Мысль изреченная есть ложь».

Нет ничего известного, ничего, что осталось бы в том виде, к какому привыкли. Все, едва став известным, тут же опять делается неизвестным, не успевая сделаться привычным. Ничего не остается прежним, все всегда неизвестно. Язык – магическая сила, чистая энергия непредсказуемого. Язык – рояль, дух – композитор, играет свое на языке-рояле, получается музыка.

Всю ночь дождь. Бессилие, безотрадно. Старость подкралась, ее коготочки. Эпоха упадка. Постель мне стелет скука. В жизни я проиграл. То есть: проиграл в литературе. Я выбрал литературу, чтобы стать первым – победить в жизни. Литература – единственное, где я на что-то годен, какая-то хоть маленькая способность. И вот теперь могу говорить об итоге: поражение, проиграл. Но проиграл я на чистом пути. Не хватило таланта. Я никогда не пытался достичь успеха нечистыми путями, не талантом, а ловкостью, жульничеством, компромиссом. Этого у меня не было ни на йоту. За это я могу себя уважать, у меня чистое поражение, чистый проигрыш.

Независимый глаз, циклопический, на весь мир, жуткий товарищ моих снов. «Тот день», Гермес, наглухо закрытая дверь. Путеводитель потерянных и заблудших душ. Способность сочинять неистощима, изощренность и виртуозность беспредельны. Адам и Ева, сросшиеся боками. Шхина – сестра всех существ. Нас мало избранных. Сети теорий широким захватом ловят китов, держателей мира, казусы ускользают. Блок на заседании опоязовцев. Его спросили мнение, он ответил: «Все, что вы здесь говорили, интересно и, вероятно, правильно, но я думаю, что поэту вредно об этом знать». Пропасть не хочет мостов, она желает оставаться непроходимой, предпочитает оставлять несоединимыми два своих противоположных края.

Разврат романов, распутство повествований, словесники-кудесники. «Узнаваемость – неотъемлемое свойство настоящего поэта». Лидия Гинзбург, жестокий хлыст. Писать чисто плавничком и хвостиком письмена на воде. Что тебе еще угодно? Мысль, попав в слово, сама начинает разворачиваться, как чайный лист в кипятке. Надо просто взять тетрадь и ручку и начать писать, а там «дубинушка сама пойдет». Тянет к перу, как пьяницу к рюмке. Символическая начинка неизвестности загадочно улыбается, эта вещь в себе. Что она, вещая пророчит, какие новы тайны? Нужен Фрейд, расшифровщик этих бесчисленных пифий. Кувшины огня, энергия на содержании у формы. Поставил зеркало и ушел. Теперь всякий, кто в него взглянет, умрет. Честертон: люди, поэты и интеллектуалы, то есть умники. Бесчеловечный язык, надменный, высокомерный, не хочет говорить с человеком, сам по себе, чужд всего человеческого. Мысль,

возведенная на трон, презирающая все прочие мысли. Увидишь свой череп в черном зеркале смерти. «В тишине и жизни, без людей, с одной душою буду жить». Узнаю сразу этот орлиный коготь. Чугун, Чевенгур. Рождены для языка, чтобы язык пел и клекотал. Хожу по следам больших невиданных зверей.

Ночь, темно. Так это месяц! Огромный, низко, за дорогой. Я один тут. Жуткий лунный мир, нереальный. Это не месяц, это смерть с косой, блестит сталь лезвия, занесенного надо мною. Сердце трепыхается в грудной клетке, испуганная птичка, стонет от страха, плачет. Плачь, сердце, плачь, ждет тебя палач. Тщетна мольба, беспощадна судьба. Сатурн, мыслящий метаморфозами форм, ему ничего не надо от щедрот твоих, Василид. Сила великого обобщения в скрученном шнуре, узелковое письмо инков. Вещи мира взывают к твоему глубинному, сокровенному слуху и называют тебе свои настоящие имена. Так отринь ложные, навязанные тебе имена, отбрось их с отвращением и ненавистью. Услышь подлинные голоса вещей. Родится язык, знающий ДРУГОЕ, дивный и вещий.

Цикличность: от линии к лабиринту и обратно. Душа Слова и душа мира – одно и то же, единое целое. Это знают поэты, посвященные. «Когда бы все так чувствовали силу гармонии… Но нет, тогда б и мир не мог существовать… Нас мало избранных… единого прекрасного жрецов». Доказательство и проверка верности чувства гармонии: душа поэта, она же душа слова рождает верный отклик – эхо души мира. Чувство символического: воплощенная в слове изреченная мысль-душа всегда только намекает на ее оставшуюся беспредельной невоплощенность, невыразимость, кивает на нечто, всегда остающееся непроявленным.

Толкователи, комментаторы. Пошлость лезет из всех щелей. Зов пустынь, октябрь. Какой красивый магический туман видел я над рекой. Пелена, мутно-молочная гладь воды – волшебное зеркало. Тростник, кусты, деревья на том берегу – призрачны, не шелохнутся, безмолвие. Фантастический пейзаж.

Твержу строчку из книги «Зогар» в переводе Блаватской: «И цари древних дней умерли, и венцы их не были больше видимы». Почему так красива эта строка? Пронизанность гармонией этих дивных «и, ы», и весь узор звуков, и грация звучания, изящный дактиль окончаний «умерли», «видимы», и чарующая образность: древние цари умерли и венцы их невидимы. Такой дивный, горьковато-печальный смысл этого образа. Но нельзя пересказать, нельзя менять порядок слов. Нельзя, нельзя, рушится вся красота, магия, чудо. Именно «цари древних дней». И все, все как есть в этой строке от

первого звука до последнего. И вот, мне попался совсем другой, современный перевод с арамейского этой же строки из «Зогара»: «И древние цари истребились, и венцы их перестали быть». И вся красота пропала, все очарование, вся магия. Бездарная строка, бездарный переводчик. Как говорится: ни ухом, ни рылом. Гадость какая-то, эта строка, дрянь рядом с тем дивом. Или возьмем строку из Библии в русском переводе: «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих; все воды Твои, и волны Твои прошли надо мною». Безумно красиво! Тут такая красота, что дух захватывает! Вот она, поэзия, ее чудо! А измени что-нибудь в этой абсолютной гармонии, хоть один звук, убери, добавь или переставь – и вся красота рухнет. Исчезнет как эфемерная красота радуги на небе. Так что же вы, сволочи переводчики, делаете! Как смеете вы своими глухими ушами, слепыми глазами и немыми языками прикасаться к словам! Убийцы поэзии, палачи слова!

Эти зигзаги языка у Андрея Платонова дают крупный, неожиданный смысл вещей, показывающий их сокровенную сторону. У него изломом и дополнительностью слова обнажается главная сторона вещи и выглядит она странно, диковинно, фантастично, потому что всегда невидима, всегда скрыта от обычного взгляда, как оборотная сторона Луны. Чтобы увидеть эту главную сторону вещи, нужно особым образом повернуть мысль языка, тогда она станет проницательной и сможет своим ключом открыть таинственную, сокровенную дверь вещи и явить ее суть. Платонову, как и Достоевскому, надо прежде всего «мысль разрешить». В «Котловане» Платонов сконцентрировался в мощный кулак. Также в «Джане». Это титан. Его ощущение жизни титаническое, мучительное, экстремальное. Человек доведен до крайней точки лишения, оскудения и бедности, за которой уже только смерть, но в нем заряд такой могучей силы, что он способен выжить даже в невозможных для существования условиях. Снята вся материя жизни, осталась только духовность, один только дух, больше ничего. У него человек круглый сирота, без отца, без матери, без дома, без быта, даже без одежды, голый, голодный, один в мире, в природе, бродяга, доходяга, беднота, голь, искатель великой истины. Платонов чувствовал как бы само вещество жизни, доведенное почти до нуля, до исчезновения, до предела, и именно тогда, на этом острие мучительства жизненного душевного вещества сильнее всего чувствовал саму жизнь, самую ее сущность. Его страстная сопричастность всему живому.

Одно из ключевых слов у Платонова – скучный, скука. «Вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи». Но эта его

«скука» заряжена такой колоссальной энергией, что приобретает свой особый, мощный, какой-то природный смысл. Это скука всей Земли. Другое ключевое слово – терпение. «Устало длилось терпение на свете, точно все живущее находилось где-то посередине времени и своего движения, начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление во все стороны».

Платонов пишет: «с видом ума» вместо – «с умным видом». Сознательный прием: снять шаблон. Заготовленные впрок гроба. У крестьян был такой обычай, а Платонов превратил это в мощную метафору жизни, в символ. Вот в этом и суть искусства, суть того, что оно делает. В какое чудовище Платонов превратил обыкновенного деревенского активиста! Какой мощный космический образ! Библейский! Нужен гигантский напор изнутри, гром в себе, гроза в себе, разворот вглубь и вширь. Чиклин, бригадир землекопов, лег спать между двумя мертвыми товарищами (убиты кулаками), под красным знаменем, которое их покрыло, в помещении сельсовета, под яркой лампой, светившей всю ночь. Какая мощная, гениальная жуть! Экстремистская поэтика. И все его герои – экстремисты: или маньяки идеи, или примитивы и уроды, но титанические примитивы, чудовищные, от них жуть. После Платонова все пишущие – хлюпики. Не понимаю, как мог Платонов надеяться, что напечатают «Котлован», ходил по редакциям журналов, там читали и отклоняли. Естественно. Если бы напечатали, не уцелел бы ни он, ни они. Неужели он был настолько наивен?

Написать одну такую книгу, как «Котлован», о своем времени, и больше ничего не нужно писателю, он свое дело сделал. А Платонов и еще сколько мощного написал! «Сокровенный человек», «Джан», «Потудань», «Фро», «Третий сын», «Возвращение», частично «Чевенгур». И много, много еще. А я написал такой силы книгу о своем времени, на материале современности? Кой чего написал, но разве так сильно. Какое там. Сильнее мне не написать, чем я уже написал. Навряд ли, а все думаю, все еще чего-то хочу, как будто еще не написал свою главную книгу, книгу настоящей силы.

Есть наисильнейшее, что можно сделать в слове, словом, в литературе, и то, как это можно сделать. Надо это понять, надо быть на это нацеленным и стремиться написать только так. Вот почему я и хожу по следам великих, по следам этих экстремистов слова. При этом надо быть сам с усам. В этом все равны. Корень наисильнейшего один на всех. Надо уметь узнавать корень. Вот и вся премудрость. И не давать себе никаких поблажек и послаблений, снижать этот уровень. Всегда держать себя только на острие этого экстремизма,

бескомпромиссно. Только тогда может быть какой-то толк. Что и делал, что и делаю.

Жизнь силой своего материала дает писателю мощь писать и проявить себя, свою энергию. Писателя активизирует именно энергия жути жизни, а не тишь-гладь-красота. У Платонова такая оригинальная манера письма оттого, что он углубленно мыслит о тех важных вещах, о которых вообще не мыслят, или мыслят общепринятым дряблым способом, а это все равно что не мыслить. А он стал мыслить, и поэтому язык из-за упорной работы мысли вглубь, вывернулся, как почва под плугом.

Идеи-видеи выводятся из формы и образа, как птенцы из яиц. Слово живое, горячее, во плоти, можно пощупать. Поэзия, ее крылатое сердце пускается в полет, опять и опять. Строка Арсения Тарковского: «Снег слетает на землю при всех». Это «при всех» делает обыкновенное явление падающего на землю снега мистикой и магией, чудом из чудес. Как это, что это – «при всех»? Необъяснимо, непостижимо, загадочно. Словно вдруг обнажился и предстал весь мир и все в мире как свидетель слетания снега на землю. «При всех» – обнажиться, раскрыться, обнажить душу, не стыдясь и оставаясь в целомудренной чистоте. И что-то еще за гранью виденья, смысл необъятен, беспределен.

Плоть, душа, дух слова, все наощупь, с молоком матери. «Все вещи связываются языком, а тот сокрыт в матери. Мудрость соединяется с пониманием, а путь красоты – со своей невестой, царицей. Знание само по себе есть путь красоты, путь этот сокрыт в матери». Зогар, Книга сокровенной тайны. Цельно-чувственное восприятие энергии в ее чистых формах. Слишком много написано в мире, перебор. Сжать всю литературу в одну книгу. Веберн, вся музыка уместилась в час прослушивания. Речь – только средство для проявления ударных волн энергии Неизвестного.

Может быть, учишься знанию в своем деле только для того, чтобы пробудилось и проявилось то знание, которое в тебе всегда, твое врожденное, в инстинкте. Нечто в тебе всегда знает, без учения, как делать, только это надо пробудить. А пробудить это знание, которое в тебе всегда есть и при котором все делается само собой и твоим особым способом можно только когда начинаешь учиться уже существующему в мире знанию этого дела. Есть Знание, одно для всех, но открывается оно каждому единолично, в свойственной ему субъективной форме.

Отталкивание от всего известного, как от трамплина, для полета в неизвестное. Звездный час своего сознания, когда струна внутри, туго натянутая, поет. Играющая сама в себе волна.

Чего я добивался – экстремизм стиля. Предельная плотность письма в моих текстах. Убираю все, что не краска, довожу письмо до крайности, предельное сжатие и экспрессия. Малларме, Веберн.

Писать плоть жизни, а через плоть – дух. Для чего и дар зоркости – подмечать все нужное. Чувствовать одинаково сильно и плоть жизни и дух. Мощь духа преображает своим накалом плоть слов, так что она как бы исчезает и делается не видна, не заметна, призрачна. Дух ослепляет своим накалом как блеск молнии, и плоть слов растворена в этом блеске.

Зеркало, зачем ему отражать, оно такое чистое, завесь его этой январской метелью. Узоры, повторы, ужас однообразия, кружась и множась, заколдовывая себя в своих кругах. Тысячи голосов, безбрежность слова. Ложная значительность, книжный магазинчик на Фонтанке. Молчи, скрывайся, алмазный отказ, это твоя «лучшая победа». У нее (Цветаевой) ведь о том, что это твоя внутренняя сила не хочет быть опошленной своим проявлением вовне в мире, в таком мире, безумном и подлом. Предпочитает отказ от проявления. Отказ и есть победа над таким миром. «На твой безумный мир /Ответ один – отказ». Мир недостоин того, чтобы твоя внутренняя сила в нем проявилась. Твоя внутренняя сила, проявясь в таком мире, уронит, обесчестит себя. Этот мир не достоин проявления в нем гения.

Освободить эту искорку, дать ей сверкнуть. Но при моей привычке к самоуничижению, конечно, я предпочту считать, что ничего во мне нет, никакой искорки. Не желая себя обольщать. Моя мучительная самокритичность лишает меня уверенности в себе. Что-то делается свободно только тогда, когда я вообще забываю обо всем этом, происходит непроизвольно, само собой. Но потом включается ум, самооценка, критик, и я опять не могу определить: то «это», или не то.

Вавилонская башня разума, фантазии искусства мешают строить выше и выше, путают строителей, эти вспышки сумасбродства не столько украшают, сколько разрушают. Не достроить башню гордыни и высокомерия, не достроить. Говорю с языком, с Языком! Вот мой единственный собеседник. Пока я с Языком и могу с ним разговаривать, я не один, не в одиночестве.

Книга издана, эти «Прогулки в вечность». Из-за чего было столько мучений. Моя миссия кончена. А заметят, не заметят – от меня уже не зависит. Все, что зависело от меня, я сделал. Несколько умных, понимающих в литературе людей заметили. Десяток, два, три. Чего тебе еще? Можно сказать, жизнь прожита не зря. Халтуры я не писал и ни одной строчки халтурной у меня нет. Перед Богом литературы я чист.

Один на даче. Солнце, ни ветерка. Голос кукушки, где-то совсем близко, гулкое ку-ку ку-ку на тысячу лет весны, мая, цветущих садов. Впереди целый чудный день. Счастье одиночества. Бреясь утром на дворе, вижу в зеркале: голова седая, как соль. Постарел. Потеря чувствительности, усталость в нервах, притупилась иголочка. Мечтал, мечтал я о славе, о книге, которая прогремит в мире. Вот, блеснул лучик. Резко личный стиль, ни на кого и ни на что не похоже. И это – мимо, все мимо.

На краю дубовой рощи в парке, светились ржавые заросли травы, стебли, озаренные закатным сентябрьским солнцем, лицо и грудь грело мягкое солнечное тепло. Долго так стоял, больше часа, состояние полного покоя, отрешенность, медитация, чувство ухода, угасанья. Это и мой закат, моя осень, мой возраст, моя жизнь на закате, на осеннем закате. Такая вот грустная лирика. Больше жил в миноре, чем в мажоре. Мое естественное состояние, настрой души – минор, а не мажор. Но душа любит мажор, любит солнце, природу, красоту. Люблю солнце утром, восход солнца – радость! Люблю радость, люблю жить в мажоре. Нет, не знаю, нет, вру, вру. Очень большую, главную часть жизни, расцвет, когда был мой мировой расцвет силы, я жил на подъеме, в мажоре, в радости сердца. Да, больше всего в жизни я любил радость. Еще – природу, красоту, поэзию, музыку, книги.

Человек – это чувство красоты. Человека создало чувство красоты и великолепия. «Небеса поведают славу Божию, творения же руки Его возвещает твердь». Тютчев, «Слезы людские, о, слезы людские», всего шесть строк, а – мировой шедевр. Как получаются такие шедевры? Что его толкнуло, ударило? Чувство плачущего мира, всеобщего горя, дождь навел на этот образ. У него у самого было горько на сердце, и он знал, что такое горе и слезы. Но он знал еще и чувство музыки, гармонической формы. То, первое чувство хотело, жаждало, стремилось быть, стать, плакать, лить слезы всех людей, всего мира – музыкально, стать чувством гармоническим, воплотиться в гармоническое, музыкальное слово. Так оно и возникло прямо из сердца, так и вылилось прямо из души, из этих двух нераздельно слитых чувств, зазвучало, став музыкой слов, то есть поэзией. Это и есть поэзия. Только это и есть поэзия. Вот для чего и слова и язык. Слова, язык – это рояль, без которого этим двум чувствам не воплотиться, не заиграть, не зазвучать, не явиться в мир. Без этих двух нераздельно слитых двуединых чувств рояль языка мертв и поэзии нет. Но как только молния мира ударяет в сердце поэта и высекает из него это двуединое чувство, и оно в свою очередь ударяет молнией в

язык, в этот музыкальный инструмент поэта, так и рождается в мир поэзия. Рождается в гармонической форме, подобно тому, как и все рождается в природе – и звезды, и цветы, и листья, и кристаллы, и снежинки, и капли дождя, и слезы.

Это двуединое чувство погружено в чуткость глубокого знания, ставшего вещим, интуитивным, знания, где подлинно, а где фальшь, где то, а где не то, и потому оно чурается малейшей неверно взятой ноты. Всесильный чародей, создатель фантастического мира, чеканность и музыка его мощного отклика на века, и в веках – бесконечная многократность эха его стихов. «Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт».

Лермонтов. Это ведь нужна героическая смелость – взять на себя миссию Характера. Нужен героический дух, чтобы не побояться и взять на себя эту миссию – мощь независимого, безоглядного Характера – под пули и плевки всего мира. «Нет, я не Байрон, я другой, /Еще неведомый избранник…». Это ведь он сам себя избрал на эту одинокую дорогу, на этот кремнистый путь, собственно – на гибель. «Я рано начал, кончу ране». И тут не романтизм, тут всерьез. Потом также, за ним, Блок: «Голубая дымка за плечами, /Неизвестность, гибель впереди». Есенин, Маяковский, Хлебников, Цветаева – то же, также – миссия Характера, героя, гения, то есть – миссия гибели, ранней, естественно. Какая же гибель, если – старость. Гибель – это молодость, на взлете, в полете, в зените, на заре, в полдне, но никак не на закате. Хотя у Пастернака: «Но старость – это Рим, который /Взамен турусов и колес /Не читки требует с актера, /А полной гибели всерьез».

Подлинное «я» в человеке – что оно? То, что абсолютно само по себе и в себе, и не имеет ничего общего ни с чем и ни с кем, некая абсолютная единичность, живущая только внутри себя и сама собою, вне чего-либо общего, какой-либо общей жизни? Или такое «я» – миф, выдумка, его нет, не существует в реальности, а есть только общее, общая жизнь и участие в ней; и все единичности слеплены из одного общего теста, все подобны друг другу, предназначены, чтобы быть подобными друг другу и схожими друг для друга, и жить общей жизнью и для общей жизни, для Рода? Различия единичностей только во славу Общего?

Слово слишком само по себе, слишком самоценно, самовитое, усастое – порождает волшебные сады миражей в пустыне. Рисунок фраз складывается также безошибочно, как узоры мороза на стекле, в языке пером ведет тот же природный закон. Так чутко плыть в языке, слиться с ним, стать его духом, его природой – и тогда язык сам

складывается в чистые и точные узоры, сам рисует фразами, всем своим строем скрытый, сокровенный закон красоты, тождественный тому закону, по которому создан и устроен мир. Это и есть абсолютный слух языка.

Узреть в этом хаосе жизни, бессвязности ее линий и пятен, какой-то узор, какой-то узнаваемый образ. В невнятности голосов расслышать смысл. Внести себя, свою потребность устроенности и связности, гармоничности. Тирания и фанатизм этой потребности: «Все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить». Дурная бесконечность изобразительности без разбора. Надо оставлять пространства бессвязного и невнятного. Надо твердо знать, что не надо изображать, не надо увековечивать, вочеловечивать, воплощать. «Но ты, художник, твердо веруй… где стережет нас ад и рай».

Сознание своих могучих способностей – вот что дает уверенность в себе. Прозорливость. Сам Лермонтов и его Печорин. Цветные картинки, заснятые астрономами: красота гибели солнц, космические бабочки, сгорающие гибельным пламенем, фантастически прекрасные. «Умереть с пулею в груди – это стоит агонии старика». Туманная изнанка создателя узоров, гордый демон, дух изгнанья.

Что мне еще было бы интересно, чтобы писать? Если бы у меня была прозорливость на то, на что все смотрят, а того, что я вижу, не видят. Чтобы у меня было такое сознание и уверенность. Это, конечно, возбудило бы во мне страстный интерес писать, воплотить это в письме. Или, если бы я увидел некий, никому не известный мир, я, первый. Сознание, что я первый нашел такой мир, породило бы во мне сильнейшее побуждение записать то, что я вижу. Вне честолюбия и желания прославиться. Желание прославиться, похоже, никогда не было моим главным стимулом и интересом писать.

Ценность того якобы меня подлинного, неискаженного влияниями, сомнительна. Что там было? Обыкновенное невежество, неразвитость, инфантильность. Ценность появляется только уже в зрелости, после многих лет противоборства в мире за себя, за свое независимое, самостоятельное «я», только при полном развитии сил. Уверенность в своей силе, своих способностях, своем знании и умении, своей проницательности, уверенность в том, что ты власть имеющий так говорить и так писать. Тон повелителя, диктуешь свое – и тебе, такому, будут подчиняться. Такая уверенность писателю необходима. Отчего и чары такого писателя, магия им сказанного и написанного.

Начав писать, берешь на себя миссию. Это миссия работы. Работы в слове. Это работа внутри слова, в самом слове. Слово – дело

духовное. Слово – это триада: дух, душа и тело слова. Работа в слове также тройственна: работа в духе, душе и теле слова. Слово (глагол) и есть – поэт. Энергия поэта и есть энергия слова. Только у поэта слова и становится энергией: духом, душой и телом в их нераздельности. Героическое самосознание. Но именно слово взяло на себя роль всеобщего объяснителя. Меня упрекают, что мои книги трудно читать, «как» полностью поглощает «что» и превращает его в себя. Мне брезжит нечто, образец, по этому эталону я и сверяю то, что делаю, и добиваюсь этого упорством. «Но ты знаком мне, чистый гений, /И светит мне твоя звезда».

Узор говорит об изнанке. Что же он говорит? То, что некая изнанка создала этот, именно этот конкретный узор. Об этой изнанке мы можем толковать что угодно, сколько угодно гадать, она от нас скрывается, она всегда незрима, она – миф, понятие мнимое, мы ее сами и выдумали, она – условность. Только и знаем, что твердить: душа автора! Личность автора! И что же это такое? Чушь это все! Пар! Фантом! Есть только зримая данность – вот этот реальный, конкретный узор. И несомненно, что этот узор создан дивно. Этот чудный узор на стекле вечности. Ну и гадай, гадальщик – кто создатель этого узора? Загадочная сила вещей?.. Гомер, Шекспир?.. Что остается от нашего пера? Только узор и остается.

Сеятель слов бросает слова в уши слушателей. Без устали, с раннего утра до позднего вечера трудится сеятель, бросает и бросает слова в борозды бескрайнего поля с ушами призрачных слушателей. Что-нибудь да произрастет. Этому миру все позволено, ему позволено быть непонятным, и в нем позволено быть любой невероятности. Утешительная беспредельность непонимания.

Февраль, метель. Мне 68. Бьет дрожь, непрерывно, и день, и ночь, не дает спать. Мысль зрима в узоре, или кто-то мыслит узором, или узор мыслит кем-то. Сумма немысленного блуждает в веках, плача и рыдая. Кудрявятся слова, не сказанные в простоте душевной. В жизни можно пройти одну дорогу, в искусстве – соблазн тысячи дорог, зазывающих голосами сладкозвучных сирен. Что гласит Невидимка, вся эта невидимая громада жизни, языком своих нигде не опубликованных книг? Учусь у творящих превращений, черпаю в своем сердце. Геосила языка, поэма Горы, поэт на горе языка, на вершине, его верховный час. Искорка этой Искренности. Читаю не смысл, а форму, стиль, ось, плотность, питательность. Сердце письмен – резной дракон. Звуки рождаются в сердце. Узор же речей – сердце Неба и Земли.

Возврат к неопределенности. Туманный предмет для художественного изображения, нечто зыбкое, неуловимое для слов. Но и слово – туманное, расплывчатое. Смутное чувство, предчувствие, настроение. Мысль ускользает от определения. Первоначальное, первозданное состояние, двойное бытие души, день и ночь; или ни день, ни ночь. Путь неопределенности – это путь абсолютной поэзии. Поэзия в абсолюте. Но этот путь ведет к полной изоляции, к выпадению из понятности и общедоступности. Возврат к музыке, к первоначальному состоянию: «И слово в музыку вернись». Но мир привык жить и живет только в сфере понятности и определенности, ясности, конкретности, логичности.

Слово одно для всех, одно и то же – для переживания личной твоей жизни, и жизни каждого другого, тоже единственной, из всех других. Но – «Как сердцу высказать себя, /Другому как понять тебя, /Поймет ли он, чем ты живешь…». Изреченное слово – лживый Бог. Только неизреченное слово – Бог подлинный, Бог правды. Жизнь души на ладони этого Бога.

Июль, весь день в саду, писал, ветер, облака. Дошел до каких-то тонких певучих соображений, и это аукается в слове с дудочкой Пана, соблазнителя нимф, рожки, копытца. Вечером встречал Ларису с поезда. Солнце низко, еще яркое. Вышла из вагона, худая, бледная, в сером плаще, улыбается, в руках коробка и сумка.

Полнолуние. Желтый дракон, это его победная голова над горизонтом. Творящие перемены, колесо миров, спицы-вихри. По этой колее ходит лучистый зверь. Сад кипит лохмотьями парусов. Сплю, Елена, черные волны, куда плыть. Пастернак, его «случайно», «по случаю». Сила отскока от всего предыдущего, и от современников, во что-то необычайное, неизвестное, ни себе, ни миру. Но ведь, чтобы была такая сила отскока, надо с такой силой удариться обо всё, об мир, нужна такая сила удара.

Вошла, села напротив. Ярко-желтая куртка, юбка с коричневой каймой, с узорами, на шее золотая цепочка, серьги-бриллианты, пальцы в серебре, держит зонт с изогнутой ручкой, как жезл фараона. Клеопатра с луноподобным жестоким ликом. Сидела неподвижно, как изваяние, держа свой жезл-зонт, упертый концом в пол вагона, прикрыв глаза гипсовыми веками, изредка приоткрывая их и взглядывая на меня безразличным взором.

Найти чистые сочетания, свежие созвучья – лучевой мазок, схвативший миг ускользающей жизни, здесь и сейчас. Такая радужная, воздушная ткань. Тут необходима чрезвычайно тонкая и точная, ручная работа. Чистый космос языка. И кто это видит, кто понял?

Создавать форму себя, из себя безграничного, бесконечного, неосязаемого, сверхчувственного – себя ограничивая, замыкая, заключая в осязаемую, чувственную сферу. Весомо, грубо, зримо. Первичность. «Башня работы» Родена. Этой Книге нужны широкие, мощные орлиные крылья, серебристо-синие, с фиолетовым отливом. Тайные знания, сведения древних книг. Лилит, лунный город. Стоял у калитки, трепещет осинка на ночном ветру.

Крутятся вокруг этой Луны мириады одержимых манией стихотворчества поэтов. «Я стремлюсь раскрыть подлинную сущность слова». И ты, Велемир! Язык ветвей, Каббала, чистое ощущение, красота мерцающего льда. В разбитую секунду мелькнет подлинная реальность. Декабрь, от года хвостик остался. Тускло, бесснежно. Чувствую себя глубоко несчастным все эти дни. Тоска страшная, депрессия, опять в беспросветном унынии, хоть вешайся. Полнолуние. Офаниэль, блюститель лунного круга. Хризантемы у метро. Едва плелся, ноги подкашиваются, плохо, плохо мне в этот зимний морозный день, день юбилея.

Где твой пуп, Адам? Жертва собственного притворства. Это глубинный обман души. Может быть, и так. Есть серьезное подозрение, и его не отменить, не упразднить. Подлинное чувство не знает сомнений и колебаний, такие и поступки. Всегда знаешь: то или не то, и делаешь верный выбор, точный как снайперский выстрел. Простые, однозвучные души, прямолинейные ходы на черно-белых досках. Ужас упрощения, всего, всего, к чему бы не прикоснулись, на что бы не взглянули. Упрощенская эпоха, в которой приходится жить и умирать. Февраль побежал, день второй, взвихренный. Метель. В пекарню у церкви. И все эти мокрые хлопья, летят, летят, метут, метут. Грустно мне, грустно жить на этом свете. А ведь через год 70! Ужас, ужас! «Вон счастие мое на тройке в сребристый дым унесено»… Все еще мечтаю о какой-то ненаписанной книге. Это единственная книга, которую продиктовала бы мне подлинная реальность моей души и написала бы моими, неизвестными моему сознанию ощущениями. Нужно приложить все усилия духа, чтобы расшифровать, прочитать и перевести ее тайнопись на наш язык. Гуго Вольф: «Я счастлив, когда пишу. Сколь тяжела участь художника, если он не в состоянии сказать что-либо новое! Тысячу раз лучше для него лежать в могиле».

Дега и его спасительная чуточка безобразного. Леон Блуа. Мы – буквы магической книги, и эта пишущаяся книга – единственное, что есть в мире, вернее, она-то и есть мир. Вспомнил, мы с Ларисой шли в «пятерочку» на Ленинском проспекте, была оттепель, может быть,

тоже февраль, услышали какой-то серебристый щебет. «Смотри!» – показала с такой радостью в голосе: «синички!» Я увидел куда она показывала: на верхушках тополей стая хохлатых синиц. Чудесное зрелище. В тот раз мне и открылось Пушкинское стихотворение «Эхо», в чем там смысл. «Тебе ж нет отзыва, – таков и ты, поэт». Где-то у меня записано об этом. Сегодня такой же тусклый оттепельный день. Лариса уехала с Олей куда-то за Финляндский вокзал, по траурным делам, насчет покойного Виктора Львовича.

Все тот же февраль, все та же тусклость, весь снег стаял, сухой асфальт в переулке, грязь. Лариса уехала на массаж. Пришло сейчас в голову: и моя психика и ее – слишком нежная и слабая для этого мира, мимозная. Мир для нас слишком груб, и психика других людей, даже и самых хороших и добрых для нас груба. Вот мы и не выдерживаем то, что для них нормальный режим жизни, а для нас – стресс. Отчего и неврастения, и психопатия. И другим нас не понять. Почему я и разрыдался тогда в отрочестве от поцелуя с девочкой в школьном саду.

Алоады – два брата Ог и Эфиальт, сыновья или внуки Посейдона. Гиганты с непомерной силой, покушались взять в жены Артемиду и Геру, угрожали богам. Были наказаны Зевсом: низвергнуты в Тартар и прикованы змеями к колонне, мучались от криков совы. Создатели культа муз. Три музы: Мелета (опытность), Мнема (память), Аойда (песнь). Вирджиния Вулф, 4 тома дневников, 5 томов писем. «Туманный мир литературных образов, похожий на сон, без любви, без сердца, без страсти – именно этот мир мне нравится, именно он мне интересен». «Надо писать из самых глубин чувства». Слуховые галлюцинации перед припадками безумия, слышала голоса птиц на оливах древней Греции. «Агония Христа длится вечно, и в это время нельзя спать». Паскаль. Гореть и петь. Голая правда без покрывал и масок. Генри Миллер «Время убийц». «Великое произведение с неизбежностью должно быть по своему смыслу темно для всех, кроме горстки тех, кто, подобно его создателю, приобщился тайн… А оттого вполне достаточно, чтобы у него нашелся всего один понимающий читатель».

Встал с удивительным светлым чувством. Март, утро, открылась дверь в яркую солнечную даль, в ослепительный, бескрайний простор новой, неизвестной жизни. Нужно успеть увидеть то, что осветила молния.

Всю ночь читал дневник Вирджинии Вулф. Утром у Ларисы истерика, плачет: «Никак не могу поверить, неужели старость. И

какое нас ждет будущее? Богадельня? Устала, болезни». Бедная. Жалкое, милое, плачущее, все в слезах лицо.

Солнце, морозно, холодный, пронзительный ветер. Три года со дня смерти Саши Старовойтова. Могильщики жгут костер из веток спиленного тополя. Потом к Люде – помянули. Опять выпил много водки. Когда шли с Ларисой на кладбище, подумал: жизнь так коротка, нам дано такой короткий срок, и поэтому надо успеть что-то из себя сделать такое, чтобы осталось в истории, а не тратить жизнь на всякую чепуху. Вот Саша, на могилу которого мы сейчас идем, что от него осталось? Ничего. Горсточка пепла. От меня, возможно, что-то останется. Хотя бы книга.

Вирджиния Вулф, дневник. «Можно ли рассчитывать еще лет на двадцать? Двадцать пятого в понедельник мне исполнится пятьдесят… Я хочу написать еще четыре романа… Писать становится все труднее и труднее. Смысл жизни – когда я не работаю – сразу мельчает и теряется». Письмо накануне самоубийства ее подруге Вите Сэквилл-Уэст: «Ты спрашиваешь, кого я любила. Никого. Бог отнял у меня способность любить живых людей. Я любила создания своего воображения… Я наказана за это». Врубель пишет жене Забелле о Серове и Коровине: «У них нет натиска и восторга». Горечь прочь, и скорей за дело. Теплый солнечный день, совсем весенний. Поехал к заливу. Гулянье, лошади, пони, музыка, толпа. Залив во льду, камни, выброшенное на берег бревно. Рыбаки. О весна без конца и без края. Пьяное закатное солнце в весенней дымке.

Последние денечки марта, солнечное утро, голубое небо в дымке, наш переулок, сухой асфальт, курильщица в окне третьего этажа в доме напротив, молодая, голорукая. Римский-Корсаков: «В опере меня на старости лет более всего притягивает пение, а правда очень мало; она всегда какая-то рассудочная». Красота страсти, самой страсти. Этот ореол из окружающих вещей, сказанных слов, выражений лица, жестов, атмосферы, погоды, времени года и дня, места и т.д., все это, создающее зачарованный круг наваждения, волшебный ореол. А сама женщина или сам мужчина, любящие, только повод, только средство для возникновения этого ореола, этого магического сияния, этой вспышки.

Каждый миг подсовывает мне все, что есть в мире, и заслоняет от меня главное, мое и только мое, на чем я должен сосредоточиться. Эта громада всего в мире отвлекает меня от самого важного, от меня самого, от моей подлинной сути. В детстве это всякая всячина мира еще не налипла на душу, ощущения были еще чистые, свежие, подлинно мои. Но они забыты, мне их уже не вспомнить, не вернуть,

не возродить. Индивидуальный узор психики, у каждого, врожденно, до слов. Потом замещается общими словами, тьмой языка. Задача: восстановить этот врожденный узор души, ее голос, говор, дословесный. Поэзия и сердце – то, что нельзя пересказать. Нельзя, нельзя. Как сердцу высказать себя, свою поэзию? Разве что чудом. И тогда это уже не обычные слова, это уже чудо-слова. А чудо-слова случаются один единственный раз. Другими словами их не пересказать. Я и говорю: нельзя, нельзя. А еще свой почерк, стиль, узнаваемость. Свой почерк – это свойство души. Ветер желаний, надувающий паруса языка.

Берут глаза Вильяма Блейка, чтобы увидеть небо в чашечке цветка. Все ведь слепорожденные. Мастерски скрывают отсутствие мастерства. Иногда попадаются удивительные рисунки языка (в языке), как рисунки на камнях, вообще в природе. В этом радость, счастье. Только то и ценно в литературе, где есть сгущение этой словесной силы. Чаще это одна строка, одна фраза, несколько фраз. Изредка и целые книги, поэмы, стихи. Только по этому мерилу отбор, все прочее отчеркивается. Так отчеркивается большая часть литературы, которая царит в мире и требует к себе внимания, кричит: «Я великая литература! Люби меня! Кади мне фимиам!» Этой литературой занимается орда литературоведов и критиков.

Драгоценная звезда нищеты. Нищий царь. Лежит в цветах нищета. Арсений Тарковский. Та Гора была – миры. Гора началась с Горы. Все случившееся у нее, с ней, с ними, получилось – повод, чтобы написать поэму о Себе, повод для Слова о Себе. И именно – Слова. И именно – Слова-Духа. И более того – все это случившееся было спровоцировано, вызвано, выстребовано именно для этого – чтобы воплотилось в поэму, в поэму о Себе, в Слово о Себе. И так ли уж бессознательно, подсознательно. Именно ЭТО ее неумолимо, неотвратимо вело и влекло, ее волю и неволю. Неудивительно, что Родзевич отшатнулся от такого демонизма Слова, он, который – вне Слова и не для Слова, а – для жизни, пусть по-своему и героической, но не титанической, не максималистской, какая может быть только в Слове, в Слове-Духе. И Любовь, и Страсть, и Счастье, и Беда, и Горе, и Жизнь, и Смерть – все, чтобы стать Горой, вырасти в Гору, в – Гору Слова, Гору Духа, в Гору Поэмы и в Поэму Горы. Все, чтобы стать с большой буквы. Только для ЭТОГО. И совсем не так, как Брюсовское: «для ярких стихов». А для взрыва себя, для грозы себя, для извержения бога огня из себя. Гора нерушима и тогда, когда рушится. Гора – верховная нота, вершина всего, острие высоты, вертикаль в

пересечении с горизонталью – землей. Вертикаль Духа. Та самая мировая Гора. Гора Меру индусов.

Писать, чтобы говорить, чтобы искать ориентиры, чтобы выяснить, где я нахожусь и куда меня ведет, чтобы как-то наметить для себя действительность. Есть какие-то очень глубинные, единоличные отношения со словом, как с глубочайшей и сокровеннейшей духовной сущностью; то есть моей одинокой души – с душой Слова, как с мировой Душой и мировым Духом. Такие глубинные отношения – орфическое созвучие. Отсюда стремление к предельному сжатию слова и соединению с ним. Ты и оно – одно целое, орфическое слово. Без такого слова ничего в мире нельзя понять.

Всю ночь дождь, и сейчас его дробь по крыше. Май, яблони в цвету, в свадебных платьях призрачных перемен. Звон крови гаснет, ничего не остается. Пепел слов, снов. Цвет отчаянья: белое. Грядет семьдесят. Старость. Куда мы идем? К родному дому, как Новалис? Всё – здесь и сейчас. Там – тьма, кромешная, ничего нет. Это стопроцентно. Там – по ту сторону зеркала, на том берегу. А сейчас здесь идет зеркальный дождь, каждая капелька – зеркальце и в ней дрожь, смертельный испуг, дуновение с той стороны, из тьмы, из ничто. Это изнутри пишется, тайный разговор чего-то во мне, крови с языком, звенящая струйка-струнка. На каких словах обрывается разговор, обрывается жизнь. После того, как ты перестал кому-то говорить слова – ведь это смерть. Это и есть смерть – того, что было между вами.

Моя прозопоэзия («В тени Водолея») – листва в блеске и шелесте солнечным днем. Сокровищница самоцветных трепетов, сказанного и несказанного. Это такая цвето-музыка, многозначный и многозвучный хорал, симфония-поэма, игра-перекличка образов, символов, смыслов. А в целом нечто лучистое. Нужна отвага, чтобы писать так сложно, неудобочитаемо. Я подбираю камешки цитат к моей жизни, и получается такая мозаика. Это мой «неведомый шедевр». Уже столько сказано удивительного в мире, что можно без конца перебирать эти богатства в сундуках книг, как скупой рыцарь. Приходишь в мир, где уже столько красоты создано, и природой, и искусством. Приходишь, чтобы эту красоту вдохнуть в себя всей своей душевной глубью и добавить красоты новой, рожденной от той, что вдохнул. Саморождение – не само по себе, а от самого-самого в себе, от Самости мира в самом себе. Слово неисчерпаемо, неисчеркаемо, неизреченно миллионами златоустов. Сколько дуновений уст новых и

новых волн, приходящих из того неизвестного, вечно бьющегося Сердца. Красота – призывать. Призвание – на плаху, на крест, на костер, на эшафот.

В прошлом году я был в зените, сейчас – за тучей, во мгле. Круги возвращения на могилу отца и матери. Сирень под дождем. Узоры должны складываться сами по себе, их рисует голос ветра и крови, солнца и стона. Пчела в янтаре, в плену своих посылок и предпосылок, всегда в этом плену. Смотреть против течения мира, Брахма на лебеде, лотосоокий. В самой жгучей точке пустынь ада зародыш ледяного цветка; кристаллы белой сирени, веточка чистоты в руке ангела. Я полностью ушел в узоры, в ускользание по зеркалам, в чувствительные кончики нервов, в рисунок на крылышках порхающей бабочки. Никто, никто не поймет меня. Ловите этот блуждающий призрак, это дуновение, отблеск молнии, эфемерность. Мир не поймает меня. Я несусь, я – неродившийся ребенок. Зародыш спит в яйце год; в последний день года в двенадцатый час с последним двенадцатым ударом яйцо раскалывается и из него выходит прекрасная царевна-моревна.

Последний вздох мая. Сосны-свечи, розовый воск, в зное. Купили водки, пили за любовь. Говорит: «Какой ты стал старый, смешной, хохолок этот седой, уши торчат, худой, как щепка. А ведь было, помню, бежал по тропинке у железнодорожной насыпи, с поезда, после дежурства, в голубой милицейской рубашке, мне навстречу, глаза широко распахнуты, нежные, влюбленные. Ведь было же! Но как давно это было! Двадцать пять лет назад! И где все это теперь!» И заплакала. «Давай» говорит «выпьем за то, чтобы не разлучаться. Не уходи от меня. Во всех смыслах. И в том, самом страшном». Они жили долго и умерли в один час.

Видеть неизвестные возможности: следы невиданных зверей на неведомых дорожках. Зоркий стрелок по невидимым мишеням. Мысль, изреченная братьями по разуму, тут же на их губах становится банальностью. Мрамор форм. Честный человек, пламенно любит литературу, чудак печальный и опасный. Откину ли докучную маску, как Анненский, чтобы свободно рассыпался звездами дерзостный смех? Навряд ли. На заре пел, счастливый. Счастье – химическая награда амебе за любовь. Рюмку музыки на посошок, и уйду с легким сердцем.

Приходишь в мир, а там уже своя игра. И сразу в нее вовлечен. Никто тебя не спрашивает, ты брошен в эту игру, как в пруд, хочешь жить – плыви, выгребай, вот и всё. И если играть, так уж греби

первым, выигрывай, побеждай. А, может, лучшая победа – дверной косяк в Елабуге, цветок, сорванный отказом от времени и тяготенья?.. Я еще en forme. Отдал бы жизнь за то, чтобы мое обычное, как у всех, скучное восприятие изменилось на какое-то необычайное, исключительное, какого никогда не было у людей, и чтобы я смог воплотить его в книге. Если бы меня спросили одно мое желание, чтобы его исполнить – я бы назвал это: выйти за границы себя в тридесятое царство, в тридевятое государство, а там древняя индийская монета: на одной стороне Вишну с третьим глазом на лбу, на другой – шестирукий танцующий Шива, разрушитель.

Мир полон слов, шумящих, кричащих, шипящих, хрипящих, свистящих. Ужас словесности, не мы владеем словами, слова владеют нами, чувствуют, мыслят, говорят, изъясняются нами. Слово съело человека, поглотило с косточками, с потрохами, всего. Дождь моросит, тепло, сыро, сад в каплях. Июнь. Лариса говорит, что любит такую погоду. Всегда любила. Может, оттого, что в такую сырую погоду сердечникам легче дышится. Помню, мама мне говорила, что любит зимнюю оттепель, когда сырой снег и туман, мглистый, сырой воздух и тихо вокруг, все замерло. Наш старый тополь на дворе, подтаявший сугроб, сарай, и мама в ватничке и платке на голове по-деревенски.

Слова говорят что-то без слов, чем-то несловесным, музыкой, звуком, ритмом, гармонией, но и еще чем-то. Это они говорят душой, это душа говорит; так говорит, что как будто не словами, как будто это не слова, а сама душа, душа слов и душа человека. Это бессмертный огонь, который все хранит и все будит (по Фету), основа всего и от него всё. Вот почему слово всегда больше самого себя. И даже когда без слова, то все-таки слово всегда тут же, только не изрекается, не размыкает уста, но в мимике, в жесте, в выражении глаз, в интонации голоса.

Кто-то крутит язык как калейдоскоп, все не то, не то, неинтересно. И вдруг – вспышка, загорается дивный узор, волшебство, удар чуда. Душа то число, то лучик в саду. Солнце, лето. Еще есть радость! Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, /И если день погас, /Я буду петь, я буду петь о солнце /В предсмертный час». Пел ли он, поэт, в свой последний час? «Поэты умирают с песней на устах». Нет, не пел, каялся в грехах, солнцепоклонник. А Фет умер со словом «чёрт», это было последнее его слово. Попытался перекреститься, но смерть оборвала эту попытку.

Язык поворачивается против самого себя и кусает свой хвост, как мировой змей Уроборос. Гибкий, может себе позволить, что угодно:

упрощать сложное, усложнять простое. Лариса приехала на такси в пять часов, из Вырицы, усталая. Вспомнил, как она мне сказала недавно, когда выпивали: «Почему ты последние пятнадцать лет смотришь на меня с такой тоской? Действительно, почему? Июль. Сколько-то лет со дня публикации сказочки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», отмечают это событие по всему миру. А Кэрролл даже не был профессиональным литератором, собственно, дилетант, любитель. Кажется, Карл Блум сказал: «Любая попытка анализа и истолкования шедевров литературы и искусства – вульгарна и отвратительна».

Все как-то устроено и в то же время никак не устроено, а только как-то неизвестно строится. И построится ли когда-нибудь? Может быть, все как-то устроено окончательно и только мы не знаем, как; а может, мир в принципе задуман как неустроенность. Букет неожиданностей и непредсказуемостей на столе моралиста. Все как-то существует сразу, здесь и сейчас, куда ткнешься, на то и нарвешься.

Кто бы что ни говорил, я должен остаться изумрудом и сохранить свою окраску. Герметизм, путь в сияющую пустоту. А как же широкий отклик сердец, несмолкающие в веках рукоплескания? Глаголом жечь? И тут же: «Тебе ж нет отклика… поэт». Не слышат, не видят, пустое место. Но – «Ты царь, живи один… Ты сам свой высший суд». Самоосуществление неведомого шедевра в шапке невидимке. «Скоро ты забудешь обо всем, и все забудут о тебе». Марк Аврелий.

Внезапные, как смерть, моря. До гроба ли ты будешь молодым, мучитель-сердце? Поэзия – это предчувствие, поэт говорит голосом предчувствий. И тогда загорается вокруг его слов изумрудный ореол, тревожный, таинственный, волнующий нарастанием неизвестного, вот-вот готового произойти, вспыхнуть ярким блеском случившегося. Это томление, это мучительное ожидание того, что вот-вот должно произойти. Гениальность это – взялся за гуж, не говори, что не дюж. Взвалить гору на горб и понести. Струна Орфея во мне, я с ней родился, и только на поэзию и отзывается, струна эта, ось меня. Все прочее – прочь. Умереть бы, как Петрарка, упав лицом на страницу книги.

Ну вот и сентябрь. Провожал Ларису на платформу, через лес вдоль железной дороги. Она вспомнила: «Вот как будто сейчас вижу, тридцать лет назад, выходила тебя встречать, а ты бежишь с поезда мне навстречу по этой тропинке у насыпи, в своей голубой милицейской рубашке, с дежурства, такой молоденький мальчик, в

глазах любовь и нежность». Она мне это сказала с такой грустью, с такой ностальгией. Должно быть, это одно из самых дорогих ее воспоминаний, молодости, нашей молодой любви, первые годы нашей любви. «И где же теперь этот мальчик?» сказал я. «А где эта девочка?» ответила она. «Ни этого мальчика, ни этой девочки. Какие мы с тобой старые. А все никак не примириться, со старостью, с потерей сил. А ведь это старость.

Капризы и причуды, рой эфемерностей, все делается на границе, между «тем» и «этим», на смертной черте. Как вечер ясный: ни мрак, ни свет. Я не знаю, то свет или мрак… На грани растворения, ускользания, исчезновения, уничтожения. Бездны на краю. На грани речения и молчания. Мистику слова рождает эта гибельная черта. Черное солнце мастера. Хуан де ла Крус «Восхождение на гору Кармель. «По мере нисхождения от горнего мира к дольнему речь моя становится все более многословной, а по мере восхождения от дольнего к горнему, к запредельным вершинам, речь моя становится немногословной, дабы в конце пути обрести полнейшую бессловесность, всецело растворившись в божественном безмолвии. … Чтобы познать все, не желай знать ничего». Ну вот, я и говорю – чистый космос языка. Чего я и сам добивался. Война и мир в себе, ад и рай в себе. Прямая линия – ян, кривая – инь. Усилие стиля у Малларме и его единая книга, орфическое истолкование Земли.

Опять головная боль ночью сквозь сон. Осень, осень, еще одна, черна, страшна, с желтой прядью в переулке. Предчувствие неслыханных речей за туманным порогом пропащего дня. Знаю заранее: день безнадежно потерян. Теперь все дни будут потеряны, будут теряться тут же при пробуждении, бусинки рассыпанного ожерелья. Гекуба, Геката, собачья жизнь, терпение муравья, йод души, последняя ступень. Ясень содрогается, причаливает корабль мертвецов, огненный великан поджигает мир. Он говорит: смерть, копье, молот, кольцо, пояс силы. Написанное слово сильнее устного, одноглазый сильнее двуглазого, слепой сильнее зрячего. Приникая к силе титанов. Они выдувают из себя феерические миры своего воображения. А ты – искорка, примитив, пуантилизм. Проглотишь глаз – воскреснешь. Читай нараспев, нельзя ошибаться ни в одном звуке. Дымка неопределенности, поток предчувствий, несет, уносит куда-то, в тревожную, туманную неизвестность, не за что зацепиться, остановиться хоть на час. Все, что ни делается, все, что ни происходит в мире, только повод для пенья муз и сирен.

Мир упирается в слова, а за словами туман, хаос. Слова – обманщики, жулики, они все врут, они же сочинители, они сочиняют басни, легенды и мифы, истории, одна другой фантастичней. Все, все врут эти фантазеры, Мюнхгаузены, Хлестаковы, вранье у них в крови. Сегодня приснился Тай-и – великий Единственный, повелитель драконов, отец Дао. Звуки напева с нефритовым звоном сходят с уст, разворачивается свиток воды и ветра. Всегда он здесь, на границе видимого и невидимого, преображается и исчезает. После него остается сияющее дуновение, божественный ветерок, навевающий на душу постоянное присутствие поэзии. Поэзия – магия и ритм, всегда со мной. Молитва, гимн, заклинание, заговор, песня.

У года два денечка, последних, вот-вот сдунем. На Невский. Зашли в Книжную лавку писателей, мой «Тот день» продан, все три тома. Нечаянная радость. Я не верил, что кто-нибудь купит, будет лежать и лежать до Судного дня. А вот и месяца не прошло, кто-то взял. Купили календарь с петухом, гребешок пожара. Год петуха. Вечно, как первоисточник. Огонь, твоя древняя магия, из пламя и света рожденное слово.

Вот мне и 70. Стараюсь писать как можно меньше, вопреки Чехову. «Сократи слово, малыми многая изглаголи». Мысль, одержимая гонщица, бежит впереди всех паровозов, из-за нее, злосчастной и безумной, угроблена целая жизнь. А она и сама не знает, что ей надо. Ей только одно – лишь бы бежать впереди всех. Чтобы ее понять, надо с ней побыть, оказаться в центре мирового Лабиринта, в гнезде Феникса, куда устремлено ее яростное движение, там должно прозвучать нечто, чего еще нет и что крайне важно для кого-то, не только для нее самой. Та искренность, та правда о себе, похожая на клевету, и на себя и на весь мир. Но разве слово для того, чтобы разоблачать? Оно, слово, непредсказуемо, оно всегда другое, всегда больше сказанного. Ему не нужны ходули и костыли «громких фраз». А, может быть, и вообще любая связная речь – такие вот костыли мысли? Построить нормально связную фразу кажется мне чем-то пошлым и бессовестным. Тут ведет руку пишущего объяснение ради объяснения, истолкование ради истолкования, то есть культура речи. Самообъясняющая литературная речь. Это такая потребность культуры и культурности. А я-то тут причем? Моей нищете и косноязычию ничего этого не надо. Мне надо только бежать впереди Вселенной, бедному и босому. Свобода и победа. Моментальная личность Малларме.

Потребность формы, мучение бесформенности. Есть какой-то таинственный орган, непосредственно воспринимающий форму – мгновенно и цельно. Поэзия – богоявление формы. Что-то нечеловеческое. Человек так не мог создать! Это Музы ему диктуют, Аполлон, Бог Саваоф! Лицо диктующего невидимо. Все, что сразу и полностью видимо – не то, не оттуда. Форма потаенна, сокровенна, больше себя самой, себя видимой. Она показывает только видимую часть себя, как надводную часть айсберга. Форма целомудренна, она прячется от пошлых взоров непосвященных соглядатаев, видимо только ее сияние. Фаворское сияние формы. Заболоцкий: «Вечно светит лишь сердце поэта /В целомудренной бездне стиха». Форма то покажется, то исчезнет, распадается, тает, в полуформах, гибнет в бесформенности и опять возникает – что-то на миг, радужное видение, что-то на века, долгоиграющая свирель. Неприкасаемость формы, ее сохранность – условие существования поэзии. Расщепителям она не дастся. Да не сдадимся низким целям анализа с пыточными крюками и пилами. Многоликие, о чем они поют, что танцуют, знает только их Отец.

Мей: «Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль». Это же страшное любовное заклинание в чарующей форме стиха. Пример такого перевода со звука на звук. В звуке энергии больше, чем в свете. У Пушкина: «Звук к звуку нейдет». У Боратынского: «И над умолкшей аонидой». Тут на двух «и» поет струна строки. Убери первое «и» – строка гаснет, глохнет. «Пусть каждый знает, что никакая вещь, приведенная в согласие музыкальной связью, не может быть переложена из своего языка на другой язык без крушения всей ее сладости и гармонии». Данте, «Пир». Мысль формы – цветомузыка. Природа мыслит формой, ритмической формой. Стихи пишет ритм организма в резонансе с ритмом космоса. Каждый раз сказано все о мире и о себе. Но говорят и говорят. «Смерть и живот в руце языка. Вода глубока – слово в сердце мужа». Редкие искры в небе слова.

Бог уже все написал в начале времен, при сотворении мира и языка, все возможные книги, все, что можно написать. Бог между молчанием и знаком: дать говорить больше молчанию, чем знаку. Язык намека. Жалкая привычка к стихоплетству, к повествовательности. «Божественное ускользает от познания из-за своей невероятности». Гераклит, это его молнии пасут стада всего живого здесь, на земле.

Кто я? Не знаю. Когда пишу и напишу что-нибудь, непреднамеренно, на порыве – что-то о себе узнаю. Потом опять прячется и остается неизвестным. Книга – это и есть средство узреть

себя неизвестного, другого, не того, кто мозолит глаза в повседневности. Об этом у Марселя Пруста «Против Сент-Бёва». Бесстыдная интимность, свое тут и промелькнет. Узнай себя, то есть – самое на тебя непохожее, непривычное, для тебя невероятное, невозможное, тебе в себе неизвестное. Это и есть настоящий, подлинный ты. То, что тебе на роду написано, твоя непредсказуемость, твоя странность. А будешь осмотрительно отстраняться от себя такого, стыдиться своей неприглядности, предашь себя настоящего – брось перо, ты его не достоин.

Отойти от текста на расстояние, чтобы отрешиться от того как написано, останется только произведенное эмоциональное впечатление. Когда-то, давным-давно, в блаженные времена я так и читал. Но теперь я так не могу, я не могу не замечать плохо написанного, и это убивает для меня все другие достоинства.

Мысли душно в словах. У Премудрости Божией мало слов. Указывая, не показывай. Врата абстракции для меня закрыты, как и для Брентано. Все теории искусства нарочиты, все, все, и самые лучшие, и самые и не самые, он, поэт, он прав. Один на один против уготованного языка жрецов литературы. Двойная власть ключей: работа в белом и работа в красном. Писать – значит обманывать. «Язык же мягок сокрушает кости».

Перечитывал «В тени Водолея». Десять последних лет, приближение к 70, к концу, завершение цикла. Мистерия, посвящение, подъем на седьмую ступень духа. Переживается и как катастрофа и как смерть, и как переход в новое, второе рождение. Также – ощущение конца мира, череда катастроф, знамения перед окончательной мировой катастрофой. Одновременно тема написания некоей книги. Книга – мистическое и космическое явление. Книга-мир, Книга-Бог. Написал и исчезаю в ней, в ее мглистой дали, становлюсь ею. Одновременно – история стареющей пары, он и она. Она словно его двойник в женском облике, душа, Психея. Ян и инь. Потеря матерей, сначала его, потом ее. Тема зеркала – сквозная. Образ молнии, тема гения, творческой силы, мастерства, писательства. Окружение – писатели, литература, культура. Петербург, дача, события в мире, в культуре, в повседневной жизни двоих, их внутренний мир, цитаты, высказывания, неразличимо от мыслей героя, единая вязь. Самозапись моего духа за эти десять лет. Книга ни для кого. Читателя ей нет.

Семь – число великой Матери, семь лучей, седьмой луч – путь, по которому человек переходит из этого мира в следующий. Семь – максимум, предел, полнота. Семь узлов, семь струн, семь сосудов.

Семь раз повторяются заклинания. Семиконечная звезда магов. Семь шагов Будды, семь ступеней восхождения. Слово – мировая Гора, широкое подножие мирового Слова сужается к острию вершины. На вершине – Молчание.

У Паустовского: «Серый свет сочился на лестницу из немытых окон. Старые коты, раздувшись, всхрапывали на ступеньках». Я бы написал: «Лестница. Серый свет из немытых окон. Коты всхрапывают на ступеньках». Жизнь картинна. 72 градуса, угол вращения в молекуле ДНК. Даю все сразу, сердце в гнезде-обиде. От колыбели до гроба один шаг. Пытаюсь вспомнить, но начало так темно, что все усилия кончаются ничем. Пустое занятие. Зачем себя мучить. Мама сдавала комнату. У нас перебывало много жильцов.

В полночь вышел в сад. Небо темное, в тучах; теплынь, стоял бы так и стоял тут в одной рубашке. Тихо, листок не шелохнется. Фет, колокольчик, ночь тиха как дух бесплотный. Последовательность, повествовательность, беда с ними. Мировая ось поскрипывает, июльская, светится всю ночь позвоночник Озириса. Ресничка мгновения. Но у мгновения есть своя вечность, моргает, мигает, Фата-Моргана.

Купались, молодые и старые. Из воды вышла самая юная, «млея пеною морской, всепобедной вея властью». Посторонился, давая дорогу на узкой, скользкой тропинке над обрывом. «Ничего, ничего, не беспокойтесь, тут места хватает» сказала она, усмехнувшись. Прошла, слегка задев меня бедром в мокром купальнике. Начало августа. Ночь теплейшая, небо в облаках, каких-то странных, серебристых. На западе розовая полоска еще светится, еще не гаснет.

«В тени Водолея» – это у меня получилась какая-то буддийская мандала. Лета, Лорелея, сети и зеркала. Мы – рыбы, несчастные дети древней воды, выброшенные на этот гибельный берег, хлопать жабрами и сдыхать. Детские воспоминания Ларисы, часто у нее повторяется, дорогое для нее: как бабушка Мария Афанасьевна на даче после бани перестилала постель свежим чистым бельем. Лариса, девочка, лежала на своей кровати, на этом чистом белье, а бабушка ей говорила: «Ты как барыня! На чистом-то белье! Чем не жизнь!» А ведь и кровать-то была старая, железная, ржавая, и белье стираное и штопаное. Какое уж там барство.

На веранде душно, просыпался раз десять, опять задремывал, полусон, полубред, головная боль. Под утро слышу: удары капель о крышу, тяжело, редко, потом чаще, дробно, и вот уже – дождь, шумит-гремит. Лежал без сна, слушая этот роскошный дождевой шум, утешительный, успокоительный. Брился под дождем на дворе у

умывальника. Облился холодной водой из ковша, прыгал от радости под дождем, голый, кричал: «Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна! Небо, тучи, дождь, слива, вишня, смородина, малина, улитки, червячки! Ура, ура!»

Мысль подвижна, текуча, то здесь, то там, она везде и нигде. Почему же ее делают неподвижной, как камень, стол, стул. Сидят на ней, ставят ее перед собой, переставляют с места на место, и она у них якобы меняется. Но это не подлинная, не истинная мысль. Это мертвая мысль, неживая. Живую мысль не остановишь, не поймаешь, она неуловима, она ускользает, она – вода, ветер, огонь, земля, дерево, звезда, она везде, она нигде. Она – живая, она – жизнь. А жизнь не поймаешь, не остановишь. Она всегда в бегах, она всегда от тебя убежит. Мысль быстрее языка. Поэзия и есть эти языковые отблески и отзвуки бега. Всегда там и тогда, когда и где ее не ищут. Она не знает своего имени, не знает, что она поэзия. Она о себе ничего не знает. И никто о ней не знает. Ее назначение – ускользать. Когда-то у нее было имя, но оно давно забыто…

Мысль не хочет высказываться, не хочет быть изреченной, ей и так хорошо, она в раю безмолвия, в блаженном беспамятстве. А язык ее соблазняет и ловит, змей-язык с лживым жалом. И она, соблазненная, попадает в ловушку языка. И это и есть грехопадение мысли.

Скрещение сил. «И снится, снится, мы молоды оба, и ты взглянула, как прежде глядела». И этот рассказ Паустовского «Дождливый рассвет», крутой берег, обрыв, ветхая лестница с подгнившими ступенями, пароход внизу у пристани, готовый отчалить, прощание с женщиной, навсегда, больше он ее никогда не увидит.

Рильке, серафический доктор, ощущение рухнувших границ, тоска по Целому, сияющая нищета. Тоска поэтов по первому слову. Щели, провалы. «Да, форма часто не отвечает намерениям искусства, поскольку вещество глухо на отклик. Узнаю знаки древнего пламени». Данте.

Ночь, сверкающая пыль Млечного пути. Стоим в саду вдвоем, Лариса, ее возгласы восторга. «Сердце робкое бьется тревожно… От людей утаиться возможно, но от звезд ничего не сокрыть». Эта ночь, и мы вдвоем, и больше тут никого и ничего. Мы и ночь – одно целое, на эту минутку чистоты и радости. Лариса о моем «В тени Водолея»: целомудренность, большая душевная сдержанность, скупость на слова, на выражение чувств, мыслей, аскетизм; и в то же время – полная раскрытость, щемящая, пронзительная раскрытость внутреннего мира. Получился уникальный эффект. И вообще это характеристика моего стиля.

Какие образы возвращаются? Дальше звезд, ближе глаз. То место во сне, где вся вода встречается с водой. Тот забытый сон вернулся. Неведающее, неразумное, неведомое мое. Оставь речь, всю речь мою, ради невысказанного ею, ради этой бедной, нищей, бредущей изо дня в день «долиной чудной слез» (в какую даль, в какую боль?) неслышимой речи моей.

Лариса проснулась, сидит на постели, говорит, протягивая руки: «Ну разве можно жить с такими тонкими ручками? Не руки, а тростинки какие-то». Я присел около нее и стал целовать эти руки, бледные, слабые, бессильно повисшие.

Резец, орган, кисть, танец. Казалось бы тут нет словесного. Но Слово присутствует незримо во всех делах и созданиях человеческих, во всех искусствах. Слово – Бог. Слово ревниво, суровый диктатор, властитель человека. Никуда от этого диктатора не деться. Иногда мелькает призрак бессловесности в темном сознании. Но момент отрыва, перескока от бессловесности в слово не уследить. Веянье неуловимого. Призрачно. Призрачны эти метаморфозы, эти перевоплощения. Мы видим и слышим только уже результат рождения в такой-то форме. То, что воплотилось у Лермонтова: «Горные вершины /Спят во тьме ночной» откликом на Гетевское стихотворение – совсем не то, что и отчего возникло у Гете. И мы никогда не узнаем, на что откликнулась душа Гете, чтобы стать этим стихотворением, а на что душа Лермонтова, чтобы, отразясь, явить свое. И у того, и у другого – нечто призрачное, смутное, туманное, некое поэтическое чувство, некий доязыковый, музыкальный образ.

Точное попадание в форму. «Богов певец не будет никогда подлец». Державин. Может быть, образы как-то сами по себе живут, образность сама по себе. Где-нибудь все уже есть, все, что может возникнуть в воображении и в мысли. И возникает, когда ударит луч-молния, туда или сюда, в того или в другого. Что и называют – откровение, озарение. Вот и у меня об этом в моем «В тени Водолея»: «Мастер – это молния, он знает, куда ударит молот; начинает с иголки в стоге сена, а находит никогда не бывшую Трою». Мастер тут сам Бог, Создатель, Творец.

Я родился не 2 февраля 1947 года, а тогда, когда родилось мое сознание. Но когда же оно родилось, в какой год, день, час? Я не помню, и никто не помнит, да и знать об этом никто не может. Смутно помню… Но что, что смутно помню?.. Ускользает какой-то призрак меня, незнакомца. Тот, кого я зову, хочу назвать собой, своим именем… Я тогда не знал, что я – это я. И вдруг – узнал. И тогда родился. Родилось сознание.

Если бы было только триста слов, даже только сто, даже только десять – все равно то, что можно было бы ими высказать – было бы неисчерпаемо. Фонвизин всю свою жизнь страдал головной болью. Жалобы в письмах: «Мучительная головная боль целые две недели меня не покидала… Бедная жизнь, тяжкая работа и скоропостижная смерть – вот чем пиит от прочих тварей отличается». «Повествование мнимого глухого и немого. Вот глухой-то и немой… Он, бедняга, никому и ничему не помеха… К сокровенной человеческой внутренности имею ключ». Собиратель редкостей, картин, гравюр, книг, скульптур. Большая библиотека и коллекция художественных вещей. В 1786 г. написал свой шедевр повесть «Калисфен». Однажды Фонвизин подписался – «Иван Нельстецов».

Написал автобиографию. Писал прежде всего для того, чтобы упомянуть людей, которые были событием в моей жизни и которым я благодарен. Баратынский или Боратынский? Музыкально, мечтательно, минута авторского самолюбия. Это характер, это что-то в характере, присутствие стали изначально. Ночь холодная. Лег спать печальный, чуть ли не несчастный. Это от разговора с Ларисой, жаловалась, опять у нее приступ той ужасной боли. Непонятно, что это. Говорит, невозможно терпеть.

Книга брошена в зияющую щель. Кто там восседает на священном престоле? Кривляющиеся на стенах тени. «Словно звезда, какую Кронион Зевс посылает знаменьем или пловцам, или воюющим ратям народов, яркую, вкруг нее сыплются искры». Мистический орган восприятия где-то над сердцем: позволяет услышать музыку и песнь духовных наитий, звук, рожденный без прикосновения. Звездная ночь на пятницу. «Пятых же дней избегай, тяжелы эти дни и ужасны…». Пан милостив, он любит таинства. Веялка и факел, очищение ветром и огнем. Древняя песнь о Лине, умершем юноше; голубой цветок льна. Сирийский возглас над мертвым Адонисом: Ай-лену!. Увы нам! Сон о голубом цветка у Новалиса.

В девятом потихоньку вышел, в цветочный на пр. Ветеранов. Еле плетусь, шатаюсь, сердце болит. Утро свежее, ветерок, солнце в дымке. Купил пять роз, красных. Продавщица в халате спросила: «Первое сентября?». Я подтвердил: «Да, первое сентября». Иду обратно с розами в руке. Сегодня двадцать восьмая годовщина нашей свадьбы. Боже мой, вот уже и двадцать восьмая годовщина! Дети впереди меня идут с букетами в школу. На дороге около поликлиники остановился и долго стоял лицом к солнцу, еще такому чистому, по утреннему не жгучему. Передо мной лужайка, трава еще зеленая, ветер налетает, прохладный, обдувает меня всего, а я стою тут на

обочине дороги, с букетом роз в руке, зачарованный этим сентябрьским солнцем, восходящим над домом. А за спиной шум проезжающих машин и голоса людей. Эта минута моей жизни. «И позлатиши его златом чистым».

Всю ночь дождь, диктовал мне свою бесконечную балладу. Зерна первоначальных значений первых слов – из них произрастает огромный, многоветвистый лес языка. И я слушаю, слушаю, зачарованный, как он шумит. Лес символов, поэзия лингвистики. Так мыслит сама вода. Ведь все мы дети воды. Весь лес языка перекликается и аукается звуками древних смыслов. Надо уметь слышать и понимать, о чем говорит, поет этот лес языка. У меня («В тени Водолея») есть фраза: «Витязь на перепутье: все стороны чужие». То есть – он в центре сил, в первоначальной точке. Любой выход из центра – чужое, внешнее. Там же еще фраза: «Поэзия, ее безумные завитки, завихрения, зигзаги». То есть – выход из точки, из центра, из сути, изнутри вовне заставляет энергию центра биться в судорогах, в западне внешней необходимости, в тисках железной судьбы властных сил. Она хочет остаться внутри себя, в первоначальности, а ее выталкивают, и она взрывается. Поэтому – вихри, зигзаги. Вот этот взрыв на пороге внутреннего и внешнего и есть поэзия. Поэзия катастрофична. Поэзия – это взрывчатый переход внутреннего во внешнее, молния гибельности на границе двух миров. Вот почему: «Не предавай себя, не предавай молнию в себе, она – это ты». Там же. И ты истинный только в этой экстремальной точке себя, и только там – поэзия, и ты – поэзия. Вот почему: «Направо пойдешь – в сердце нож. Налево пойдешь – будет то ж».

Суть возникает на переходе из одной среды в другую, из одного мира в другой, противоположный. Этот переход катастрофичен, это перелом и перевоплощение. На этой границе-переходе и возникает суть как вспышка энергии-молнии из разницы двух взаимо-исключающих миров-сред. Суть катастрофична, и для сознания она возникает в свете катастрофы и как катастрофа, на границе известного и неизвестного, обычного и необычного. Это и есть поэзия. «Душевный строй поэта предполагает к катастрофе». Цветаева. Музы мыслят красотой и гармонией бурь, все девять, в апофеозе девятого вала. «Помыслы всемирного духа тихо завершаются в душе поэта». Гельдерлин, ударенный «тихой» молнией в мозг.

Фет о поэзии. «Гармония также истина». Знать Целое – это чувствовать Целое, знать в красоте. Мысль поэзии – ускользающая золотая змейка, это и есть «гармоническая истина», поэт мгновенно

схватывает ее крылатым звуком своего слова. Чтобы не успела ускользнуть к Гераклиту. «Я люблю только то, что прелестно пляшет в журавле, ибо это тайная жизнь, вещь в себе, которую для людей знают одни поэты… Писал по-журавлиному, непонятно для себя самого, то есть истинно».

Приехал в город, сыро, темно, фонари, люди. Подошел к нашему дому, листва мрачно блестит в переулке в свете фонаря. Осень, осень, еще одна, сентябрь, октябрь, ноябрь… А мы с тобой вдвоем… Открыл дверь, вхожу, Лариса сидит в большой комнате под люстрой за столом, в очках, что-то шьет и смотрит телевизор. Собачка наша Дашунька бросается ко мне с радостным визгом. И Лариса поворачивает лицо в мою сторону, улыбается.

Клен за окном подслушивает мой сонный бред, он знает мои мысли лучше, чем я сам. Резонно, резонно, что мир как-то да устроен, и есть люди, одержимые страстью знания, пленники такого представления, что всё как-то там устроено. Для них знать – это вот так знать. Ничего, ничего у меня не устроено, и знаю я совсем не то и совсем не так, и знание мое какое-то другое знание. Знаю, что «Тихо плавают в тумане /Хоры стройные светил», а еще знаю, что «Ель сквозь иней зеленеет» и «Очи синие, бездонные /Цветут на дальнем берегу». И северное сияние танцует в небе полярного волшебства, завораживая зрелищем невиданной красоты. Это я знаю. А то, что это выбросы солнечного излучения сталкиваются с магнитным полем Земли – не знаю, не знаю! Хоть ты тресни! Еще я знаю абсолютно точно: все вокруг меня и я сам – тайна. Тайна из тайн. А больше я ничего не знаю. Глупый, безнадежно тупой: не знаю я, как устроен мир. Вот не знаю и все тут!

Это Раймунд Луллий в космосе крутит какой-то фантастический калейдоскоп языка, машину образов и понятий, беспощадно меняя логику всех привычных связей. Оказывается, плечо – это четыре, а дом – это дума улитки, ползущей по ветке тысячелетий. Кто ему позволил такой произвол, который он называет поэзией и подлинной свободой многомерной мысли? Обезумевший маньяк, крутит язык, как хочет, быстрей, быстрей. Голова кружится, от такого бессмысленного и безудержного кручения. Форма подушки не хочет быть подушкой, она хочет быть облаком и уплывает из-под моей головы, она ведь поэтическая фантазия, и моя голова, ее породившая, ей больше не нужна, у нее свободный полет в невероятных мирах.

Кто ты? Коллекционер цитат, волшебных звуков и чудесных снов? Все равно ведь никто не поймет, ни тебя, ни меня. Привычка

записывать, завитки, зигзаги. Страх и стыд, душный застенок запретов. Зажат, задавлен. Юность, свежесть, самораскрытая раковина души, шум бунтующей влаги, океан отваги. Все происходит в пространстве духа, а время отменено, вместо времени многоголосый хор живых и мертвых, мировой оркестр, мистерия, дирижирует Скрябин. Неведомый шедевр каллиграфии драгоценных фраз. Куда мне грусть свою нести.

Я пишу сгущением слова, его интенсивностью; такой предельной или даже запредельной интенсивностью и сгущением написаны «Тот день» и «В тени Водолея». Особенно «В тени Водолея». Никто не понял. Всем нужна разжиженность в той или иной степени, все живут в разжиженной среде слова, смысла, сути, формы, краски. Только в такой среде они и могут обитать и таким питаться. А я теперь живу и обитаю в сверхсгущенной и сверхинтенсивной среде слова, сути и формы, и только этим питаюсь, и не могу иначе.

Образы со всех миров, реальных и вымышленных, сны, миражи, мечты, мифы, события, истории, повседневность, монологи, диалоги, обрывки разговоров, клятвы, проклятия, голоса, плач, смех, рев, вопль, призыв, и все они, все эти образы переливаются друг в друга, смешиваются в один вихрь, несутся куда-то… И это страницы неизвестной книги. И эта книга – сама жизнь, дух жизни. Искусство всегда до грехопадения, всегда первоначальный рай, цельное, нераздельное. Верю только в стихию и форму. Миру погибнуть, или мне книгу писать? Выберу: книгу писать. Только когда луч этой чудесной зоркости попадает на плоскую, скучную, бесплодную пустыню обыденности, она преображается и расцветает, и «Мемнон начинает петь свой гимн». Только из замкнутых сил тонкая прелесть сквозит.

Встаю в ту единственную точку в себе, в центр себя, где я никто и ничто, где все равно, абсолютно все равно и, значит, я вне всех и всего. Тютчев ни во что не ставил свои стихи, называл их: «Мои выкидыши». За стеной два голоса, мужской и женский, громко говорит радио. Счастье – не слышать ничего человеческого. Вышел, ночь в звездных узорах. Туманный ход миров иных. Axis mudi. Дух северного полюса, полярная звезда сияет над той великой горой из лунно-голубого льда.

Утро. Мистерия восхода. Вышел за калитку к железной дороге, воздев руки, пел орфический гимн восходящему солнцу. Птица слова, сердце ритма в теле звука. Взгляд-скальпель на операционном столе анализа, расчленяющий «сердца бедного полет». Геркулесовы столпы пошлости, лоханно-скорбные поэты, все те же, все также. Дух

страшных древних богинь, любви и войны, Инанна, Иштар, Кибела, Исида. Три самых любимых книги Цветаевой: «Нибелунги», «Илиада», «Слово о полку Игореве». Петров-Водкин: «Наши чувства, натасканные приспособлением к покою, очень извращенно воспринимают видимость». И что же он опять ищет, мятежный, в тумане моря голубом? Новых бурь, как будто в бурях есть покой? На почту, послал «В тени Водолея» в Москву в Российскую государственную библиотеку.

Волшебный стрелок: пускает пулю в намеченную цель, пуля рассыпается на тысячу таких же пуль, они летят в тысячу неизвестных целей, независимых от первоначальной, каждая в свою, и точно в них попадают. Октябрь уж наступил. Дождь, школа. Тополя еще зеленые, еще шумные. А вот клен роняет свой убор, багряный. Пушкин на него дунул из своей вечности. Горенье, тленье, забвенье, песнопенье. «Дрожащие огни печальных деревень». Какая красивая строчка. И там же: «Чета белеющих берез». Кленовый лист, кувыркаясь, падает в переулке, все ниже, ниже, страшась, в ужасе, нежный, золотой, не хочется ему коснуться праха. Все еще падает, вечное это паденье. Пишу, дрожу. В каждой капельке чернил весь язык. А в языке – все возможные книги. Как при фейерверке: вспышка одной звезды порождает вспышку новой звезды, с другой формой и другим узором, а та еще одну, новую, а та – третью, и так до бесконечности. Искусство ведь беспредельно, устами Бетховена. Илиаду пишет Принцип. Чистота формального порядка повелевает острить перо. Идет дозором вдоль лучей луны; сон или явь, что не под стать безумцам – языку и разуму. Фантастические цветы этих письмен выросли из единого зернышка.

Джорджо Моранди, метафизический натюрморт, вещь как таковая. Красота простых вещей. Монах в своей келье. «Даже в самом простом на вид предмете великий художник может достичь вершин изобразительного мастерства и той глубины чувствования, которая находит в нас мгновенный отклик». Гельдерлин в своей башне безумия: «Огнем небесным воспламеняя нас, и боль святую боги даруют нам». И физика и философия могут врать, поэзия – никогда. «Вести дневник, всматриваться в самого себя, – верный способ исказить себя до неузнаваемости». Поль Клодель. Поэт – пульс Сущего. Прекраснее музыки только тишина. Сама жизнь рисует затейливые узоры на обложке книги, которую мы называем «внутренний мир». Но могут ли эти узоры сказать что-либо верное о внутреннем мире, о глубинной, душевной, духовной жизни, или их связь чисто внешняя, иллюзорная, условная? Не могут, не могут. Вся

образность мира живет в каком-то зеркальном зале, перекликаясь в зеркалах воображения, порождая бесчисленные феерии и мистерии. Фраза или ветвится до бесконечности, или ходит по шпалам. «О приди, огонь, ты нужен Платону!» Сожжение поэтических произведений после встречи с Сократом.

Дни все короче, в тусклой решетке нагих ветвей, как у Бориса Шергина: «Туск небесный быстро смеркнется». Тайна этого «туска» ускользает от телескопа, от назойливости сознания, прячется в туманах. Прячься, прячься! Не давайся! Они все превратят в цифру на логарифмической линейке хилого смысла. Господи, сделай так, чтобы дважды два не было четыре! Мы думаем, что мы знаем законы той Игры, в которую играем, то есть, которую нам дали играть. А на самом деле нам только кажется, что мы знаем их. На самом деле мы не знаем, в какую игру мы играем, в какую нас заставили играть. Тупая боль пронизывает эти обледенелые миры с их метафизическим бредом. Он, изгнанник, Георгий, на больничной койке, бедный рыцарь, победоносец, но это уже не та музыка. «Книга книг на престоле – все тайны жизни и смерти в ней». Поль Клодель.

Что во мне больше: сущность или личность? «Если ты не уверен, что тебя будут читать миллионы, нечего браться за перо» – так говорит олимпиец Гете. Но я и на необитаемом острове буду отделывать каждую фразу по примеру Виланда. И не только Виланда: вот и произведения Блейка больше известны на небесах, нежели на земле. Ноябрь, Мариинка, сольный концерт, фортепьяно. Пианист Мирослав Култышев, прелюдии Рахманинова. В зале почти одни старухи. Возвращались поздно, мрак, сырость. Когда я слушал музыку, мне представлялась растущая и строящая форму звуковая сила, возводящая некое многофигурное здание с разнообразными узорами, повторами, вариациями, которая замыкалась законченной Формой. Вещи были непродолжительные и потому сжатые. Луч духа концентрируется в малых формах. В больших, в развороте себя – сила разжижается.

Бруно Шульц, сновидец, мифотворец, его эзотерические полеты, фантаст, проживает свой единоличный сон. Выстрел эсэсовца в голову носителя этих космических феерий обрывает звездоносный полет языка. Ужас отрыва от стаи не пугает белого журавля. Он безгласен. Остается бездна непроявленного в фотоснимках. Так и останется. Таков Принцип. Надо что-то не понимать в одном, чтобы сделать открытие в другом и понять другое в этом же самом. Огромные космические пространства между словами, каждое слово – на своем престоле, (вне словаря) в царском венце самодержца, никого

ему не нужно, кроме самого себя. Потребность письма ему не присуща. Каждое слово говорит: «Я есмь Сущий». Леон Блуа, крест нищеты. Кому назначен темный жребий, приходит в этот мир под каким-то своим символом, который ему не дано разгадать.

Проснулся в семь с головной болью. Тьма, фонари. Лариса еще спит. Возраст тоски, последней. Минутное время фотографий, метет, мокрый снег. Жить-тужить. Незаметные восприятия Лейбница, баловаться метафизикой, шампанское к Новому году. Скальды, изъян формы считался оскорблением. Я, такой скальд, осколок, в холодный белый день против всех. Николай Титов, композитор любитель, романс на стихи Лермонтова «Горные вершины /Спят во тьме ночной». Везде зеркала, ужас бесконечных отражений. Душенька моя бездомная и слабая.

Приснились страницы моей новой прозы, так явственно, слова, фразы, выражения, какие-то гениальные страницы. Все помнил во сне. Пытался продолжить, дописать, крутилось: и это еще надо вставить, и это. Проснулся – и все улетучилось. Ни слова. Такие уходят в свою сторону и уже ни с кем не перекликаются, не оглядываются, все дальше и дальше, и тогда – отрыв. Уже невидим и неслышим. Отрываются от рода. Но не от языка. Язык – небо, в котором летит журавлиная стая, души наши, белые журавли. Христос требовал от своих учеников бросить все, имущество, семью, отца и мать, и только тогда они смогут следовать за ним. Такие одержимые, пишут: «Здесь был я».

Калейдоскоп дней крутится слишком быстро, я не успеваю запомнить его сменяющиеся узоры. Может быть, они повторяются в туманных лабиринтах моих снов, но я не узнаю их. Будет день (ясно, что – будет), когда калейдоскоп остановится, избавив меня от круговерти мучительного мелькания, и все эти узоры померкнут. Плачевные узоры.

Не побояться рискнуть стилем и вкусом, Фолкнер о Томасе Вулфе. Но я не из тех, я осколок скальдов. Смена масок, во всех ролях рули на маяк Яго: «Я – это не я». Если надо объяснять, то не надо объяснять. Жало прекрасной змеи, знаменитой Зинаиды. Историй всего четыре, и они будут повторяться без конца и передразнивать друг друга. «Возьмем себе в пример словесных человеков» – говорит Сумароков. Больше всего мне дорого в написанном мною то, глубинно, сокровенно свое, что никому недоступно, чему нет читателя и никогда не будет. Превратности формы в истории резца, кисти, слова. Воин играет в шахматы со смертью. Смерть побеждает. По ту сторону зеркала все то же самое, что и здесь и делают то же

самое, торгуют на базаре, но не люди, а образы людей, не продуктами, а образами продуктов. У Бориса Житкова: «Гордо зацокали подковы по мокрым камням».

Художественное произведение не существует, если в нем есть смысл и только смысл. Фет, лепечущий божественный вздор, блаженное, бессмысленное слово Мандельштама. Совесть ушей Ницше – чистый звук. Хлебников, листок звука на мировом древе, мнимое число – корень поэзии и вселенной, и сам он, Велимир, – великий корень из нет единицы. Его вещие, видящие слова: «Есть слова, которые видят». А еще Григорий Сковорода: «Видеть надо вдвойне». Оборотничество слова: диссиметрия – жизнь, симметрия – смерть. Судьба – катастрофичность внутренней жизни. Отшельник, затворник, нет внешних событий, вся судьба – внутри, гроза в себе. А можно прожить жизнь, полную всевозможных превратностей, и трагических, мученических, но проживание их внутри себя пошлое и тупое, никакой судьбы тут нет, тут всего лишь перипетии. Не каждый способен на судьбу. Существенное слово, изначальная речь, «Но лишь божественный глагол /До слуха чуткого коснется». «Гаснут пред Словом земные слова». Александр Добролюбов.

Все пишут внутри Слова и только некоторые, проклюнув скорлупу Слова, выходят за предел, за Слово, в неизвестность. Зачем переводят и переводят «Слово о полку Игореве» с древнерусского на новейшее стихосложение? Потому что они внутри этой силлаботоники с рифмами и метрами и ничего вне ее не видят, она им застит свет. «Не писать мне нельзя – не могу стерпети». Кантемир. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Чехов-чайка. Голгофы, катастрофы. Голос арфы замолчал.

Вырваться из известного, устремиться в неизвестное и там пропасть. «Где для простых очей совсем предметов нет, /Рисует, видит там и чувствует поэт». Херасков. Неприкрытость. «И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами, /И нет преград меж ней и нами». То, что нельзя выразить, показать, воплотить. А думаем, что выражаем, воплощаем, показываем. Но на самом-то деле заслоняем «ЭТО» обманом формы, прячемся за условность образа, накидываем златотканый покров. Отбросить покров, преграду, открытость, лицом к лицу с бездной, с Невыразимым. Гармония, форма – и есть этот заслон, преграда, златотканый покров. А поэзия – незащищенность, неприкрытость, незаслоненность, «бездны мрачной на краю», поэт – безумец, (как богат он в безумных стихах, и звуков, и смятенья полн), срывает с себя этот покров, как бинт с раны, и бездна ему обнажена, и сияет ему в пустых небесах бессмыслицы звезда.

При попадании образно-художественного языка в среду логико-понятийного смысл полностью уничтожается. И наоборот: при попадании логико-понятийного в среду образно-художественного. Эти языки взаимоисключающи, как черное и белое, плюс и минус. Но поэтому-то они и существуют вместе, одновременно. Их взаимоисключение создает силу напряжения, энергию взаимного отрицания. Их объединяет некий иной Смысл.

Каждый день смотрю на свою последнюю книжечку «В тени Водолея», лежит на столе у меня в келье, где сплю среди книг. Смотрю на эту книжечку как обреченную на гибель, на забвение, уничтожение. Это книга самого тонкого, паутинного кружева, которое я соткал из своей жизни. И это кружево никому не нужно, и никогда не будет нужно, и пропадет, исчезнет в пустоте, в небытии. А это самая дорогая для меня моя книга. И ничего не сделать. Что я могу сделать? Ничего, ничего. Тираж 16 экземпляров. Два экземпляра в Публичке, два отослал в Москву в Ленинку, два – в библиотеку Маяковского, один снес в библиотеку Шолохова, рядом с домом. Остальные раздал друзьям. Текст разослал по разным журналам, московским и питерским. Молчание или отказ. Вот уж действительно «Неведомый шедевр».

Любомудры называли Боратынского поэтом формы и отрицали у него мысль. Но они и Пушкина называли поэтом формы и отрицали и у него мысль. Почему-то им не пришло в голову, что поэтическая мысль – это мысль посредством формы. Так было у древних, только такая мысль и была мыслью. А потом стали отрывать мысль от формы, и тогда мысль стала рыхлой, необразной, бесформенной, размазанной, абстрактной. Для меня ценно только то, что говорится Формой, устами Формы. Алмазная искра изгиба фразы. Насмешка поэзии над философией и метафизикой, «когда строку диктует чувство». Звуковая волна фразы. Der Wald rauscht so feierlich. Лес шумит так празднично. Музыка языка разная. Немцы слышат музыку своего языка не так, как мы слышим музыку своего. Слух немцев внутри музыки их языка, а наш слух внутри музыки нашего языка.

«Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убояшася. Смятошася бездны… Глас грома Твоего в колеси. Молния Твоя осветиша вселенную… В мори путие Твои, и стези Твои в водах многих, и следы Твои не познаются». Какая гигантская поэзия! А что у нас теперь? «Победный свет не заблестит в пустыне». Блеснуть хоть одной строчкой, как Брюсов.

Мысль растет из точки Великого Взрыва, разрастаясь и разрастаясь, мысленно древо. Вся Мысль всегда здесь и сейчас.

Мысль одна на всех, мы все внутри одной Мысли. Мы все и есть эта одна Мысль. Эта Мысль дробится и играет бесконечным множеством граней, мы называем это мыслями и мышлением. Изредка одна из граней вмещает в себя всю Мысль и на миг сверкает всей ее мощью. Мы называем такую мысль гениальной.

Гениальность Гоголя в этой удивительной фразе: «Из днепровских волн вереницами выбегают погубившие свои души девы, волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу…». Обычное воображение остановилось бы на «волосы, как вода, бегут с головы на землю». И все. А у Гоголя волосы льются, они уже вода, но затем этот привычный образ превращается в саму воду, зримую, слышимую, она звучно журчит и бежит на землю и вдруг превращается в стеклянную рубашку (совершенно неожиданный, хотя и закономерный образ), и сквозь нее светится тело сказочной девы, и уста чудно усмехаются, и очи (колдовские) выманивают душу. Это «выманивание души» – какое страшное, дьявольское действо любовной магии! Волшебство гениального воображения породило этот образ! Вот в этом все и дело. На что ни наводил бы Гоголь магический, животворящий луч своего воображения, все превращалось в чудо, в волшебство, в «перл создания». В том-то и чудо, что есть в мире такое чудо.

Активность воображения: видеть океан невероятных чудес и фантастических возможностей в каждой капле обыденного посреди таинственной пошлости, сна привычной суеты, слепоты, глухоты, анемии и безразличия. «Глаз мой прозревший, глаз мой прозрачный». Иван Коневской.

Правильное взаимодействие, практически и математически, как в интуиции, в чувстве, так и в точном расчете. Но всегда есть нечто ускользающее от удостоверения практики и математики, и эта змейка соблазна, ускользая, дразнит и манит за собой пытливость. Все и повторяется и не повторяется; каждый раз заново, как впервые (и действительно впервые). Все и математично и поэтично. Все повторяется – математика. Все не повторяется, неповторимо, каждый раз впервые, заново – поэзия. Если форма все собой исчерпывает, всю суть, – тогда неинтересно, скучно. Если же форма открывает очарованную даль неизвестного, – тогда начинает петь безбрежный простор и звучат завораживающие голоса сирен. Поэзия – это одно слово, одно из всех, все слова в одном Слове. «Творец был один, а все остальные просто пишут» – Розанов. Это ген языка пишет, а мы

думаем что-то там, что сами с усам. Мы видим не мир, мы видим наше виденье. Событие жизни становится событием стиля.

Проснулся в четыре ночи и лежал, бревно бессонное, ждал рассвета. Мысли коромыслом. Слепая ласточка в чертоге теней. Мысль сразу рождается, как капелька, снежинка, песчинка, травинка, тычинка, и без всяких «как». Искатели истины, ловцы, охотники, кто кого ловит, кто от кого убегает и прячется, кто кого подстерегает? Жизнь – живое, пластика, а не число. Искатели истины, охотники за шкурами, убийцы кошачьей грации и пластики жизни – что им достается? Шкура числа, содранная с трупа. Они делают из нее чучело своей философии. О, любовь к мудрости – мертвая кукла! Жизнь от нее прячется в пташку, мышку, в травку, в ручеек, в блаженного чудака поэта, безумца, гуляку праздного, лепечущего свой поэтический бред. Провидческие синие глаза слова пробуждаются в заповедной чаще весенних юных глаз. Что они увидят нового, необычного, чему удивятся, с возгласом радости: «О Лебедиво! О, озари!». А со всех сторон, отовсюду уже мчатся тучи с тюками серой пыли повседневности – застлать мутной пеленой чудесные глаза пробужденного слова.

Приснилось застолье, сижу с юной девушкой, лет 15-16, разговариваем, она ко мне неравнодушна, кладет руку мне на колено, спрашивает: кого мне родить? А я отвечаю ей: «Тридцать три богатыря». Она смеется. А я ведь сознаю во сне, что мне 71. Но чувствую себя мужчиной в полной силе. Стихи – кристаллы слова. Стихотворение – растущий во времени кристалл. Время стихотворения кристаллично. Поэтика – метаморфозы кристаллических форм слова. Тогда и музыка кристаллична. И ритм, пульсация – кристалл времени, можно пощупать слухом и зреть слухом. «Я чую лишь отзвучья». Иван Коневской.

Понимание до слова мгновенно. Словесное понимание, разворачивая свиток своих рассуждений и толкований, полностью заслоняет то, первое, внесловесное, мгновенное понимание. Чистая зрительность и чистая слышимость понимаются мгновенно, вне слова. Слово их затмевает. То, что существует вне имен и названий, мы сделали именами и названиями, и заменили ими всё. И заняты только ими. Новалис: «Я вверил буквам дар чудесный. Чем поэтичнее, тем истинней. Каждая подлинная книга – Библия. Но книга ради книги пишется редко. Книги в большинстве своем – примеси. Благородный металл не имеет хождения. Поэт поклоняется случаю. Всякое слово есть слово заклятия. Какой дух зовет – такой и является. Все видимое тяготеет к невидимому, слышимое к неслышимому, осязаемое к

неосязаемому, мыслимое к немыслимому. На границе воспринимаемого. Чуять эту границу, за гранью – тайну, бесконечную даль неизвестного. Кривая линия – победа свободной природы над правилом. Всякая линия есть мировая ось. Истина – вымысел или марево. Мы знаем лишь то, что само себя знает. Слова поэта – необщие знаки. Для поэта язык никогда не бывает слишком беден, но всегда слишком общ».

Маятник формы: сложность простоты и простота сложности. «Гостит во всех мирах высокая болезнь». Что если законы мироздания, законы физики и химии, то есть основы мира – иллюзорные и умозрительные банальности и бессмысленности? Все это сочинения мозга, якобы подтверждаемые достоверным опытом и экспериментом, якобы практикой и реалиями жизнедеятельности? Может быть, кто-то играет с нами в дьявольскую игру, подсовывая то, к чему мы стремимся, то, что мы хотим себе создать и устроить? «На пышных карточных престолах /Сидят мишурные цари».

Теплый майский день, идем к реке. Лес шумит на том берегу. «И свежий лес шумит при звуке ветерка». Странная строка, мистическое ощущение. Только слух мистика мог различить в шуме леса звук ветра, производящего этот шум, слух Лермонтова. Сны под утро. Приснилась мама, будто бы приехала ко мне повидаться, я в деревенском доме, слышу, зовет: «Сынок!». Выхожу, широкий двор, мама у ворот. Бегу к ней, обнялись. Она жалуется, как ей было плохо в дороге, с каким трудом добралась. И тут – дождь, ливень. Прячемся под навесом, струи хлещут… Еще приснилась красивая, статная женщина, взяла меня под руку, спустились с лестницы и гуляли; она стала рассказывать о своем умершем отце в 73 года, что у него в последнее время начались бзики. Потом нам встретился какой-то мужчина и стал говорить, что он восхищается мной, как писателем, просил, чтобы я рассказал о себе, о своей жизни, что я такой замкнутый, всегда молчу, и обо мне ничего не знают. А женщина исчезла, и я тщетно ее искал. И еще снилась всякая ерунда. Как будто я на каком-то торжественном собрании, нас много, торжество запаздывает. Пока его готовят, всем нам предложено побегать на площади перед зданием, где должно быть торжество. Снилось еще, что я куда-то зачем-то отправился один и заблудился в городе в неизвестных местах, которые не мог узнать. Этот сон в разных вариациях мне снится постоянно, из ночи в ночь, всю жизнь.

Самодостаточность некоторых строк, фраз, каждая из них – мистическое окно в какой-то незнакомый, невероятный мир. «Порхают гаснущие звуки». Фет. «Дымятся серым дымом домы».

Державин. «Но враг, что от меча ушел/Боится собственного следа». Ломоносов. Мыслить чистыми корнями слов, перекличками молний, пророков и сновидцев. Достаточно ста черно-белых клавиш вещим перстам. Этот корень ума порожден устройством мира в первый миг Творения. В других мирах он не годится. Это миры иррациональные, мифо-поэтические. Правильно мыслить – это неправильно мыслить. Это царский ум. Царская работа. Четыре реки Сибири: Исеть, Тобол, Иртыш, Обь. Тетрада создала мир. След носорога на каменном столпе в пещере, святилище на реке Сим на Урале. Стиль – это внутренний ритм, потаенные струны напряженной, как арфа, души. Прощальное значение, роковое, круговое, бумеранг, умирать. Небо и земля языка, между ними напряжение, любовь-вражда, разряды грозы, молнии. Значения слов заряжены неизмеримой громадой жизни, напряжением ее перемен и превращений, неуследимых и неисследимых. Точность поэтического слова – это точность тысячи стрел, летящих в разных направлениях в неизвестные цели. Страшась оклика определенности, бежит от правоверных циркулей и логарифмов в туманы мистики.

Вот я стою тут, один, любящий свет и сияние отдельного слова. А вокруг только те, что любят слово в массе, в потоке, и они в этом неисчерпаемом словесном потоке, как рыбы, это их родная среда. Что между нами общего? Ничего, ничего между нами нет общего.

В начале жизни брезжит что-то, какое-то темное и сомнительное сознание себя. С чего все началось? Та заря… А вот уже и закат… Окончив свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Что мне высказать тайная сила дала. Катаклизмы, катастрофы. Лавина близится, она сметет все, что мы нашаркали, все, что наиграли, эту игру в бисер. Аз есмь. Ты есть То. Мокошь, великая мать-богиня, жест осмотра пряжи в поднятых руках. И когда подуют в трубу, то не будет в тот день родства. Но разве можно с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах! За этими числами ясна судьба, как за собранной в складки мокрой тканью – тело. Мы дети страшных сил.

Ужас математики. Бог – алгебраист и геометр, занимающийся уравнениями множеств и безразличный к отдельностям. Что же мне делать, певцу и первенцу?.. Поверить алгеброй гармонию? Да они ведь родные сестры, рука руку моет. Намерение весьма похвальное, но весьма непоэтическое, как говорил Кюхельбекер. Вач – ведийская богиня речи. Мое «вяч», «Вячеслав», вяче, вящий, вещий. Речь излучает свое колдовство. Мысль, выйдя из семени точки, начинает ветвиться, множится мириадами пульсирующих лучей, растет, шире, дальше, пока не натолкнется на запретную черту, проведенную

циркулем верховного Творца, вызывателя духов мысли. За жизнь можно прочитать не более 5 тысяч книг. Сейчас в год по всему миру издается 60 миллионов новых книг с новыми названиями.

Ясные, неустрашимые глаза, для любования грозовым небом, как у суфиев. Суфийское «бараки», мистический дар тайновидения. Попасть в узкий интервал, в ускользающий центр, сердцевину, ось. Сказать не тем, что сказал, а тем, что не сказал. В Китае говорили: «Высшие пределы истины, красоты и изящества в стороне от сказанных слов». «Сказано им гораздо меньше, чем не сказано». «Истинные слова – без слов». Вот мой принцип письма.

Держать мастерство в узде. Лучше быть неумелым, чем мастеровитым. Трудно быть неумелым, если ты уже достиг мастерства. Совместить мастерство и жизненность. Произведение искусства: совершенная, неразрушимая форма, которая может долго держать важный жизненный смысл. Но все смыслы вдруг начинают таять и течь, ускользают и теряются в бессмысленном и беспамятном, а формы рушатся и возвращаются в бесформенное, в свою родину, в великую тьму – материнское лоно всех форм. Распустить пряжу всех связей.

Марсель Пруст, о тете Леонии, страница о комнатных запахах. Потянул ниточку этой темы, этого музыкально-образного мотива, и вытянул весь словарь, в котором весь интеллект, вся культура, вся эрудиция, все волшебство и магия гениального восприятия. Густолиственная ветвь одного предложения о запахах. Или страница о липовом цвете. Сколько и что можно рассказать о горсточке засушенного липового цвета. Опять же потянул за ниточку, вглядываясь в горстку сухого липового цвета на блюдечке и вытянул все роскошество литературы, все феерические миры ее чудес, все ее волшебные возможности, непредсказуемые, пока не потянешь за эту магическую ниточку. Но это Пруст такое из себя потянул! А любой другой потянет и ничего такого и близко не вытянет.

Закончил книгу стихов «Сны Шумера». Цикл или поэма, 23 стихотворения. Вспоминали с Ларисой, как писались «Прогулки». Каждое утро чаепитие в моей келье за письменным столом. Лариса держала на коленях нашу собачку Бетюньку, крохотную, златошерстную, йоркширский терьер. Я читал вслух текст очередной прогулки, накануне мной обработанной. Лариса делала свои замечания, что надо бы исправить, убавить или прибавить. Вначале я не соглашался с ее замечаниями, горячился, спорил, но потом в конце концов все равно делал так, как она сказала. Ее природный вкус безошибочен. Пока она не одобрит, не перепечатывал набело в

окончательном виде. Так создавалась эта книга, много лет, блаженное время, блаженные эти чаепития. Без Ларисы эта книга так бы не написалась, как она написалась.

Ночью начался дождь. Сквозь сон не понял, что это такое, подумал, что кто-то с дребезгом едет по дороге, все едет и едет, и никак не проедет мимо нашего дома. А это, оказывается, с таким грохотом рушился дождь о крышу веранды надо мной. Пересматривал «В тени Водолея». У меня там основной принцип – момент настоящего, в котором сконцентрировано все время и все пространство, весь мир, вся жизнь, и природы, и космоса, и человечества со всей его историей и культурой, искусством, наукой, философией, мудростью и безумием; и глубоко личная, индивидуальная, интимная жизнь одного, одной отдельной души. И момент за моментом сливаются в поток и текут в бесконечность, в ничто. Остановиться, прекратить можно в любой момент, все равно какой. Остановка, конец – условны. Получается как бы вечный текучий Момент. На что ни направь луч внимания – там сразу всё, сконцентрировано в этом Моменте, вся жизнь мира и человечества, и одного отдельного человека, и все это – одно неразделимое целое. Нечто единое. И все это – в одной фразе, в каждой фразе. И все происходит как во сне, в сновидческой реальности. Ощущение таинственности, необычности, словно бы в волшебном мире, где все как-то сдвинуто, отстраненно, отчужденно, свободно от обычных связей, соединяется, связывается, сцепляется неожиданно, случайно, непредсказуемо, все во всем. И при этом чувство: что все это совершенно естественно, необходимо, закономерно, что такова сама природа происходящего. Сочетание несочетаемого не только абсолютно естественно, природно, отнюдь не экспериментально, но еще и чистейшая, самая подлинная поэзия, наивысший лиризм. Сжатие всей материи мира в цветную, лучистую точку, в радужный, пульсирующий миг. Но этих точек-мигов множество, беспредельность, они складываются, сцепляются, сплетаются в единый живой, животрепещущий ковер, крутящийся калейдоскоп, спеваются в едином несмолкаемом хоре.

Жаркий день, август, Вырицкая церковь. Лариса у иконы Божьей Матери, старинной, с темным ликом, шепчет молитву. Стояли под куполом, в молчании, внутреннем, тогда низойдет дух. Так она сказала. И плач младенца рядом, справа от нас. Мать держала его на руках, светловолосый мальчик. Молодой поп подошел к нему, помазал волосы на головке, обряд перед крещением. Серебряная лохань посередине, купель. Коричнево-золотистый сумрак, трепет свечек. А снаружи яркий солнечный день, облака, сосны.

Гекзаметр древнегреческих поэм совпадает с ритмом волн Эгейского моря, набегающих на берег в ясную погоду. Слезы матери по поверьям священны и обладают магической силой. Бальмонт «Поэзия как волшебство». «Поэзия есть внутренняя Музыка, внешне выраженная размерною речью. Умей быть вещим или молчи. Заклинательное слово есть Музыка, и Музыка сама по себе есть заклинание, заставляющее неподвижность нашего бессознательного всколыхнуться и засветиться фосфорическим светом». Священный порядок слов в магическом заклинании. Этот порядок слов нельзя нарушать и вообще что-либо изменять. Кроме того надо произносить верным голосом. Есть единственно верное произнесение единственно верным голосом. Услышать голос мгновенья и откликнуться стройным звуком. Эхо и зеркало. Ночь опять поднесла свой Ковш к моему рту, и я пил терпкое вино из семи звезд. Прозрачный, как стекло, стиль доступен всем сердцам, жаждущим воды жизни.

Стих – древний ритм прилива и отлива. Поэт – бессмертный сын солнца и океана, заклинатель, вызывает форму из бесформенности. В мире все требует повторного прикосновения творческой воли. Музыка – первозданное колдовство, наша основа. Радуга – музыка. С радуги на землю сошла музыка. Белый свет Слова, этим Словом был создан мир. Из книги Майя «Пополь-вух». Чтобы родились магические слова и красота песен, нужно принести себя в жертву, стать огнем и сгореть в этом огне.

Утром в восьмом часу – солнце, гимн восхода. Ледяной ветер, чистое, высокое сентябрьское небо. Брился на дворе около умывальника, лицо и руки замерзли, запотелое зеркало на стенке душевой кабинки. Через час все небо затянуло тучами. Перечитываю Марселя Пруста в переводе Франковского «В сторону Свана». Меня всегда восхищала особенная одаренность Пруста замечать и видеть в мельчайших подробностях, из чего состоит мир чувств и мыслей, воображение и восприятие, микромир вещей и отношений. Вот где подлинная магия. Вот подлинный стимул и причина писательства, цель, назначение и призвание. Кому же и быть писателем, как не тому, кто обладает именно этим чудесным дарованием. Я им не обладаю, вот и восхищаюсь теми, кто им обладает. Мне дорога только чистая, беспримесная субъективность и единоличность. Объективность – это то, что обще для всех, общепринятое. Наука, законы, закономерности. Реальность, воспринимаемая одинаково всеми. То, что одинаково присуще всем. И есть то, что присуще только одному, единолично, исключительно, то, чего ни у кого другого нет. И это самая чудесная тайна из всех тайн на свете, самая загадочная, самая фантастичная. Эта тайна зачаровывает. Ведь только

единоличность (субъективность) превращает это общее для всех во что-то исключительно дивное, прекрасное, грандиозное. Превращает в феерию волшебства. А если останется только общее и одинаковое для всех? Представить страшно. Голая математика. Замятин и представил в своем могучем, единоличном «Мы».

Вчера дочитал воспоминания Пабло Неруды. Темперамент, эпизод с Лоркой, на лестнице. Лариса прочитала Артемия Араратского, разволновалась, не могла уснуть. Весь день буря, дождь, ураганный ветер, и ночью шум бури. Встал в восемь. Чистое небо. Стоял в саду лицом к восходящему солнцу, пел вместе с ним гимн восхода. Поднялся ветер, опять ледяные порывы, кусты и деревья крутит, клонит. Сегодня едем в город.

Камю, об абсурде. Маятник от гимна до проклятия. Ум-разум сеет драконовы зубы безумия, чем больше сеет, тем больше встает против него могучих воинов, сынов земли. Раскрытая рана – пароль в дверь мистерии. Мысль – камень Сизифа. Цветаева, ее зачарованность словами, жизнь полностью, вся – в слове – что и есть дух, душа (в ее понятии), что и есть вещь, единственная подлинная реальность. Сочинение стихов – перевод с русского языка на язык поэзии, всемирный. Таково же сочинение стихов на всех языках. Слово – некая единая, общая для всех плазма, текучесть. Этой текучестью правит музыка, гармония, грация, переливает в свою форму. Получаются стихи. Ахматова, «из какого сора…». Хетты, мистическое почитание равностороннего треугольника. Верили, что равносторонний треугольник – источник могучей силы, источник жизни. Изображался на печатях: в треугольнике глаз.

Гулял в парке. Этот день будет сиять вечно, багрец и золото, клены, осины, пруд, утки. И буду я, и будет это чистое, голубое надо мной. «День не пропал даром, если внимание хоть на мгновение было уделено природе». Эмерсон. «Я ближнего люблю, Но ты природа мать,/ Для сердца ты всего дороже…». Батюшков. Благодарю жизнь за то, что дала испытать чувство красоты, и в природе, и в форме искусства, и в форме слова. Еще благодарю жизнь за то, что дала испытать увлеченность, испытать порывы устремленности в какие-то сверх миры, эти полеты.

Реми де Гурмон «Книга масок», о Франсисе Пуанктевене, несобранное и забытое, мистика стиля. То же самое можно было бы сказать и обо мне, я тоже достиг мистики стиля. Только это никто не видит по-настоящему. Несколько человек заметили и сказали, но никто из них не назвал меня мистиком стиля. Этого я достиг в последнее время.

Замуровывают нарочитой мудреностью чистое и ясное произведение автора, заживо за глухой стеной удушающих никчемной ученостью речений. И ясное, чистое произведение уже не видно. Цель достигнута. Произведение удушено в застенке истолкования. Бедный Андрей Платонов, замурованный в застенке беспощадного истолкователя-философа.

Сначала мир и мысль были одно. Мир и мысль о мире были неразделимы. Как у Парменида. Мир был одновременно и мысль мира и мысль о мире. Затем мир и мысль разделились. Мир и мысль о мире отодвинулись от единства и встали друг против друга. Их стало двое, противостоящих. Вавилонскую башню строит циркуль, а не лира. Технический шум выше, выше. «И все выше я шел, и дрожали ступени…». Мысль о красоте мира утратила глубину и мощь. Надо вернуться к первоначалу единой, неразделимой мысли о мире – цельной мысли мира. Поэзия – всегда неучтенная птица. Поэзия говорит на языке неделимости, нерасчленимости.

Хайдеггер, язык-айсберг, основная часть языка скрыта в водах подсознания, невидима и не дается наблюдению. Внутренняя форма языка – подобие свойств и сил мира, ими и создана. Можно измерить и нельзя измерить, отбрасываешь опору и ищешь опоры. По правилам и без правил, мир устроен и никак не устроен. Душа жаждет тела, дух – формы. Странный метеорит, запущенный к нам из космоса, похож на гарпун, чуть не воткнулся в Землю, нарушив законы гравитации. Кто его запустил в Солнечную систему? Сияние грации, Фичино. На могиле Веберна высечен символ магического квадрата.

Музыка – математика в звуках. Музыка говорит на языке математики. А что в музыке не математика? Темперамент? Память об иных мирах? «Пиит, от юности до сребряных власов, /Лелеет в памяти страну своих отцов». Если в музыке будет преобладать логика и математика (рациональное), то музыка, обращенная прежде всего к сердцу, исчезнет. «Сердце порождает все то, что красивое, эмоциональное, патетическое, страстное и очаровательное, а ум только и способен создавать сконструированное, упорядоченное, логическое и сложное». Шёнберг. Природа музыки иррациональная, интуитивная, непредсказуемая. «Музыка объясняет нам глубинную суть бытия наиболее понятным языком, которая идет до самого сердца и непонятная для ума». Шопенгауэр. Исключительная сила эмоционального воздействия. Вне слов, вне логики. Музыка уже была до начала мира. Музыка – сама суть мира, ритм проникает прямо в сердце. Музыка – шаманство, завораживает сердце. В примитивной музыке больше Музыки, чем в сложном и изощренном технически

произведении, в котором больше техники, формы. Усложнение технического мастерства, формы не влияет на главную силу музыки, шаманство ее, скорее ослабляет или совсем заглушает. Но есть жажда эстетического наслаждения мастерством, виртуозностью. Две красоты. Красота как форма: это техника, мастерство, виртуозность. И красота как психическое воздействие: это магия, чары, заразительность. У формы (техники, мастерства) есть своя магия. Это магия меры, гармонии (пифагорейская, математическая), чарующее чувство гармонии, мерности, симметрии, соответствия, пропорции, золотое сечение. Форма как абсолют соответствует устройству мира, физическому, математическому. Устройство человека, физиологическое, биологическое, соответствует такому устройству мира. Поэтому его психика (душа) созвучно отзывается на такую форму. Но то, что действует через форму и посредством формы не есть только сама по себе форма, а нечто большее. Назовем: Мировая душа, Мировой дух, мировая воля (Шопенгауэр), или какая-то Сила, Энергия, божественная или демоническая. Устройство мира, форма – только следствие и средство проявления этого Духа, а не само по себе и для себя. Духу иначе не проявить себя, как только через форму (физику, математику, материю, тело). Вот почему Дух может мощно действовать и через плохую форму, и даже через ее кажущееся отсутствие, через ее игнорирование. Так и душа человека. Она может отзываться на чарующее, магическое воздействие Духа в безобразной, негармоничной, пошлой оболочке формы. Называют: внутренняя красота, красота души, красота духовная. Для меня красота произведения только тогда, когда совпадает красота формы и красота духа (чары энергийного, иррационального воздействия). Это мой критерий.

Дух – первичное, форма – вторичное. Дух – господин, форма – слуга. Дух – творец, форма – средство, орудие, материал. Дух всегда открыт, всегда открытие, откровение. Для духа его открытия не самоцель. Когда открытия (технические, наука, прогресс, цивилизация) становятся самоцелью, дух уходит, духовность утрачивается. Вместо творчества Духа, всегда открытого в мир, – формотворчество, чисто технические и математические открытия для все большего разрастания и усложнения техники и чисто технического образа жизни. Это и есть машинное восприятие. Грядет эпоха тотальной бездуховности, тотальная власть машины, тот самый искусственный интеллект, о котором столько шума. Дух в начале был един и неделим. Затем от него отделилась материя-форма. Или он сам ее из себя выделил, чтобы ему было в чем себя проявить и посредством чего. Но, как и прежде, это одно единое целое, только

Дух активное начало (главное, верховное), а то, через что Он себя проявляет – пассивное, подчиненное, средство, орудие. Но это Он же, из Него же самого, оплотненный Дух. «Интуиция – священный дар, разум – покорный слуга». Эйнштейн.

Слово по своей природе двойственно: и рационально и иррационально. Дух иррационален, но свою иррациональность проявляет в двойной природе слова. Когда его нет или он хил – форма мертва.

Сладкое для всех сладкое, горькое для всех горькое. Общий настрой одинаковых портят одинокие: для них сладкое – это горькое, а горькое – сладкое. Не настроенные на общий лад, видят то, что никто не видит, то, что мелькает и пропадает, и не хочет повториться. Странные, как сны наяву, речи их туманны и непонятны. Истинные сыны неба, посланцы Невероятного. Я с ними незнаком, у меня есть только стиль и случайность. Петров-Водкин, умирая, повторял как мантру: «Синий, синий, синий». Мировой синий цвет. Простое выражение сложной мысли. Чего ты от себя ждешь? Книги, которая потрясет мир? Что это за книга? Возможна ли она? Уже не жду. Ждал. Идем с Ларисой в филармонию, Бетховен, «Девятая симфония». Полнолуние.

Есть только центр и форма, предопределенность и случайность. Центр – суть, сердце, дух, интуиция, иррациональное, бессознательное, единое и нераздельное. Центр не математичен, не механистичен, нематериален. Центр везде и нигде, сокровенность, внутреннее, неопределенность и случайность. Форма – множество, математика, техника, измеримое и исчислимое, раздельное, внешнее, сознание, ум, логика, определенность. Бог – это вибрация. Настрой себя на этот таинственный беззвучный звук, на звук хлопка одной ладонью, на эту божественную вибрацию. Анахат – предельная музыка существования. Вечер, снежок, проспект Стачек, гул города. Воронья стая над художественной школой. Люблю этот полусвет, серое с белым в ноябре.

«Дурачься, смертный род! В луне рассудок твой!» Ариосто «Неистовый Роланд», перевод Батюшкова. Оттепель, тускло. На Ленинский, в клинику, Ларисе на обследование. Сидел в коридоре в кресле у кадки с растением, ждал, когда выйдет из кабинета.

Читаю «Замогильные записки» Владимира Печорина. Прекрасная проза. Критерий для всех, безусловный: жизнь и смерть. Нельзя промахнуться, либо ты попадешь в противника, либо он в тебя. Не попадешь – будешь убит. Дважды два четыре. Кто-нибудь выберет

абсурд, безумие, дважды два пять, убитым быть. Кому что нравится. Все выбирают жизнь, а он, мятежный, предпочтет безумие и смерть. Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Для чувства и для искусства критерий – гривастая кривая. Шаткое основание для гимнастки на шаре. Кура-ряба, несущая золотые яйца. Музыканты из оркестра Ивана Крылова условились, что так надо. Чистая условность в голубой дымке безусловной и полной гибели всерьез. Пока вооруженные несокрушимыми критериями критики бьются насмерть, Иванушка дурачок ловит в саду жизни свою волшебную Жар-птицу, неповторимую и единственную, прилетающую только один раз во всю мировую ночь. Не важно, кто как бегает, важно, кто скорее добежит. Крылья даются, чтобы летать, а не помогать в ходьбе. Читай дневники толстых и тонких. Чаще поворачивай стиль. Saepe stilum vertere.

Дух больше математики. Дух – это первичная энергия, которая создала все, и космос и все в космосе. То, что в человеческом творчестве космично и первично, то есть нечеловечно – от первичной энергии, от духа. То, что не космично, а только человеческое – вторично, от вторичной, социальной энергии, не от духа. Искусственный интеллект и то, что он будет делать (то, что делает компьютер) – не только не от духа, но и не от души, не от психики, а от математики. Музыка – сочетание и чистого первичного духа, и чисто человеческого, психики и математики. Музыка, в которой больше духа, или только дух; и музыка, в которой больше души, или больше математики; или только математика. Музыка чисто духовная – только дух. И музыка чисто душевная – только душа. И музыка чисто математичная – только математика. То же самое – поэзия. Где больше дух, а где – душа, а где – математика (форма).

Рене Гиль «Трактат о слове». «Поэзия есть верховный акт мысли». Все мысль да мысль, бедный жрец ее, Боратынский. Отопление отключили, авария на теплотрассе. Понедельник, оттепель, сырой снег. Последний день года.

Дуновение суеты, апофатия. Снежок метет, радужные ореолы фонарей, метелки сухой травы, убеленные, качаются на ветру, голоса шахматистов из-под навеса, сбоку от дороги. Сосны, гул и огни шоссе. Искусство вспышек, Параджанов. Рожденик, книга, по ней гадали судьбу новорожденных, добрые и злые дни и часы. «В получая веруют, и в родословии, рекше в рожаницы, и в обаяние по звездословию». Дом строить из примет и поверий. Селинджер, затворничество. 50 лет писал в стол, ничего не опубликовано, отказ от

интервью, запрет на цитирование его произведений и переиздание. Второго такого случая в мировой литературе не было. Мешает оглядка, мысль, что пишешь для какого-то читателя, что тебя опубликуют и прочитают. Писать, никому не показывая и не публикуя, только тогда ты будешь писать независимо, от мысли о читателе, от мысли о публикации и известности, то есть – писать чисто и бескорыстно. Лукавое слово, лукавит, чудодей, дующий с ледяных полей обетованного молчания.

The rest is silence. Отравленное острие последнего поединка той знаменитой сцены. Шаманы черного неба у тувинцев. Отец числа и чувства один и тот же, но он не хочет ни синицы, ни журавля. Чую число в размахе распахнутого крыла, но только лечу сквозь счет и вычет, ничего не рассчитывая и не вычисляя, не зная, куда. Настроение нестроения. Умная форма. «Поэт тем талантливее, чем более математичен его дар». Эдгар По. Математик-вычислитель всегда внутри невозможности учесть Что-то, внутри неучтенной неизмеримости. Темный бред души и трав неясный запах. Как только выходишь за эту зеркальную дверь: «как» хочет вырваться из «что, о чем, зачем и сколько». Бог отверзет нам двери слова. Этому способу мыслить речей не требуется, звезда говорит со звездой сиянием. Благородный лаконизм этого лучизма.

Мне 72. И скучно и грустно в доме бытия; Хайдеггер, его гостеприимство, махатмы незримой Шамбалы. Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы. Все сразу, перл создания, никакого развития, травм прогресса. Пополнить таблицу Менделеева; серебристо-белая летучая мышь, висеть тысячу лет в тайной пещере, кутаясь в спящие крылья. Лечу вниз головой, тяжелый мозг, тяжелей всего мирозданья. Рожаницы, вещие облачные девы, приносят на землю души младенцев и уносят с земли души умерших обратно в Род. «И ти начаша требы класти Роду и роженицам».

Спор живота и смерти, пляска скелетов; плачь, сердце, плачь. Все та же история: мушка влипла в смолу, янтарь нашего дня. «У каждой вещи есть уста для откровения». Бёме твой любимый, дух-вихрь. Кольца ржавой кольчуги из кургана. Двойник-волна. Разговор Эйнштейна с Нильсом Бором. Сальватор Роза, «Философия»: молодой мужчина в черном, в черной шляпе, под небом в грозовых тучах, держит в руках плиту, на которой написано по латыни: «Не говори ничего, пока твое слово не будет лучше, чем молчание». Бесконечное усилие понять себя внутри зеркального шара, весточка от Гегеля: «Форма предложения не годится для выражения спекулятивных истин». Гераклит аукается с ним в веках: «В противоположном единое

единственным образом». Языкаст, пожирает себя самого в каждом следующем слове, не говорит ничего и одновременно стремится сказать все; черные тетради разворачивают свой бесконечный говорливый свиток. Говорит, говорит, навек заговорит… Владимир Вайсберг, неузнаваемость цвета, белые натюрморты: верблюд, лев, ребенок; музей личного вкуса; самое страшное из чудовищ. Звонил Толя Михайлов, о моих миниатюрах, о рассказе «Грезящий» – что это восторг, шедевр. И другие хороши, но этот особенно сильно. Сказал, что мое отличие в том, что мою прозу можно читать с любого места, и всегда будет интересно. Так мощно написано.

Каббала: Бог создал Творение с помощью магии из трех букв еврейского алфавита – алеф, мем, шин. Это три буквы-матери. Вот почему поэзия непереводима, в ее сущности, в ее зерне. Отравление словесностью, растление. Душа аскетична по природе, ей свойственно испытывать брезгливость к множественности, к избытку, к «роскоши». Слово – идол, ему поклоняются пуще, чем духу. Анаксимандр: «Я открою вам жуткую тайну: язык есть наказание. Все вещи должны войти в язык, а затем выйти из него словами в соответствии с отмеренной им виной». Вначале было не Слово, а Молчание. «Лирика – либо запредельна, либо ее вообще нет. Стиль дороже истины. «Бог есть Форма». Готфрид Бенн.

Предлагают не употреблять понятие «поэзия», потому как слишком расплывчато, абстрактно, к тому же опошлено и скомпрометировано массовым употреблением, а пользоваться только понятием «поэтика». Но ведь, если убрать из употребления слово, означающее важное духовное понятие, его уже ничем не заменишь. На этом месте будет пусто, зияние.. Теперь по тем же причинам предлагают не употреблять и другие основополагающие слова – «красота», «любовь», «добро», «благородство» и т.д. Уберем их и что же будет? И останется духовная пустыня, нигилизм и цинизм, черная дыра. Тотальное отрицание традиционных духовных ценностей. «Свято место пусто не бывает», поэтика вместо поэзии – скорлупа вместо ядра ореха. Ложная значительность. У самого языка есть способность создавать ложную значительность представлений и понятий, вводить в обман тайнописью умозрительной терминологии. Интеллектуал таким жульническим языком и вооружился, слова в простоте не скажет. Ложное усложнение посредством специально затемненного языка. И упрощение действительно сложного, когда оно толкуется и толчется в ступе расплывчатых понятий. Ум попадает в ловушку мышления и крутится белкой в колесе, без конца, безвыходно. А Ньютон нам уже когда говорил: «Интуиция сильнее ума, воображение сильнее знания».

Мережковский о Тютчеве: «Тютчеву достаточно несколько строк; солнечные системы, туманные пятна «Войны и мира» и «Братьев Карамазовых» сжимает он в один кристалл, в один алмаз. Вот почему критика так беспощадно бьется над ним. Его совершенство для нее почти непроницаемо… Этот орешек не так-то легко раскусить: глаз видит, а зуб неймет. Толковать Тютчева – превращать алмаз в уголь». Но это можно отнести к любому толкованию любого художественного произведения, к толкованию искусства.

У музыкантов уже через год занятий возникает перемычка между левым полушарием и правым, и с каждым годом растет, всю жизнь. Называется «мозолистое тело». Самоубийство посредством литературы: литературицид. Разрушенная крепость себя, открытая звездам, Антуан де Сент-Экзюпери. Пишешь, чтобы в зеркале письма видеть самого себя. Два типа художников: одни приносят изображаемое в жертву своей индивидуальности; другие приносят свою индивидуальность в жертву изображаемому. Одни открывают глубину своей индивидуальности, другие открывают сокровенные глубины мира. Пингвины в Антарктиде; яйца высиживают самцы, всю зиму, под свирепыми полярными бурями. Самки уходят к океану. Возвращаются, когда птенцы вылупятся. Самцы передают птенцов самкам.

Те, кому во всем нужно подтверждение числа, персонажи из кошмаров Кафки. Оно, число, уже есть в звездах, в жучке, паучке, смычке. Число о всех о них знает, никогда, никогда число не забывает о них. А им-то зачем знать о нем? Черно-белые клавиши чуют свой чет и нечет. Разверзаются внезапные пропасти, обрыв, разрыв. Каждая частичка бытия чревата катастрофой. Мир погружен в несметное многообразие неизвестных величин. Сколько бы ни стало из них известными, останется несметность неизвестных. И все они участвуют в каждом вздохе. Правила играют в игру без правил, чудеса хранятся в решете, и всё всегда происходит в первый и последний раз.

Чуковский об Ахматовой в своем дневнике: «Ей отвратительно думать, что содержание поэмы («Поэма без героя») ускользает от многих читателей, она стоит за то, что поэма совершенно понятна, хотя для большинства она – тарабарщина. Ахматова делит мир на две неравные части: на тех, кто понимает поэму и тех, кто не понимает ее». Адамович пишет: «Ахматова была уже знаменита – по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Малларме, беседуя с друзьями, употребил это слово по отношению к Вилье де Лиль-Адану: «Его знаете вы, его знаю я – чего же больше?». Я долгое время утешался тем же.

Интуиция – голос сути. Обобщать – упрощать. Западня знака. Слова – всего лишь магниты, притягивающие к себе нечто. Арктида, Гиперборея, древний материк в Арктике, 200 млн лет назад, раскололся и опустился под воду. «За розами побрел в снега гипербореев». Батюшков.

Мунк в Третьяковке. «Болезнь, сумасшествие и смерть, как черные ангелы, стояли у моей колыбели и сопровождали всю мою жизнь». К вечеру солнце, пошел гулять. Трава молодая, майская, блестит, уже высокая выросла, одуванчики, пушистые головки,. Клены, березы, тополя в новой листве. У Бориса Шергина: «Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат … Кораблик в океане как чаечка маленская. И надвигается на него «девята» – девятый вал, что всех больше… Вал черный, гребень белый – кружево белое на черном бархате … Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца».

Язык попал в притяжение формы. Форма ищет, подбирает какие-то, заранее неведомые речения не по значению, не по смыслу, а по звучанию и созвучию. Но чтобы при этом подобрался и смысл, близкий к тому, что смутно звучит. Что-то дается сразу. Но чаще находишь совсем не то, что просится первоначально. Форма перебирает много вариантов, прежде чем найдет один единственно верный для этого конкретного случая. «Верно, ах, верно сказала б ты мне /В чем этот голос меня укорял». В чем этот голос укоряет, можно понять и без слов, по звучанию и интонации. В другом стихотворении Фета, все можно сказать глазами: «Тогда, взглянув друг другу в очи, /Сказали мы».

«Блажен, кто про себя таил /Души высокие созданья /И от людей, как от могил,/Не ждал за чувства воздаянья…». Но толпа любит «сладкозвучные творенья», заворожена ими, толпа в восторге, хвала, лавры, слава. «Что слава? Шепот ли чтеца…». Такие «сладкозвучные творенья» во вкусе толпы. Поэт – жертва этого всеобщего вкуса. Ему это тягостно, его самосознание – «я всем чужой». Ему не хотелось бы иметь с толпой, да и со всеми людьми, со всем светом, со всем миром ничего общего. Он жаждет только одного – свободы, полной свободы. Также и свободы от общности с толпой, с людьми, с чернью, с их вкусом. А чернь для него – все люди. Теперь они все – толпа, чернь. «Что слава? – яркая заплата /На ветхом рубище певца». Только в природе поэт находит родство с собой: «В гармонии соперник мой /Был шум лесов, иль вихорь буйный, /Иль иволги напев живой, /Иль

ночью моря гул глухой, / Иль шепот речки тихоструйной». С людьми, с миром людей у поэта нет единства. Разлад, разрыв, раскол. Потому что род людской действительно пал в грехопадении, нарушил божий запрет, вкусил плод корысти и пользы, нужды и низости, оторвался от природы и Бога. И только поэт остался чист, только он не поддался соблазну, остался вне грехопадения, остался единым с природой и Богом. Сын небес. А все остальные люди двойственны: с одной стороны они причастны природе и потому неравнодушны к «сладкозвучным твореньям», лакомы до них; с другой стороны они подлы, пошлы, тупы, злобны и неизбежно опошляют все, к чему не притронутся, что им нравится, от чего они в восторге, что они восхваляют. «Обманчивей и снов надежды, /Что слава? Шепот ли чтеца?/Гоненье ль низкого невежды?/Иль восхищение глупца?» Вот тебе терновый венец славы! Не лучше ли, забытым презренной чернью, без имени покинуть свет? Вспомним и Цветаевское «Прокрасться» и ее: «На твой безумный мир /Ответ один – отказ».

Поэт живет в двух мирах, в двух состояниях: во вдохновении, тогда он Бог и природа, человек до грехопадения, чистая одухотворенность; и как обычный человек среди обычных людей, самый ничтожный в мире падших, когда он не во вдохновении, неодухотворен. А когда он во вдохновении, он – чистое божественное эхо, он отзывается на все, преображая все в чистый звук, в гармонию, и сам преображаясь на Фаворе этой одухотворенности. А ему, поэту, нет отзыва мира. Мир не может отозваться на чистую сущность поэта такой же чистой сущностью, таким же чистым и очистительным, преображенным и преображающим звуком. Мир лежит во зле и подлости. Мир – чернь. Но опять – двойственность. Поэт то пророк, то скучает суетным прозванием поэта.

Фет, стихотворение 1888 года, одно из моих любимых «Прости! Во мгле воспоминанья /Все вечер помню я один: /Тебя одну среди молчанья /И твой пылающий камин». И опять же мне пришло на ум: вот, не будь слов, не было бы этого особого смысла и образа для сознания – «Тебя одну среди молчанья». Надо же: она находится одна среди молчания. Хотя он, кого она любит, тут же, рядом. А у них – Молчание. Какое-то космическое, всемирное, тотальное Молчание. Молчание – среда, заколдованность, томящий «волшебный круг». «Волшебный круг меня томил». Ни музыка, ни живопись, ни танец, ни жест, ни мимика не могут создать в сознании, для сознания этот удивительный смысл, этот чудесный образ. Только слова могут создавать в сознании эти смыслы, эти образы. Вот в чем предназначение слова, вот что – поэзия. Слово открыло и подарило

сознанию человека огромный, чудесный, неисчерпаемый мир смыслов и образов, чего до слова, вне слова не было, и нет, и не будет. Только у чудесной силы слова сознание может найти себе такой образ: «Стучусь у сердца твоего». Для этого поэт и предназначен. У поэта слово приобретает эту чудесную силу, становится ею, дарит сознанию свои дивные создания. Это и есть поэзия, поэтическая сила слова. Без слова, вне слова ничего этого невозможно. Ни одно искусство, кроме слова, не может дать нашему сознанию такого богатства, таких сокровищ смыслов и образов, таких чудес.

С этим стихотворением Фета перекликается другое, раннее стихотворение 1842 года, тоже мое любимое: «Шумела полночная вьюга /В лесной и глухой стороне. /Мы сели с ней друг подле друга. /Валежник свистал на огне». Тоже – двое среди молчания. Тоже – у пылающего огня, у камина. Между этими двумя стихотворениями, ранним и поздним, началом и концом, – 46 лет. Целая жизнь. Те же двое. Что изменилось? Молчание этих двоих и вообще молчание, в котором они двое. Они молчат по-другому. Молчание другое. Оно другое нам говорит. Там оно молодо, оно вначале, его трагизм еще молод, он только предвещает нечто. В позднем стихотворении молчание конца, катастрофы, отчаяние и безнадежность. Молчание воспоминания, молчание в конце пути, окончательное.

Наше сознание видит и слышит словом, воспринимает словом то, что без него не могло бы никогда ни увидеть, ни услышать, ни воспринять. Слово открыло и открывает нашему сознанию неведомые до того тайны мира и тайны нашего же сознания. Слово открыло сознанию его самого. Слово не отменяет ни инстинкт, ни интуицию. В слове и то и то.

Самородство. Сам себя родил, без отца и матери. То есть не от других мастеров, других художников, а сам от себя. То же самое – первичность.

«Летит за облака Юпитера орел, /Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах». Поставь слова в другом порядке: «Орел Юпитера летит за облака, /Неся сноп молнии мгновенный в верных лапах». Вскрикнешь, как ужаленный: «Не то! Совсем не то!» А почему не то? Пропала музыка звучания, магия, таинство, волшебство. Погас ореол, сияющий вокруг слов. Пропала поэзия. Поэзия превратилась в прозу. А всего-то два слова переставлено. И это при сохранении ритмики. А если ритмический строй пересказать прозой – и совсем смерть. Полное уничтожение. Алмаз превратить в уголь.

Стихотворение Тютчева «Как над горячею золой /Дымится свиток и сгорает…». Это нестерпимое однообразие и этот «сей пламень»,

огонь Гераклита, мерно возгорающий и мерно гаснущий, – закон жизни и всего живущего, всего, что есть в мире. И сама красота – тот же закон, то же однообразие. Законы вечной красоты, мерные творенья. Вырваться из этого, из этой тюрьмы, из этой узницы – на волю! А где воля? Только смерть. Гибель. «И не томясь, не мучась боле, я просиял бы и погас». Тоска силы, тоска энергии, стесненной в узких гранях мира и бытия. А Фет горестно восклицает: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, /Что жизнь и смерть? /А жаль того огня, /Что просиял над целым мирозданьем, /И в ночь идет, и плачет, уходя». Что же, его не томило, не мучило однообразие этого горения? Для него горение этого огня всегда было вспышкой, исключительностью, экстатическим мигом, наивысшим, один раз. Каждый раз – неповторимо. Потому что каждая новая вспышка этого огня не помнит предыдущую и не знает о последующей, живет только один раз, в этот самый миг, на высшем накале, не оглядываясь назад и не вглядываясь вперед. И это и есть подлинная красота и подлинная свобода.

У Фета или молчание, говорящее, или вспышка чувства, страстное восклицание, миг наивысшего накала. А музыка для того, чтобы надрываясь, в слезах, в рыдающих звуках, всю ночь петь до зари, на высшей ноте души, на высшем горении, одну ночь как всю жизнь. Все остальные дни и ночи, и вся остальная жизнь – томительны и скучны, немузыкальны, не нужны, не жизнь. Жизнь только в этом накале, в этом полном на всю силу горении-сгорании. О том же у Анненского «Мучительный сонет» («Едва пчелиное гуденье отзвучало»), эта мольба, этот надрывный вскрик: «О дай мне только миг, но в жизни, не во сне, /Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!» В отличие от Тютчева и Фета Анненский даже не осознает себя огнем, а просит им стать или в нем сгореть.

Фет: «Молчали листья, звезды рдели… Что чище звезд, пугливей ночи, /Страшнее тьмы, /Тогда, взглянув друг другу в очи, /Сказали мы». А зачем тогда слова? Если все можно сказать взглядом, то зачем же слова? Зачем, зачем?.. Тютчевское «Молчание (Silentium) – вообще не надо говорить; ничего не надо говорить, не надо речи. «Мысль изреченная есть ложь». Надо все держать в себе. Молчать полностью. Полностью замкнуться в себе. Значит, и взглядом ни с кем не говорить, не только словами. Это другое молчание. У Тютчева молчание в себе, молчащее «Молчание». Молчание, которое даже и с самим собой не говорит, а только внимает самому себе, внимает голосам в себе. Такое молчание в себе полно таинственных голосов, но на разговор, на диалог они не просятся. Говорят, поют только

они. А ты им внимаешь. У Фета, наоборот, молчание говорящее, вовне, в разговоре взглядов. Это только молчание слов, речей, молчание уст.

У Пастернака: «Я слыхал про старость. Страшны прорицанья! /Рук к звездам не вскинет ни один бурун». И дальше: «Расколышь же душу! Всю сегодня выпень». У Тютчева стихотворение «Весна», которое любил Лев Толстой, о том же. «Весна – она о вас не знает, /О вас, о горе и о зле… Свежа, как первая весна; /Была ль другая перед нею, /О том не ведает она…». У Фета: «Пока душа кипит в горниле тела, /Она летит, куда несет крыло». И: «Злая старость хотя бы всю радость взяла, /А душа моя также пред самым закатом /Прилетела б со стоном сюда, как пчела, /Охмелеть, упиваясь таким ароматом». «Моего тот безумства желал…». Природа желает нашего безумства. «Расколышь же душу! Всю сегодня выпень…». «Игра и жертва жизни частной… ринься, бодрый, самовластный, в сей животворный океан!... И жизни божески-всемирной хотя на миг причастен будь!»

Виной – мысль. Мысль и есть грехопадение. Вот что Адам сорвал в раю с древа познания добра и зла, вот какой плод – мысль! Познающую и различающую. «Все мысль да мысль… Счастлив, кто влеком к ним чувственным, за грань их не вступая. Есть хмель ему на празднике мирском. Но пред тобой, как пред нагим мечом, мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная». И сила отнимается, и страсть, и то самое безумие, то самое буйство жизни, о чем все эти поэты – Боратынский, Тютчев, Фет, Пастернак. «Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень /Дятлов, туч и шишек, жара и хвои…». Вот что надо с мыслями сделать! Вернуть их в райское состояние, до грехопадения. Вернуть их обратно на древо познания. Что все эти поэты и делали. Это все поэты делают. Это их назначение.

Если описывать все, что воспринимаешь, – слов не хватит. Загромоздишь все свое сознание. Нужен отбор, строгий отбор. Даже жестокий. Из всего безмерного богатства воспринимаемого нужно выбрать немногое, очень немногое, чуть-чуть. И надо точно знать, что выбрать. Надо себя ограничивать самым беспощадным образом. Это и есть мастерство. Все мастера это знали и знают. Это и есть искусство. Вот что сразу видно – отбирает или нет, и что отбирает, а что оставляет неупомянутым, непоказанным, за кадром. Много писать – оскорбление мастерства. «Не обуздав себя, поэт писать не может». Буало.

Сердцу надо немного слов, оно богато нищетой. «Ничего не надо нищете моей». А вот уму слов надо много; чем умней, тем все больше и больше, для его красноречия и толкования толкований. За гранью

восприятия брезжат огромные миры неведомых микросмыслов, меняющих свой вид от малейшего дуновения формы. Давно уже эти утонченности перестали учитываться и цениться. Теперь это никому не нужно. Восприятие делается все грубее, все упрощеннее. Печально, печально. Смысл существует сам по себе, а его выражение само по себе. Смыслу хочется чуда гармонии и красоты и он ищет себе совершенную форму, ритм, союз волшебный звуков, чувств и дум. Только ведь не всегда хочет, не всегда ищет. Да что там! Некогда ему теперь, спешить надо, торопиться, поскорее высказаться, кое-как и как-нибудь. «Только песне нужна красота,/ Красоте же и песен не надо». У красоты есть свой смысл, он то поет, то считает звезды на небе предсказаний, звездочет, халдей. То певучесть морских волн, то технический рай, беспесенный.

Дух времени – это личный дух Пушкина. Так и говорят: время Пушкина, пушкинская эпоха. Пушкин дух своего времени, в котором жил, подчинил своему духу и сделал своим духом и своим личным временем. Письма Батенькова, декабрист. 20 лет в Петропавловской крепости. Яркий слог, умница, оригинален, литературно одарен. Инженер, архитектор, артиллерист, политик. Дар управлять, мог бы стать во главе правительства. «Ежели уныние отнимет перо. Хотя бы судьба непрерывно зияла злобою. Пышная подлость. В какой пустоте ношусь я теперь. Ближе к самому себе».

Встал в восемь. Тучи, дождь. Вспомнилось вдруг: июль, зной, жарко блестит листва тополя в переулке около продуктового магазина, загорелые женские плечи. Лариса, идем по Лени Голикова, молодые, веселые. Какой-то дивный счастливый день, первые годы моего житья здесь. Теперь уже давний, как нездешний. У каждого места есть свое чувство, даже у каждого взгляда на одно и то же место есть свое чувство, только оно прячется в подробностях того, что воспринимаешь, иногда едва уловимых, в том, что видишь, слышишь, осязаешь, обоняешь; в том, что тебе отзывается. Паскаль о лжи воображения, и Кант, долг философии – борьба с фантазиями. А Шекспир, «Сон в летнюю ночь»: «Любовники, безумцы и поэты из одного воображенья слиты». У Шелли – «Защита поэзии», гимн воображению. Каждому свое: одним – соображать, другим – воображать. Посылы, посулы. Куда пошлешь свой темный ум, что ему посулишь, ниточку какого пути потянешь в этом лабиринте – то и будет, туда и пойдешь, поведешь себя за своим посылом, посулом. Вот умница! Пиши историю ума! Пришвин, книги, написанные для каждого, и книги, написанные для всех. Читать надо много, но не многое. Китайская мудрость.

Вышел на Витебском; позади мрачно, темное-темное, сизое небо и – радуга! Грандиозная, во всю ширь. Сто лет такой не видел. А с другой стороны ясно, солнце сияет, слепящее, в глаза бьет. Дождь начался. Добежал до метро, у входа оглянулся: а радуга все такая же, яркая, дивная, стоит предо мной.

Марсель Пруст, утраченное время, его страдания, что у него нет литературного дарования и он не сможет стать знаменитым писателем. О куполах Мартенвильской церкви. Вот здесь вся природа писательского творчества. Ему, Прусту, за внешним обликом вещей чудится их скрытая таинственная сущность, и поэтому вид вещей, таких, доставляет ему непонятное для него наслаждение, радость, счастье. Но его тянет раскрыть эту таинственную сущность вещей, которая от него прячется. И оказывается, это прячется от него дар выражения этой таинственной сущности, дар выражения в словах, сам по себе, как таковой. Чудо словесного воплощения. Кто еще, как Пруст, может развертывать рулоны фраз, вмещающих в себе неисчислимые сокровища многоцветной реальности, все разнообразие ее живых, движущихся узоров, неисчерпаемую игру сравнений, уподоблений, сопоставлений; развертывать, казалось, до бесконечности, вселяя уверенность, что эта сокровищница никогда не истощится? Эта чудодейственная реальность еще и фантазирует о себе, и воображает о себе бог знает что, строит из себя фантомы вымышленных миров, смешивая их с действительным миром в одно целое. Но это и есть одно целое – единая, природная душа реальности. Она врет о себе столько же, сколько говорит правды, не считая нужным отличать одно от другого. Правда и ложь для нее равноценны, ведь она – художник. Реальность не ищет истины, вообще ничего не ищет. Она не научна, не моральна, не двойственна. Ей не надо различать добро и зло, правду и ложь, явь и сон, она – первозданна, до грехопадения, райское состояние. Она многоликой силой играет, и многоликая сила в ней играет. Она – мать всех художников.

Художники, сыны реальности, живя в различающем мире, различают, не различая. Это чистые художники. Но когда они начинают только различать – художнику гибель. Гоголь, Лев Толстой.

Шергин, дневник. Чем дальше, тем грустней. Жил в полуподвале в Москве, старость, калека, нищета, без семьи, с каким-то крестовым братишкой. Вспоминает свой родной Север, Поморье, Архангельск. Любовь к природе, есть очень красивые записи. Пишет: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых. Несомненное известие о том, на что уповаешь. В вере налицо предстают невидимые

вещи. То же – свойства истинного художника. Художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Все шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает. Талантливость – это вещей обличение невидимых». У него о любой попытке разговора об искусстве: «самый словарь, самая терминология начнет эстетствовать». Вот именно. Это и есть искусствоведение, умствующая ученость. Постоянно беседует с небом; и с землей и с небом, с природой. Но главный разговор – с небом, в любую погоду, в любой день года, в любом месте. «Птица Сирин, глас ее в нощи зело силён. Кто поблизости ее будет, тот всё в мире сем позабудет». «Искусство и поэзия созданы радостью о красоте».

Теплый, солнечный день, облака. Поехали в этнографический музей, смотрели выставку «Золото инков».

Услышали по радио. Ну вот, настал этот день. Вот и нет его. С ним ушла целая эпоха моей жизни. Умер на 84 году, как моя мама. Дождь зарядил, все небо затянуто тучами, этот июль и число тринадцать. Ушло самое удивительное, что было у меня в жизни. Я к нему несся, как влюбленный на свидание, в предвкушении чудес, несся к его космическим речам, к этим феерическим сполохам. Каждый раз дух захватывало. Так с первой встречи. 30 лет я был в этом наваждении. Прогулки в волшебном лесу его речей. Конец.

Мглисто. Отпевание, ул. Союза печатников, римско-католический храм св. Станислава. Пришли с Ларисой. У входа толпа. Кушнер, кивнул ему, он мне ответил. Стали впускать. Валерий Попов, сел в переднем ряду. Началась месса, католический священник в сутане, пожилой, ему прислуживал мальчик, подросток. Прощание. Гроб открыли. Я тоже подошел, почему-то справа, а не слева, как все. Он в гробу, лицо почти неузнаваемо, черты расплывчаты, волосы белые. Положил руку ему на грудь, попрощался, и вдруг, неожиданно для себя, слезы. Владик Кузнецов, утешал. Валерий Попов, участливо, протянул руку. Гроб закрыли, стали выносить к автобусу. Повезут в крематорий. Все вышли. Там дождь. Мы с Ларисой не стали ждать, когда отойдет автобус с гробом. В крематорий ехать мы не собирались. На обратном пути купили водки, дома помянули. Как он говорил, оттанцован бал. «Атлантов убаюкали моллюски».

Язык таким титанам отдает всю свою мощь и возможности, чтобы у каждого из них создался свой стиль. Тем, кто помельче, мало что остается. Надо быть тоже титаном, чтобы заставить язык еще раз отдать себя в полном масштабе еще для одного нового могучего

стиля. У таких свой мощный ритм, от ритма – стиль. Энергия в ритме концентрируется и усиливается. «Прости мои монгольские молитвы». Эту строку любил Володя Алексеев и постоянно повторял, пьяный и трезвый.

Что мешает писать просто, без затей, как Короленко? «История моего современника». Воспоминания детства у него удивительны, с двухлетнего возраста помнит все свои ощущения. Я своего ничего не помню, свои ощущения ранних лет. Да и никаких лет. Что я помню? Как-то все сразу стирается, начисто, навсегда, как только проживу день. Если тут же не запишу. Да и что я записываю. Как-то все примитивно, ничтожно. Существованье в мутных зеркалах. «С раннего возраста я мечтал о литературе». Короленко. А что теперь? Недоумки, шарлатанят, трюки, выверты, язык кричит, выпячивается, выкручивается.

Первая любовь, хрупкая, нос в веснушках, восьмой класс, или девятый, убирать картошку в колхозных полях. Холодный, промозглый день, конец октября, все мы в куртках, и она, в красивой, изящной курточке. Она мне так нравится, что только бы на нее и смотрел. Пытаюсь с ней заговорить, робко, неумело, маленький, неуклюжий. Подходит лучший ученик нашего класса, отличник, у него-то все что надо, чтобы иметь успех: высокий рост, языкаст, юмор, смелость, уверенность в себе. Легко заводит с ней разговор, смешит. Потом записка с признанием в любви. Прочитала, усмехнулась. Ждал в субботу, у вокзала, напрасно. Электричка за электричкой. Не приехала. Новогодний бал в нашей школе. Сидел у стены и смотрел, как другие танцуют вокруг стоящей в центре зала большой, разлапистой елки в игрушках. Танцевать я не умел, да и трусил. Как я ненавидел себя, и за эту робость, и за свой маленький рост. Я был самого маленького роста в классе. Видел, как мой счастливый соперник танцует с ней, кружит ее в вальсе. Высокий, выше ее на две головы, нагнулся к ней, что-то говорит. Она смотрит на него снизу, запрокинув лицо, раскраснелась, завороженная. Весь вечер они танцевали, не расставаясь. А я сидел в своем углу и страдал. Потом, после бала, шли толпой по дороге к вокзалу. Я плелся позади всех. Вижу: отстали от остальных, целуются. Это меня потрясло. Оглушенный, придя к себе на двор, рыдал, упав лицом в сугроб. Никогда я не испытывал такого страшного горя. С того вечера года три длилось мое страдание, моя безответная любовь. Видеть ее в классе, или случайно где-нибудь встретить, с ним, соперником, в коридоре школы, на платформе вокзала, на улице. Даже и после окончания школы долго страдал.

Кого помню из учителей? В первом классе Зинаида Ивановна, злая баба, издевалась надо мной, что я плакса, реву на уроках. Этим и запомнилась. А почему я плакал? Должно быть, грубость ранила. Слишком нежный, робкий, пугливый, застенчивый, впечатлительный. Эта школа была деревянной, под горой, начальные классы. Старшие классы – в каменной школе, бывшей финской кирхе, на другом конце поселка. За ней – колхозные поля. Эту школу так и называли – «каменной», в отличии от той, «деревянной». Часто ходили из одной школы в другую. Наверное, потому что какие-то уроки были в разных школах. Кажется, уроки труда были в «деревянной». Учителем по труду был Иван Иваныч. Замкнутый, молчаливый мужчина. Он потом женился на нашей историчке Людмиле Ивановне. Очень худая женщина, с желтым лошадиным лицом. Та самая Людмила Ивановна, которая меня так полюбила за стихи на историческую тему. Например, у меня было стихотворение о Спартаке. Она даже посвятила целый свой урок этим моим стихам. И я все сорок минут вдохновенно читал их перед классом. Ее хорошо знала моя мать. Потом, после окончания школы, я иногда встречал ее на улице, и она расспрашивала меня о моих успехах. Лучше всего помню, конечно, учителя немецкого языка Ефима Юрьевича. Но о нем я уже все написал в своей автобиографии. О библиотекарше поселковой библиотеки Капитолине Ивановне Муравинской я тоже уже писал. Сколько книг она мне надарила! Никого из них уже давно нет в живых. Светлая им память! Еще помню директора школы, маленький, толстенький. Еще учитель физкультуры Цветков Василий Иванович. Он жил недалеко от нашего дома. Сильный мужчина, что-то с ногой, прихрамывал. Именно он первый прибежал на крик матери вытаскивать меня из петли, когда я вздумал таким способом покончить с жизнью у нас на чердаке. Учеников из нашего класса помню: Володя Севрюков, Саша Колосов, Толя Плигин. Света Целикова, поклонница моей поэзии, да и вообще мне симпатизировала, высокая, привлекательная девочка. Потом она стала где-то в области директором школы. О Володе Севрюкове у меня написано. И рассказ «Севрюгины» о нем. Помню буфет в подвале и там же школьная столовая. Вкусные жареные пирожки и чай. Туда спускались по узкой, темной лестнице. Темное помещение, столы, лавки. Все остальное помню смутно.

Страдаю, что не пишется, что ничего настоящего, крупного так и не сделал. Что-то сделано, но хотелось бы неизмеримо большего. А уже и жизни конец. Даже и «Прогулки» не утешают. Что же, так и останусь в литературе как автор этой книги? А тебе этого мало? Все

оттого, что не пишется. А хотелось бы взяться за какое-то великое дело, чтобы до конца жизни хватило. Вот бы перевести «Веды» заново. Существующий перевод никуда не годится. Но это же надо изучить санскрит. А когда теперь его изучать. Все это чушь. Чушь она и есть – чушь.

Мощь не меняется, от древних до наших, только усложняется узор. Слову ничего не нужно, кроме себя. Оно ведь Бог. Но есть писатели, для которых вначале было то, что вне слова. И есть те, для кого вначале было слово, и слово было Бог. Это разные писатели, и литература у них разная. Лицо языка искажается, иногда жестокое, страшное, как у библейских пророков.

Преображение Господне. Поехали в Вырицкую церковь. Солнце, облака, теплый ветер. В церкви плач младенца, крестят. Родители молодые, девушка в розовом платье, парень в джинсах. Поп толстый, у серебряной купели, читает по книге, бормочет, часто, часто: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». На краю купели три свечи горят. Лариса ушла помолиться в часовню к Серафиму Вырицкому. Вышла. Сидим на лавке, небо высокое над луковкой с крестом, облака хлопьями, причудливые формы, движутся. Показала мне: «Смотри, какие два смешных облака, как будто взялись за руки и пляшут!». В обед выпили бутылку грузинского вина «Тайны Колхиды» Развеселилась, пела, плясала. Подняла меня из-за стола, танцевать танго. Но какой я танцор, как комод передвигать. Разочарована. У нее всю жизнь были две мечты: чтобы собралось несколько пар у кого-нибудь на квартире, из друзей, и танцевать под красивую музыку. А еще – чтобы ночь любви и вино, виноград и шоколад.

Ночью вышел на крыльцо. Узоры звезд тускло сквозь сырую мглу. Лира, Вега. Из космоса явится конь, сын Горгоны, Пегас, посмотрит в глаза твоим твореньям, поэт, певец, творец громких, красивых, певучих слов, – и весь живой трепет твоих пламенных вдохновений замрет, погаснет, окаменеет. А конь откуда пришел, так и уйдет туда же. Пегас, порождение чудовищ, и сам – чудовище. Рассказ Василия Белова «Кони». Была эта чистая нота, была да сплыла. Древнерусские монеты, «Владимир на столе, а се его сребро». Скань и зернь, эмали и чернь. Крест для Ефросиньи Полоцкой делал мастер Лазарь Богша. Писал по древнему, эмблематично. У него образы – эмблемы. Покрасил забор и калитку. Подъехал фургон, двое цыган, нет ли ненужного железа. Здоровенные, большеголовые, черноглазые. Говорят, боксеры. Ларису называют: «мамуля», меня – «дяденька». Не пишется. Ни искорки в этом пепле. В сердце пусто. А когда было густо? Было ли? Устал этот металл.

Непредсказуемые сполохи его слов, мистерия его речей. Дух захватывало. Феерические полеты его мысли. Его зоркость, проницательность. То, чего я совершенно лишен. Ошеломительное превосходство. Каждый раз, оказавшись рядом с ним, убеждался в этом. Вот и летел я к нему, на встречу с ним, как к какому-то неслыханному кудеснику, чародею, единственному в мире. Нигде больше такого нет и не будет. Мне невообразимо повезло. Нет в жизни больше счастья, как слышать его снова и снова. Вот я и был зачарован на долгие годы, жил в блаженстве этого наваждения и записывал его речи, эти сокровища. Утром, напившись крепкого чая, я мчался к нему на Ржевку, предвкушая фейерверки новых для меня откровений. Как счастлив я был тогда!

Тот, кто читает в оригинале Гомера, Данте, Шекспира, не будет метать бисер банальных пересказов. Другая картина мозга – вид из космоса. Жестокие игры, нейронные витязи в тигровой шкуре, на границе известного и неизвестного, узнаваемого и неузнаваемого. Призрак Незнакомки в туманном окне. Попытка определиться рушится, проваливается. Обман, самообман, иллюзия, миражи языка. Тут все приговорены к смыслу. «Если человек начинает думать о смысле жизни и ее ценности, то можно сказать с полной уверенностью, что он болен». Фрейд. Хронос и Кайрос. Хронос – бог объективного времени. Кайрос – бог субъективного времени, твоего внутреннего, лично переживаемого. Широта общего. О Вавилонской башни блеск и крах! Привычная логика причин и следствий вдруг начинает идти по пути нелепостей, нести дичь и чушь. Голос древней крови, бормочущий бессвязные, страшные заклинания. Не лучше ли вычеркнуться из зеркал?

Мерещатся какие-то иные, невероятные миры, о которых я ничего не знаю и никогда не узнаю. Хоть бы в щелочку поглядеть, хоть на минуточку, на мгновенье. Только ведь в мгновенье и разглядеть ничего не успеешь. Блеснет молнией. А если что-то и успеешь углядеть, не найдешь слов записать Это. Разве нет этих миров в сновидениях каждую ночь? А что остается при пробуждении? Мертвые чешуйки сверкнувших русалочьих хвостов. Те, кудесники, обладающие таинственным даром интуитивно творить чудеса художеств, они-то знают, где храм, а где хлам, где алмаз, а где грязь. Отберут безошибочно. Они полноценны, эти двое в одном лице. Чувство тотальной тайны, ум отменяется. Все отголоски лиры твоей фальшивы. Покинул перо автора. Широта общей психики с геометрией Эвклида, на всех дорогах. Изредка попадаются с геометрией Лобачевского, но выглядят они странно и говорят на непонятном языке. Змеиная грация,

взгляд – радуга яда. Опять верещат в чащах виртуозы декоративных причуд, опять пышное узорочье украшений поглотило прямой и точный смысл нагого клинка.

Поэзия единолична, ее нельзя перевести. Что же это за мысль, если в ней больше слова, чем мысли? Мысленно древо поет свои чародейные песни без слов. Блуждаем в языке, как в лесу, в тумане, перекликаемся, думаем, что нам, заблудившимся, отвечает тот, кто знает дорогу, верный путь. Вождь, водила, выведет из чащобы. А это наш отголосок, эхо, леший, бес передразнивает и путает, заводит все дальше в глушь, чтобы кружили и кружили, и никогда не выбрались из этой чащобы. Герметизм языка, зашифрованные полеты в самом себе. Только близ смерти и есть бессмертие. Мозг гения с сердцем свиньи. Разбился о стены судьбы. «Как лист с древес в лесах погодно опадает, /Так век старинных слов в языке пропадает». Тредиаковский.

Мастер «чуть-чуть», сияние обычных слов. Смысл блуждает в зеркалах слов, вибрируя в многозначности лучей, как у Малларме. Слова светятся в своих перекликающихся отражениях. После того, как я нашел «ничто», я нашел красоту. Священный паук и его таинственный кружевной узор. Слово «реальность» заслоняет и отменяет саму реальность. Помыслить то, что не помыслено в уже помысленном. Мыслить – это мыслить Целым. Чтобы мыслить новое, надо перестать мыслить старое. Язык мешает мыслить, это он – главная преграда. Мысль – молния интуиции, бессловесна. «И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами, / И нет преград меж ней и нами». Макс Нордау, поэзия – болезнь, вырождение. Длинные, заостренные уши Малларме.

Один раз в году июльской ночью в полнолуние тридцать тысяч оливковых черепах, самых больших черепах в мире, выползают из бурлящих волн Тихого океана на знаменитый черно-песчаный пляж Коста-Рика, чтобы отложить яйца и продолжить свой род. Тридцать миллионов яиц отложить в вырытые в черном песке ямы и зарыть так, чтобы не было заметно, что под песком кладка. Успеть до рассвета. Весь пляж покрыт этими горбатыми чудищами в панцирях доисторических эпох – тяжелых рыцарских доспехах долга. Оливковая черепаха весит 45 кг, одетая в броню, с трудом ползет она по чуждой ей суше, движимая властным инстинктом продолжения рода. Только на одну эту ночь для такой цели – цели всей ее жизни – покидает она родную ей водную стихию.

У дороги осина, еще держит на себе свой золотой запас, а ветер налетает, октябрьский, яростный ветер, хочет сорвать в клочья и развеять. Долго ли ей, хрупкой, противостоять этой буре? Заунывный

свист лингвистов в литературных дебрях, младенческий лепет новорожденного языка, мычанье нечленораздельной речи в доисторических гортанях неандертальцев и кроманьонцев. Из рода в род, из уст в уста – глагол времен, металла звон. Нужна сверхзадача, иначе зачем писать, зачем жить. Я не знаю, когда я пишу бессознательно, когда сознательно. То бессознательно, то сознательно. Свои сверхзадачи тяжелее, чем то, чем занимаются в мире. Чем больше ты ищешь новое, тем дальше ты от этого нового. «Не оказать ли предпочтение неправде, неопределенности, даже невежеству? И что же в конце концов так называемая истина? Это неопровержимые заблуждения людей. Воля к истине – быть может, скрытая воля к смерти». Так говорит Ницше.

Жизнь произошла из океанских брызг. Натрий и калий бьются в клетке, кто кого. Но из клетки не вырваться. Клетка – жизнь. Два рассказа Сэлинджера, «Хорошо ловится рыбка-бананка» и «Тедди». Достаточно для писателя. Есть знание, которое тебе дают и заставляют взять, иначе ты не сможешь жить в мире людей. Тебя учат языку, и ты учишься. Тебе говорят: это трава, она зеленая. И ты принимаешь на веру, как тебя учат. Так все знание, без которого тебе в мире людей не прожить. Оно общее, для общения, чтобы действовать сообща, всем вместе. Но если бы тебя не стали учить языку, то, что зовут травой, для тебя было бы что-то другое, и это нечто ты мог бы назвать иначе, по-своему. Ты создал бы свой единоличный язык из своего единоличного знания, а не из чужих рук, уже до тебя созданный, общего пользования. И что из того, из этого «если бы да кабы?.. Ели и жабы.

В девятом часу небо чистое, дома-башни вдруг окрасились розовым. Солнце, невидимое мне! Минутка красоты. Летящие высоко чайки тоже – розовые. Джон Китс со мной, его письма. «То, что воображению предстает как Красота, должно быть истиной – неважно, существовала таковая до этого или нет. Для великого поэта чувство красоты торжествует над всеми прочими соображениями, – вернее, изгоняет все прочие соображения. Если поэзия не является столь же естественно, как листья на дереве, то лучше ей не являться вовсе. Приблизиться к восприятию Красоты – трепетному и нежному, как рожки улитки. Я могу уверовать в ту или иную истину, только если ясно вижу, что она прекрасна. Воображение – мой монастырь, а сам я – монах в ней».

Ноябрь, болею, не выхожу из дома уже неделю. Кашель, температура за 38, бронхит, трахеид, тяжелая стадия. Антибиотики не помогают. Первый раз не могу сходить за хризантемами, а ведь

сегодня юбилей нашей с Ларисой встречи, 40 лет. Боратынский, «В свете нет ничего дельнее поэзии». Фамилия Боратынский от замка Боратынь в Галиции. Возвели замок предки Боратынского в 14 веке. Боратынь – Бог ратует. Я как мастер так и остаюсь неизвестен в литературе. Об этом знают только человек десять писателей здесь в Питере. Видимо, так и останусь в неизвестности. Кто когда будет раскапывать в курганах книг?

Нагибин пишет в дневнике: «Есть ли что-либо лучшее в жизни, чем воспоминание о молодой матери!» Это он в свои 22 года пишет. А я не помню своей молодой матери. Помню только ее старой или, смутно, средних лет. Но – не молодой. Но что я вообще помню? Разве это называется «помню»? И какой дурак я был в 22 года в отличие от Нагибина. Безграмотный, глупый, инфантильный мальчишка. Какая заторможенность. Только к сорока годам что-то созрело. Но даже и сейчас – зрелость ли это? Даже на 73 году жизни! Способен ли я вообще созреть? То, что я родился в такой простой семье да моя врожденная пассивность. Мне нужен был катализатор, культурная среда, кнут. «Бог избавляет своих любимцев от бесполезного чтения» Бодлер. А сколько я читал совершенно ненужного!

Еще Нагибин: «Вечная печаль непризнанности. Всё фальшь, ни в чем ни тени правды, но все сговорились считать грубые подделки подлинниками. До чего таинствен секрет успеха! Ясно лишь одно – необходим привкус дешевки. Не хотим серьезного! Не хотим сложного! Не хотим больного! Хотим сладких помоев! Ну, а уж коли о серьезном, так чтоб – подделка, чтоб не трогала и не ранила». О Цветаевой: мускулистая душа, способность сказать наикратчайшее. В хрупком мире условностей здравомыслию делать нечего.

Апухтин, его «Мухи». Гениальное стихотворение, ни у кого такого нет. Что-то чудовищное, апокалиптический образ – эти мухи. Мистический ужас. Сконцентрирован весь ужас жизни (ужас души) в образе этих чудовищных черных мух – черных мыслей. Одного такого стихотворения достаточно, чтобы быть навсегда вписанным в историю не только русской, но мировой поэзии.

Мглистый серый день, брызги дождя. Вечером опять температура 37,2. Гофмансталь: «Слова – это всё». И Блок: «Душа мгновенна». Слова – железные опилки для магнита духа, из них создаются те или иные узоры, какие велит им дух, гений, одаренность. Мысль рождает слово, чтобы увидеть в нем себя, и в растущем вглубь, вширь и ввысь слове видеть себя все зорче и зорче. Звонил Чернышев, говорит: «Разве тебе неинтересно понять мир?» «Нет» – отвечаю, – «совершенно неинтересно. Пусть остается непонятным. Надо оставить его в покое, таким какой он есть и не пытаться его понять».

Стигма, цифра 6, клеймили преступников. «Для высшего и совершенного созерцания природы достаточно одной какой-нибудь геммы». Плиний Старший. Неистово злой язык Архилоха. В Китае магия и музыка обозначаются одним словом. Музыка раньше слова, т.е. магия раньше слова, шаманная музыка. У каждого звука своя душа. Шень – дух. Бах в конце жизни: «Только сейчас я постиг дух музыки и хочу заново его исследовать». Последнее его произведение «Искусство фуги», неокончено.

Всматриваться в строку, фразу. Есть фразы, строки – окно в «туманный ход иных миров», прорыв в нечто, в «очарованную даль», дверь во все чудесное, простор неизвестного. «Жемчужины вот он дорылся в оном соре». Тредиаковский. Скачок в другой год, 73 стукнуло в дверь, ужас, старость. Красотисты и правдисты. По всему миру свирепствует коронавирус.

Майская теплынь. Гулял в парке, полно народу, какой там карантин, разве усидишь дома в такую погоду. А репродуктор орет на всю округу: «Граждане петербуржцы и гости города, оставайтесь дома! За нарушение карантина штраф, вплоть до уголовной ответственности!» В квартире духота, еще топят, батареи раскаленные, не работается над моими былинами. Три раза выходил гулять в парк, утром, перед обедом и вечером. Перечитываю «Прогулки», по одной записи в день. Да, видимо, только эта книга и оправдывает мою жизнь. Все остальное мог писать, а мог и не писать. Литература от этого ничего бы не потеряла. Плохо сплю и вообще совсем обессилел, похудел, скелет. Чуть ли не каждый день чувствую себя неважно. Нервное истощение.

Когда ведет какая-то неотвратимая нота (в пустыню), то вызывает особые, свои слова, и располагает их в своем особом порядке. Получается нечто странное, необычайное, словно бы не от мира сего. Это и есть «божественный глагол». А вокруг оглушительный шум литературы, как от несмолкающего водопада. Великие мастера напускать тучи умных слов, устрашая внушительным видом глубокомысленных бездн смысла и пряча этим самую обыкновенную банальность и ничтожество мысли. Вдохновение – дунул Дух, налетел вихрь, сорвал и понес ветром языка, только успевай записывать этот вихрь, это дуновение Духа, ветер из космоса. Преображение Господне Языка на горе Фавор. Гора Фавор – космос. Обычные слова начинают светиться, сиять, становятся необычайными, вокруг каждого ореол магического сияния. Это и есть чистый космос языка.

Многолетняя привычка разговаривать с бумагой. Это уже не дневник, а двойник, alter ego. Пушкин, его «Эхо». Свойство эхо – отзываться, откликаться. И свойство, и назначение. Такова природа эхо: отзываться на каждый звук. Отзываться, его копируя. Природа эхо – всеотзывчивость. Поэт тоже откликается, отзывается. Природа поэта тоже – всеотзывчивость. Сила всеотзывчивости, отклика. Но поэт, отзываясь на явления мира, в отличие от эхо, не копирует их. Он их по-своему преображает, осмысливает, истолковывает, перевоплощает в форму, ритм, гармонию. На это способен только поэт, на такой отклик. Поэтому никому не дано откликнуться, отозваться на сущность поэта. Чтобы отозваться, откликнуться на что-нибудь в мире, надо быть либо эхом, либо поэтом. Если не эхо, не поэт – отклика, отзыва не получится. Отзыв, отклик невозможен.

Пастернак, «Сестра моя жизнь», сказочное восприятие, чудотворство. Копилось, копилось и – открылось, взорвалось. Буквально взрыв, переворот в восприятии, в чувственности. «И пахнет сырой резедой горизонт». Всегда восхищала эта строка. Какая дивная острая чувственность: то, что слилось чувство обоняния с чувством зрения, как одно единое целое. Да еще образ, данный звуком, созвучием: «сырой – резедой – горизонт». Летит как стрела – прямо, в чудо так воспринятого мгновения, так почувствованного в крылатый миг чудесного полета всех слитых вместе чувств. Буквально удар свежей чувственности, разряд молнии. Вот почему так неувядаемо остро, свежо звучит эта строка, как запах сырой резеды, на века, бессмертно. Поэзия в самом ее чистом, голом, прямом виде. Ее удар в самое сердце. Точно также восхищает его строка: «Роскошь крошеной ромашки в росе». Да вся эта его книга – волшебство поэзии, как выразился Бальмонт. В этой книге сошлось всё – и мощь, и свежесть чувства, и филигранная виртуозность стиха.

Да, как-то странно я писал эту книгу, эти «Прогулки». Мне было важно только дать монолог, его монолог, а мои речи, реплики, возражения, вообще я сам, мое участие в разговоре, наравне с ним, мне было совершенно неинтересно. Видимо, я сам себе был совершенно неинтересен и жил только его речами, стал им и его речью как самим собой, и только это и было для меня ценностью и смыслом записи, и смыслом всей книги. Так и сейчас осталось. Я и сейчас себе неинтересен. Нет, не совсем так. «Дни с Л.», «Дождь в четверг», «Лопающиеся пузырьки», «Тот день», «В тени Водолея», весь этот мой личный эпос, – было чрезвычайно интересно, что и как мне жилось, чувствовалось, отражалось и преображалось. Поэтому и написал. По тому же принципу написалась и построилась и эта книга,

«Прогулки». А вот в «Прогулках» мне было интересно видеть себя в нем, как в зеркале, но себя не показывая. В этой книге я собственно жил им, его внутренним миром, его складом, его психикой, его духом, перевоплотился в него, проживал его, переживал и изживал его. Чтобы изжить его написанной книгой, в книге, и таким образом освоить и освободиться. И действительно изжил. А вот интерес остается и при перечитке. Так и должно быть. Это Личность.

Спал на веранде. В мозгу крутились былины, мозг полон былин, у них в плену, они, былины, не дают мозгу полноценно отдохнуть, мучают и во сне. Встал в восьмом. Уже жарко. Африканская жара. Пью чай под яблоней, голый, в одних шортах. Томик Пастернака. Кружить по следам моих былых восхищений, восторженных чтений. Кипящие белые вопли чувственности, разряды страсти, бог языка.

Марсель Пруст, сегодня еще раз прочитал первые три страницы – и вдруг открылось. Эта его удивительная гениальность. У него язык полностью предназначен для выражения его восприятия. А восприятие у него какое-то безграничное, неисчерпаемое в формах, приходящих в сознание; воображение, переполненное видениями реальности, соображениями, ассоциациями, уподоблениями. И все это у него каким-то чудом увязывается, упорядочивается в невиданные узоры всего, что имеется в мыслях, чувствах, во внутреннем мире, тождественно переполненному богатству внешнего мира. И соответственно такому, какому-то нечеловеческому, космическому восприятию безгранично расширяется и язык, неисчерпаемый в своих возможностях. И не надо тут никаких перевоплощений, а нужно только, чтобы было такое гениальное, сверхчувствительное, полное жизни восприятие. Вот где и свобода и полная раскованность, и непохожесть ни на кого и ни на что, потому что исходит из громады возможностей такого восприятия.

А что я? «Утонченный мастер, режущий лазером», как выразился Саша Медведев. Да, мастера я из себя сделал. То, что можно было из себя сделать. Ничего другого, ничего большего сделать мне из себя, видимо, было не дано. О чем и говорил Соснора: «Писать-то ты умеешь, пишешь-то ты хорошо, техника-то у тебя высшая. Но это ведь только первая ступень писательства, только ступень мастера, мастерство как таковое». Мастерство художника со своей ни на кого непохожей манерой, своим стилем, своей неповторимостью – это совсем другое мастерство.

Тютчев, «Мысль изреченная есть ложь». То есть истинная мысль та, что вне слов, неизреченная. И все-таки мы мыслим словами. У нас мышление неизреченное, бессловесное, интуитивное проникает в

мышление словесное, пронизывает его, заряжает собой, так что словесное мышление, «мысль изреченная» начинает излучать эту бессловесную интуитивную мысль и поэтому уже не ложь. Но и сам язык – разве не порождение той же бессловесной (дословесной) интуиции, бессловесного способа мыслить, тем, что зовем магией и мистикой мысли? Сам язык создан этой могучей, интуитивной, дословесной мыслью, магией дословесной интуитивной силы и продолжает ее, эту Мысль, эту Силу содержать в себе, хранить, постоянно восполнять и излучать. И еще: пересечение личного, субъективного, своего дослова, неслова с объективным, общим, родовым словом. Общее, родовое слово перевоплощается таким образом в свое, субъективное, единоличное слово. Такова же текучая граница понимания и непонимания. Понимает ли другой твое дослово, неслово? Нет, это невозможно. Вот об этом у Тютчева. Твое дослово, неслово, переведенное в форму общего слова, утрачивается, его уже нет, оно ложь. Для понимания – ложь. Оно будет неверно понято. Потому что оно подразумевает совсем не то, что несет общая форма слова, и это-то и не передать другому. Передать можно только бессловесно – во взгляде, в жесте, интонации голоса, мимике (выражение лица, глаз). Об этом у Фета «Молчали листья, звезды рдели». Или твое дослово, неслово настолько поглощает собой и перевоплощает в себе общее для всех, объективное слово языка, что оно, став словом, изреченное, перестает быть понятным и ясным в принципе, то, что называют «темный язык». Понятен только тебе самому. Из общего для всех, объективного языка ты создал свой, единственный в своем роде, чисто субъективный язык, существующий только для твоего собственного употребления и самовыражения, никому, кроме тебя самого, недоступный. Отсюда герметизм, то, что у Малларме, «Неведомый шедевр» Бальзака. Джойс, «Поминки по Финенгану».

Начинаешь писать, и слова тянут откуда-то чувства, мысли, картины, которых словно бы в тебе и не было, пока не начал писать. До слов было что-то смутное, неясно что. Язык в принципе необъясним, неизмерим, то есть мистичен. Таким он возник, таким он первоначально и был. Язык породила таинственная сила, не поддающаяся объяснению. Первоначальный язык был полностью языком этой силы. Таким он остался у детей до семи-десяти лет, пока они не обучились языку взрослых, и у подлинных поэтов. Наш мир взрослых, мир технической, рациональной, математической цивилизации сделал язык рациональным, понятийным, то есть сделал его объяснимым и измеримым, под себя, под свои цели. Это язык

объяснимости, измеримости всего и вся. Язык поэзии, как и первоначальный древний язык, основан на неизмеримости и необъяснимости. Этим он и порожден. В нем миры стихий, ритма, грации, воображения, космических вихрей. Так и по Афанасьеву: первоначальный язык был поэзией, поэтический, порожденный чисто образным восприятием. Язык самодостаточен, он может жить своей жизнью, свободный от однажды закрепленной связи с реальностью, и тогда-то и начинается собственно поэтическое творчество, работа воображения, фантазии, создание вымыслов. Этот принцип остался неизменен с древнейших времен. Поэты всех времен и нынешние действуют в языке точно также.

Может быть, есть где-то планеты бессловесные, только музыка и живопись, только танцуют, поют и рисуют. И вся техника создана музыкой и магией. Высоко развитые чисто музыкальные и танцующие цивилизации.

Маяковский, «Я сам», сколько позы, как будто перед залом на сцене выступает, актер, а зал-то – весь мир. Он же и в последнем, предсмертном написал: «В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию». Это он опять же со сцены говорит – всей истории мира, всем векам, прошлым и будущим. Так у него везде. И «Во весь голос», обращение в мировой зал: «Уважаемые товарищи потомки…». И тут он на сцене, со сцены говорит, космической. Все его поэмы – трагедии и мистерии, поставленные на космической сцене. Трагедия «Я Маяковский». У Пастернака иначе: «О знал бы я, что так бывает», «Гамлет» (Гул затих. Я вышел на подмостки). Цветаева, «Поэма Горы». Лермонтов: «Нет я не Байрон, я другой». Пушкин, «Я памятник себе воздвиг…». У Державина тоже гигантомания, космизм, но позы нет, он перед Богом.

Анненский, «Я люблю все, чему в этом мире /Ни созвучья ни отзвука нет». Звезда, которой не надо света; сияние свечи, которое уверяет, что есть не наша связь, а лучезарное слиянье. Мистика этой меланхолии, этой истонченной, измученной, истерзанной, сверхчувствительной психики. Истонченные струны его печальной, стонущей скрипки оборвались в 50 лет на ступенях Витебского вокзала. Теперь мы ходим там, топчем эти ступени, чтобы поспеть на электричку.

Часто повторяю стихотворение Арсения Тарковского «Я рыбак, а сети /В море унесло, /Мне теперь на свете /Просто и светло. И моя отрада /В том, что от людей /Ничего не надо /Нищете моей». Проще пареной репы, а зачаровывает. Также зачаровывают стихотворения с самыми простыми словами Пушкина, Лермонтова, Блока. «Я вас

любил, любовь еще быть может…», «Одну молитву чудную /Твержу я наизусть», «О подвигах, о доблести, о славе…». Нет преграды между смыслом и формой, формой и сердцем. Идет напрямую, сразу в сердце. «Бог есть форма, дышит только наполненное сокровенной формой». Блок. Кто-то первый стал давать названия вещам и чувствам. То, что смутно виделось и чувствовалось всем. Но названия мог найти только этот первый и единственный. Точное попадание в слово. Это и есть творец. Остальные – потребители.

Август, рассеянно и щедро, всесильный бог деталей, он же бог любви. Любовь подробна, и тишина, и жизнь. Подробно все. В мире все подробно. Мир устроен подробно, ювелирно, отделан до мельчайших деталей, до совершенства, микромир, уходящий в бездонную глубину все более мелкой, все более тонкой ювелирности, филигранности, тончайшей работы Мастера Невидимки. Первичное воображение, живая сила, способность восприятия – копия вечного акта Творения. Поэт-пророк преображает мир или создает новый. Кольридж, его «Ода унынию».

Отвез в Лавку писателей еще три книги «Тот день» на продажу. Эти уж до конца моих дней там будут стоять. Больше чудаков не найдется. Пока ехал в метро повторял наизусть «Слово о полку Игореве» на древнерусском. «Не ваю ли вои златыми шеломы по крови плаваша?» До чего же и красиво и мощно. Как сверкает этот язык! И вот ведь что: этот язык создан определенной психикой, складом души, характером, духом того русского человека. Тоже – язык Аввакума. Тоже – язык Державина. А вот язык Пушкина и всей той эпохи – создание другой психики, другого духа, другого склада. Психика поменялась, русский человек стал другим. Потом явились символисты. Потом футуристы. Опять поворот психики, другой дух, другой язык, другой человек. Какой язык такая и психика. Сейчас язык падает уже в полный нуль. Ясно, какая психика породила такой язык.

Сентябрь, пасмурно, асфальт в переулке мокрый. Вспомнилось у Тарковского стихотворение «Ветер», «Душа моя затосковала ночью…». Мистическое стихотворение. Это о душе – женщине на мосту в ветреную, бурную ночь, на цыганской масленой реке, платок спадает с плеч над медленной водою, руки как перед бедою, звезды как бабочки с незрячими глазами. Ведь душа – бабочка. Слова из влажных «Л», горят, как свечи, гаснут на ветру, не означают никаких земных смыслов, ни чувств, ни мыслей, одно громадное горе всех времен, все горе всех времен, и земля горькая, как полынь. Это – душа, и у души когда-то было имя. Душа – женщина. Гениальное

стихотворение-сновидение. В том же ряду, что и фетовское «Что ты, голубчик, задумчив сидишь».

Весь вечер читал Веселовского «Южно-русские былины». Ищет отголоски византийского и новогреческого эпоса. Гении и их тернии. Терновый венец их революций. Мне надо было кое-что уяснить насчет себя и мира, и себя в мире, и насчет мира как такового. И что, уяснил? На 74 году? Это же глубокая старость по прежним меркам. По всем меркам. А я все еще что-то выясняю, хочу довыяснить, успеть. Смешно.

Я хочу сделать идеальный вариант былин, образно-словесный, и идеальную композицию, цельность эпоса. А возможно ли это? О далече зайде сокол, птиц бья, к морю!

Вышел на Витебском, толпа, темно, тучи, черные-пречерные, передо мной, и в туче окно, прямоугольное, зловещее, дымное. Шел по нашей ул. Лени Голикова, темнотища, фонари не горят, на спине рюкзак с компьютером, в руке тяжелая сумка. И так темно, и небо в черных тучах, и на душе мрачно, мысли черные, как эти тучи. В квартире неуют, нет тепла. Лариса недовольна, как ее постригли. «Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира?.. Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей». Все он точно понимал и как мощно выразил.

Звездно, Венера, сверкает, так ярко, так ярко, брызжет сияньем, звон ночных лучей в мире, в мареве. Сентябрь поет свою осеннюю песенку. Радость-страданье, грусть увяданья. Голова кружится-кружится, заблудилась в кружевах-лабиринтах созвездий, плачевных узорах сентября. Теперь в мире царствует мысль техническая, она властительница мира, и готова поглотить всего человека и всю землю, планету, на которой она зародилась. Эта мысль имеет свою историю и свое предназначение. Ее сестрица – мысль философская. Эта мысль занята логикой больших обобщений. Для этого она отреклась от любой образности, конкретной чувственности единичного, отдельного, от предметности единственного, неповторимого. Другая сестрица – мысль математическая, с детками, физикой, химией, биологией и проч. А что же мысль образная, художественная? Мысль поэтическая, музыкальная, живописная, скульптурная, танцевальная? Что же мысль искусств в этом тотально техническом, математическом, логическом, прагматическом и практическом мире? Тесно ей, тоскливо ей, плохо ей, ох плохо, бедово в таком мире! Тесно, душно, задыхается. Скоро совсем задохнется в этой машинности. Бедняк Боратынский, художник бедный слова, все мысль да мысль, последний поэт, последнюю песню разнесет в

долине ветер, вот и эхо замолкло. Всё. Дальше молчание. Вернее, техногенный шум во всех мирах, по всему космосу. «Ничего не существует, пока оно не измерено». Нильс Бор. Этим все сказано. Страшно сказано.

Лариса остается здесь, на даче; проводила до шоссе. Бледная, в белой шерстяной безрукавке, махала мне рукой. Теперь, когда расстаемся даже ненадолго, тоска. Прожили вместе 41 год, слишком привязались. Это ее слова. Но так и есть, тоска. Пока ехал в поезде, стемнело. Темный, темный осенний лес летит в окне, пожухлые листья. Город, огни. Пришел домой, топят, но квартира еще не прогрелась. Включил Т.В., передача о Софье Губайдулиной, интервью с ней, совсем старая, под 90. Говорила, что у нее боль за нашу цивилизацию, что в мире перенапряжение, именно перенапряжение цивилизации, и она не знает, чем это кончится, что будет. Говорила, что мы, художники, – не делатели, мы спрашиватели. И для нее так и остается много тайн, много непонятного, и даже тайн появляется все больше, а ей уже почти 90. Буря, дождь. И всю ночь буря бушевала. Изорванная ветром темнота.

Слова стали не только нашим мышлением, но и всей психикой, чувствами, душой, памятью, совестью, моралью. Что-то еще есть несловесное, предчувствия, интуиция, но заглушены словом, и заглушаются все больше. Заглушатся полностью. Многие мысли не додумываются. Есть мысли, которые нельзя додумать. Вожусь с былинами. Народное стихосложение совсем другое, оно мыслило не рифмами, а внутренними созвучиями, оно было свободно от необходимости мыслить рифмами, рифмически. А поэтическое мышление классического стихосложения, ломоносовско-тредиаковское, сковано рифмой и строгой стопой метров. Но ведь от формы зависит свобода мышления, поэтического. Слишком строгая форма душит, гнет бременем, не дает развернуть крылья, взлететь.

Есть вершины совершенства. Это же видно в природе, как работает природа, как доводит до совершенства свои произведения. Тело человека, его физическое устройство – разве не верх совершенства? Цель природы, можно даже назвать, идеал – достичь совершенства. Все мудрости всех мудрецов, вся этика-эстетика только вокруг этого и крутится. Только ведь на это древнее колесо, изначально чистое, за века накрутилась и налипла громада всякой дряни. Чего только не надумали, чего не наболтали за тысячелетия умствования и говорения.

Проснулся в восьмом, вышел во двор. Утро чудесное, небо в завихрениях, перистое, солнце встает, пылая. Еще есть солнце и есть

такие утра, и жить еще хочется. Не для денег рожденные и не для славы. Вот и пожить бы остаток дней все в той же своей безвестности, успокоясь, смирясь. Эти два моих вечера в октябре – прощание с литературой. Еще опубликовать былины, этот мой эпос, – и всё, прощай, литература! Хватит. Состарехся и проидох дни. Звезда с звездою говорит. Слова в мировой немоте проступают звездными узорами или россыпью, бессвязно. Закрыть глаза, заткнуть уши, побыть без звезд, без слов, не плести кружева, не кружить в хороводах, не издавать звуки. Побудем молча.

Вчера Лариса стала перечитывать «Дни с Л.». Говорит, что эту мою прозу не только мы с ней можем читать, мог бы и тот, кто ничего не знает о нашей с ней личной жизни. Конечно, эта проза не для массового читателя, эта проза для читателя избранного, элитарного. Это такой импрессионизм, и все так образно, все бликует, воздушно, трепетно, игра света и тени. Такое колеблющееся и сияющее марево, цветные всполохи. Очень красиво. Проза светоносная, воздушная, трепетная, музыкальная. Цвето-музыка, танец бабочек в бликах дней-ночей. Я как бы превратился в живописующее слово, стал таким словом и написал таким словом свою жизнь. Вернее, сама жизнь моя превратилась в живописующее слово, стала им, чем-то сновидческим, трепещущим, бессонным. Получилась такая тонкопись-тайнопись. Чрезвычайно тонко рисующее слово, алмазная иголочка.

Тянулся, тянулся достать звезду, вот уже совсем близко, вот схвачу, а она и отскочит и опять далеко. И опять тянусь, и опять отскочит. Так и не достал я звезду, так и не схватил. Марсель Гране, «Китайская цивилизация». Мощно. Сверкающие взмахи бритвы. Вот что можно делать одним только стилем. Читается как Геродот. Витебский вокзал, вошел в метро, тележку тащу, с кабачками. Надел маску, в метро без маски не пускают. Пандемия. Шел по Лени Голикова, таща тележку, грусть-печаль томит. Возраст, старость эту грусть-печаль нагоняет. Что получилось из моей жизни, в итоге-то? Мало что получилось из того, что хотелось, что грезилось. Андрей Боревой – несостоявшийся псевдоним Андрея Белого. Перо – рука души, Сервантес. «Картину надо писать так, чтобы она висела без гвоздей». Пауль Клее.

Умерла Антонова, директор Пушкинского музея. Бенуа Мандельброт, французский математик, фракталы, фрактальная геометрия природы, парадоксальное сочетание хаоса и порядка. Ветвистые системы. Фракталы – это способ увидеть бесконечность. Бесконечное самоподобие. «Если бы человек мог снять оковы восприятия, он увидел бы бесконечность». Вильям Блейк. Бело, зима,

стихи. «Опять знакомостью напева /Пахнут деревья и дома, /Опять направо и налево /Пойдет хозяйничать зима». Кто составляет именно эти слова именно в этом порядке, так, что они производят магическое действие, завораживают душу? Поэт? Пастернак? Его чувство, его состояние? Есть это мистическое чувство, это нечто, что завораживает душу, и это-то ничем необъяснимое чувство-состояние и вызывает такие слова и в таком порядке, чтобы они так сложились и превратились в носителя этого чувства-состояния души, его выразителя и хранителя. Слова эти, ставшие стихотворением, и передают эту магию чувства из души в душу. Так будет, пока есть души, чуткие к этой магии, этой мистике, этому состоянию. Не будет таких душ, поэзия закончится. Закончится ее время. Наступит время цифры. Уже наступило. Все оцифровывается. Душа уже не нужна.

Природа, она же Бог, говорит человеком и его языком, и его искусством, наукой, всей его историей нечто свое, тайное. Надо различать, когда это природа (Бог, божественный глагол) говорит через человека, человеком, его языком, а когда говорит сам человек, сам от себя (суесловие и словоблудие). Только это – опора, на что можно опереться. Иначе – путаница и блуждание. Импровизации гиляцкого сказителя – это внушение особого духа миф-кеху (земной дух), который обитает на кончике языка певца, диктуя ему божественные фантазии. С покровительством этого духа связана сама жизнь певца. Когда дух покидает певца, он умирает. Русская загадка о туче, громе и молнии: «Гроб плывет, мертвец ревет, ладан дышит, свечи горят».

Вся литература перекликается и аукается, как в лесу. Могущество в терновом венце немоты. Пропасть между словом и чувством. Редкие моменты, когда язык чист, не тривиален. Живем в стенах штампа. Свободное от языка чувство блеснет в интонации голоса. Язык стал западней, ловушкой. Иногда сквозь шаблон языка чувство узнает себя в старых русских песнях, в романсах. В фольклоре язык не был штампом, там нет преграды между словом и чувством, там слово чувству адекватно. Преграда возникла, когда язык стал литературным.

«Могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу». Филонов.

Январь, мглисто, расплывчато. Перед пробуждением снилось, что я искал папку с моими произведениями среди папок других авторов, в каком-то большом зале среди столов и шкафов. Моя папка под номером 40. И никак не мог найти. Флоренский пишет, что сны утром перед пробуждением пророческие, дают чистые мистические образы

из иного мира, чистые мистические символы. Загадочная баллада Вильяма Блейка «Странник духа». Сотни истолкований. Никак не могут разгадать. Его «Молитва черному солнцу».

Стихотворение – кристалл, в котором заключен смысл. «Открылась бездна звезд полна, /Звездам числа нет, бездне дна». Ритм, рифма, звукопись, образ, музыка и гармония стиха делают смысл несравнимо большим, чем пересказ этих же слов презренной прозой. Разрушается кристаллическая структура, и блистательный, бесценный алмаз превращается в обыкновенный уголь. Это и есть волшебно-поэтический смысл, о котором пишет Мандельштам. Стихотворение излучает таинственные значения слов вместо известных, обиходных. Блаженное, бессмысленное слово. Что и есть поэзия. Бессмысленное – то есть непредставимое в общепринятом смысле. Стихотворение – кристалл смысла. Кристалл самодостаточен. Смысл кристалла вне кристалла не существует. Пересказать его другими словами – уничтожить весь его смысл. Кристалл стихотворения излучает таинственное сияние своего смысла для тех, кто любит его и кому никакого другого смысла не нужно.

Есть зависимость между тем, что писать (о чем) и как писать. Оттого, что не хочешь писать по шаблону, так, как все пишут, в привычной литературной манере, приспособленной для всего и вся беллетристически, то есть хочешь изменить «как», – меняешь и «что» и «о чем». Оказывается, что чтобы писать нешаблонно своим стилем, надо запретить себе писать о том, о чем привыкли писать в беллетристике. Надо отстраниться от этого «о чем». Надо писать о другом, и это другое будет не менее важно, но на другом уровне высказывания, выражения. Что я и делаю, что я и сделал. Они же все остаются полностью в беллетристике, в шаблонной манере высказывания «как», о чем угодно. В результате чего, то, о чем пишется, тоже шаблонно. То, от чего я всеми силами уходил и ушел. Была сознательная цель. Изъясняться и повествовать шаблонным образом, рассказывать по общепринятому трафарету, манере выражения затягивает в свою орбиту. Из этой орбиты мало кто хочет вырваться, мало кто ставит себе это целью. Всем вполне удобно и комфортно. Мало кому такое делается ненавистным, нестерпимым. То, о чем они пишут, о чем принято писать и как об этом принято писать, я оставляю за скобками себя, как негодное для моего пера. Запрет на это. Самозапрет. У них запретов нет. В этом вся разница между мной и ими.

Привычка к говорению о том, что видишь, что чувствуешь, что думаешь. Привычка рассуждать, анализировать посредством слов

уводит в чисто словесное пространство. Слова увлекают сами по себе к рассуждению, толкованию, говорению, думанию. Не ты хозяин слов, а слова хозяева твоих чувств и мыслей. Мыслим не мы, а мыслит язык. Это не мы мыслим словами, а слова мыслят нами. Сложность мысли – это сложность словесная, сложность словесного выражения. Мы сделали себя языком, языковым шаблоном, трафаретом словесного выражения. Мы создали себе лабиринты языка, сделали самих себя сложнейшими, запутаннейшими лабиринтами языка и блуждаем в них, считая, что это мы мыслим, чувствуем, ощущаем, видим, слышим, изображаем. Мы уже не можем мыслить и чувствовать вне языка, не языком, не словами, не вербально. Как выйти из лабиринтов языка, из привычки мыслить и чувствовать, выражать себя трафаретами словесных выражений? Мало кто пытается.

Пишешь для какого-то космического взгляда, для чистого космоса языка. Так свое написанное и редактируешь, отчеркивая все, что не годится для этого взгляда из космоса слова, что для него мелко, не нужно, плоско. Космическая плоть слова, то, что можно осязать. Земля, увиденная из космоса – мраморное яйцо. Зарос, волосы до плеч, полуседые. Стригла молодая девушка, блондинка, в маске. Я сидел тоже в маске. Потом гулял в парке. Снежок сырой, свежий, поскрипывает под ногами. Метет понемногу. Чудесный зимний январский день. Темперация музыки, разрыв с космосом. Музыка стала выражать только эмоции, а не гармонию с космосом. Мир был создан космической вибрацией, сгустившей материю, космическую пыль, в звезды и планеты. Шёнберг: «Публика – первый враг музыки. Если музыка общедоступна – это не искусство. Искусство – то, что не общедоступно». Музыка числа, октоих, восемь гласов. Всякое число излучает свою вибрацию, издает свой звук. И опять этот вопрос: для чего? Полностью поглощен писчим спазмом, существуешь только для того, чтобы ему, писцу, быть в мире. Мне 74. Дотащился до такого возраста. Старик.

Дух пряный марта. Какое-то особенное, свое, ни на кого не похожее чувство. В лучших стихах слова бесконечны. Стихотворение должно быть духовным событием для меня, только тогда я запоминаю его наизусть, храню в памяти, постоянно к нему возвращаюсь. Литература многослойна. Я живу в тонком слое с минимумом слов. Романное многословие не для меня. Я вижу лицо Слова, всю его мимику, слышу все интонации его голоса. Великие книги – великие миры Слова. Великая книга бросает в века длинную тень прочтений и

истолкований. Туманные планы неучтенной реальности, дионисийство, папский библиотекарь. «Отвергший голубя ступень /В ползучих наречется змиях».

Южно-приморский парк, пруд еще подо льдом. Дорожка в березовой роще, грязь, пробирался по краю. Небо совсем расчистилось. Стоял в роще на берегу, прислонясь спиной к березе, лицом к солнцу. Никого, я один. Долго так стоял в медитации. Крик чаек с протоки. Последние дни какое-то бессилие, ничего не хочется делать. Ни писать, ни читать, ни говорить, ничего. Мастер, у которого кончился материал, не из чего делать.

Потребность удивить себя, чем-то непредсказуемым, чего от себя никак не ожидаешь. И вдруг неизвестно откуда в тебе находится нечто новое, небывалое, и ты делаешь что-то удивительное. Но у меня потребность писательства прежде всего в том, чтобы пережить в слове, посредством слова, это таинственное, мистическое, необычайное состояние, то, чего без слова у меня быть не может, мне недоступно. Это главное. Все прочее вторично. «В моей душе лежит сокровище, /И ключ поручен только мне».

Форма бессмертна, ибо она не материя, не из молекул – говорит Бодлер. Попадает в цель, которую никто не видит. Книга – длительность, картина – мгновенность. Но вспышка послевкусия от книги – такое же мгновенное впечатление, как от картины. Три серафима: число, буква и звук. 32 таинственных шага мудрости. «Математика – наука, в которой мы никогда не знаем, ни о чем мы говорим, ни то, верно ли то, что мы говорим». Б. Рассел. Все и измеримо и неизмеримо.

У каждого большого подлинного поэта (писателя) есть своя интонация, свой голос души, свое душевное звучание, которое и ведет, самовластно и непреложно. Если этой своей интонации, своего звучания души нет, то все будет вторично. Пустой, холостой ход. Интонация эта, когда она есть, самодостаточна, поет как поется, ничего другого ей не надо. Ну, разве что все больший разворот, больший масштаб, чтобы ей мощнее, разнообразнее, шире, полнее пелось. Это и есть первородство. «Рано возникли и великие первые творения, и свершения искусства, так как они существуют среди первоначал». Платон.

«Площе досок в воде – духота». Духота у него, у Пастернака, плоская. Перескок восприятия. Если бы всё восприятие мира так перескочило в пяти чувствах, это и стало бы этим загадочным шестым чувством, и мир стал бы чрезвычайно странным. Под вечер вышло солнце. Долго созерцал закат, стоя у забора около куста сирени.

Ослепительное, садилось, ниже, ниже. «Для меня же блистало дневное светило, /Огневое светило догорало вдали».

Нашел тут потрепанную книжку Кавабаты, «Стон горы». Прозрачность, подробность, музыка слов, ничего лишнего. Удивительный мастер. Удивительно, как он не пренебрегает ни малейшей подробностью, уверенный, что так нужно, ничего не упускать, самого обыкновенного, что делается, чувствуется, думается, что только тогда создается полная картина. Но это именно картина, бесконечно подробный, многоцветный микро-рисунок, создающийся из множества микро-действий, чувств, мыслей. Герой романа Синго, ему 62 года, а он уже думает о смертном часе. Казалось бы все предельно прозаично, а при этом все светится, какое-то глубинное, сокровенное, утонченное свечение, магия, поэзия. Это самое японское «югэн», сокровенная, утонченная красота.

Этот июнь принес нам большое горе. Дашенька (наша собачка) умерла. На руках у Ларисы, пока я гулял в парке. Лежит на стуле, у тумбочки с телефоном, глаза еще как живые. Плакал. Лариса тоже рыдает. Завернули в махровое полотенце, отнес в ветеринарную клинику. Нес в руках, тельце как бы еще теплое, эту маленькую, уже неживую тяжесть. Отдал девушке-ветеринарше. Кремируют.

Давно уже я для себя решил, что единственное оправдание моей жизни – создать литературное произведение, которое встало бы в ряд мировой классики и сделалось бы бесспорным и непреложным, как классика. Достиг ли я этой цели? Получился ли у меня такой «перл создания», как говорил Гоголь?. Кто мне скажет? С большой долей уверенности можно сказать только о «Прогулках». Снежный ком литературы нарастает. Катится, катится из века в век, растет, растет этот чудовищный словесный ком. Какая уже наросла жуткая, удушающая масса словес, смертных и бессмертных! Копится и копится. Что дальше? Не вечно же это разбухание. Гигантская, нарастающая лавина пишущих, жаждущих литературного бессмертия. Мириады энергичных, одухотворенных писательским вожделением авторов, каждый день, каждый час, каждую минуту производят и извергают из себя водопады бессмертных словес, затопляя ими всю землю, весь мир. Какой Судия на каком Страшном Суде их рассудит? В начале было Слово? А в конце? Апокалипсис Слова? Самоубийство Слова?..

Какие-то картинки, хвостики воспоминаний. В том воздухе, в том освещении, в том блеске, в промельке. Не идет на перо. Нужно усилие письма, но перу неинтересно, и всё пропадает, все эти вспышки бывшего, пузырьки утонувшей Атлантиды. Мои плавания, рейс в

Африку, тропики, палящее солнце. Судно идет, разрезая ярко-синюю воду, в тени густо-сапфировую, фиолетовую, с шумом пенных струй за бортом. Передо мной океан сверкает, безбрежный, Атлантический. О океан! Еще плыть и плыть. А мне еще жить и жить. Я совсем еще мальчишка, 20 лет. Жаль, что я тогда не вел дневник, не записывал, что происходило на судне и со мной. Вот это жаль. Сейчас было бы интересно посмотреть.

Читая стихи или прозу, смотрю прежде всего: есть ли чувство, искреннее, неподдельное чувство от сердца? А не риторика и манерничанье. Но чувство может быть заслонено банальностью и шаблонностью выражения. Не об этом ли у Лермонтова: «Есть речи – значенье темно иль ничтожно». Надо, чтобы чувство звучало чисто. «Чистое звучание», как говорили в Китае. Нужна чистая форма чувства. Нужно, чтобы форма не губила чувство. Это я и называю чистым космосом языка. Еще смотрю: есть ли мысль? Или все пустословие. Но и тут дело в форме, в какой выражена мысль. Если слова – одежда чувства или мысли, то, можно сказать, эта словесная одежда меняется как мода. Старомодные одежды чувства и мысли, вышедшие из моды выражения. Но само чувство, сама мысль неотменимы, полноценны уже навсегда. А что такое голое чувство, голая мысль? По Тютчеву: голая мысль и чувство – это неизреченные мысль и чувство? Пока они неизреченны. Как только изречены, они уже одеты в слово. Больше того, они слиты со словом, они с ним единое нераздельное целое, они становятся самим словом. Слово – их форма. Но такая форма, которая также и содержание, то есть и чувство и мысль. Так что же, по поговорке: встречаем этих двух, чувство и мысль по одежке? А провожаем по Тютчеву? «Мысль изреченная есть ложь» и «Как сердцу высказать себя»? Может быть, в том и состоит искусство, что надо изловчиться, исхитриться, чтобы было впечатление, что чувство и мысль, хоть и изречены, хоть и одеты в слово, хоть и слиты со словом, а как будто они вне слова, внесловесны, бессловесны, как будто они голые. Сделать так, чтобы слово как форма, как одежда, не чувствовалось, чтобы оно было прозрачно. Так у Пушкина: «Я вас любил, любовь еще, быть может…». Противоположность самовитому слову футуризма.

У Фета понимание слова совсем другое. Слово у него – орел, хватающий на лету и чувство и мысль, и делающий их реальными, зримыми и осязаемыми, дающий им телесную (воплощенную в теле) жизнь. «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук /Хватает на лету и закрепляет вдруг /И темный бред души и трав неясный запах». У него слово всемогуще, Бог. Давая изреченность, изрекая, слово дает

реальное бытие, реальную жизнь эфемерности чувства и мысли. У Фета слово ни в коем случае не понимается как одежда и форма. Для него это неприемлемое и абсурдное представление. Так потом символисты ловили словом (реализовывали) высшую неизреченную реальность (несказанность, миры иные). Отсюда один шаг к шифровальной мании и кошмарным снам герметизма. Но у того же Фета: «В усердных поисках все кажется: вот-вот /Приемлет тайна лик знакомый, – /Но сердца бедного кончается полет /Одной бессильною истомой». Так может или не может «крылатый слова звук» схватить «и темный бред души и трав неясный запах»? Или «могу схватить и закрепить на письме» – только иллюзия, самообман? И каждый раз этот дерзостный полет тщетен? А на самом деле все, что хочешь схватить, всегда ускользает – и темный бред души и трав неясный запах, и всё, всё! Тайна остается тайной. В боги дверь наглухо закрыта и ключа от нее нет. А зачем тогда продолжать бесплодные, бессмысленные попытки? Если ты максималист и не боишься смотреть правде в глаза, и не в твоем характере себя обманывать, прятаться от правды? А затем, что достойней все-таки биться в стенку лбом, чем сдаться. «Два голоса» того же Тютчева: «Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, /Хоть бой и жесток, и неравна борьба…». Надо точно знать, с чем имеешь дело, и при полном, ясном сознании биться до конца. И значит, вместо: «Молчи, скрывайся и таи /И чувства и мечты свои… Как сердцу высказать себя, /Другому как понять тебя… Мысль изреченная есть ложь». Еще и еще раз: «И снова тоже дерзновенье, /И та же темная струя… Не так ли я, сосуд скудельный, /Дерзаю на запретный путь, /Стихии чуждой, запредельной, /Стремясь хоть каплю зачерпнуть!»

Душный плен умозрений, а жизнь свежа промельком мотылька в его бессмертные «здесь» и «сейчас». Поэзия – древняя игра на лире и гуслях, неизменных и неотменимых, из века в век. Душевные бездны, переклички. Ницше: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». А Библия: «Бездна бездну призывает…». Язык сам себе создает проблемы, запутался в своих сетях. Язык авгуров. Как только начинаешь писать о своей боли, горе или радости, так они сразу превращаются в литературу. Как сделать, чтобы не превращались? Это литература, даже сам язык превращают твою боль, горе и радость в себя. И тогда твое личное может стать всеобщим. Но оно уже не то, оно уже литература. То, что у Блока: «И вглядываясь в свой ночной кошмар,

/Строй находить в нестройном вихре чувства, /Чтобы по бледным заревам искусства /Узнали жизни гибельной пожар».

Неопределенность, пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Не знаешь, что от себя ждать, то ли шторм, то ли штиль. Ночью сводило ноги, сначала правую, потом левую, выл от боли. Встал в половине восьмого. Лариса собралась ехать с Леной в псковскую деревню. Солнце, облака, прохладно. Проводил, обнялись в прихожей. Вот она в переулке, красная куртка, белая шапка с козырьком. Помахал ей рукой, она в ответ. Пошла, два раза оглянулась. Еще раз ей помахал. Удаляется по переулку, горбясь. Яркий, солнечный июльский день, еще утро, без четверти одиннадцать. Вдруг жуткая тоска. Вся наша жизнь с ней вместе. Расстались на неделю, вернется 27-го. А тоска, тоска. Вдруг один.

Читаю сборник статей Пушкинского Дома о творчестве Андрея Платонова. О «Котловане». Цитаты из повести. Опять это впечатление мощи. Как мощно пишет Платонов, как будто барельеф в языке вырезает. Какое могучее перо! Каждая фраза как в камне вырезана или в бронзе вычеканена. Все им написанное – вот такой грандиозный барельеф языка. И барельеф и горельеф. Гений есть гений. И тема гигантская, титаническая, а не мелочь всякая. Сам титан и темы его титанические. Рядом с ним меркнут все писатели. У Платонова к бытовому, обиходному изображению прибавляется космическое измерение. Мировое. Это измерение проявляется в добавочных словах, деталях, подробностях. «Вскоре на лавку половиной корпуса присела женщина». Вместо: просто присела. Или: «Вощев, очнувшись, сразу сел среди ранней сырости воздуха». Опять же вместо того, чтобы просто сесть. Или: «Уснул в покое общей тьмы». Вместо: просто уснул. Или: «Идти в город без утешения внутри». Вместо того, чтобы просто идти в город. Или: «Противоположный человек превратил свое лицо из простого в серьезное». Вместо: «Человек, стоящий напротив него, сделался серьезен». У него не лишние слова, а добавочные. И он так делает, что лицо его слова приобретает не общее литературное выражение, а резко своеобычное. Языку тем самым возвращается первородная выразительность.

У Вячеслава Иванова: «Прияли пелену поэзии из рук Истины. Поэтическое видение есть пелена, через которую взгляд может проникнуть и за которой открывается тайна «иных миров». У Гете стихотворение «Посвящение» в переводе Левика: «Чтоб Истина счастливцу даровала /Поэзии святое покрывало». Смысл не один и тот же. Поэзия сама по себе истина, ей не надо быть ни пеленой, ни

покрывалом, приоткрывающим Истину. Что ставить на первое место. Поэт ставит на первое место Поэзию, она и есть для него вся Истина. А тот, кто на первое место ставит Истину, а не Поэзию, какой-то он не совсем поэт.

Станислав Лем. У человечества две главных страсти: Страсть к познанию и страсть ко злу. Трактаты: Сумма технологии», «философия случая». Безупречно технологическое мышление как и безупречно технический совершенный механизм обязательно приведет к катастрофе. Как и любое безупречно логическое построение. Замкнутость в себе катастрофична. Все слишком совершенное, слишком правильное мертво и чревато крахом. Случайность и закономерность. Закономерность – только случайные островки в безмерном океане хаотического, случайного, иррационального. Число – звук. Звук – это число. Космос построен звуком-числом.

В современном искусстве табу на слова «вдохновение», «красота», «талант», «одаренность», «гений», «гениальность». Когда композитора Тухманова спросили, что его больше всего вдохновляет писать музыку, ответил – хороший гонорар. А Владимир Мартынов сказал, что слово «вдохновение» его раздражает. Что это? Какой-то цинизм и прагматизм? Страх перед возвышенными понятиями, романтизмом? Лицемерие? Но такое табу не может не наносить большой вред психике, всему строю человека, занимающегося искусством. Потому что такое табу – фальшь. Снята святость занятия. Художники стали трусами, боятся высоких слов и возвышенных понятий. Заменили их прагматикой, утратили космическое отношение, вертикаль сменили на горизонталь. Но именно эти древние слова и понятия абсолютно верны, именно они точно формулируют не только искусство, но и саму жизнь. Это первородные понятия и слова, созданные первым человеком.

Ценны только те, кто резко первичны. Их всегда немного. Все прочие вторичны, или на границе первичного и вторичного, нечеткость, неопределенность различия. А в большинстве сливаются в одну неразличимую массу. Мандельштам: «Все, что поддается пересказу – вернейший признак отсутствия поэзии. Там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала». Дело ясное от Шумера до наших дней: поэзия не подлежит пересказу. То, что можно пересказать, не поэзия. Пересказать нельзя форму. Поэзия – это форма. Форма в пересказе теряет себя – Форму. Поэзия в пересказе теряет себя, поэзию. То есть в форме есть возможность ее утраты,

стать не формой. У поэзии – возможность стать не поэзией. Пересказ показывает – есть что утрачивать или и нечего утрачивать. У Мандельштама: результат творческого порыва – каллиграфический продукт. То есть – форма. Когда форма рождена большим смыслом.

Соблазн языка превратил поэтов в литераторов, в словесников. Интеллектуал и поэт взаимоисключающи. Спонтанность сознания, бродить по краешку речи, поблизости от Молчания, опасаясь греха красноречия как проказы. Новалис: «Поэзия есть абсолютная реальность. Все тем более истинно, чем более поэтично». Книга Болдырева-Северского «Изгнание в язык», там о моих «Прогулках»: «Книга бесед как идеально разгромный памфлет: разгром «королевской» позы поэта-артиста – формы, которой эпоха курит фимиам». Название главы о моих «Прогулках» в этой его книге: «Человек артист на рандеву (вместо рецензии на книгу Вяч. Овсянникова «Прогулки с Соснорой». Январь 2019.

У Рильке: «Сердце – великий магистр отсутствий». Отскок от Чжуан цзы: «В начале начал было Отсутствие, и не было у него ни свойств, ни имени. Из него появилось Единое». Священное безмолвие. «Там, где есть обладание знаками, есть и обман. Там, где есть не-обладание не-знаками, нет обмана. Поэтому татхагата видим по не-знакам как по знакам». Алмазная сутра. Пушкинское «Эхо», одно из самых загадочных его стихотворений. Возвращаюсь к нему и возвращаюсь. Вдруг сейчас понял, заново. Эхо – это природное явление. Явление природы. Его природная суть в том, что оно на все отзывается, на все в мире. Но ему самому отзыва в природе нет. Поэт тоже природное явление: его суть тоже в том, что он на все в мире отзывается, а ему также, как эху, в природе нет отзыва. Именно в природе, природно, а не в людях. Отзывы критиков, читателей ничего не значат. Поэт, как природное явление, выше всего человеческого, вне человеческого суда и суждения. Поэтому отзывы людей для поэта не означают отзыва на его голос его природной сути. Об этом же и его стихотворения «Поэт» («Пока не требует поэта»), и «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной»), и «Разговор поэта с книгопродавцом» («Блажен, кто молча был поэт»), и стихотворения «Поэт и толпа», «Исполнен думами златыми», «Памятник» («Хвалу и клевету приемли равнодушно»). И т.д. Его сквозная тема. Поэт одинок и неподсуден людскому суду. Он вне суда, вне людских мнений и суждений. Сам по себе, самодостаточен. Он явление природное, (космическое), а не человеческое. Он стихия, эхо мира.

Цветаева «Прокрасться». На контрасте. Победить физику мира, в котором пленена душа, душевная и духовная сила, мучающаяся в

плену физических законов. Вырваться из этого плена. Но как вырваться? Физика мира, как страж, следит, надзирает. Надо «прокрасться», чтобы этот Аргус не заметил. И тогда молниеносным рывком: «вычеркнуться из зеркал, выписаться из широт». Какая могучая молния этого порыва, молниеносность силы! И эта молниеносность при контрасте противоположного замедленного движения – «прокрасться». И это не просто победа над физикой мира и Аргусом его законов, это и потеха: насмеяться над физикой, над временем и тяготеньем, лютейшими врагами ее, Цветаевой, ее непримиримого духа. Активность: отказом взять, обманом взять. Обмануть время и тяготенье. Позиция героизма, героической борьбы. Недаром образ Лермонтова, чей героический дух тоже рвался из плена мира, из оков физики. Проявление силы, могучего духа, а не слабости. И все-таки тут и отчаяние. Образ Баха – насмеяться и над всем искусством, музыкой, которые не дают выхода из плена, а примиряют с ним. Цветаева изначально была заряжена этим могучим духом, ее стихи – сорвавшиеся из фонтана брызги, из ракет искры, маленькие черти. Она изначально была такой, заряженной чрезмерностью в мире мер, огнем, ракетой, фонтаном.

Сказанное большим писателем звучит как первичное, хотя знаешь, что эта мысль, этот образ проходит через всю историю человечества и повторен в разных вариациях бесчисленное число раз. А та же мысль, сказанная обыкновенным писателем, всегда звучит как вторичное, как за кем-то повторенное. Точное попадание происходит, когда слова порождает глубинно важный для души импульс. Как у Блока: «Как тяжело ходить среди людей», или «Как растет тревога к ночи». Только такие импульсы и породили у него эти вспышки экзистенции, как любят теперь выражаться. У него около полусотни таких высших вспышек души.

Метерлинк «Жизнь пчел». Исполнить наш органический долг – создание мысли, духовной жизни, поэзии, истины, совершенства. Как долг пчел – создание меда. Мысль, духовная жизнь, поэзия ценны сами по себе, сами для себя. Как мед самоценен. Обычные сочетания слов и необычные. Маяковский: «пальцы разбрасываю, разломавши». У него все сочетания необычные. На обычные у него был запрет. Пастернак «Сестра моя жизнь» – тоже. Запрет на обычные словосочетания. У него, как и у Маяковского сочетания слов в строке почти всегда неожиданные, единственные, первичные, вне обихода. До него таких не было. «И вдруг пахнуло выпиской /Из тысячи больниц». Чудо строка. Гениальная вспышка строки-молнии. Откуда? Божья искра упала из космоса, из мирового огня Гераклита. Цветаева:

«Где осиянные останки? /Волна соленая ответь». И так, и так. Пушкин: «Я Вас любил, любовь еще, быть может…». Полная противоположность. У Пушкина почти все словосочетания обычные. Необычные – редкость. И тем не менее – его слова сияют.

О снах, опять о них. «Хотя для разума нет действия более болезненного, нежели творчество, во сне оно происходит с такой легкостью, что мы даже не замечаем, как проявляется эта способность». Джозеф Адиссон. «Мы созданы из той же материи, что и наши сны». We are such stuff – as dreams are made on». Шекспир. Есть знание внутри. Слово меньше этого знания. Это знание не вмещается в слово. Но и ни во что не вмещается, ни в одно из искусств, ни в одну из форм. Но это знание создает и слово и все формы. Создалась ли своя форма личности? Если есть личный, сразу узнаваемый стиль, то – да, создалась. Тогда первичен, есть резко отличительное своеобразие. Столько упований, и все мимо, все провально. Пришвин пишет: «Уметь переносить свою старость – это великое геройство». Ему было 74, как мне сейчас. Что моя писанина. В литературе идет жестокий отбор. Жесточайший. Все сеют свои книги, миллионы книг, все писатели уповают, что хоть что-нибудь из их книг да останется в истории литературы, хоть что-то зацепится, взойдет, вырастет, будет замечено, останется в веках. И что из всей этой армады пишущих, из всего этого океана изданных и издающихся книг действительно останется, пройдет сквозь это беспощадное сито отсева? Единицы. Все остальное провалится в пропасть забвенья. Безнадежность этих всеобщих писательских упований.

Повесть о чем-то в себе, о своем, о самом-самом. Повесть такой могучей души о самой себе, только это и ценно. Непреложная истина, Лермонтова дрожь, Дарьял. Бессознательное не знает, что оно-то и есть наивысший мастер, что священный дар, бессмертный гений озаряет голову безумца, гуляки праздного только для того, чтобы посадить его за фантастическую работу мелькания черно-белых клавиш. Удовлетворение потребности в таких сверхспособностях. Белинский: «У художников ум уходит в талант». Достоевский: «Что для ума позор, то для сердца сплошная красота». Сплошная! Не оплошай, душа-краса! Душой исполненный полет, Жар-птица, выпущенная из клетки мастерства. Смертельный танец над пропастью на краю, на границе хаоса и порядка. То сосредоточен, то рассредоточен, то сознательное, то бессознательное. Закон меньшинства, кто-нибудь один из множества, чело, увенчанное пурпурово-серым, творец-птенец, первенец. Тот коготь Первого, кто царапал на скалах зов своей орлиной души. Где бы я ни был, всегда

его узнаю, и только ему верю. Евреинов в очках Фрейда, тоска по «исконному».

Просит бури, счастья не ищет. При чем тут счастье, не надо счастья. Со счастьем покончено. Пустынность, бездомность, бездонность. Неограниченность. Безграничность. Свой строй души (может быть, настрой?) перестраивает войско слов по-своему, и оно идет в психическую атаку на бастионы вечности. Кто же откопает в курганах железки этих строк, павших в жестоком бою со временем? Пишется и издается лавина книг, низвергается библейским потопом. За всех и за вся пишет нарастившая в тысячелетних усилиях могучие, титанические мускулы всемирная литература. Слов вавилоны – до изможденья Слова.

Новый год встретили вдвоем. Существенно в моем пути было только движение к мастерству, стилю; от полного неумения, несостоятельности до вершин. Отвращение к тому, как все пишут. Все замазывают словесностью, говорением. Вот и Пришвин ведь и у него удельный вес одного отдельного слова нулевой. Я пишу так, чтобы каждое отдельное слово было самоценно, выделено, крупно. Слово, строка, фраза. Так писал Гоголь. Так Хлебников, так Андрей Платонов. Так поэты, подлинные. А эти размазывают по тысячам страниц словесную слизь. Беллетристы! Безбрежность серой, бесцветной словесной массы в книжных обложках. Есть писатели для одного читателя. Хоть один-то читатель все-таки должен быть. Да, только если этот читатель – Читатель.

У Пришвина попадаются чудные строки, подлинные жемчужины: «По берегу озера бегает, ноги мочит, в черной косыночке и в черном переднике, белощекая трясогузка. Качается кулик. Из желтой прошлогодней травы торчит хохолок чибиса». «Молния распахнула тот берег, гром ударил». «Дождик снова забарабанил по крыше, нехороший, чеховский, как в ноябре». «День пестрый, то ярко солнце светит, то снег летит. На пнях самые белые скатерти и на белом красные листики осины лежат, как кровавые блюдца».

А вот Лотреамон: «Но знайте, поэзия везде, где нет дурацкой и глумливой улыбки человека, с его утиной рожей». «Моя поэзия только и будет озабочена тем, чтобы крушить человека, этого лютого зверя, и Создателя, который не должен был производить на свет подобную мразь». «Поэзия делается всеми, а не кем-то одним». Призвание без признания. Магия знака. Слово устало от предмета и забыло о нем. Пришвин, родственное внимание. Всю жизнь купаться в мгновении. Снилось, то голый хожу по лестницам, то улетаю куда-

то в океан, а меня догоняют тоже летающие женщины, догнав, уговаривают вернуться. Чувство, как будто меня нет, уже нет или никогда и не было, и жизнь вокруг идет без меня, все вокруг происходит без меня, без моего участия. Гертруда Стайн воспела повторы. Вот и спотыкаюсь о повторы, чьи-то и свои, везде и всюду. Повторы-узоры, растут, поют, шире, громче. Верю в них, неисчислимых, неистощимых, как слезы в долинах плача.

День снежный, белый, ни ветерка. Мне 75. От Союза писателей никто не поздравил, никто, никто. Сто лет «Улиссу» Джойса. Встреча в метро. Стоит у стены в подземном переходе, седой, в очках, сильно постарел, но крепок. Обратно домой шел потихоньку, обессиленный, через пустырь. Солнце выглянуло, голубое небо, пахнуло весной. Вспомнилось: апрель, бегу, утреннее солнце, голые прутья куста (жасмин) на углу дома, девушка в раскрытом окне третьего этажа. И я еще молодой, еще в порыве. Лев Толстой в разговоре с кем-то сказал: «Наивен тот человек, который думает, что мы, писатели, пишем словами». Малларме в разговоре с Дега сказал противоположное: «Стихи делаются не из идей, стихи пишутся словами». И то и то верно. Но плох тот писатель, который пишет, не ценя слов. Плох и тот, кто пишет только словами.

Пришвин, как у него подробно. Я предпочитаю сжатость, все подробности свожу в одну крупную подробность. Восприятие тоже сжимаю до одного луча, одного момента. Например, у Пришвина: «Лимонница, большая и яркая, летела над тихой водой». Я бы написал: «Лимонница летела над водой». Или даже: «Лимонница над водой». Вот еще у него: «Звезды, как вербочки, распухают в прозрачных облаках. В темноте белеют березки. Осины выбросили червяки свои серые». Эти фразы очень хороши. Или вот: «Вспыхнули в серых лесах ранние ивы – дерево, на котором цвет, как желтые пуховые цыплята, и пахнут все медом». Это уже плохая фраза. Зачем так много слов, они лишние. Я бы написал так: «Вспыхнули в лесах ивы – пух медовых цыплят». Но у него этого в голове не было. Вот еще отличная фраза: «День весь сверкал кристаллом от зари до зари». Мой стиль – видеть словами, вообще – чувствовать, видеть, слышать, осязать, обонять словом.

Говорю им, что я могу безошибочно определить, хорошо или плохо написано. Они спрашивают: «А как ты это определяешь, объясни». «Сейчас объясню» отвечаю им. «Но это ведь нужен мой мозг и глаз. Беру книгу, читаю первую строку и сразу же определяю – хорошо или плохо. Вот и всё». Для меня на первом месте «как сделано», а «что» и «о чем» – на втором. Но «что» и «о чем» у меня

слито с «как», то есть отнюдь не безразлично. «Как» зависит от «что» и «о чем», но не прямой, а сложной зависимостью. Скажем «Слово о полку Игореве» – для меня главное красота этого «Слова» и только затем смысл, патриотический пафос, идея. Но в данном случае красота формы ощущается как зависимая от красоты идеи, (смысла) неотделима от нее, слита с ней. Потому что у идей (смыслов) есть своя красота, независимая от формы. Но только в единстве с красотой формы, воплощенная в форме, эта красота полная, действенная, действительно красота.

У Лихоносова: «Слияние таинственного толчка чувства и упавшего на бумагу слова. Искры свободы и забывчивости в творчестве». Симпатично, но, все-таки, много лишних слов. Стиль, предполагающий многословие. Хорошо, когда у писателя достаточно много слов в лексиконе. У него достаточно, чтобы был полнокровный текст. У меня меньше, вообще мало. Надо бы больше, но, видимо, душе больше не надо. Опасность худосочия. Свободно пустить перо по чувству, а если слов в душе достаточно много, получится полнозвучно, полноценно. А бывает, душе надо немного слов, чтобы свободно вылилось чувство, и хорошо, когда у нее немного слов, не заболтает чувство, не заглушит многословием. Слова сами по себе, а то, о чем они, само по себе. У слов сама по себе изобразительность, и то, о чем словами изображается, в их изобразительности чисто словесной, совершенно все преображается и становится словесностью, а не тем, что существует само по себе, без слов, вне словесности и ее призмы. Огромный мир слов и превращений всего, что есть в жизни, в слова. У новых и новейших писателей в обычае описывать и расписывать подробности, и внешние, и душевной жизни, чего древние не делали, пренебрегали, как ненужным, оставляли только самые необходимые, крупные, немногие подробности, говорящие о самой сути. Экономия художественных средств, аскетизм.

Гулял и думал: все мои упования рухнули, известности так и не достиг, известность хилая. Вот 75, юбилей, старик, никто меня от литературы и не почествовал, два-три приятеля, вот и все. А это ведь конец пути, ведь 75. Уповал на стихи – рухнуло. Уповал на милицейские рассказы – рухнуло, нуль. Уповал на «Загинайло», думал, вот бестселлер, мир потрясется. Ничего, нуль. Уповал на «В тени Водолея». Гробовое молчание. Уповал на книгу былин, «Сокол-корабль», русский эпос, думал, ну это-то должно быть востребовано, национальное самосознание и прочее. Черта с два. И тут – нуль. Все, все упования рухнули. Только одна книга преуспела: «Прогулки».

Она останется. Может, когда-нибудь какой-нибудь энтузиаст литературовед захочет заняться этой книгой и тогда захочет узнать, а что я еще написал, что я за писатель, и откопает и другие мои книги. Последнее мое упование. «В людех множайших не воспомянен буду, что есть душа моя в бесчисленней твари».

«Молнией сверкнет в тебе что-то свое и, кажется, осветит на миг всю жизнь твою, и мечты в ней, и то, как ты можешь передать все словесно бумаге. И кажется, поймут тебя и обнимут, и заплачут над твоим горьким ли, сладким чувством, и сам ты вознесешься к небу». «Я пишу из тончайшей ткани, все рвется на лету, и, когда не ухвачу, ниспадает на лист что-то погрубее». «Писать могу, каждый день что-то бродит во мне, но писателем быть не хочется! Часто засыпаю с этой мукой, просыпаюсь с ней же». «Всякое чего-то стоящее произведение – слепое признание. Написал наедине и не постыдился выйти с этим к миру. С возрастом откровенность все тяжелей. Нет уже детской безоглядности… Писатель должен раскрывать все окна и двери. За это его и любят. Мы будем таить, а ты признавайся! – такова публика». Лихоносов.

Поэзия до слов, до языка. Некая форма чувства, поэтическое чувство, поэтическая интуиция. Это поэтическое чувство противостоит интеллекту, рациональному пониманию. Это у Бенедетто Кроче. А что, разве я сам не знал. Стою у пруда, на углу дома, где клен. Блеск ноздреватого мартовского снега на солнце, воркование голубей, щебет воробьев. Весна, весна. Лариса сказала, такое впечатление, что тебе самому неинтересно говорить о своей книге. Неудачное выступление. Как ужасно я выгляжу, как убого. Печально увидеть себя таким. Такого себя уважать нельзя. Утрата всякого уважения к себе.

В Пушкинском Доме библиотекарь, высокий молодой человек. Развернул, посмотрел мой портрет, прочитал аннотацию. Пушкин на постаменте, его роспись золотом с таким закрученным хвостом. Обратно на остановку на набережной у университета. Нева уже растаяла, зыбкий ослепительный блеск воды. А за Дворцовым мостом еще лед. Через Неву в троллейбусе, шпиль Петропавловки. Невский, блеск весеннего дня. Сегодня я великое дело сделал, долг перед книгой. Теперь книга существует. Шел с пустой сумкой и радовался.

Врубель, узоры микромира. Посвященный в таинства высокого мастерства. Именно – Мастер, с большой буквы. Мастер-Творец, Творец-Мастер. У него – тождество Творца и Мастера. Томас Манн «Доктор Фауст»: «Существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и

гармоническим целым с одной стороны, и зыбкостью, проблематичностью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно прекраснейшая, – ложью?.. Правдиво и серьезно только нечто краткое, только до предела сгущенное музыкальное мгновение». Ван Гог: «Мы пишем атомы хаоса. Если хаос бесформен, то атомы, его составляющие, сохраняют гармоническую структуру. Можно в одно мгновение видеть вечность и небо в чашечке цветка». Чистяков: «Бесконечность, бесформенность состоит из бесчисленного количества оформленных, а следовательно конечных тел». Вот это и у меня в моем лирическом эпосе «Тот день» и «В тени Водолея».

Шухова башня, архитекторы, с пафосом: красиво, потому что математически точно, ничего лишнего. Красота математична, как беззаконная комета, как пламенный бред, как бинт на лбу, как горный обвал, как дважды два пять, как хлопок одной ладонью рукоплещущей бури. Врубелю говорили о его живописи: «Не понимаю». Он невозмутимо отвечал: «Вот и хорошо, что не понимаете». В противоположность Льву Толстому; тот считал, что истинное искусство понятно всем. Врубель уверился, что оно непонятно почти никому. Всепонятность подозрительна.

Гоголь, его музыкально-живописные фразы. Слово родилось из того же, что и музыка и живопись, – из особого отбора. Отбор главных, сущностных знаков качеств – из океана бесчисленных подробностей. Путем такого же строжайшего отбора чистых звуков из моря шумов возникла и музыка. Тот же путь и у живописи, и у всех искусств. Только так возникли языки искусств. Так и язык слова. Послал бандеролью два экземпляра «Голова Орфея» в Москву, в Ленинку, теперь Российская государственная библиотека. Умудрился сделать ошибку, написал: «В дар Государственной Российской библиотеке, вместо – Российской государственной библиотеке. Теперь страдаю, что из-за этого книга не дойдет. «Люби письмо как свою мать». Древний Египет, «Поучение писцам».

При переводе, удачном, могут находиться другие, новые смыслы, которых нет в оригинале, и этим-то и ценны такие переводы, они становятся шедеврами в другом языке. Пример: перевод Лермонтова из Гете – «Горные вершины /Спят во тьме ночной», или его же «На севере диком стоит одиноко /На горной вершине сосна». У Гете – кедр. В переводе Лермонтова возникает другой смысл.

Написать бы простую, ясную, общедоступную книгу, нужную всем. Что это такое – не знаю. За что взяться. Герметизм – тупик. Но ничего другого не умею. Пишется только герметически, против

шерсти любой массовости. Интуитивно, на генетическом уровне. Просто мне нравится так писать, делать нечто такое из слов, со словами. Но – не только словесно, это интересно и духовно, эмоционально. Это нечто я делаю как нечто эмоциональное, мое личное, мое духовное. Мне только так пишется, все равно как только так дышится. У меня всегда была устремленность на эту узкую элитарную дорожку избранных.

Смотрел свой дневник, наткнулся на запись 26 мая 2004 года. Подведение итогов. Ведь это 18 лет назад, мне было 57. Сейчас – 75. И все то же самое. Все точно сказано. Вот итог, печальный и беспощадный. Добавить нечего. Вавилонская башня, каждое новое поколение возводит свой этаж, каждый строитель работает на своем участке, делает свое и по-своему, друг с другом не общаются, друг о друге не знают. Не знают и кто главный Строитель Башни. Он Невидимка, никому неизвестен. И есть ли он вообще? Быть вне рода, не принадлежать к множеству, не иметь себе подобных. Что ты будешь создавать? Подобное себе? Но кто ты сам? Единственный и неповторимый, не в своем роде, вне рода, не человек. Пока что не человек. Но и первочеловек, зачинатель рода. Что ты будешь делать, что создавать? Ты начнешь то, что после тебя продолжится, шире и шире, больше и больше, до несметных множеств подобия тебя. Но ты – начало всех начал, одиночка, начинаешь в одиночестве некое дело будущих множеств своего рода. Кто ты, демиург, создатель, первый мастер?

Грабарь о Борисове-Мусатове: «Только подлинные поэты владеют даром втягивать в заколдованный круг своих капризных и властных хотений». Вот это: дар втягивать в заколдованный круг своих властных хотений. Это главное, вообще в искусстве.

Леонардо да Винчи, альбом графики, лицо девушки, под рисунком цитата из тетрадей Леонардо: «То лицо, которое на картине смотрит прямо на художника, его делающего, всегда смотрит на всех тех, которые его видят». Действительно, я вижу это лицо и оно смотрит на меня. И удивляюсь, зачем об этом говорить, писать. Разве это не банальность? Картине не нужны слова, и моему зрительному восприятию не нужны слова, наоборот, они мешают. Когда я смотрю на картину с этим прекрасным лицом, я только смотрю. Слова молчат, они отключены. Пока смотришь на картины, потребность в словах не возникает. Между зрительным восприятием и словесным – пропасть. Отчего же является потребность переключиться на словесное и говорить о картине, словесно мыслить о ней вместо чисто зрительного восприятия? Все, что делается человеком, делается в атмосфере слова,

сопровождается словом, резюмируется словом, предвосхищается им. Создание картины предваряется словом, словесным помыслом, и заключается словом, разговорами о ней, толками и трактовками. До бесконечности. А ведь Леонардо писал, что живопись выше поэзии, зрительное восприятие (несловесное) выше словесного. То есть живописи слова не нужны. Но он же писал, что суждение художника должно превосходить его работу – созданную им картину. Однако это суждение, то есть соображение, понимание ведь необязательно в словесной форме. Оно может быть вообще несловесно.

Пишет себя некий глубинный настрой, из случайных, нечаянных образов, какие попадутся, случатся, что принесет реальность, увидится, услышится. Не важно – что. Главное – этот внутренний настрой, он и есть автор. Достаточно кристаллика реальности, попавшей в твой глубинный настрой, страшно напряженный духовный настрой, чем ты постоянно живешь, и что постоянно и есть, и он, этот кристаллик (образ, деталь, происшествие, событие) становится катализатором, чтобы твой настрой создал из него еще одно воплощение себя. В этом и есть сущность поэта. У каждого свой глубинный, постоянный духовный настрой, этот внутренний, сущностный настрой и воплощает себя на материале реальности и в формах искусства. Свой особый настрой создает и свою особую форму.

Моя короткая фраза – словесная форма мгновения, вспышка мгновения в форме слова. Это не поток сознания, а поток самоценных, сконцентрированных мгновений; мгновений некоей сокровенной сути, поток единого длящегося состояния, кадры какого-то неизвестного дзэн-буддийского фильма. В одном миге молниеносное сочетание разных планов: «Муравьи, вздутые юбки, булавочная голова самолета блестит на закате». Одновременно в одном миге и уменьшение и увеличение, и микроскоп, и телескоп. «Резко, рыба, черная игла в небе». Одновременно несколько обычно несочетаемых восприятий, ракурсов, в одном пучке. Волшебная проза-поэзия, многоцветное слово. Никто не понял, никто не оценил.

Поющая голова Орфея в водах Гебра, плывет и поет. Древний корень поэзии. По стихам виден этот корень, эта тайна, эта древняя магия поэзии. Отброшено все несущественное, все, что затмевает, заслоняет сам корень поэзии, все наслоения. Крик боли, голос обнаженного сердца. «Эхо» Пушкина: «Тебе ж нет отзыва – таков и ты, поэт». То есть у поэта такая же способность, такой же природный дар, как у эха – точно воспроизводить в точном отзыве все, что есть в мире. Но самого поэта как и само эхо воспроизвести в точном отзыве

никто не может. Повторить поэта, его природный дар, природную сущность невозможно. Поэтический дар, дар творчества адекватен сущности самой природы. У Пушкина об этом постоянно. «Пока не требует поэта» и др. Это древнее понимание поэзии – с Орфея. Магическая сила поэзии – некая мировая сила, творческая сила, присущая самой природе.

Пастернак «Сестра моя жизнь». Какая жажда обновления и как действительно обновил стих и саму суть поэзии, ее дух. Прелесть поэзии в лаконизме, в весомости слова, в отличие от прозы. Если так писать прозу, то она будет равна поэзии, да и будет поэзией как таковой, а не поэтической прозой. Именно так у меня и написано, жесточайший отбор слова, предельный лаконизм. В поэзии абсолют формы. Для этого нужен культ формы – суровый, беспощадный судья. Железная узда формы.

Я любил только природу, книги и поэзию. И хрупкость. Ничего прочного, все хрупко, мимолетно, текуче. Только образные вспышки какой-то вездесущей Поэзии, магии, волшебства. Магический образ тайны мира. Я пчела, собирающая мед поэзии всюду, отовсюду, куда залечу. Так писать, как я пишу: это тот единственный способ существования и назначения слова, который мне вообще интересен. Другие способы существования слова – не я, не мое. Они мне неинтересны. У кого какая надобность, тот так и пишет. Если надобность сверхсжатия слова, то тем самым жертвуешь общедоступностью, понятностью для всех. Для всех тех, кто не живет в заоблачной области такого экстремального, космически скоростного слова. Становишься непонятен, герметичен. Отвычка от жизни в общеупотребительном, многоречивом слове не даст снизиться, перейти в около земной, атмосферный слой словесного мышления. Вот так у меня и выходит. Попытался, стало противно, тошно. Не могу. Так я и живу, в этом самом полетном, запредельном, космическом слове. Стихия летчика – полет. Летчик слова. Полет в стратосфере слова, в космосе слова.

Чтобы так писать, как я пишу, надо любить слово особенной любовью, любить каждый момент слова, каждый звук его жизни, каждый стук его сердца, каждый его вздох и вскрик. «Дни с Л.», «Дождь в четверг», «Лопающие пузырьки», «Тот день», «В тени Водолея». Мелькание кадров моей жизни. Мелькали и промелькнули. Целый фильм этих мельканий – во всю жизнь. Этот стиль создают враждебные вихри в себе, чуждые всему общепотребительскому, с визгом и воем, рвущим душу. Лунатик, мистик, «Я душа твоя – Урания, в боги дверь». «Встретишь Будду – убей Будду». Створки

раковины плотно сомкнуты, страх мягкотелого моллюска – раскрыться, обнажить сокровенное. Голый, при всех, дрожит от стыда и отвращения. Падать голым при всех, как чистый снег, целомудренно и бесстыдно. Анри Мишо, магия. «Я кладу яблоко на стол перед собой. Затем я кладу себя в это яблоко. Какой покой!» В сновидении смыслы живут по принципу скрытой гармонии Гераклита, объемно, сферически. Такое сферическое сновидческое мышление образными смыслами переходит жить в плоть слова, становится словом, как Бог, как Христос. Сновидение мыслит иносказаниями, притчами, символами, загадками, намеками, внушением. Попытка так писать: мои миниатюры «Паутинка», «Гора», «Смутный год» и другие. А крупно: «Тот день и «В тени Водолея».

Знание не является высшей ценностью. Ценнее то, что приходит непредсказуемо, непредвиденно, и уходит непознанным в ту же неизвестность, откуда пришло. Только это и надо называть чудом. Перечитал мою миниатюру «Ребенок». Секрет таких шедевров: верх лаконизма, несколькими абсолютно точными скупыми мазками создать картину, образ огромного смысла. Тут нет кричащей в глаза оригинальности, яркости, личности. Тут все ничье, никакое. Тут все на абсолютной математической точности образного мышления. Как в математике, как в стихах. Есть хокку, есть Басё и его осенний ворон на трехзвучии голой ветки. Есть Моранди, гениальный лаконизм его метафизических натюрмортов. «Жду я тревогой объят». В чем тут его оригинальность, непохожесть ни на кого, ни на что? Обыкновенные, простые слова, чисто литературные. Но – тончайшая зоркость. Обостренность слуха, тут всё – слух. Комар поет, листок свалился, жук налетел на ель, хриплый голос коростеля. И удивительный образ слухового восприятия: «Слух, раскрываясь, растет как полуночный цветок». И вдруг – «Ах, как пахнуло весной! Это наверное ты!» Вскрик душевного восторга. Преображение всего мира. Гениальное стихотворение. Никому не повторить, не превзойти. Единственное и неповторимое. А казалось бы проще простого, и литературно и обыкновенно. Нет – необыкновенно! Чудо из чудес! Магия, мистика. Только Фет мог написать; только что-то такое, что устроено особым образом, особое душевное устройство, называемое Фетом.

Перечитал мою миниатюру «Серебряная пыль». Тут видно, как я работал со словом. Чувство: что не надо указывать, что надо умолчать. Убрал – и весь текст стал безукоризненным. Знать, когда возникает словесно чистое изображение, что надо убрать, чтобы добиться этого. Надо иметь абсолютное, безупречное чувство слова, чтобы знать, когда возникает чистый рисунок, чистое слово.

Собственно, это и есть писательское мастерство – это особое чувство чистоты слова, словесного рисунка. Но подавляющее большинство пишущих этого чувства слова как раз и лишены – и мажут и мажут. Все мазилы. А почему-то думают, что они мастера, и о них так думают и так говорят критики и литературоведы, авторитеты литературы, собратья по перу; провозглашают гениями, дают премии, издают гигантскими тиражами, делают притчей во языцех.

Жить в жизни и жить в написанном слове – разные миры. То, чем живешь в жизни, надо изобразить словом, перевести в изобразительное слово. Но не просто в слово, не просто в изобразительное слово, а – в чистое изобразительное слово, в чистоту изобразительного слова, чистоту словесного изображения. И тут существует незыблемый закон и канон писательского мастерства, с древнейших времен, как закон самой природы. Или ты мастер, или нет. Знаешь, чего надо добиться, чтобы слово стало чисто изобразительным, или не знаешь. И оказывается, что знают и могут знать только немногие, особенные, одаренные чувством изобразительности слова, чувством чистоты словесного изображения и способные этому научиться у подлинного мастера. Собственно, посвященные, избранные. Но – много званых, да мало избранных. Литературу заполонили тьмы мазил, лжемастеров.

Пастернак, «Мухи мучкапской чайной», его апокалипсис, потрясение, поток чудовищных мух, катастрофа, бред, жуть, перед грозой, в каком-то июле, в каком-то крае, дико, смутно, предчувствие удара, саранча, скачущая по обоям. Конец света. Разбиты все часы, разлетелись все пружины. «Пыльный мак паршивым пащенком /Никнет в жажде, берегущей /К дню, в душе его кипящему, /К дикой, терпкой божьей гуще». Какой мощный корень образа у этого мака он откопал! И неожиданные скачки образности в каждой строфе и от строфы к строфе, скоростное спиральное движение, змеиными зигзагами молниеносной образной мысли, без оглядки на не поспевающее за ним чье-либо восприятие. Дико мыслящий край неизвестного, внезапно озаренного мира. «Гроза, как жрец, сожгла сирень». Непрямая, извилистая, змеистая логика образной мысли. Взрывчатая емкость, внезапные скачки, обрывистые тропы, резкие повороты. Игра языка, ловля созвучий на хвостах строк.

Мир устроен по принципу бинома, каждой твари по паре. Двое, пара, обращенные друг к другу, создают замкнутую сферу, внутренность яйца, ян и инь, мужчина и женщина, белое и черное в круге. Дополняют друг друга, только тогда каждый из них полноценен и осуществлен. Так и пара – писатель и читатель.

Писатель только тогда полноценен и осуществлен, когда у него есть читатель, то есть его alter ego, другой, двойник. А читатель не существует без писателя. Если читателю нечего читать, он вынужден сам стать писателем, чтобы было что читать и таким образом создать собой, породить читателя.

Живое – это внутреннее, жизнь только внутри. То, что вовне, внешнее – мертвое, не жизнь, притворяется живым, мертвые души. Омертвение, неполноценность, то, что сейчас происходит с людьми в мире. Все стали вне, внешними, индивидуализм, герметизм. Перестали быть внутри, с Другим, перестали быть внутренним. Разобщенность, каждый за себя, за свое, нет общего внутреннего, объединяющего в живое внутреннее единство. Мой рассказ «Грезящий», связь двоих, в каком-то метафизическом измерении, как в аду духа, в стране абсурда и духовного ада, в адском месте мира. Замкнутые в сфере отношений двоих, некие антиподы, одновременно и взаимоисключающие и дополняющие друг друга. Сложные, странные, непонятные отношения глубинно разных двоих, притянутых друг к другу, втянутых внутрь противоречивых связей. Опять же некий глубинный узор смысла, неподвластный логической расшифровке.

То, как устроен мир, узнать нельзя. Не узнает и наука. Об этом знает только форма, но она таит свое знание в себе. Она может только намекнуть о том, что таит в себе. Это чувственная интуиция Формы.

У Псевдо-Лонгина «О возвышенном»: «Многие авторы, подобно Пифии, заражаются чужим вдохновением… От величия древних писателей какие-то дуновения проникают в души их подражателей… даже не очень одаренные природой, вдыхая их, приближаются к величественному». У него же: «В прекрасных словах раскрывается весь свет и вся краса разума». Но в переводе не передается игра слов, которая есть в оригинале. По-гречески «светоч разума» и «голос, звук» близки по звучанию. Надо бы и перевести хотя бы смысл (созвучия этих двух греческих слов, разумеется, не перевести): «В звуках прекрасных слов раскрывается весь свет и краса разума». Ведь дело в звуках: что звук и свет – одно. Свет звучит, звук светится, а вместе это слово – краса разума. Еще у него: «Человеческая душа по своей природе способна чутко откликаться на возвышенное». То есть – если произведение не возвышает читателя, не пробуждает в нем возвышенные чувства и мысли, а, наоборот, пробуждает низменное и ничтожное, то это дурные произведения, вредные, бездуховные, тлетворные. Главная мысль этого древнего трактата. Если мерить этим критерием нынешнюю литературу, то что мы получим? Или все

зловредно и тлетворно, низменно и ничтожно, грязнит, чернит, разрушает душу, или пошло, фальшиво, бездарно, тривиально, что не меньше грязнит и губит душу. Разрушение души.

Перечитал свой рассказ «Заслушивался волн». Шедевр, по Фрейду. Зашифровано нечто грандиозное, бездны подсознания. Но при этом некая железная система символических глубинных перекличек, миры образных смыслов, тайна преображения, в зрении через некие магические очки. Очки чего? Сознания, подсознания? Этот ряд: Очкуров – очи – очки – отчаянье – очко. Глубинный потаенный узор ветвящихся смыслов, который говорит о сущности мира на языке символов и образных перекличек. Это язык геометрии слова по Лобачевскому, а не по Эвклиду. Слепые, не подозревающие о своей слепоте, перед судом видящих. Видящие открывают им правду: что на самом-то деле они слепые, они не видят то, что видят видящие. Но слепые им не верят и не признают их суд, суд видящих. Образ пещеры у Платона. Ясновидящие, провидцы, пророки, духовидцы. Но ведь и видящие видят разное, потому что смотрят в разные стороны, и не признают видение друг друга, отрицают суд другого видящего и саму его способность видеть.

Перечитал еще две моих миниатюры «Лодка» и «Летнее путешествие». Действительность таит в себе возможность так ее увидеть, воспринять – как глубинную жизнь образного, калейдоскопического сознания, говорящего загадочным языком многозначных образных шифров и необъяснимым отбором предельно лаконичных символических образов. Осуществить это в форме слова. Образы действительно отбираются и комбинируются особым способом в некоем особом порядке, так, что им придается особое символическое значение, и возникает некий таинственный смысл, присущий только этому сочетанию. Глубинный загадочный узор смысла, созданный особым сочетанием образов. Это уже не пространство реальности, а сотворенное духовное пространство образности самой по себе. Можно было бы написать и такой роман, но для этого надо быть Достоевским. Разве «Преступление и наказание» не этим же способом создано? Да все великие романы. «Робинзон Крузо», «Дон Кихот». А Гомер, а Шекспир. Один и тот же принцип для всего искусства, только менее или более радикально реализованный.

Достоевский тоже свои смыслы мыслил образно, но какие огромные, гигантские и сложные смыслы, какие мучительные и как мучительно и сложно мыслил. И какие особенные, грозные, страшные образы понадобились, чтобы так мыслить. И какое запредельное

напряжение души и духа. У Достоевского страсть вникания во все происходящее в мире, и в мировых масштабах, и в головах и душах. Такой страсти нет и у Гоголя, и ни у кого.

Утреннее солнце – радость, вечернее – печаль. Восход – восторг, закат – скорбь. Провожал закат солнца с железнодорожной насыпи.

Перечитал свои ранние стихи, цикл «Разлад». Ничего нельзя изменить, ничего нельзя отменить. Ни на что не похоже, на высшей ноте, взрыв и вихри болящей за весь мир души, страстный порыв, протест, буря отчаянья, титанизм. Это и был мой наивысший взлет в стихах. Никто не понял, не оценил. Но что же дальше? Держаться на этой высокой ноте я не смог бы. Это всего лишь порыв, взлет. Надо было что-то другое. Понадобился Другой. Удариться об него, определиться через него, развиться, взрасти, созреть. Без него, самому по себе не получилось бы. С кем-то другим, не такой величины, не такого могучего типа – тоже. А равных ему я так никого и не вижу. И тогда не было и сейчас нет. Так что все закономерно, все правильно.

Гений – энергия, не вмещается ни в какие рамки, ни в какие формы, ни в какие понятия. У китайцев – рисовать, писать не формы, а – дух. Формы не важно какие, любые. Важен только дух. Только его и воплощать в своих творениях, его силу. Дух и есть – энергия, творящая сила, космическая. «Сила в том, чтоб дух пылал!» Дух и энергия – синонимы. Вместе гармония и дисгармония (стихия), форма и бесформенность, космос и хаос. Красота – это сама энергия, сам дух, и в форме и вне формы, и ищущий себе форму и не ищущий ее.

Что происходит, когда жизнь переводишь в слова? В интерпретации языка это уже не то, совсем не то. Все, что коснулось языка, перевелось языком, тут же кардинально преображается по языковому шаблону, будучи во власти языка. Мы это даже не осознаем, это происходит автоматически. Пишется ради самого по себе живописания, это главная цель, а не для того, чтобы в образах и картинах мысль выразить, идею явить. Мысль, идея вторичны, не главная цель, а как бы интеллектуальное, духовное оправдание живописания, образности, картинности самих по себе. Главная цель не смысл, а образный узор смысла, форма смысла. Или даже так: мысль (смысл), идея только повод, чтобы, выражая эту мысль, эту идею, – живописать образным словом некие картины. И это-то и есть смысл этого занятия как искусства, мастерства, таланта, одаренности, гения. Смысл такой способности, такого призвания.

Перечитал мой текст «Волна». Какой-то феерический вихрь, могучий всплеск. Если бы от меня только это сохранилось, то и тогда можно было бы сказать – фрагмент какого-то сильного автора. Но не

все ли равно теперь. Эти самооценки нелепы. Кто решает – что останется, что нет. Какая-то всемогущая богиня судьбы писателя? Об этом трактате Псевдо-Лонгина «О возвышенном» никто в античном мире не знал, ни одного упоминания, возможно, был единственный экземпляр. И вот, тем не менее, дошел до нас. А множество авторов, известных и знаменитых в то время в античности, не дошло ни строчки, а полно упоминаний о них, и книги их были размножены в сотнях и тысячах экземпляров. И где они? Остались только имена. А тут – трактат есть, тоненькая книжица, а имя неизвестно. Но текст дошел! Судьба! И я повторяю строку из него, как девиз для себя: «Выбор точных и значительных слов».

Наш эпос, главный герой Илья Муромец. Он сознает свое назначение. Это назначение русского богатыря – защищать свое отечество, защищать Русь. Илья Муромец совершает единоличные подвиги. Но вместе с тем у него важнейшая задача: собрать всех русских богатырей в единую силу, в единую богатырскую дружину, сплоченную единой целью – борьбой с врагами Руси. Это и есть сюжет и композиция русского эпоса. Так и строится сюжет: каждая былина – единоличный подвиг богатыря и, вместе с тем, Илья Муромец, старший побратим, атаман, принимает этого богатыря в свою дружину побратимов, братьев названых (крестовых) – для борьбы с врагом единой силой. В конце – великая битва, великое побоище.

Врос в слово, слово вросло в него и расцвело в нем, мировой расцвет слова. Могучий контакт с жизнью, вникнуть, узнать, постичь, говорить с миром, с душами людей и вещей, страстно, горячо, глубоко, до самой сути, в тысячах форм. Широта, масштаб, мощь этих гениев, их энергетика, неисчерпаемость их словесной, изобразительной силы.

Если бы сразу писалось сильными словами. А то ведь сначала, на порыве, строчишь словесной слизью, серятиной. Сколько нужно работы, чтобы из этой размазни выработать сильные, сжатые, яркие слова, выварить сталь, выковать золото. Да, если бы сразу писалось начисто, набело! Бывает ли такое, у кого? Даже у великих? Навряд ли. Почитай письма Флобера. Как я здесь, летом, в жару, писал «Книгу Велеса». Выковывал сразу, строку за строкой. А «Мою ель» тоже тут писал, понадобилась большая доработка того, что написалось на порыве. «Одна зима» выковывалась сразу, фраза за фразой, образ за образом, в голове. А «Рига в шляпе»? Чуть ли ни по одной фразе за весь день работы. А «Якорь в Риге» – писалось быстро, на порыве, и сразу почти набело. Но это все-таки редкость, исключение. А, как

правило, у меня всегда требовалась очень большая работа. На порыве писалось редко. В основном – сначала выковка каждой фразы, фраза за фразой, в так нарастающем тексте. То есть – добиться Формы. Это издревле, общее дело.

Тарковский, «Душа моя затосковала ночью». Гениально, мистический прорыв. Для поэта достаточно одного такого стихотворения. Это должен быть такой настрой. Есть Настройщик, бог поэтов и поэзии (Феб, Аполлон), он настраивает некоторых, как музыкальные инструменты, на космический божественный лад. Это и есть гении. Такие живут всю жизнь в этом настрое. Этот настрой, как некая высшая гармония и мелодия постоянно поет в них и иногда происходит всплеск, мистический прорыв, порождающий гениальную песню, стихотворение, «Бесы» Пушкина, «Незнакомку» Блока», «Я мечтою ловил…» Бальмонта», «Сестра моя жизнь «Пастернака». И вот это у Тарковского. А нет этого настроя – и ничего нет. Посредственность.

Те, кто отродясь все знают и умеют (на что предназначены). Они независимы и смелы, и сразу делают по высшему мастерству. Они открывают в себе то, что у них уже есть, врожденно. Только такие творцы и их творения – подлинная ценность и смысл искусства. У Жуковского красота художественного произведения – истина выражения. Ясность идеи, ее гармоническое согласие с художественным образом, взятым из жизни. «Поэт, будь тверд! Душою не дремли! /Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». У Блока: «Но ты, художник, твердо веруй /В начала и концы, ты знай, /Где стережет нас ад и рай…». У Пастернака: «Не спи, не спи, художник…». Жуковский: отличие поэзии как искусства от других искусств. У поэта связь слова, орудия его искусства, с душой непосредственна и мгновенна. Связь слова с душой и духом поэта – прямая и мгновенная. У живописца связь души с изображением на картине – через посредничество красок, кисти, холста. У музыканта – через посредничество инструмента.

Колосья-кони тужат о нем, воспетые «весенней гулкой ранью». Стихийная песенность перестраивает стихосложение, как буйный ветер, вдыхая свежую жизнь в мертвую обязательность форм. Его метафоричность, самозарожденная, растительная, животная, из живой стихии самого языка, существующая издревле, поет сердцебиением звериной грусти, не зная, то свет или мрак.

Статья критика Елены Зиновьевой о моих «Прогулках», напечатана в «Неве», 2015 г. №2. Там такая фраза: «Эту книгу необязательно читать с начала, последовательно: открыв любую

страницу, оказываешься в безграничном времени, плотно насыщенном культурном пространстве…». И еще: «Но эта книга останется как памятник эрудиту, энциклопедисту, неповторимому мыслителю».

Слабость, задыхаюсь. Теперь я совсем не тот, что в прошлом году. Сильно сдал, старость налицо. Тела почти нет – скелет. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. Джеймс Босуэлл – «Жизнь Семуэлла Джонсона» (английский литературный критик). Разговоры с ним. Эта книга стала знаменитой. Издана в 1791 году. Теперь Джонсона помнят только благодаря этой книге. Босуэлл скрупулезно фиксировал беседы Джонсона много лет. Джонсон о Босуэлле: «Можно подумать, что этого человека наняли шпионить за мной». То же самое, все повторяется. «Дела эти давние и писатели древние». Тит Ливий.

Перечитал Газданова «Вечер у Клэр». Тонкие наблюдения сложных движений душевной жизни и словесные средства их выражения равносильны, словно бы это единая среда пребывания и осуществления. Собственно, философия души. Тут росток от Марселя Пруста. Словесные средства выражения уже приготовлены для передачи сложной душевной жизни. Это как скрипка приготовлена и приспособлена для сложной виртуозной игры большого мастера скрипача. Эта способность видеть сложность душевной жизни, мельчайшие подробности, и вместе с тем и способность воплотить это средствами изощренной словесности меня завораживает (и всегда завораживала) как некое чудо одаренности, гениальность, – то, чем я сам не наделен. Тут я примитивен. Возникает странная иллюзия: словно бы достаточно использовать этот тип словесного выражения, освоив его, и ты сможешь выражать всю сложность своей собственной душевной жизни. То есть это может стать магической формой, которая сама по себе способна порождать или вызывать к воплощению сложность душевной жизни. Но это может быть также и самообманом или обманом читателя, по сути мошенничеством. Потому что автор, пользуясь чисто формальным методом, на самом деле ничуть не обладает этой сложной душевной жизнью и способностью ее замечать в себе или в других. Это вроде того, что Гете сказал о каком-то поэте: «За него пишет стихосложение». Вот так теперь за авторов бесчисленных романов пишет достигшая сложнейших, изощреннейших и виртуознейших форм всемирная литература.

Я-то эту сложность душевной жизни в себе совсем не вижу, не замечаю, не могу ее разглядеть и перевести в слова. Только

подозреваю, чувствую, что она есть. Поэтому у меня все так примитивно. Вот почему эта способность у других (гениальных) писателей воспринимается мной как какое-то волшебство. Это и есть волшебство.

Строки стихотворения, пересказанные прозой, исторгнуты из ритма и звукописи, из музыки языка и тем самым лишены формы, как извлеченная из воды, лишенная своей родной среды медуза, растекшаяся на земле грязной бесформенной жижей. Форму не пересказать, ее можно только чувствовать.

Не можем выйти за границы себя, увидеть то и так, что не позволяет нам форма нашего зрения. Мир вовне остается непостижим, неизвестно какой, тайный, утаенный. Мы видим его только таким, каким его позволяет видеть форма нашего зрения. Увидеть вне этой нашей формы нельзя, можно только дать намек, чувство, настроение этой неизвестности, потусторонности.

Антониони, беспощадный запрет повторять то, что уже сказано, кем-то или самим тобой. Постоянный порыв к новому, неизвестному. Езда а незнаемое. Это характер, тип психики. Анри Мишо. «Литературные жанры – враги, которые бьют по вам без промаха, если сами вы с первого выстрела по ним промахнетесь». «Достаточно быть избранным, сохранить в себе сознание того, что мы живем в мире загадок, а значит, и общаться с этим миром лучше всего загадками».

От метро через парк мимо ТЮЗа. Чудесный октябрьский день, солнце уже низко, вот-вот скроется, озарены верхушки кленов, еще золотые, не опавшие. Принято разделять форму и содержание. Но это одно и то же, неразделимо. Разделимо только условно. Например, стихотворение, пересказанное прозой, можно условно назвать содержанием этого стихотворения, потому что при пересказе форма утрачена и это уже не стихотворение, не произведение искусства. Другой вопрос: выводима ли форма стихотворения из такого прозаического содержания? И да и нет. Форма выводима из некоего особого душевного состояния, строя души, сознания, настроения. Постигающее само себя сознание или подсознание, чувство, инстинкт, интуиция строят из слов языка это самое свое постижение себя, своего состояния, нечто неизвестное и для себя и для других – так возникает форма, новая форма взамен имеющейся, привычной формы, перестраивая (преображая) ее на новый лад. Форму создает гениальность некоторых особых, избранных душ и сознаний. Но при этом Форма всегда уже существует, уже кем-то издревле создана. Кем? Богом? Назовем – Бог или Дух. Форма выводима из состояния

Духа. Дух и порождает из себя Форму. Тогда понятие «содержание» надо заменить понятием «Дух». Форма – производная духа, форма выводится из духа и ему соответствует. Какой дух, такая и форма. Имеется в виду эстетически, художественно героический (революционный, новаторский, творческий) дух. Такому духу соответствует (и выводится из него, порождается им) полноценная художественная форма. Если же форма пошлая, то и дух, который ее породил, художественно пошл и, значит, не героичен. Магия содержания, которая хочет изобразить свою мистическую сокровенность, свою таинственную суть, и магия формы, которая способна осуществить это изображение. Между ними нет зазора, препятствия, разрыва, они – единое целое. Происходит естественно, по инстинкту, как вспышка молнии, разряд электричества, мгновенно рисующий свой зигзаг в небе духа. Проявленная форма со всей очевидностью и говорит о гениальности того духа и его свойства, которое создало эту форму, в которой он, этот дух, проявил себя, свое свойство.

Пушкин Вяземскому: «Поэзия должна быть глуповатой». Против умничанья и ненужной учености, потребности объяснять, дотошно и навязчиво. Поэзия должна быть «глуповата» с точки зрения такого вот рационального ума. Но с точки зрения самой поэзии ее поэтический ум – наивысший ум, то есть – художественный инстинкт, талант, божественный дар, гений. А глупость – бездарность, ущерб поэтического ума. Пушкин иронизирует, насмешка над «умным» Вяземским, но глупым с точки зрения поэзии. Разные умы.

Отзыв директора издательства, в которое Пруст предложил свой роман «В поисках утраченного времени»: «Даже после прочтения семи ста страниц текста остается непонятным, о чем в романе речь». Директор другого издательства, также отказавшийся печатать, признался: «Я, быть может, глуп, как пробка, но не могу уразуметь, зачем какой-то господин изводит тридцать страниц на описание того, как он ворочается с боку на бок, прежде чем заснуть».

Бог создал мир из ничего. Под «ничего» надо понимать не пустоту, а неорганизованность, бесформенность, стихийность, хаос, неорганизованную материю. Создал из ничего, значит, – придал порядок, форму, организовал и целенаправил. Поэтому и Творец, в этом смысле и цель Творения, Творчества. «Ничего» – это хаос, бесформенность. Творение – придание формы, оформленность. Поэт заключает свою мысль в форму, как мушку в янтарь; и форма сохраняет его мысль в веках.

Мысли грустные, уныние итогов. Раскрыл наугад «Прогулки», опять открылось на том же месте, запись 10 января 2001 года. «Вокруг тебя столько странного, жизнь полна странностей, а ты не видишь. Как ты смотришь?.. Смотришь уныло и скучно. Но писать надо только тогда, когда находится что-то странное, особенное, причудливое, необычное. А иначе писать и нельзя и незачем. … Мир полон странностей, только надо уметь видеть…». Каждый раз открывается на этом месте. Как будто заколдовано, магия какая-то. И что тут скажешь. Ведь я не только не умею так видеть, и не только нет способности, дара так видеть, но и потребности нет так видеть, и никогда не было. И желания такого никогда не было, никакой охоты так видеть, неинтересно мне это. А как я смотрю на мир? Мир полон тайн при всей своей обыденности. Не то, чтобы я не видел его странным. Я вижу его странным в своей обыденности. Его обыденность таит странность, но это для меня некий флёр, волшебная дымка, туман, сфумато, сокровенное сияние, чудесное, таинственное свечение, а не конкретные странности. «Изнасилование истинами», Волошин, о философах.

Ночью было плохо, колющая боль в сердце, думал – конец. Сколько мне осталось? 7 лет, если до возраста мамы, 83? Но каких лет? Распада? А надо ли. Встал в восемь, темнотища, фонари горят, мрачно. И рассвет серый, мрачный, тусклость, сырость. Лариса еще спит у себя в спальне. День рождения Даля, его гениальный словарь. Ох, какой темный день сегодня, темный, тоскливый.

По ту сторону волн веду беседу с призраками. Это Игорь Северянин считал себя только поэтом и чему был солнечно рад. Фильм по рассказу Андрея Платонова «Возвращение», капитана Иванова играет актер Гуськов. В шуме времени вечные ноты, звучат то громче, то тише, звучат всегда, не смолкая. Имеющий уши да слышит. Свет одновременно и волна и частичка бытия, чудесный камешек, излучающий волны. Взаимно исключающие персонажи. Необъяснимо сие. Мир одновременно и математичен и нематематичен, может быть исчислен и не может быть исчислен, дается формулой и не дается, рационален и иррационален. Ну и бог с ним. На утесе моих плеч пусть лицо не шелохнется, как Янис Ксенаксис. У Аристотеля – познать можно только форму. Действительна только форма. Удивительно, что я недавно об этом написал, сам, своей мыслью: о том, что совершенную форму может породить и создать только совершенная мысль.

Всегда все есть. И что бы еще ни являлось другого, иного, нового – всегда все есть, и что было и что будет. Всегда все есть сейчас и здесь.

Причем всегда все есть сейчас и здесь в одной единственной фразе (строке), той или другой, любой, иной. Но фраза эта особая, это фраза (строка) космическая, магическая. «Бледный Лис прилетел с Сириуса, изготовил маски и научил говорить». Из моего «В тени Водолея». Или у Афанасия Никитина в его «Хождении за три моря»: «Волосыны да Кола в зорю вошли, а Лось главою стоит на восток». Или Басё в переводе Марковой: «На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер». У Пушкина: «И ель сквозь иней зеленеет», «Роняет лес багряный свой убор». У Пастернака: «Роскошь крошеной ромашки в росе». У Тихонова: «Лакеи в бокалы качали коньяк». И т.д. Все эти известные и безвестные чудо-строки. То есть – самодовлеющая законченность в одной строке, фразе. Самодостаточность, абсолют формы. Самовитое слово по Хлебникову. Его: «Сыновеет ночей синева». Там, где абсолют формы – все сказано, весь смысл мира, все его понятие, сущность, весь секрет. В предельном лаконизме. «Чудовищно уплотненная реальность». Мандельштам. Поэтому незачем писать громады бесконечных повествований. К этому я и стремился, к этому и пришел в моем «В тени Водолея».

На Земле уже 8 миллиардов людей. А сколько миллиардов книг? И пишут и пишут. Мир перенасыщен словами, завален книгами. Все ищут и ищут правду и истину. А правда и истина, вся – в каждой вот такой фразе (строке), где есть абсолютная Форма, самодостаточная гениальная законченность. Самовитость. В ней (каждый раз по-иному) весь мир и все в мире.

Ухтомский, доминанта, настрой души на всю жизнь. Свинство низких истин, зловещий жест Искусителя – едва родишься, тебе тут же подносит все сокровища мира сего; все, что есть, что было и что будет. Люди большой задачи живут недолго. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Блок, Хлебников, Маяковский, Скрябин. Шекспир, Эдгар По. У Блока – мировая музыка, отчизна скрипок запредельных. Зараза философствования, маниакальная потребность – мысль разрешить.

Перечитал мое «Эхо уходящих дней». Вот что значит обработка, чего можно добиться, какой чистоты слова, словесной записи. Звучит как музыка. Но грустная это музыка. Конечно, это мало кому интересно. Это могло бы быть интересно кому-то там, любителям литературы, если бы я был знаменитостью, известным писателем. А так, как я есть, кому это может быть интересно? Никому. Также как я сам по себе никому не интересен.

Тускло, морозно. Постоянно снится один и тот же сон: не могу пройти по узкой тропинке по краю пропасти, в страхе возвращаюсь на широкую дорогу. Внизу глубоко – море. Блуждаю в ужасе в каких-то

тесных помещениях, знаю, что они висят над пропастью. Тут же, рядом какие-то мастерские, станки, механизмы, рабочие.

Феерические единоличности, редкость мира. Айхенвальд о Пушкине: «Сторукий богатырь духа». «Одно из двух: либо все – проза, либо все – поэзия». «Божественное эхо божественного голоса. Эхо сиротливо, оно все отдает, на все откликается, но само нигде не находит отзыва. Нет ничего более одинокого, чем эхо. Таков и ты, поэт». То есть – нет никого более одинокого, чем поэт. «Поэзия Пушкина – оправдание Творца». У Лермонтова: «война – их рай, а мир – их ад». Напряженная страстность минуты. Жизнь важна и ценна не в своем количестве, а в своей напряженности. Поэт ярости и зла.

«Лист за листом я рвал заветные тетради, /И все, и все изорвано теперь». Огарев. Айхенвальд о Тютчеве, «Вся жизнь – рифма к природе. Мы блудные сыновья, недолгие носители индивидуальности, возвращаемся в лоно природы». Фет – певец чуть заметного. Поэзия влечений. Кто влюблен, тот космичен. Мир ускользает от объяснения, оказывается непонятным. Фет называл свои стихотворения: «божьи птички». О Мее: «Для него в начале было не слово, а – Звук». О Льве Толстом: современник Бога, верит только тому, что – первое. Первозданное – простое, как в первые дни Творения. Поэтому призыв к опрощению. Поэтому – против культуры и цивилизации. Зов к первобытности. Природа лучше людей, а люди тем лучше, чем они проще и природнее. Мысль неминуемо с природой разлучает. Осознать природу уже значит ее отвергнуть. Ответы находишь тогда, когда не спрашиваешь, так как мысль и жизнь несоизмеримы. Ум не первенец природы. Первенец природы – интуиция, душа, чувство.

О Достоевском: больное, безумное – это и есть нормальное. Универсальное сумасшествие, бред и безумие вселенной. Болезнь, безумие и есть нормальное состояние подлинно живого человека. Здоровый человек, здоровая психика – это плоская, мертвая психика, мертвая, безразличная душа. Внутренняя жизнь – сплошная бессонница. И днем и ночью его герои живут усиленно, слишком живут. Они страдают гипертрофией души. Гиперболизация духа. Душевная жизнь в максимуме. Художник-максималист – кипение духа доводит до предельного градуса. Художник-хищник, тигр слова, жадно впивается в жизнь. Именно потому, что он так много знает, так остро воспринимает все крики и боли человечества, ему слишком есть что сказать. Ему надо высказаться, раскрыть до конца свою слишком содержательную душу. Он говорит, говорит… и еще больше осталось невысказанного. Беспощаден и неумолим, жестокий талант, писатель-дьявол, все отравляет, все губит вокруг себя. Природа блекнет и

чахнет от его проклятого приближения. Злое дарование. Великая иррациональность проникает жизнь. Действительность невероятна, правда неправдоподобна, властвует абсурд. Психика разбивает психологию. Парадоксы и прихоти души. Мы сами не знаем себя. Рыцарь черного духа. Черное солнце страдания.

Талант – нечто роковое, и от его стихийной власти освободиться нельзя. Покуда в мире есть красота, покуда в Лувре есть Венера Милосская, еще стоит жить на нашей бедной земле. О Леониде Андрееве: он только сочинитель, а не творец. О Горьком: резонерство, умышленность, сосуд рассудочности, беспрерывно умничает, теоретизирует, серая краска мудрствования. Сочиненное и напыщенное. Его мысли на поводу у его умыслов. О Блоке: душа – это лира, душа бессловесна. Психея – это певучесть. Лунатик лиризма. О Гумилеве: высокое косноязычие. О Карамзине: «Потому, что его душа была гораздо ограниченнее его ума, он и не сделался настоящим художником». Веневитинов: «Хорошо умереть молодым». «Душа сказала мне давно: /Ты в мире молнией промчишься! /Тебе все чувствовать дано, /Но жизнью ты не насладишься».

Кто в литературе сказал хоть одно настоящее слово, того литература уже не забывает.

Белинский (Виссарион) о себе: «… умер бы на дести бумаги и, если бы чернила все вышли, отворил бы жилу и писал бы кровью. … В руке всегда готовые общие места и низенькая манера писать обо всем. … Бедность развила во мне энергию бумагомарания и заставила втянуться и погрязнуть по уши в вонючей тине расейской словесности». И еще о себе: «Изредка довольно сильная, но чаще расплывчатая натура».

Еще у Айхенвальда: «Испытывает влияние всякий; но одни противопоставляют им себя, глубоко их перерабатывают, из чужого делают свое; другие же навсегда остаются изменчивы, внешни, поверхностны».

Что ж, теперь в конце этого года я могу сказать о себе вполне убежденно: Моя прозо-поэма «В тени Водолея» – это такая гравюра мироздания и миропонимания в образах всей культуры человечества, прочерченная алмазной иглой точного, предельно лаконичного, ювелирного мышления образным словом. Перевел два маленьких стихотворения Блейка:

Где, роза, твой блеск?
Цвет жизни зачах.
Не червь ли к тебе
Прокрался впотьмах?

Томит он твой дух,
Печалью грызет,
А гибель твою
Любовью зовет.
Ангел пел над кроваткой моей:
«Сам, малыш, быть счастливым сумей,
Не надейся на милость царей».

Итог долгих поисков, у каждого из этих стихотворений было более десятка редакций.

Снились кошмары, какие-то стройки, тупики, пропасти, блуждания, переполненные поезда, автобусы, падения. В седьмом часу поехали на Невский посмотреть, как украшено. Мороз, толпы. Зашли в «Лавку писателей», мой «Тот день» стоит как стоял, два экземпляра. Молодые люди, парни и девушки, смотрят книги на стеллажах, не могут выбрать. Лариса воскликнула: «Что вы смотрите! Вот перед вами автор! Берите его книгу, не пожалеете. Это прекрасный писатель, один из лучших в России, пишет великолепную прозу!». Тут подскочила продавщица, предложила мне подписать свою книгу, тогда, с автографом, может быть, купят. Я так и сделал, подписал, и эта молодежь, действительно купили, оба экземпляра. Маленькая радость. Рождественское чудо. Теперь все три экземпляра проданы. За три года. А всего – шесть экземпляров за шесть лет. Великое достижение.

Еще раз перечитал в «Прогулках» запись 10 января 2001 года. Упрекает, что я ничего не вижу, смотрю на жизнь, как на что-то привычное, обычное, обыкновенное, скучное, плоское. Ничего нового, странного, небывалого, не примеченного никем, никаких вариантов и т.д. Также – что у меня нет фантазии. Все это остается в силе. Если он прав (а он скорее всего прав), то – чего нет, того нет, и ниоткуда не возьмется. И если талант только это, то и таланта никакого нет. А что есть? Стиль? Значит, только стиль. Ну что ж, для этого тоже нужен некий талант. Из себя такого, из такого неважного материала я сделал все, что мог, хотя бы стилиста, мастера стиля.

Гоген о Сезанне: «Ничто так не похоже на никуда не годную мазню, как шедевр». У Лао-цзы: «Великое совершенство похоже на несовершенное, постигается без слов». Мне 76. Старик. И что из меня получилось? Нуль. Иван Вышнеградский, симфония-мистерия «День бытия». Первоначальное название «День Брахмы». Четвертьтональная музыка. Микротональная. Закон всезвучия. В два раза больше звуков, чем было до него в музыке. Говорил: «Времени не существует, поэтому не важно, когда будет исполнена моя музыка». Нестеров: «Я

верю, что живой дух творит форму и стиль, а не наоборот. Сам по себе стиль как условная форма «духа живого» не создает никогда». Сарьян: «Нужно было найти средства и формы, чтобы сколько-нибудь выявить мое очарование. Необходимо было побороть в себе школу серую и навязчивую и найти собственную технику, не пользуясь чужим». Ольга Седакова: «Поэтическое слово тем и отличается от бытового, что оно возникает из до-языкового, внеязыкового смысла; и если этот смысл, этот опыт не просвечивает сквозь стих, мы вправе отозваться о нем как Гамлет: «Слова, слова, слова». «Авторская поэзия рядом с древней и фольклорной часто кажется такой суетливой». Гете сказал о каком-то стихотворце: «За него пишет стихи хорошо развитая немецкая версификация». Но то, что она пишет, это уже не его опыт, это нечто общее, чужое, стертое, или то, что он перенял у своих любимых мастеров. Чего просит свое – вот что нужно понять. Главное. Сличать: то ли я говорю, что хочу. Что просит свое в таких, как Хлебников, Маяковский, Пастернак, Цветаева, Мандельштам – так, что они совершают революцию и в духе, и в тематике, и в поэтике, и в форме.

Музыка – самая неопределенная из искусств, а сильнее всего воздействует на человека. Музыка – сама неопределенность. Фет: «Меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих». Шаляпин: «Музыка – это голос души мира, ее безглагольная песнь». В.Сильверстов: «Музыка – это пение мира о самом себе». У Тургенева в «Дворянском гнезде» фраза: «Утром падал дождь». Вот не написал же «Шел дождь», а – «падал»!

Отвлечься от себя. Высказывание важнее, чем сам говорящий. Тон автора, его музыкальный, засловесный образ. Личный опыт, для которого нет слов. Образы до языка слов, они – жизнь души, они могут стать и музыкой, и живописью, и скульптурой, и танцем, а не только словом. В разных языках один и тот же, живущий в душе, образ воплотится в разных словах. Красота – это свобода. Свобода от страха, нечего бояться и не о чем заботиться, нечего скрывать и нечего выказывать. Зазор между «так чувствую» и «так называется». «Дырявая душа циника». Разоружиться. Поэт вооружен своим стихотворством, техникой, поверх зубов. Надо решиться быть разоруженным. Труднее всего простейшее. «Видеть своими глазами то, что у всех на глазах». Гете. Музыка смысла. Поэзия заставляет язык танцевать и петь, рисовать и «водить смычком черноголосым». Легкое сердце забытых стихов, редкость мира, алмаз «Кохинор» не отыскать под завалами слов. «На одно стихо-творение уходит целая

жизнь». Рильке. Поэзия – разговор с мирозданием. «Стихи членораздельно выражают то, что нечленораздельно выражают междометия, вскрик, слезы». Поль Валери. Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Встать в центральную точку мира, на этом месте должно прозвучать что-то новое, что-то такое, чего еще нет. Прикоснуться к сфере высокого напряжения, там, где не читка, а «полная гибель всерьез», где в каждой строке, в каждом слове – все мироздание. Молния поцелует твой мозг, и ты забудешь все слова, забудешь все, чему учили тебя отец и мать.

Werde der du bist. Вот он, твой Ванька-встанька, встал сам с усам и красивый сам собой. И что ему с того?

Мечтал о подвигах творчества. Заоблачный полет. Беззаконная комета, пламенный бред, бинт на лбу, дважды два пять, хлопок одной ладони в рукоплещущем зале одноруких. Это все он, Будетлянин, в долины невозможного неуставающий бегун, это его сердцебиение случая. Волны языка как в первые дни творения, в них плещутся боги звуков. Вражда стран и ворожба струн. Чудовищно уплотненная реальность на этом острове высокого звездного духа. Там правит тройка: пяльцы, лён, ткань. Каждое слово помнит гостеприимство дома бытия, в котором ночевало. Эти «темные стихи» хотели бы выразить образностью слов то, что больше образности, не вмещается в образность слова, в ясеневую ясность и в яворовую зоркость языка, в выпуклую радость узнаванья. От такого нечего ждать общепонятности. И все темнее и темнее, все глуше и глуше у геркулесов герметизма. «Кроме моря, здесь нет никого». Гул гениальности в этой строке не умолкнет.

Май, опять к травнику, Варшавский вокзал, сердечные капли. Семен Климовский, поэт, автор песни «Ехал казак за Дунай». Землекопы в толпе нехотяев. Очнись, мыслитель, есть и что-то. Зазор между блистательным «как» и ничтожным «что». Звон прерывных времен. Причины темноты речей, их четыре, а не две пушкинских. Прямизна речей, запутанных, как честные зигзаги. Слово пахнет дорогами, по которым гуляло с Данте, Рабле или Шекспиром. Бахтин, знакомство звуков, воздух стриженый. Постригся, парик-махерша белоруска, солнце, ветер, гулял в парке, сирень. Гаспаров, «Стихи о неизвестном солдате», те, воронежские жаворонки. Непонятная тварь таких творений, не для общежития. Поэты, известные, забытые, безвестные. «Надо писать не так, как есть, и не так, как должно, а так, как ты, мечтаешь». Надо же, Чехов. Южное кладбище, четыре могилы, помянули водкой.

«Золотой петушок», читает актер Борисов. Михаил Козаков – «Медный всадник. Вертинский, воспоминания. Зову их в океаны и сыплю им в шампанское цветы. Одной только песней жить. Малларме о Гогене: «Удивительно, что в таком ярком блеске может скрываться столько тайны». Гоген: «Моей мечтой не завладеть никому, она не содержит никакой аллегории, это музыкальная поэма…». Всех увлечений друг, сочувствий пламенный искатель, блистательных туманов царь. Боратынской. Там, где замок Боратынь, оттуда стрела рода. Его беспощадность к себе, к «чужому глаголу». Может быть, у меня не хватило силы души для такой беспощадности? Себя ослеплять и усыплять. А жизнь-то уже прожита, итоги плачевны. Нетленные творенья, сады поэзии святой. Кавабата, «Синго чувствует, что жизнь уходит». Еще раз «Эхо» Пушкина. «Тебе ж нет отклика – таков и ты, поэт, и для тебя отзыва нет». Это ведь о непонимании, невозможности понять, постигнуть душу поэта, его сущность. «Непонимаемый никем. А то, что «понимают» и как «понимают» поэта – псевдопонимание. Поэт понимает и постигает все в мире; все, на что бы он не откликнулся, он откликается полным постижением сущности этого, точным пониманием. Такова его способность, дар и назначение. Сущность поэта – так откликаться. А вот его самого, его сущность никто постичь и понять не может. Нет отклика понимания, постижения. А только такой отклик – подлинный, настоящий отклик. Все другие отклики – лжеотклики. Эта всеотзывчивость поэта, всепостижение – сострадательны, сочувственны, соучастливы. Но мир глух, мир бесчувствен.

«Сбери свои все силы ныне. Мужайся, стой и дай ответ». Вот и Ломоносов. Полное ощущение минуты. Долгосрочное действие, мощно-крылатая мысль, прозвище «маркиз». Чудовищная плотность слова, сжатость пружины. Слово не дает расплыться, кружить в тумане без руля и без ветрил, оно – опора и средство сосредоточиться, собраться в точку силы. Это – для творцов, для первенцев, для Боратынского, для избранных, художников бедных слова. А для толпы скотов интеллектуализма – стихия безграничной и безудержной трепотни. Правда чуется в каждой капельке формы, ее полноценность, полнота, Плерома. На то и творенье божье. Фальшь односторонности, сырья, сырой материи, рыхлости. Чудовищная безграмотность Боратынского в русском языке, из знаков препинания признавал лишь запятую. Голос сущности говорит скупым языком спартанца. Надоедает ясность и общедоступность, пишут «темные стихи», шифровки шипящей пены. Но в смущение приводит человека вал морской. Однако форма зашифрованного самодостаточна,

разгадке неадекватна. Оставьте в покое ее загадочность. Обнаружили сложную жизнь образного, ассоциативного мышления, жизнь субъективных ассоциаций, скрытые щедроты неизвестной страны. Ясность утрачена, отрубленная голова по волосам плачет. Форма затмевает солнце сути, и суть неясна. И тогда форма заглушает голос сущности, голос сердца, она самодостаточна, она вызывающе надменна, высокомерна, она заявляет о себе громогласно, что ей ничего, кроме себя, не нужно. Она самодержавно утверждает свое господство. Это, если форма активна. Если пассивна – то завораживает, ритмом, звучанием, гармонией, опьяняя, гипнотизируя, внушая. Поэтика загадки, форма намеренно затмевает смысл, требуя усилия разгадки. Оправдание формы в ее «темной» красоте. Музыка смысла, пересказать нельзя. Хлебников о Божидаре (Богдан Гордеев): «Он разбился, летя, о прозрачные стены судьбы…». В 20 лет, на лесном суку, у селения «Бабки». Что его кинуло в петлю, такого гениального?

Видеть, а не знать. Пробиться сквозь броню знания в незнаемое. Но все, кроме горстки, с комфортом живут в глухом погребе общежительского знания, в нем рожденные, в нем и умирающие. Поэт – между музыкой и знаком, названным и неназванным, известным и неизвестным, общезначимым и единоличным.

Необходимость взаимопонимания удерживает язык от распада, создает и сохраняет его форму, требует от языка ясности и связности, без чего нет формы, иначе язык размажется. В человеческой речи есть нечто нечеловеческое, больше, чем она, космическое, то, что ее и создало, Логос, который ее породил, и которого она часть и одна из его форм. Речь творит говорящего, речаря, а произведение литературы творит автора, как Логос творит речь. Логос – это Личность, Творец, Автор.

Слово – это выражение тишины, речь молчания. Тишина и молчание – это только невыраженное слово, то, что невыразимо и неподвержено проявлению. Молчание – мистерия. Семя содержит в себе семью множеств, но оно само по себе в своей первичности. Мыслить знаками и звуками, это повозка на двух колесах Неба и Земли. Вспышка новизны при прорыве привычного. Например: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря – и там Ты». Все будут ожидать: «перенесусь на край моря». А тут вдруг – «переселюсь». Необычно, нелогично, неожиданно. И тогда – вспышка поэзии, обновление поэтического чувства, собственно – возрождение, воскрешение того, что перестало ею быть. Это как бы взрыв новизны,

ослепительная вспышка фаворского преображения – обыкновенного в необыкновенное.

Готфрид Бенн, «Мир выражения». Существует только выражение и то только на некий срок. Все, что вне выражения – ничто, туман, мечта, хаос, иллюзия, призрак, майя. Похоже на буддизм. Реально только ничто, пустота. За любым выражением стоит Ничто и все выражения возвращаются в Ничто. Все формы – это Нечто порожденные Ничто. Пощупать и оценить можно только «Нечто», форму, выражение. То, что до формы, до выражения – оценить нельзя, все это вне оценки, ничто. У меня где-то уже написано об этом, уже давно об этом это же надумалось, из чисто практических, художнических соображений, из чувства формы. Да, но есть еще сияние формы, есть сила и сияние выражения, то, что Цветаева назвала чарами.

Избыточные ощущения, бесконечность бесполезных эстетических влечений. Есть много такого, чего вообще не надо проявлять, прояснять, о чем не надо толковать, не надо говорить. Тогда уму и чувству будет легко, летуче, просторно и чисто. Чисто чувствоваться, мыслиться, сознаваться, будучи необремененным излишними тяжеловесными, громоздкими толкованиями. Слово активнее (интенсивнее) мира. Слово творчески преображает мир, постоянно творит его, одухотворяет своей активностью, динамикой, энергией. Мир не только сотворен Словом, мир продолжает им твориться. Борьба слова с реальностью мира. Победить мир словом, превратить мир в слово. Слово сильнее мира, больше мира. Власть слова над предметом изображения безгранична. Это у Гоголя так. Так должно быть вообще. Слово подвижно, свободно, непредсказуемо. Действительность получает в слове всю его многомерность, всю его динамику.

«Голубые пузыри» Метерлинка, идеалист со стеклянной грудью и реалист со стеклянным задом. «Золотой век» в кармане Блока. Мастера раздувать значение, собственное или чего угодно, человечества и его понятий. «Сумерки кумиров» Ницше. «То, что может быть показано, не может быть сказано». Это уже на другом витке, Витгенштейн, гнев обогнавшего современников мастера. Все стало светло и неясно. Ein gutter Mensch in seinem dunken Drange /Ist sich rechten Weges wohl bewubt. Хороший человек в своем смутном порыве найдет верный путь. Эту Weges протоптал Фауст. Мой голос глух, мой волос сед. Долго ли еще ловить мгновенные свидания с солнечным лучом? В думах ни о чем?.. Белая мечта давно уже тайно тревожна, чует свой оторванный миг. При необходимости чему-либо

проявиться форма властно заявляет о себе, свои требования. Пренебречь ими означает обречь себя на нежизнеспособность. Форма зиждущая и форма созижденная, сила благодатная и созвучье слов живых. Ау, ау, взыскательный художник!.. «И струнно плачут серафимы, /Над миром расплескав крыла». Кто видел первообраз? Никто, никто не видел! И ритм и рифма вынуждают мыслить непредсказуемыми сочетаниями, неожиданными встречами. Созвучья выхватывают слова с самых дальних краев языка. «И только то, что тюль и ток, /Душа, кушак и в такт /Смерчу умчавшийся носок /Несут, шумя в мечтах». Многоочитость, и каждый такой глаз крутится, чудовищный, бешеный, ненасытный, хватает и пожирает все вокруг себя, больше и больше…

Все здесь говорливы, все пытливы и прозорливы, в слове мы как рыбы в воде. Выброшенные на берег немоты, задыхаемся и дохнем. Искорки чудес, нечаянные, негаданные, нет-нет да и вспыхивают в пустыне языка. Эти искры божьи – великая радость, только этим я и счастлив. Только тогда – «И счастье я могу постигнуть на земле, /И в небесах я вижу Бога», и слышу «пустыни детский смех». Ведь и она внимает Богу, и она озаряется нездешним светом, и она преображается в сиянии чудесного огня, и сама делается Чудом.

Речь не стоит свеч; не пророк, а угадчик, непредвиденный случай, это мощное, мгновенное орудие провидения путает карты в опере «Пиковая дама». В словах слышится пение чисел, скрип месяца, тридцать заветных звуков. Слово, слетая с заклинательных уст, тут же сливается с тем, чьим именем ему велено быть. Эта магия всегда с нами. Аполлон внезапно вдохновляет поэта на прекраснейшие в мире стихи, а человек делает их ничтожными. В поэте все еще слишком много человека. Чем больше поэт, тем меньше в нем человека, тем больше… – Чего, Кого? Божественного глагола? Слова улетают в свой заповедный рай, а запись остается грустить на бумаге. Чья-то струнка в тумане тихонько, потаённо поет о своем. Прислушиваюсь: моя это струнка, моя…

Уайльд: «Если созданное непонятно, объяснения преступны. В наше время осталось мало вещей таинственных, и нельзя позволить, чтобы отбирали еще одну. Люди – рабы слов».

Вот опять я пришел сюда в знойный июльский день. Этот вечный плеск у камней, музыка великой воды, и медленное-медленное, завораживающее кружение белокрылых мотыльков в мареве томящей безбрежности. Где-то здесь яхтклуб, где-то, где-то…как на том свете… И вдруг откуда ни возьмись, свадьба, молодожены. Сфотографироваться на фоне залива. Спустились к самой воде. Он –

рослый, в черной жилетке, желтый галстучек. Ловко поднял ее на руки. Она полагает весьма эффектным выставить напоказ скрытую часть своей красы. Вынырнув из пышной пены новобрачных кружев, позирует полноценной голенью. Целуются. Хлопки шампанского. Царевна-лебедь, подобрав свое, волочащееся по камням, обмякшее оперение, пробирается обратно на асфальт цивильной набережной вслед за важно шагающим впереди нее женихом.

Вернулись с дачи, осень, октябрь, плохо сплю. Лариса смотрела старый фильм, черно-белый, «Дом, в котором я живу». С восторгом, каждый кадр – шедевр, ни одного лишнего движения. Война, после войны. До слёз. Говорит: «Так растрогало, что сейчас разрыдаюсь. Наверное, я сентиментальна». Обнял, уверял, что это ее чистая, чуткая душа так откликается на настоящее искусство.

Блуждающие влияния, (солнечное число Цезаря), рыкают аки туры. И хожу я по черному свету, вижу ненужные страны. Напутствие гулякам праздным, творцам хрустальных звуков и райских песен, потворство слепцам и лунатикам, идущим по тонкому льду колдовства. Провалы, обвалы, Ялта, чайка, не надо их окликать, не надо, не надо… Головешка темной славы, шипящая: Шекспир, Шелли, Шиллер. «За гремучую доблесть грядущих веков»… Последняя строка – «И меня только равный убьет». Это у него о том, что он, поэт, живет в мире духа, а не в мире волков, где убивают по-волчьи («век-волкодав», с волками жить, по—волчьи выть). Поэт – стихия, природа; вот кто ему равен. И только природа, стихия, время, эпоха его убивают, только они ему равны, а не человек.

«Возьму ли крылья зари…». Вот это «возьму ли», т.е. как бы возьму, но все-таки именно «возьму» – в реальной жизни никак не воспроизвести (и ни в одном из искусств). Можно воспроизвести «возьму крылья зари». А «возьму ли» (эта виртуальную возможность) – только в языке. Вот в чем чудесное и незаменимое значение языка, можно сказать, космическое его значение. Вот почему – «В начале было Слово».

От Шумера до наших дней. The time is out of goint. Седые волосы – цветы старости. Секунда и тысячелетие. Подержать в руках большой хрустальный шар – вот все, чего я хочу. А еще – написать длинное, длинное письмо, чтобы все меня полюбили. Они шатаются, падают в судорогах и изрыгают собственную жизнь. А над ними черное солнце мертвых, их слава. Город забытых лиц, пустой стол, лучезарная точка. Все, что казалось так просто, не легче, чем поднять за волосы Землю, эту чудовищную голову Геи. Балаганный Петрушка, кричу, вопль ужаса: «Пропала моя головушка с колпачком и кисточкой». Маланья

Пелагевна поет: «Как по Питерской, по Тверской-Ямской»… Красная сорочка, плисовые штаны, лаковые сапоги, Ванька-рататуй, гулял по Невскому и увидел Никого. Опять, опять на этой стене: мене, текел, фарес. Исчислен, взвешен, измерен. Звериная маска: homo sum. И взглянул на дело рук своих, и увидел... Жить врозь – неслыханная роскошь. Обнимитесь, миллионы! Этот поцелуй всему миру! Seid umschladen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt! И будет вам небо с овчинку, змея-спираль, всадники из Апокалипсиса: Скорбь, Страсть, Стыд. Снится: падаю камнем, парашют не раскрылся. Сердце сжалось, ледяная пружина. Пробуждение в новом теле… Ветер, ревущий и воющий, заламывает сучья-руки, сосны стонут, и все мы куда-то бежим, луна в затылок, тоска. И кружимся, кружимся, почернелые прошлогодние листья в очумелом вихре. Я не с вашей планеты, я – с другой, вам неизвестной. Читатель этих паучьих страниц, влип, как муха. Это пишется новый эпос. Петруша, вот так груша! Слушай, летим отсюда, от суда, от блуда, от люда грешного, а, Петруша? Спасем скорее душу, не то задушат. Ах, совсем одурел я. Пропадай, душа, за грош! Это ли не страшно в схватке безглазой рукопашной? Неба нет, земли нет, кончился этот белый свет.

Ищу белое, раненных в белизне полета. Гляжу зыбкими глазами, страшно во всем понимать друг друга; люди, нормальные до отвращения; побыть без улыбок, без слов. Не могут руки наши бедные соединиться. Никогда, никогда… Во саду ли, в огороде. Пишу пьесу «Петрушка и Арап». С каждым актом Арап все страшнее, все лютее. Арап-зверь. Мы – это мы. Город, гора, озеро. Восторг, колючий холод брызг. Зал ожидания, бескрылые муравьи-пассажиры, тикает сердце – личное время. Томление духа, глина из рук скульптора выпархивает птицей. Зачем сопротивляться очевидности: я – самописец собственных фобий. И только. Слова пишутся сами и тут же стираются чьей-то незримой рукой. Умеющий шагать не оставляет следов.

Закрыть дверь с твердым намерением не возвращаться. Оставить всю библиотеку, не взять с собой ни единой книги. Покинуть навсегда письменный стол. Расстаться с ним без сожаления. Ни ручки, ни карандаша, ни бумаги, ни клочка записей, ничего не брать. Потому что я решил уже никогда в жизни ни читать, ни писать, и выбросить из головы накопленные знания. Мне вдруг стало гадко все мной написанное. Засунуть ключ в карман старого, потрепанного пальто, повернуться спиной и пойти прочь, в метель, во мрак и пустоту.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Проснулся. Лариса уже собралась на работу.	5
Год начался с несчастья.	22
Мне 49. Через год будет 50. Ужас!	46
Январь, на Садовую, везем настольную лампу.	71
Еще один год. Начали новое столетие.	85
Рождество. Сырой снег, дети лепят снегурок..	105
Просыпаюсь, тьма, карканье ворон на рассвете.	136
Январь, полнолуние, так ведь девятка, ее день.	167
Январь, оттепель, ветер.	191
В этом новом январе выжженная пустыня..	212
Бег по кругам, ледяным, вьюжным,.	216
Февраль, метель. Мне 68.	228
Вот мне и 70. Стараюсь писать как можно меньше,	239
Дуновение суеты, апофатия.	265
Услышали по радио. Ну вот, настал этот день..	276
Майская теплынь. Гулял в парке,	284
Январь, мглисто, расплывчато.	293
Новый год встретили вдвоем.	305
Услышали по радио. Ну вот, настал этот день..	276

В. Овсянников. Царапины на скалах

Подписано в печать 30.01.24

Формат 60х90 1/ 16 **336 стр**

Печать по требованию

СПб
2024 г.